

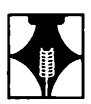
С. В. МАКСИМОВ ◆ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

С. В.
МАКСИМОВ

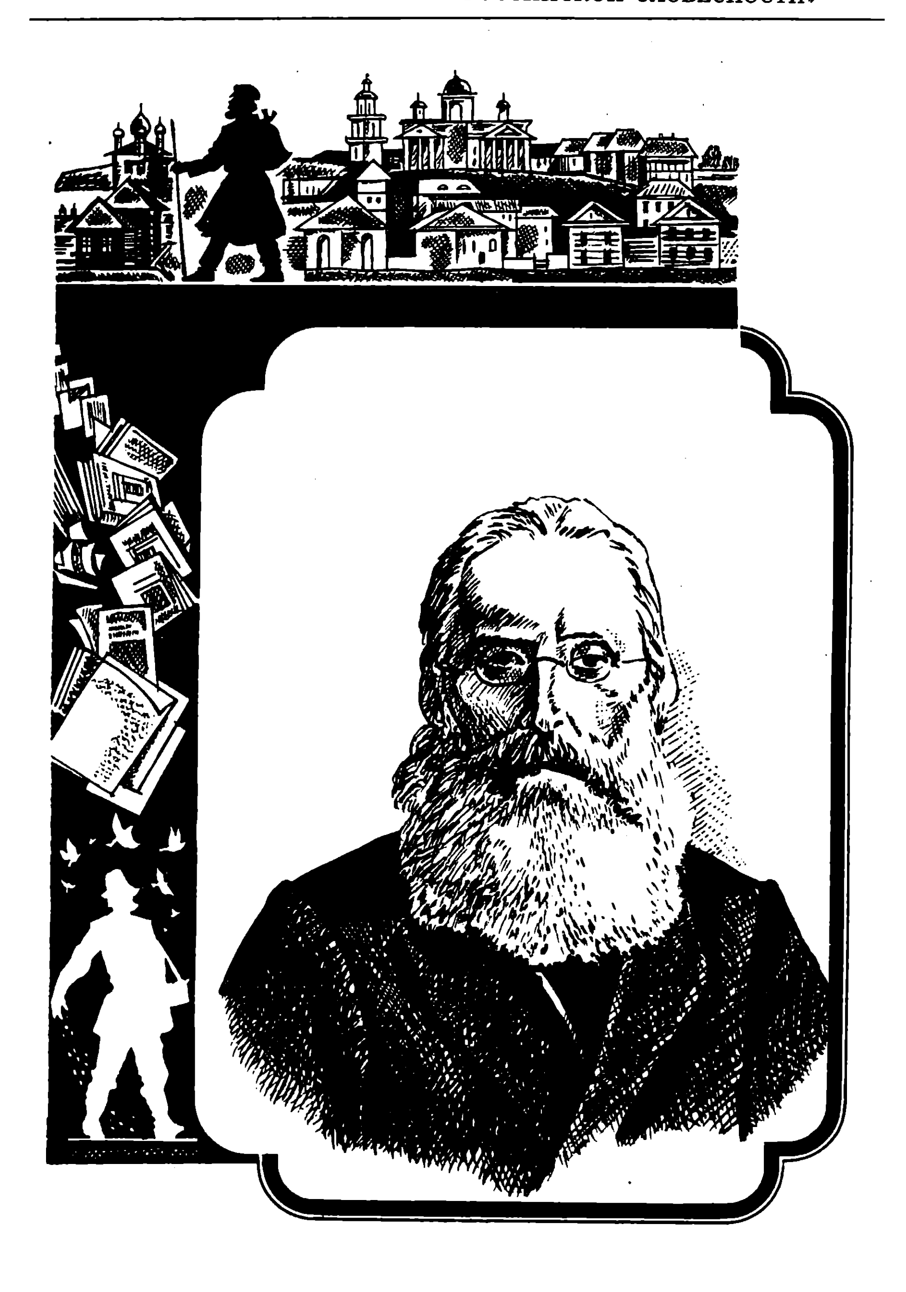
◆

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

БИБЛИОТЕКА
«ЛЮБИТЕЛЯМ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ»



ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ



ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

С. В.
МАКСИМОВ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«Современник»
Москва
1986

83.3Р1
М27

Составление, вступительная статья и комментарии
Ю. В. Лебедева

Рецензент Ю. М. Лощиц

Максимов С. В.
М27 Литературные путешествия / Вступ. статья и коммент. Ю. В. Лебедева.— М.: Современник, 1986.— 415 с., портр.— (Б-ка «Любителям российской словесности. Из литературного наследия»).

Творчество Сергея Васильевича Максимова — писателя, фольклориста, этнографа, энтузиаста народознания — известно современному читателю по книгам «Крылатые слова», «Год на Севере» и «Куль хлеба и его похождения».

В настоящую книгу вошли очерки С. В. Максимова о русских художниках слова — близких друзьях писателя — А. Н. Островском, Л. А. Мее, И. Ф. Горбунове, П. И. Якушкине, размышления о фольклорных истоках русской литературы.

М $\frac{4603010101-140}{М106(03)-86}$ 295—86

ББК83.3Р1
8Р1

ПИСАТЕЛЬ-ПЕРВОПРОХОДЕЦ

Благословен умело и смело грядый по нехоженным и маловедомым путям родной страны!

С. В. Максимов — А. П. Чехову

«Это удивительно скромный человек и далеко не оцененный по достоинству на своей родине, где имя его очень популярно, но не гремит, как гремело бы за границей, если бы Сергей Васильевич Максимов, только очень недавно избранный в почетные академики Императорской академии наук, был писателем иностранным... Но такова уж судьба русского писателя за очень немногими исключениями»[1] — так говорил буквально за несколько месяцев до смерти С. В. Максимова его биограф литературовед П. В. Быков.

С тех пор прошло более восьмидесяти лет, восстановивших многие литературные репутации. Но до недавнего времени имя Максимова было известно лишь узкому кругу специалистов, его произведения, в сущности, не издавались, счастливым исключением являлась книга «Крылатые слова». Творчество Максимова еще не получило достойной оценки и в нашем литературоведении. Известный советский писатель С. Н. Марков незадолго до смерти сказал: «Максимова я считаю классиком русской литературы, выдающимся историком-энциклопедистом в отношении жизни и быта русского народа... У меня мечта. Она заключается в том, что нужно переиздать Максимова. В начале нашего века было сделано великое начинание. Культурное издательство «Просвещение» выпустило собрание сочинений Максимова в двадцати томах. Это зеркало русской жизни его времени и более ранних периодов. Чего там только нет! Народная демонология, народные поверья, приметы народные. Максимов — непонятно забытый великий знаток русского народа. Даже не великий — величайший! Пословицы, поговорки, лексика русская — все эти вопросы глубоко, с большим знанием дела разработаны Сергеем Васильевичем Максимовым»[2].

И вот мечта писателя начинает сбываться. К 150-летию со дня рождения Максимова издательство «Советская Россия» выпустило томик избранной его прозы, а «Молодая гвардия» — книгу «Куль хлеба и его похождения». Статьи о творчестве писателя появились в литературно-художественных

[1] Быков П. В. Исследователи русской жизни: С. В. Максимов.— Живописная Россия, 1901, № 4, с. 52.

[2] Цит. по кн.: Ганичев В. Н. У огня. М., 1982, с. 17.

и специальных академических журналах. Интерес к его наследию стремительно возрос в широких кругах советских читателей. Да это и немудрено. Уже по одной его книге — «Крылатые слова» — о Максимове можно говорить как о человеке необыкновенно талантливом. Известно, что революционно-демократическая критика высоко ценила его литературное творчество. М. Е. Салтыков-Щедрин писал: «Драгоценнейшее свойство г. Максимова заключается в его близком знакомстве с народом и его материальною и духовною обстановкою. В этом смысле рассказы его должны быть настольною книгой для всех исследователей русской народности, наравне с трудами Даля, Мельникова, Якушкина и других»[1].

Было бы ошибкой видеть в Максимове только беллетриста-этнографа, хотя и это уже немало. Максимов, конечно, имел незаурядный дар ученого-исследователя народного быта и нравов, но собственно этнографическими вопросами он никогда не ограничивался, оставаясь еще и талантливым писателем, чутким к движению народной жизни, народного сознания.

Русская литература XIX века в лице своих гениев, творцов классического романа, создавала обобщенный, синтезированный образ народной России. Но такая обобщенность требовала отвлечения от реального многообразия и пестроты народного мира, от индивидуальной неповторимости каждого уголка, каждой деревушки на бескрайних русских просторах. А ведь еще В. Г. Белинский с удивлением и восхищением писал: «Великороссия, Малороссия, Белоруссия, Новороссия, Финляндия, Остзейские губернии, Крым, Кавказ, Сибирь,— все это целые миры, оригинальные и по климату, и по природе, и по языкам и наречиям, и по нравам и обычаям, и особенно по смеси чисто русского элемента со множеством других элементов, из которых иные родственны, а иные совершенно чужды ему. Мало этого: сколькими оттенками пестреет сама Великороссия не только в климатическом, но и в общественном отношении! Северная полоса России резко отличается от средней, а средняя от южной. Переезд из Архангельска в Астрахань, с Кавказа в Уральскую область, из Финляндии в Крым,— все равно, что переезды из одного мира в другой. Москва и Петербург, Казань и Харьков, Архангельск и Одесса — какие резкие контрасты! Какая пища для ума наблюдательного, для пера юмористического!»[2]

У Белинского, завороженного богатствами российских духовных и географических просторов, не уставала рука от таких перечислений-призывов, адресованных «наблюдательному уму» русских писателей-демократов. Призывы не остались без отклика. Слова Белинского стали делом всей жизни для писателей типа Максимова. Он исколесил вдоль и поперек всю Русь, по-своему восполняя пробел, возникавший в русской литературе, устремленной в своем магистральном русле к созданию больших, синтезирующих форм. Творчество Максимова отвечало другим, не менее насущным потребностям времени. В эпоху торжества русского классического романа, в период исключительного расцвета литературы как особой формы художественного сознания нужны были люди, которые не мудрствуя

---

[1] Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20-ти т. М., 1970, т. 9, с. 440.

[2] Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1955, т. 8, с. 377.

лукаво собирали на глазах у общества цветную мозаику народной жизни, ничего в ней не усекая и с предельной осторожностью используя специфические возможности литературы. Можно остаться писателем, но не спешить свести концы с концами, не завершать и не закруглять в произведении то, что в самой жизни не укладывается в эстетически совершенные формы. Верность жизненному факту стояла на первом плане в творческой работе Максимова. Демократический дух 1860-х годов проявлялся в этом безграничном доверии к жизни, которая сама по себе казалась богаче любых, даже самых дерзновенных, художественных фантазий. Доверием к жизненному процессу с его собственными творческими возможностями были проникнуты строки основного тезиса революционно-демократической эстетики Н. Г. Чернышевского: «Произведение искусства может иметь преимущество перед действительностью разве только в двух-трех ничтожных отношениях и по необходимости остается далеко ниже в ее существенных своих качествах»[1].

По тем же причинам и Салтыков-Щедрин с особым вниманием относился к беллетристам-первопроходцам, исследователям новых, еще не освоенных литературою явлений действительности. Писатели максимовского склада, по Щедрину, не претендовали на создание целостных, художественно завершенных картин, они ограничивались «отрывками, очерками, сценками». Но только так, по-видимому, и можно было подготовить почву для новых литературных форм, более широко и всесторонне обнимающих живое многообразие окружающего мира. Именно потому Салтыков-Щедрин считал, что книги Максимова должны стать настольными для всех писателей-демократов, исследователей русской народности. Так оно и случилось. С. В. Максимов дал богатые материалы для творчества своему ближайшему другу А. Н. Островскому, а также М. Е. Салтыкову-Щедрину и Н. А. Некрасову. Знаменитые произведения Максимова «Сибирь и каторга» и «Бродячая Русь» увидели свет на страницах «Отечественных записок» Некрасова и Щедрина и повлияли на создание некрасовских поэм «Дедушка», «Русские женщины» и «Кому на Руси жить хорошо», их отголоски слышатся в щедринской «Истории одного города», в «Горячем сердце» Островского и др. В то же время книги Максимова сохраняли и сохраняют собственную познавательную и эстетическую ценность. Без них наше представление о России, о ее прошлом, о народе и его культуре было бы в значительной степени обедненным.

* * *

Максимов обладал редкостным по тем временам некнижным знанием жизни, приобретенным не по готовым источникам, не с чужого голоса, но вынесенным из самой народной глуби, из непосредственного общения с русским мужиком. Еще в детстве Максимов узнал народ накоротке в глухом посаде Парфентьево, затерянном в дремучих лесах Кологривского уезда Костромской губернии. Здесь он родился 7 октября 1831 года в семье мелкопоместного дворянина Василия Никитича Максимова, парфенть-

---

[1] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: В 15-ти т. М., 1949, т. 2, с. 69.

евского почтмейстера. В двухлетнем возрасте Максимов лишился матери, и детские годы будущего писателя прошли без материнского присмотра и ласки, в кругу посадских ребятишек.

Посад располагался в живописной местности, в отрогах Северных Увалов. «Подъезжая к Парфентьеву, оглянитесь,— писал Максимов в очерке «Грибовник»,— много ли таких картинных местностей на Руси святой? Кругом обступили горы: посад действительно в ложбине. По горам стоят густые сухие... боры... воздух весь пропитан ароматом сосновых лесов, весь наполнен смолою, без малейших признаков болотных миазмов»[1].

Но резким контрастом с окружающей природой оказывалась жизнь посадского люда. Бедность поражала всякого при первом взгляде: не было «ни одного каменного дома», а деревянные «прогнили до слез». Не лучше жилось и окрестным крестьянам на отвоеванной у лесов скудной землице российского Нечерноземья. «Овес, ячмень, рожь, лен, да и все тут... К тому же и то, что высевается, на шестой год, голодный, всегда не доходит, но и в счастливое время родится только сам-3-й, сам-4-й, отбивая от земли всякую надежду». Поневоле приходилось жителям Парфентьева и окрестностей искать средства к существованию на стороне. Кто уходил в Сибирь «коновалить», кто в Питер на отхожие промыслы, а многие на месте пробавлялись грибным промыслом. Ежегодно, 15 августа, собиралась в Парфентьеве специальная грибная ярмарка, съезжались в посад именитые судиславские купцы и скупали грибной товар за бесценок.

Однако тяжелые жизненные условия не убили в парфентьевском крестьянине живую душу, скорее наоборот. В трудностях, в ежедневной борьбе с невзгодой и нуждой оттачивался характер цепкого, изворотливого костромского мужика, мастера на все руки: и хлебороба, и плотника, и резчика по дереву, и ювелира, и гончара. А «парфянам» еще и повезло по-своему. Не знал этот край татарской неволи. По преданию, перед грозным морем непроходимых лесов остановилась вражеская орда, оцепенели татарские конники. «...Удивленно оглядывали они лесную даль заречья. На всем видимом пространстве не могли отыскать зоркие глаза сынов степей хоть каких-нибудь признаков человеческого жилья, и тогда темник дал знак своему отряду поворачивать обратно»[2].

Потому-то и напитала парфентьевская земля будущего писателя живой водой народного творчества. В первозданной чистоте вплоть до недавнего времени сохранялись здесь старорусские обряды и обычаи. Немало бродило тут деревенских артистов, талантливых людей с художественной жилкой, умевших все: «Сказку ли смастерить на смех и горе, чтобы и страшная была и потешная, песню ли спеть, чтобы в слезы вогнать и кончить пением старого петуха и кудахтаньем курочки; овцой проблеять, козелком вскричать и запрыгать сорокой; собаку соцкого передразнить и замычать соседской коровой; старой нищенкой попросить милостыни»г. Слава о них шла по всей округе.

Зачерпнув полные пригоршни ключевой воды из родника устного народного творчества, Максимов в детстве же приобщился к источнику

[1] Максимов С. В. Избранное. М., 1981, с. 84.

[2] Бородкин Ю. Кологривский волок.— Роман-газета, 1982, № 18, с. 1.

высокой книжной культуры. Отец писателя, по свидетельству современников, был человеком передовым и образованным. Он поддерживал дружеские связи с опальным поэтом-декабристом П. А. Катениным, который с 1838 года безвыездно проживал в родовой вотчине Шаево неподалеку от Парфентьева и часто навещал гостеприимный дом Максимовых. Не исключено, что именно под влиянием Катенина, прославленного мастера «простонародных» баллад, серьезного соперника в этом В. А. Жуковского, определились литературные пристрастия Максимова. Любовь к народной поэзии и народному быту, к живому русскому языку писатель бережно пронес через всю свою жизнь: еще в детстве богатые жизненные впечатления оформились у него в прочную культурную оправу довольно высокой пробы. Не прошло бесследно для Максимова и страстное увлечение «шаевского изгнанника» историческим прошлым России, его любовь к древнерусской культуре и языку.

Не последнюю роль в формировании будущего писателя сыграли, конечно, и счастливые природные задатки. Заметим, что все дети парфентьевского почтмейстера вышли людьми незаурядными, семья его дала России трех выдающихся общественных деятелей. Спустя десять лет после смерти любимой жены, когда сын Сергей, закончив посадское народное училище, был пристроен в Костромскую гимназию, в 1843 году Василий Никитич Максимов, в возрасте 53 лет, женился вторично. Из трех сводных братьев писателя, появившихся на свет после 1843 года, два оставили заметный след в истории русской культуры и науки. Николай Васильевич Максимов был известным беллетристом. По окончании Морского корпуса он служил на флоте, участвовал, командуя батальоном, в сербско-турецкой войне 1876 года, а в русско-турецкую кампанию 1877 года состоял корреспондентом при отряде М. Д. Скобелева и был ранен под Плевной. Его перу принадлежат очерки «Две войны» (Спб., 1879) и рассказы «На досуге. Беллетристический сборник» (Спб., 1891). Младший брат Максимова Василий Васильевич окончил Петербургскую медико-хирургическую академию, защитил диссертацию на степень доктора медицины. Он тоже участвовал в русско-турецкой войне в санитарном отряде Красного Креста в Черногории, а затем — в действующей армии. С 1893 года В. В. Максимов возглавлял кафедру хирургии Варшавского университета и стал автором многочисленных трудов по медицине.

Неспроста С. В. Максимов часто и с благодарностью вспоминал потом в своих дальних странствиях о родительской кровле, «которая там, далеко, за Волгой, за дремучими лесами, в печальных местах дальнего костромского уезда»[1]. На волжские берега, в губернский город Кострому, двенадцатилетний мальчик приехал с солидным запасом жизненных и книжных впечатлений. Литературный талант проявился у Максимова в годы юности. На торжественном акте в Костромской гимназии выпускник произнес покорившее гимназистов и преподавателей слово о Ломоносове — великом сыне простого поморского рыбака. Сам выбор темы показателен для молодого человека, вышедшего из мелкопоместной семьи.

[1] Максимов С. В. На Востоке: Поездка на Амур. Дорожные заметки и воспоминания. Спб., 1864, с. 98.

В Костроме большое влияние на подготовленного и восприимчивого гимназиста оказал учитель русской словесности Пермяков, поклонник Белинского, просветитель и демократ. Немаловажную роль в его писательской судьбе сыграл и другой земляк — драматург А. А. Потехин, с которым он сохранил приятельские отношения на всю жизнь. Демократические симпатии беллетриста-первопроходца питали и поддерживали также типичные волжские впечатления. Пройдет много лет, но и в далекой Сибири, заслышав тоскливый напев каторжной «Милосердной», он унесется воображением на Волгу, «где, ломая путину и разламывая натруженную и наболевшую грудь жесткой лямкой, бурлак тянет свою унылую песню, подлаживая к ней свой шаг, приурочивая свои разбитые ноги»[1].

Успешно закончив в 1850 году Костромскую гимназию в числе первых ее учеников, Максимов отправляется в Москву. Он мечтает о призвании литератора, но русское правительство, испуганное революционными событиями 1848 года в Западной Европе, резко сокращает наборы в высшие учебные заведения, а на филологический факультет Московского университета вообще прекращает его. Выбора не было, и поневоле пришлось Максимову поступать на медицинский факультет.

Первые впечатления провинциала в Москве оказались противоречивыми. Впоследствии он задавал себе и читателям вопрос: «Отчего плохи провинциальные города, окружающие Москву?» Ответ Максимов подыскал следующий: «А, может быть, они оттого и плохи, что Москва хороша. ...Москва, что пиявка, высосала из них все хорошее, всю кровь: сама разбухла и развалилась, что напившаяся чаем купчиха...»[2] Обучение в университете, на факультете, избранном по необходимости, а не по призванию, тоже не удовлетворяло будущего литератора. Он становится завзятым театралом, носится с замыслом большого труда по истории театра, а между делом занимается переводом легковесных французских сочинений по заказу издателей из Никольского ряда.

В те годы жесточайшего цензурного гнета и полицейских преследований духовная жизнь в России на время как бы оцепенела и замерла. Но остановить ее вообще не удалось даже Николаю I. Наряду с казенной университетской наукой и рядом с нею в годы «мрачного семилетия» расцветала «наука» иная, студенческая, не нуждавшаяся в официальном дозволении. Максимов довольно быстро сводит дружбу с одаренными людьми, своими однокашниками. В их числе будущий историк Дмитрий Иловайский, будущий знаменитый врач Сергей Боткин, талантливые однокурсники рязанцы Иван Колюбакин и Константин Мальцев. Сформировался небольшой студенческий кружок, увлеченный народной песней, следящий за новинками в литературе и театральном искусстве.

На московском горизонте восходило тогда новое литературное светило: притчей во языцех становилось имя А. Н. Островского. В 1850 году редакторы «Москвитянина» М. П. Погодин и С. П. Шевырев, пытаясь спасти пошатнувшийся авторитет своего издания, приглашают в журнал целую

---

[1] Максимов С. В. Сибирь и каторга. Ч. 1, Несчастные. Спб., 1871, с. 30.

[2] Максимов С. В. На Востоке: Поездка на Амур, с. 67.

группу демократически настроенных молодых литераторов. При «Москвитянине» образуется так называемая «молодая редакция», душою которой оказывается Островский. В июньском номере «Москвитянина» за 1850 год он публикует комедию «Свои люди — сочтемся!», получившую шумную известность и восторженное неофициальное признание. К Островскому примыкают талантливые критики Аполлон Григорьев и Евгений Эдельсон, проникновенный знаток и вдумчивый исполнитель народных песен Тертий Филиппов, поэт-юморист Борис Алмазов, начинающие писатели Алексей Писемский и Алексей Потехин, поэт Лев Мей... Кружок ширится и растет, вбирая новых членов.

Через брата Е. Эдельсона Аркадия, сокурсника Максимова, группа студентов-медиков удостаивается чести знакомства с самим Александром Николаевичем Островским, который, прослышав об актерских и исполнительских талантах И. Колюбакина, решил сам навестить друзей, ютившихся в чердачном помещении доходного дома на Спиридоновке. Об этом событии, оказавшемся, как потом выяснилось, одним из решающих в литературной судьбе Максимова, он с сердечным теплом рассказывает в личных воспоминаниях.

Живой интерес к национальной культуре, к народному быту и русской песне объединял в дружную семью талантливых людей из самых разных сословий — от дворянина до купца и мужика-отходника. Само существование такого кружка было дерзким вызовом казенному, удручающему однообразию «подмороженной» русской жизни эпохи николаевского царствования. Здесь, в кругу одаренных русских людей, под благотворным влиянием Островского, прошел Максимов свои первые университеты. Здесь он сошелся и сдружился с А. Ф. Писемским, своим старшим земляком, а затем и собратом по литературному творчеству. А. Н. Майков в одном из позднейших писем к Максимову замечал: «Вы помните наше знакомство с Писемским: не знаю, он ли был крестным отцом ваших первых произведений, но помню, что его трезвый взгляд на жизнь и искусство сильно действовал на вас, еще юношу, и не остался без влияния на дальнейшие ваши труды. Он, кажется, первый и указал вам на изучение жизни русского народа, найдя в вас и нужную для того подготовку, меткий взгляд и разумную наблюдательность»[1]. Но скорее всего пробуждению литературного таланта Максимова способствовала вся эстетическая и нравственная атмосфера кружка Островского, в котором юноша вращался в течение двух лет. Он сам впоследствии заявлял: «Москве я обязан... моим литературным воспитанием и первыми проблесками моего сознания, что я должен чем-нибудь быть полезен народу»[2].

В 1852 году писатель переезжает в Петербург, надеясь поступить там на филологический факультет университета. Но мечте этой не суждено осуществиться. Юноша определяется для продолжения медицинского образования в Императорскую медико-хирургическую академию. Это учебное заведение вскоре обрело известность как alma mater нигилизма (материализма,

---

[1] Цит. по ст.: Плеханов С. И. Странник.— В кн.: Максимов С. Избранное. М., 1981, с. 9.

[2] Максимов С. В. Собр. соч.: В 20-ти т. М., 1912, т. 1, с. 13.

радикальных идей и демократических настроений). Здесь Максимов сближается с Николаем Степановичем Курочкиным, будущим поэтом-демократом, и с его братом Василием Степановичем, талантливым переводчиком Беранже и поэтом-сатириком, а с 1859 года — бессменным редактором революционно-демократического журнала «Искра». К дружескому триумвирату Максимова и братьев Курочкиных, снимающему в Петербурге общую квартиру, примыкает Виктор Иванович Якушкин — впоследствии способный сельский врач, послуживший И. С. Тургеневу одним из прототипов Евгения Базарова. Максимов делит с В. С. Курочкиным горечь поэтических неудач и радость первых успехов, вынашивает вместе с ним планы издания будущей «Искры». На страницах журнала «Сын отечества» затерялось не вошедшее в современные издания сочинений В. С. Курочкина стихотворение «Старинный обычай», посвященное Сергею Васильевичу Максимову. В этом стихотворении дружная, веселая семья разночинцев противопоставляется «надутой, чванливой» петербургской знати, пренебрегающей русской культурой, народными обычаями («Что свято нам — забавно им»):

В пирах отцы и деды наши
Златым не кланялись тельцам,
И дребезжанье хрупкой чаши
Уподобляли их судьбам.
Веселость жажду возбуждала
У них за праздничным столом,
Рукой их дружба поднимала
Бокал с вином...[1]

Литературные интересы и в Петербурге одерживали у Максимова верх над интересами медицинской науки. По приглашению Л. А. Мея, который перебрался из Москвы в Петербург в 1853 году, он начинает сотрудничать в издании «Справочного энциклопедического словаря», выходившего под редакцией известного журналиста А. В. Старчевского. Максимов публикует в «Словаре» ряд заметок, среди которых выделяется статья о творчестве В. И. Даля. Она характеризует уже определившиеся вкусы начинающего писателя, работающего над первым своим очерком «Крестьянские посиделки в Костромской губернии», который увидел свет в январском номере журнала «Библиотека для чтения» за 1854 год.

В «Библиотеке для чтения» произошла к этому времени своего рода бескровная революция. Еще в 1848 году помощник О. И. Сенковского А. В. Старчевский стал постепенно оттеснять старого редактора и оживлять журнал. К сотрудничеству в нем был привлечен критик демократических убеждений А. И. Рыжов, а в 1852 году в критический и библиографический отделы журнала пришли А. В. Дружинин и М. Л. Михайлов. Оказавшись не у дел, Сенковский охладел к своему детищу и фактически устранился от редакторской деятельности. Вскоре в «Библиотеку для чтения» был приглашен в качестве постоянного сотрудника выдающийся публицист и педагог К. Д. Ушинский, составивший вместе с Михайловым

[1] Курочкин В. Старинный обычай (Сергею Васильевичу Максимову).— Сын отечества, 1857, № 50, с. 1225.

и Рыжовым «триаду молодых критиков и публицистов, близких к демократическому направлению и к лучшим представителям «Современника»[1].

В редакцию «Библиотеки» Максимова ввел Л. А. Мей, а приветил и закрепил в ней поэт-демократ, критик и публицист М. Л. Михайлов, будущий сотрудник «Современника», выдающийся революционер-демократ 1860-х годов, одним из первых тогда поплатившийся за свою революционную деятельность ссылкой в Сибирь на каторжные работы. Благодаря протекции Михайлова вслед за «Крестьянскими посиделками» Максимов публикует в «Библиотеке для чтения» 1854 года один за другим свои очерки: «Извозчик», «Несколько слов о музыкальности», «Швецы», «Маляр», «Сергач». Михайлов не только высоко оценил первые литературные опыты Максимова, но и во многом помог начинающему писателю войти в литературную среду. Об этом тепло писал Максимов на склоне лет в литературных воспоминаниях: «В редакции «Библиотеки для чтения» я с ним познакомился, был им обласкан, услышал первые приветливые слова и поощрение к тем работам по изучению крестьянского быта, которые я тогда робко начинал. Он свел меня к Тургеневу и ввел в тот кружок литературных корифеев, который тогда около него группировался. Он указал Панаеву на одну из моих статеек, и из уст последнего я получил первую поощрительную и одобрительную похвалу в печати»[2].

Очерки Максимова были замечены Тургеневым, который при личной встрече с автором сказал: «Ступайте в народ, внимательно наблюдайте, запасайтесь свежим материалом! У вас хорошие задатки». Такое напутствие прославленного автора «Записок охотника» не прошло для Максимова бесследно. Весной 1855 года он оставил Петербург и отправился в путешествие по Владимирской, Нижегородской и Вятской губерниям. В Вязниковском и Ковровском уездах он изучал быт офеней, ходебщиков и разносчиков, которые торговали образáми, книгами, красным товаром, сыром и колбасой, одним словом, всем, что, по словам Максимова, «успело залежаться и прогнить в московских лавках Ильинского ряда». Писатель решился на довольно дерзкое предприятие: практика подобных хождений в народ была тогда ничтожной. Предшественники Максимова смотрели на такие занятия свысока, с точки зрения «фланера, дилетанта», но «никак не работника, обязанного известным делом и непреложным обетом»[3]. Для Максимова же этот почин превратился в серьезное дело всей жизни, в служение, основой которого была любовь к народу и вера в его творческие силы. Он шел в народ, повинуясь голосу совести, чувству гражданской ответственности за судьбу Родины в один из самых сложных и переломных моментов ее истории.

К весне 1855 года всем стало ясно, что длившаяся два года Крымская война фактически проиграна. Страна вступила в полосу глубокого и затяжного

---

[1] Егоров Б. Ф. Борьба эстетических идей в России середины XIX века. Л., 1982, с. 27.

[2] Максимов С. В. За Писемского: По литературным воспоминаниям.— В кн.: Шелгунов Н. В., Шелгунова А. П., Михайлов М. Л. Воспоминания. М., 1967, т. 2, с. 462.

[3] Максимов С. В. В дороге: Из путевых записок.— Отечественные записки, 1860, № 8, с. 220.

национального кризиса. Самодержавная власть, бюрократическая государственность, институт крепостнических отношений в деревне обанкротились в глазах всего русского общества. Россия жила предчувствием больших социальных перемен. По рукам прогрессивно мыслящих людей Москвы и Петербурга как первый симптом общественного пробуждения уже ходили списки стихов А. С. Хомякова «России»:

В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна...[1]

Среди многих проблем, волновавших тогда русское общество, на первом плане была проблема освобождения крестьянства от крепостной зависимости. Крестьянский вопрос весь XIX век оставался у нас вопросом всеобщим: от его разрешения зависела жизнь нации, ее судьба. «Мысль народная» в лучших достижениях русской классики приобрела значение универсальное, легла в основу целостного образа живой, неофициальной России. В обществе появился запрос на людей, знакомых с народом накоротке. «В то доброе наивное время всяких начинаний и сближений,— вспоминал соратник В. С. Курочкина поэт-демократ Д. И. Минаев,— среди множества других открытий разных местных америк, мы, между прочим, открыли целую породу людей, называемых «пейзанами» или «мужичками», у которых была своя литература, своя внутренняя жизнь и история... Многих в те времена очень занимал крестьянский быт, но понятия о нем были очень смутные: или его идеализировали во вкусе повестей Д. Григоровича, «сочиняли народ», или относились к нему с вопросительным недоумением»[2].

Максимову приходилось самому искать путь к сердцу мужика: позади не было «ни одного примера, никакой школы и поучения». Он вел «рудниковые работы» не в архивах, не за книгами и бумагами, а в живом общении с мужиком; он не просто наблюдал народную жизнь со стороны, а входил в нее, сам становился на мгновение офеней, крестьянином-хлеборобом или отходником. Немало труда, душевной чуткости и гибкости требовалось проявить, чтобы собеседник не замкнулся «в своей толстой раковине, а распустился бы как цветок на весеннем солнышке всецело, до последнего, самого мелкого лепестка»[3].

Итогом первого путешествия Максимова явился цикл рассказов и очерков, опубликованных в журнале «Библиотека для чтения» за 1855—1857 годы. Коробейники, иконописцы, портные, шерстобиты, маляры, штукатуры, плотники, деревенские знахари и колдуны, извозчики и вожаки медведей — таковы герои максимовских очерков, вошедших впоследствии в его книгу «Лесная глушь». Тут и песни, и пляски, и святочные озорства, и народный

---

[1] Хомяков А. С. Стихотворения и драмы. (Б-ка поэта, Большая серия.) Л., 1969, с. 136.

[2] Минаев Д. И. Товарищеские воспоминания о П. И. Якушкине.— В кн.: Сочинения Якушкина П. И. Спб., 1884, с. XLI—XLII.

[3] Максимов С. В. В дороге: Из путевых записок, с. 226.

театр с популярной для того времени инсценировкой про голого барина. Тут и народный календарь, осенне-зимние занятия крестьян средней полосы России, народные «заплачки» и заговоры. Перед русским читателем раскрывались одна за другой страницы жизни и быта крестьянства середины XIX века.

Сотрудник некрасовского «Современника», двоюродный брат Н. Г. Чернышевского А. Н. Пыпин вспоминал, что максимовские очерки были одним из первых опытов изучения народного быта в молодом поколении беллетристов 1860-х годов. Максимов проложил путь русским демократам-шестидесятникам: Николаю и Глебу Успенским, Левитову и Решетникову. По дорогам Максимова прошел чуть позднее революционер-демократ В. А. Слепцов, автор очерков «Владимирка и Клязьма». Современников привлекало в очерках Максимова «желание понять народный быт, как он есть», с создавшими его условиями, «понять равноправно и человечно, с особым ударением на мудрости и мудрености народного быта, который нелегко уразуметь по-народному»[1]. Писатель шел в народ не столько для того, чтобы учить его, сколько для того, чтобы у него учиться, «чтобы вынести из моря народной жизни те знания, без которых наша забота об этом народе будет делом мертворожденным»[2].

Успех первых опытов воодушевил Максимова на новое предприятие. Сама история шла навстречу начинающему писателю-демократу. В феврале 1855 года скончался Николай I, а в августе пал Севастополь. Поражение России в Крымской войне обнаружило «гнилость и бессилие крепостной России»[3]. В стране назревала революционная ситуация: низы не хотели жить по-старому, а верхи не могли по-старому управлять. Александр II взошел на русский престол с обещаниями существенных перемен сверху. Либеральные веяния коснулись и брата нового монарха, великого князя Константина Николаевича, возглавлявшего военно-морское ведомство. Он решил осуществлять набор новобранцев во флот, по примеру французов, из жителей приморских местностей и больших судоходных рек. Предполагалось, что крестьяне, с детства занимающиеся промыслами на воде, пополнят флот способными матросами и укрепят военно-морские силы России. Великий князь предложил организовать «литературную экспедицию» из числа талантливых писателей для изучения образа жизни поселян морских побережий, озер и больших рек страны. Это было, по словам Максимова, «небывалое событие». «Неожиданно, но определительно и ясно выражено было намерение употребить в дело силы, с которыми до той поры боролись или которых только гнали»[4].

В экспедиции приняли участие А. Н. Островский, А. Ф. Писемский, М. Л. Михайлов и другие. По предложению Михайлова И. И. Панаев рекомендовал директору канцелярии морского министерства С. В. Максимова:

---

[1] Пыпин А. Н. История русской этнографии. Спб., 1892, т. 3, с. 70—71.

[2] Сементковский Р. Встречи и столкновения.— Русская старина. 1912, № 12, с. 572.

[3] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 173.

[4] Максимов С. В. Литературная экспедиция.— Русская мысль, 1890, № 2, с. 17.

«Господин Максимов на свой счет путешествовал с целью изучать быт и нравы, а теперь он желает быть присоединенным к какой-нибудь из экспедиций, назначаемых от морского министерства. Я вам смело рекомендую этого молодого человека и уверен, что его трудами будут довольны»[1]. На долю Максимова выпало обследование прибрежий Белого моря, Ладожского и Онежского озер. Об организации «литературной экспедиции», о трудностях, с которыми столкнулись литераторы на неизведанных путях, об их удачах и поражениях подробно рассказывает писатель в статье «Литературная экспедиция (по архивным документам и личным воспоминаниям)».

Писатель отправился во второе путешествие в августе 1856 года, имея перед собою ясную общественную цель — борьбу с «застарелыми язвами народного организма, которые не перестали ныть и болеть»[2]. Перед отъездом в «полунощные страны» он совершил окончательный выбор своего жизненного пути. С медициной пришлось расстаться навсегда: 11 февраля 1856 года Максимов был уволен по личному прошению со второго курса Императорской медико-хирургической академии[3].

Странствуя по Печоре, Двине, Мезени, Пинеге и поморским берегам Белого моря, Максимов неспроста вспоминал народную поговорку: «Не зовут вола пиво пить — зовут вола воду возить». Это была действительно трудная работа, встречавшая на своем пути немало внешних и внутренних препятствий. Внешние заключались в бесконечных разъездах. Привелось использовать всевозможные способы передвижений: Максимов плавал на кораблях и шкунах, ездил на почтовых парах и тройках в телегах, ездил на оленях и на лошадях верхом, немало дорог промерял пешим ходом... Внутренние же препоны случались двоякого свойства. На пути молодого литератора чаще всего вставала провинциальная власть. Чиновники николаевской выучки относились к писателям подозрительно: чего доброго, в комедию вставят, ославят и осмеют. Но тут на помощь литераторам приходила местная молодежь из среды просвещенного чиновничества, сельских педагогов и духовенства. Труднее преодолевалось естественное вековое отчуждение между барином и мужиком. Здесь нужно было полагаться лишь на свои собственные силы и пускать в ход талант искренней человечности и неподдельного демократизма. Легко давалась внешняя сторона дела: описание свадеб, похорон, крестин... Но как только речь заходила о социальных бедах и невзгодах, приходилось выслушивать в ответ: «Батюшко, ваше сиятельное превосходительство! Не пиши ты этого: может, и сболтнули мы тебе чего неладного. Не погуби ты нас, сделай милость!..» «Надо было много испытаний, много труда и терпенья,— замечал Максимов,— чтобы войти в доверие тех лиц, от которых ждал поучения и нравственной пищи»[4].

В постоянной борьбе с этими трудностями оттачивался талант общения, формировался совершенно особый склад личности Максимова, вобравшей

---

[1] Максимов С. В. За Писемского.— Новое время, 1889, № 4880.
[2] Максимов С. В. Литературная экспедиция, с. 27.
[3] См.: Формулярный список о службе Сергея Максимова.— Гос. архив Костромской обл., ф. 121, оп. 1, л. 2. Указано Е. В. Сапрыгиной.
[4] Максимов С. В. В дороге: Из путевых записок, с. 254, 258.

в себя многие лучшие стороны национального характера. Приходилось прибегать и к хитростям: «Хотелось ли мне записывать песни, я сначала пел сам одну, другую и третью, хвалил свои песни и, незаметно возбуждая досаду, затем соревнование, слушал потом лучшую песню, мне неизвестную»[1]. А когда обреталось доверие, начиналась обильная жатва, сторицей окупавшая затраченные труды. Мужики начинали говорить все вдруг, «как любит говорить русский человек, когда затронет все сердца один общий интерес и накипит на этих сердцах невзгода и недовольство и когда нет русскому человеку никакого другого исхода, кроме этих торопливых и недовольных разговоров. «Хоть в разговорах-то и жалобах этих,— думает он,— разведу я свое горе и уложу расходившееся сердце, благо наскочил на меня живой человек, который меня слушает, а может быть, и сочувствует мне. ...Горе наше великое, а жалобу принести некому. Всякий сказывает: «Не мое дело». Не похлопочет ли ваша милость? Сделайте, господа, великую божецкую милость!»[2]

Ответом на эти призывы безвестного русского люда явился обстоятельный рассказ Максимова о суровой жизни поморов и жителей северных русских рек. В 1859 году вышла в свет двухтомная книга писателя «Год на Севере», получившая сочувственный отклик в сердцах читателей и высокую оценку в русской критике. Успех этот был связан не только с литературными достоинствами книги, но и с уже характеризовавшимися выше крупными переменами в общественной жизни России той поры. Литература горячо откликалась на новые запросы, усиливала их.

Вслед за Чернышевским поэт революционной демократии Некрасов в 1855 году писал:

В наши великие, трудные дни
Книги не шутка: укажут они
Все недостойное, дикое, злое...[3]

И даже либерал А. В. Дружинин, стоявший в первой половине 1850-х годов на позициях «чистого искусства», к 1859 году сделал решительный шаг навстречу Чернышевскому и Салтыкову-Щедрину. Об этих переменах в общественном умонастроении русских литераторов прекрасно рассказал Максимов в воспоминаниях о П. И. Якушкине, включенных в наше издание.

На страницах «Библиотеки для чтения» Дружинин дал точное определение своеобразию писательского дарования Максимова и великолепный разбор его книги «Год на Севере». С точки зрения Дружинина, талант Максимова-беллетриста противостоял целой плеяде тогдашних литераторов, «далеких от практической жизни», «скопившихся по столицам» и «живущих каким-то особенным, книжным существованием». Эти люди подчас действительно талантливы и образованны, но «уединенная жизнь, занятая одной кабинетной работой», «мало-помалу отражается на всей их деятельности»[4]. Современная литература, по Дружинину (и здесь он во многом

[1] Максимов С. В. В дороге: Из путевых записок, с. 258.
[2] Максимов С. В. На Востоке: Поездка на Амур, с. 294.
[3] Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 15-ти т. Л., 1982, т. 4, с. 25.
[4] Библиотека для чтения, 1859, № 7, отд. «Литературная критика», с. 14.

перекликается с Чернышевским и Щедриным), должна выйти из кружкового, столичного бытия. Необходимы меры крутые и решительные — «толковые путешествия по России, принятие на себя писателями каких-нибудь практических обязанностей помимо литературы, временное удаление от однообразной столичной жизни, сближение с различными классами общества и с простым народом»[1].

Максимов менее всего думает о проблемах собственно литературных: о красоте слога, о картинах природы, о группировке характеристических подробностей. Содержание его очерков отличается крайней практичностью и жизненной точностью, на первом плане у него деловые цели описания, преследуя которые писателю некогда думать о картинности выражения своих мыслей. Но тут-то и происходит эстетический парадокс: «Безо всякого старания со стороны автора, безо всяких стремлений его к погоне за поэзиею,— поэтическая сторона книги сказывается «сама собою»... Постоянно проникаясь живым и дельным рассказом, читатель, как сквозь дымку развевающегося тумана, ясно увидит перед собою то, к чему никогда сознательно не стремился автор, то есть физиономию края, характеристические группы туземцев, наконец, разнообразные картины северной природы, которых, по-видимому, г. Максимов и изображать вовсе не собирался»[2].

Секрет этого парадокса Дружинин разгадывает легко: «В науке и искусстве всегда так совершается: полюбите предмет, изучите его глубоко, и его поэзия, вместе с мелкими подробностями, придет сама собою»[3]. Любопытно, что в писательской манере Максимова зримо проявились характерные особенности русской литературной школы вообще, видные со стороны даже в творческом почерке таких наших классиков и утонченных стилистов, каким был, например, Тургенев. О «нечаянной красоте» искусства Тургенева Мериме сказал так: «Ваша поэзия ищет прежде всего правду, а красота потом является сама собой»[4].

Сохраняя познавательную, практическую ценность, книга Максимова «Год на Севере» удерживала в себе и непреходящие эстетические достоинства. Все это в совокупности и определило ее успех, и принесло автору широкую известность в литературном мире. Географическое общество удостоило его труд золотой медали. До сих пор ни один серьезный исследователь и писатель, знаток русского Севера, не может обойти вниманием это уникальное по богатству фактического материала и острой художественной зоркости произведение «очарованного странника» русской литературы.

В новое путешествие он отправился летом 1858 года, не дождавшись выхода в свет «Год на Севере». На этот раз в дальний путь по просторам южных губерний Максимова сподвигнул, по всей вероятности, Павел Иванович Якушкин, появившийся в Петербурге весной 1858 года и вызвавший некоторую сенсацию в столичных литературных кругах. Воспоми-

---

[1] Библиотека для чтения, 1859, № 7, отд. «Литературная критика», с. 14.
[2] Там же, с. 16
[3] Там же, с. 17.
[4] Цит. по кн.: Берковский Н. Я. О мировом значении русской литературы. Л., 1975, с. 101.

нания Максимова о П. И. Якушкине, которыми открывается наша книга, отличаются особым лирическим колоритом: речь идет не просто о друге, но и о родственном по духу писателе, от которого и сам Максимов кое-что позаимствовал: «Способ пешего хождения в народ Павел Иванович признал удобным и обязательным для себя на всю жизнь,— замечает мемуарист.— Образ странника был любезен и дорог ему, сколько по привычке, столько же и по исключительности положения в среде народа, где страннику, захожему человеку велик почет и уважение»[1].

Странствие по южным губерниям Максимов, по примеру Якушкина, совершил в костюме торговца средней руки. Это помогало легко и свободно сходиться с людьми разных сословий и прежде всего с крестьянами. Материалы поездки вошли позднее в замечательную книгу «Куль хлеба и его похождения», адресованную русскому юношеству. По собственному признанию, автор писал ее для своих детей, «обреченных на городскую жизнь» и оторванных от деревенских просторов, не имеющих представления о тяжелом труде пахаря-хлебороба. Эта книга о цене куска хлеба, выдержавшая в свое время несколько изданий, сохранила непреходящее значение и поныне.

В 1860 году неутомимый странник совершает одно из самых длительных и далеких путешествий. Он едет по поручению морского ведомства на Восток к берегам Амура. В русской печати высказывалось тогда сомнение в целесообразности освоения далекого и пустынного края. Книга очерков «На Востоке. Поездка на Амур» раскрывала перед читателями поэтические картины природных богатств и наглядно убеждала в перспективности экономического и культурного развития Дальнего Востока.

На обратном пути писатель занимается изучением быта каторжан и ссыльных, получая разрешение властей беспрепятственно проникать в самые потаенные углы сибирских острогов, а также работать в местных архивах. В большом исследовании Максимов ведет рассказ об истории сибирской каторги, о жизни обитателей «мертвых домов». Царское правительство не решилось адресовать эту книгу широкому читателю. Первая ее часть под названием «Тюрьма и ссылка» была напечатана в 1862 году небольшим тиражом с грифом «секретно» для служебного пользования. Но с этой «эпопеей, в своем роде Илиадой и Одиссеей каторжной жизни»[2] были знакомы друзья писателя, демократически настроенные литераторы обеих русских столиц. Впервые максимовский труд был опубликован на страницах некрасовских «Отечественных записок» в 1868—1869 годах[3], а затем вышел отдельным изданием под названием «Сибирь и каторга».

Он стал «настольной книгой» для всех людей, небезразличных к парадоксам отечественной истории. Книга была замечена даже либерально настроенными «верхами» русского общества в эпоху так называемых «великих реформ». Достаточно сказать, что 14 мая 1871 года Максимов

---

[1] Максимов С. В. Павел Иванович Якушкин: Биографический очерк.— В кн.: Сочинения П. И. Якушкина. Спб., 1884, с. VII.

[2] Скабичевский А. Сочинения: в 2-х т. Спб., 1903, т. 2, стлб. 685.

[3] Труд Максимова С. В. послужил важным источником Н. А. Некрасову в работе над поэмами «Дедушка» и «Княгиня Трубецкая».

был назначен членом комиссии для обсуждения способов устройства каторжных работ при министерстве внутренних дел[1]. Таковы были последствия путешествия писателя по сибирским тюрьмам и острогам, которое закончилось в 1861 году.

А в 1862—1863 годах по заданию морского ведомства Максимов отправился в новое путешествие — на Каспий и реку Урал. Он пишет очерки о жизни местного населения, о раскольниках и сектантах, обращая внимание на оппозиционные настроения в народном миросозерцании. «Странствуя долго, забираясь далеко и видя многое», писатель создал азбуку хождения в народ, которой потом широко воспользовались русские революционные народники. В ряде очерков он высказал дельные советы о том, где и как лучше всего можно разузнать всю правду о народе, о его взглядах и суждениях. Русские народники, очевидно, прислушивались к советам своего старшего друга, используя в качестве пропагандистского клуба ярмарки, народные празднества и гуляния, питейные заведения. Помогал им и костюм торговца средней руки, пущенный в ход Максимовым и Якушкиным.

После путешествия на Каспий и Урал наступил довольно длительный период оседлой жизни писателя. Не исключено, что «оседлость» была вынужденной: в 1862 году произошло событие, пошатнувшее репутацию Максимова в официальных кругах. За писателем был установлен негласный полицейский надзор, причиной которого явились следующие обстоятельства. Приятель Максимова, писатель-этнограф В. И. Кельсиев во время службы в Российско-Американской кампании перебрался с Аляски в Лондон и сблизился с Герценом. В 1862 году под видом турецкого подданного он вернулся в Россию для организации революционной партии. В Петербурге Кельсиев встречался с деятелями революционного движения и сочувствующими ему, в том числе и с Максимовым. Когда полиция напала на след Кельсиева, Максимов в числе других был взят под наблюдение и в течение двух лет находился под тайным надзором полиции.

Временный перерыв дал возможность писателю сосредоточиться и привести в порядок собранные во время многочисленных странствий материалы. В 1865 году товарищество «Общественная польза» приглашает Максимова редактировать издания для народа. Демократ-просветитель, прекрасно чувствующий психологию и глубоко понимающий потребности читателя из народа, создает серию самобытных книг, написанных ярким русским языком и адресованных мужику. Наряду с переизданным «Краем крещеного света» выходят книги «О русской земле», «О русских людях», «Крестьянский быт прежде и теперь» и другие. Любовно, с пушкинским проникновением в психологию различных наций и народностей повествует Максимов в книге «Край крещеного света» о жизни и культуре вогулов, зырян, вотяков, черемисов, чувашей, мордвы, карелов, эстонцев, литовцев, латышей, монголов, бурят, киргизов, калмыков и т. д. Он подмечает в народах черты неповторимой талантливости, самобытной культуры, национального своеобразия.

[1] См.: Гос. архив Костромской обл., ф. 121, оп. 1, д. 7577, л. 2.

Последнее путешествие Максимова состоялось по заданию Российского географического общества в 1867—1868 годах в составе этнографической экспедиции по изучению Северо-Западного края. Писатель объездил Смоленскую, Могилевскую, Витебскую, Виленскую, Гродненскую и Минскую губернии. Материалы этой поездки печатались частью в газете А. Краевского «Голос», частью в журнале «Древняя и новая Россия» и в многотомном издании «Живописная Россия». Белорусские и смоленские наблюдения вошли также в большое художественно-этнографическое исследование Максимова «Бродячая Русь», опубликованное в 1874—1876 годах в некрасовских «Отечественных записках», а в 1877 году — отдельным изданием с несколько измененным заглавием: «Бродячая Русь Христа-ради». Судьба последней книги примечательна тем, что после ее публикации вновь пересеклись творческие пути Максимова и Некрасова. На этот раз следы влияния максимовской книги сказались в итоговом произведении поэта — «Кому на Руси жить хорошо». Сам сюжет поэмы — странствия по Руси семерых крестьян-правдоискателей — созвучен духу максимовских мыслей о коренных основах народного характера. На некоторых образах и мотивах «Бродячей Руси» построена вторая главка «Пира на весь мир» — «Странники и богомольцы». Собирая в течение многих лет «по словечку» материалы для своего итогового произведения, Некрасов неоднократно обращался к глубокому и умному знатоку народной жизни С. В. Максимову.

Обремененный семьей и материальными затруднениями, 8 февраля 1868 года Максимов вступил на службу исправляющим должность редактора «Ведомостей Санкт-Петербургского градоначальства и столичной полиции», а 1 ноября 1878 года был утвержден в должности редактора этого официального и довольно скучного издания. Редакторская работа не приносила писателю никакого удовлетворения, но отнимала очень много времени и сил. В одном из своих писем к декабристу Д. И. Завалишину Максимов сообщал: «Я до 5 часов ночи сижу в типографии, все пишу сам, и каждая статья стоит несколько фунтов крови»[1]. Служба в официальном издании тем более претила писателю, что по складу своего характера он был честный и прямой человек, не терпящий никакой лжи и фальши. Вспоминали, что на одном из юбилеев редактора-издателя либеральной газеты, слушая льстивые речи оратора, Максимов встал и заявил во всеуслышанье: «И ты веришь, что они говорят тебе правду! Неужели ты так глуп?»

Нередко эта правдивость порождала ироническую дерзость, склонность «шебаршить» (по любимому словечку Максимова). Так, однажды на страницах его газеты, вскоре после 1 марта 1881 года, когда народовольцы убили Александра II, появилось крупное объявление о панихиде по в бозе почившем императоре Александре III, только что вступившем на престол. Трудно сказать, было ли то недосмотром или сознательным дерзким поступком. Но лишь заступничество влиятельных друзей смягчило правительственный гнев: редактор отделался простой гауптвахтой.

В эти годы, наряду с доработкой «Сибири и каторги» и написанием фундаментального труда «Бродячая Русь», Максимов работает над новым

---

[1] Щукинский сборник, вып. 10. М., 1912, с. 454.

произведением. Начиная с 1883 года на страницах ежедневной газеты «Новости» начинают появляться одна за другой его заметки под общей рубрикой «Не спуста слово молвится». Знаток русской истории и языка, Максимов дает в них разъяснение многим идиоматическим выражениям типа: «бить баклуши», «кричать во всю ивановскую», «попасть впросак». В 1890 году очерки объединяются в книгу под названием «Крылатые слова». Тогда же Максимов вплотную приступает к работе над личными воспоминаниями, которым суждено оставить заметный след в истории отечественной мемуаристики.

Собранные в настоящем издании статьи Максимова о Л. А. Мее, И. Ф. Горбунове, П. И. Якушкине, А. Н. Островском уникальны не только потому, что в советское время они не публиковались (за исключением статьи об Островском, которая, впрочем, вышла в 1966 году в составе сборника «Островский в воспоминаниях современников» со значительными сокращениями). Уникальность их еще и в своеобразии писательского подхода к освещению личности центральных героев. Любимое слово писателя «прислушливый» часто встречается в его сочинениях. Оно определяет наиболее ценимые Максимовым душевные качества. «Прислушливый» человек обладает особой чуткостью к другому, талантом приветного отклика на все явления окружающего мира. По складу характера и по природе своего писательского дарования Максимов был именно такой, «прислушливой» личностью, наделенной щедрой сердечной общительностью. Современники вспоминали, что он «всегда был окружен людьми, любовью же отвечавшими на его любовь»[1].

В статьях писатель следует мудрому смыслу народной пословицы: «По товарищам и слава». Жизнь героев не замыкается в себе: за отдельным лицом Максимов видит «мир», группу лиц. Лучшие, наиболее ценимые писателем черты А. Н. Островского, Л. А. Мея, П. И. Якушкина раскрываются в дружеских связях с окружающими. Статьи Максимова напоминают многолюдное собрание разных людей, тесно связанных между собою узами духовного родства, человеческого братства, писательской семьи. Автор исповедует наиболее существенные ценности русской духовной культуры, которая всегда определяла качество человеческой личности полнотою связей ее с окружающим миром, глубиною ее «врастания» в народную жизнь. В самой широте человеческих симпатий Островского уже заключается высокая значимость личности и таланта национального русского драматурга, сдружившего уральского казака с оптовым торговцем из Ильинских рядов, знаменитого виртуоза с кимровским мужиком, бывшим сапожником, учителя чистописания с известными критиками, землемера с актером первой величины.

Максимова интересует не только факт, но и сам процесс этих дружеских общений, включая его нравственный результат: взаимообогащение личностей в «прислушливых» связях друг с другом. Мы видим влияние дружеского кружка на Островского и обратное воздействие одаренной личности драма-

---

[1] Сементковский Р. Встречи и столкновения.— Русская старина, 1912, № 12, с. 572.

турга на все окружение. Именно Островскому обязаны: Горбунов — проявлением самобытного артистического таланта, уральский казак Железнов — пробуждением писательского дара. И «талант Садовского возрастал по мере того, как одновременно и параллельно развертывался, постепенно мужая, необыкновенный талант нашего знаменитого драматурга»[1]. Максимов сравнивает духовный эффект такого дружеского взаимообогащения с движением тока по проводникам — «очевиден лишь конечный изумительный результат: вольтова дуга накалилась, и заблистал яркий ослепительный свет»[2].

В статье об Островском Максимов подробно рассказывает о старой Москве, Замоскворечье, Серебряническом переулке, доме в приходе церкви Николы в Воробине. По русской пословице: «Что город, то норов, что деревня, то поверье, что изба, то обычай» — писатель бережно восстанавливает кровное родство Островского с нравственной атмосферой старой Москвы, с бесхитростной простотой и наивностью человеческих отношений в ней. Ведь «простота хуже воровства» лишь в том смысле, что она обнаруживает сердцевину явлений, делает зримым сокровенное, вскрывает подноготную самых сложных интриг. Максимов схватывает определяющую черту творческой индивидуальности национального русского драматурга, когда дает нам почувствовать демократические истоки наивной мудрости Островского, той мудрости, что сводит любую сложность к святой простоте, разоблачает нагую суть вещей и явлений.

Ценность статьи Максимова об Островском и его окружении заключается еще и в том, что она посвящена наименее известному периоду в жизни и творчестве драматурга; более подробных и полных свидетельств об этом в литературе нет. Разумеется, эти воспоминания не свободны от некоторой односторонности, неизбежной в произведениях такого жанра. До недавнего времени авторитетные исследователи творчества Островского упрекали Максимова в том, что он «делает драматурга идейным вождем «молодой редакции» и не говорит о существенных расхождениях между Островским и постоянно им недовольными критиками Ап. Григорьевым и Т. Филипповым»[3]. Однако вопрос о месте и роли Островского в кружке «молодой редакции» в первые годы ее существования (1850—1853) и по сию пору остается дискуссионным. Едва ли можно считать оправданными попытки отделить Островского от его якобы реакционных коллег. Б. Ф. Егоров, например, убедительно доказывает, что в ранний период «Островский не противостоял, а был идейным и художественным вождем «молодой редакции», заметно повлиявшим на каждого из ее деятелей»[4].

В литературно-критических взглядах драматурга начала 1850-х годов ведущую роль играла идея национальной самобытности русской литературы

---

[1] Русская мысль, 1897, № 5, с. 6.

[2] Там же, № 3, с. 75.

[3] Ревякин А. И. А. Н. Островский в воспоминаниях современников.— В кн.: А. Н. Островский в воспоминаниях современников. М., 1966, с. 11.

[4] Егоров Б. Ф. А. Н. Островский и «молодая редакция» «Москвитянина».— В сб.: А. Н. Островский и русская литература. Кострома, 1974, с. 23.

ратуры, основанной на гармонии «личного» и «общечеловеческого». В то время как в западноевропейских литературах, по Островскому, «узаконение» личности стоит на первом плане, а произведения, «карающие личность», оттесняются в «тень», для русской литературы свойственно «отвращение от всего резко определившегося, от всего специального, личного. эгоистически отторгшегося от общечеловеческого»[1]. Этот довольно широкий тезис Островского уточнялся и конкретизировался в дальнейшем всеми членами «молодой редакции», причем нередко в узкославянофильском смысле, хотя драматург был далек от односторонне-догматического толкования своих положений, по сути перекликающихся с мыслями революционера-демократа Некрасова о «посылке к другим» и «круговой поруке», высказанными в письме к Л. Н. Толстому от 5 мая 1857 года. «Рассматривайте себя как единицу,— писал Некрасов,— и вы придете в отчаяние»[2].

Максимов ведет речь о начальном периоде деятельности кружка, когда разногласия внутри его еще не определились, а демократические симпатии одерживали верх над консервативными тенденциями даже у Т. И. Филиппова, ставшего впоследствии рьяным защитником «официальной народности». В начале 1850-х годов члены «молодой редакции» переживали счастливое время юности и относительного единодушия, когда «единственно любовь к народу руководила деяниями» кружка, когда живая жизнь еще торжествовала над теорией. Споры и столкновения, закончившиеся распадом, начались позднее, когда Максимова уже не было в Москве.

Поэтому вряд ли имеет смысл приписывать Максимову славянофильские убеждения, под влиянием которых он якобы сгладил острые углы и противоречия. Правоверным славянофилом Максимов не был никогда. Оставаясь демократом, он на протяжении всей жизни и творчества сохранял довольно трезвое и скептическое отношение к теоретико-догматической стороне славянофильских программ. В статьях и о Якушкине, и об Островском писатель проводит довольно резкую разграничительную черту между славянофилами и писателями-демократами. В них «не отразилась,— по словам Максимова,— крайность: они не были славянофилами в том узком смысле, как понимает это наша критика: вынесли они с собою и оставили потом при себе искреннюю и твердую веру в честную, даровитую натуру великорусского племени, в широту его мирового призвания; болели случайными задержками в историческом поступательном шествии его по пути прогресса, веровали в народ и любили его настолько, чтобы всю жизнь потом оставаться за него работниками, ходатаями и заступниками»[3]. В отличие от Якушкина, Максимов и Островский не были революционерами (не потому ли в воспоминаниях о Якушкине Максимов глухо говорит об истинных причинах высылки Якушкина из Петербурга, о его революционно-пропагандистской работе в народе), но они оставались истинными демократами, умеющими любить народ и сердцем чувствовать его нужды

---

[1] Островский А. Н. Полн. собр. соч. М., 1953, т. 13, с. 140.
[2] Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем. М., 1952, т. 10, с. 335.
[3] Максимов С. В. Павел Иванович Якушкин..., с. VIII.

«без кабинетного западничества и без детского славянофильства»[1], если воспользоваться здесь вполне уместными словами Островского.

Статьи Максимова подкупают читателя свежестью впечатлений, сбереженных на долгие годы цепкой образной памятью. Автор рассказывает о самых плодотворных сторонах жизни «молодой редакции», о том, что способствовало формированию художественного миросозерцания Островского: увлеченность народным искусством и устным народным творчеством, артистическая атмосфера кружка молодых певцов и музыкантов от самодеятельных до виртуозов-профессионалов, мастеров устного рассказа из народного быта и знатоков, ценителей живого великорусского языка.

Максимов воссоздает неповторимую простоту и добросердечие, царившее в среде молодых людей разных званий и сословий, искренне преданных народной песне, увлеченных русской историей. Кажется, что сам автор переносится в далекое прошлое и начинает смотреть на мир глазами юного почитателя восходящего светила русского драматургического искусства. Он как будто вновь разделяет и предрассудки кружка, с недоверием относясь к сатирическому началу в литературе, с плохо скрываемым ревнивым чувством повествуя о сближении Островского с «Современником». Но благодаря этому воспоминания сохраняют достоверность и убедительность. Ведь в начале 1850-х годов вчерашний гимназист-провинциал вряд ли мог разобраться в «теоретических спорах и разногласиях» или даже быть посвященным в них, если допустить, что такие споры в «молодой редакции» 1851—1852 годов уже существовали. Столь же оправдана психологически отмеченная у Максимова «тенденция низвести все глубокие идейные связи и расхождения до уровня личных симпатий и антипатий»[2]. Такая «тенденция» типична для юного провинциала, с благоговением взиравшего на своего кумира, и Максимов погрешил бы против истины, если бы задним числом привнес в свои статьи теоретический элемент: тогда они потеряли бы прелесть «личных воспоминаний». Так, подчеркивая и заостряя разногласия между Островским и Щепкиным, автор допускает некоторые издержки и преувеличения. Но отступая от правды фактов, Максимов остается верен правде художественной памяти: в 1850-е годы эти разногласия преувеличивались и самим Островским, и всеми членами кружка.

При всем тематическом многообразии статьи воспоминания Максимова имеют внутреннюю цельность. Они группируются вокруг основного героя — Островского, находящегося в центре и окруженного яркой плеядой своеобразных «спутников», к числу которых можно отнести Горбунова, Мея, Якушкина и многих участников «литературной экспедиции».

Мастер устного рассказа, Максимов часто делился со своими друзьями и знакомыми воспоминаниями о встречах с Островским, о дружбе с Горбуновым, Михайловым, Писемским. Эти рассказы, переданные его благодарными слушателями, содержат интересные факты, не вошедшие в печатные тексты статей самого Максимова. В беседах с Сементковским, например,

---

[1] Островский А. Н. Полн. собр. соч. М., 1953, т. 14, с. 181.

[2] Ревякин А. И. А. Н. Островский в воспоминаниях современников, с. 13.

Максимов рассказал о том, как однажды ему довелось сидеть рядом с Островским во время представления «Грозы». Островский смотрел драму молча, углубленный в себя. Но в той «патетической сцене, когда Катерина, терзаемая угрызениями совести, бросается при всем народе в ноги мужу и свекрови, каясь в своем грехе, Островский весь бледный шептал: «Это не я, не я: это — бог». Островский очевидно сам не верил, что он мог написать такую потрясающую сцену»[1]. Крупицы этих свидетельств драгоценны: ведь в современных литературоведческих и сценических интерпретациях сцена покаяния, как и многое другое у Островского, трактуется слишком буднично и приземленно, в ней видят не величие души героини, а всего лишь проявление ее религиозных предрассудков.

На закате дней Максимов оставил должность редактора «Ведомостей Санкт-Петербургского градоначальства и столичной полиции», доставлявшую ему немало хлопот и огорчений. В 1898 году богатый меценат — князь Вячеслав Николаевич Тенишев создал в Петербурге «Этнографическое бюро» и разработал «Программы этнографических сведений» о крестьянах и «городских жителях образованного класса». Бюро ставило задачу сбора сведений о поступках и поведении управляемых для администрации, а также изучения народных обычаев, обрядов и верований. «Программа этнографических сведений о крестьянах центральной России», к исполнению которой был привлечен Максимов, содержала строгую систему наводящих вопросов, на которые должен был отвечать сотрудник бюро, окончательно обрабатывающий сведения, полученные от местных корреспондентов из разных губерний, уездов и волостей средней России. Так, в пункте 244 «Программы» ставились вопросы: «Нет ли каких особых обрядов, исполняемых в некоторые дни? На новый год? Канун его, день пророка Малахии (3 января)? Строго ли соблюдается обычай поститься 5-го января до восхода звезды? Не приносят ли домой воду, освящаемую в этот день? И не окропляют ли ею людей, избу, хлев, зимние помещения и проч.?»[2]

Судя по неопубликованным письмам Максимова, обнаруженным нами в одном из костромских архивохранилищ, работа «не собственным свободным порывом и расположением, а в путах чужой задачи, очень слабо выдержанной и очень темно выраженной», не приносила писателю желаемого удовлетворения. Система наводящих вопросов, по существу, исключала личную инициативу и творческий элемент в работе писателя, чрезмерно регламентируя его труд. Вызывало сопротивление Максимова и то обстоятельство, что программа «представляла собою на бóльшую часть перепевы» давно известных и открытых этнографических фактов. Сложность положения писателя в Этнографическом бюро усугублялась тем, что «Тенишев быстро охладел к этому делу, увидя, что оно не из таких, которые могли бы поднять его на желаемую высоту славы и почетной известности». Проводя большую часть времени в Париже, он поручил заведование этно-

---

[1] Сементковский Р. Встречи и столкновения, с. 576.

[2] Программа этнографических сведений о крестьянах центральной России, составленная князем В. Н. Тенишевым на основании соображений, изложенных в его книге «Деятельность человека» (Спб., 1897). 2-е изд. Смоленск, 1898, с. 109.

графическим бюро своему секретарю, с которым у Максимова возникали постоянные столкновения. В одном из писем костромскому другу А. Н. Макарову Максимов сообщал: «Скажу одно: Ваши взгляды на все дело Тенишева совпадают с моими личными точка в точку, и если я не передаю их самому Тенишеву, то лишь по той причине, что не изготовил еще самостоятельной работы,— стало быть, не закрепил твердого авторитета, который неустанным и самым назойливым образом старается оспаривать тот ловкий, завистливый и ревнивый «чинобрей», который заведует бюро».

В 1899 году Максимову удалось закрепить этот «твердый авторитет». В письме к А. Н. Макарову от 23 февраля 1899 года писатель сообщал: «За это время я успел ему (Тенишеву.— *Ю. Л.*) сделать нижеследующие очерки: домовой-доможил, домовой-дворовой, полевой баенник, гуменник, кикимора, русалка, оборотень, леший, водяной,— и вот теперь сижу над чертями... На Фоминой полагаем приступить к печатанию этой брошюры листов в 7—8 печатных для рассылки в виде образца различных приемов разработки материала и способов писания тем сотрудникам, которые могут задуматься над планом писания, и тем, которые не остыли желанием помочь или уже помогли в такой мере, что их следует только поблагодарить». Так была подготовлена и опубликована отдельным изданием под названием «Нечистая сила» (Спб., 1899) третья часть взятой на себя Максимовым программы, посвященная народной демонологии. Два других раздела («Неведомая сила» и «Крестная сила») при жизни писателя не издавались. Дни Максимова были сочтены. За шесть месяцев до смерти, в письме к Макарову от 6 декабря 1900 года писатель сообщал: «От меня, дорогой друг, не ждите того, о чем писал: ничего я не написал, что не печатано и, по случаю болезни, даже не успел кончить начатого («Крестная сила»). И это вторая моя, нравственная болезнь, более тяжкая и менее выносимая, чем физические страдания».

В крайне тяжелый момент, когда у писателя возникает желание «бросить все дело, выместив получаемое от бюро содержание годовыми доходами», когда неизлечимая болезнь — горловая чахотка — подтачивает силы, приходит известие об избрании его почетным академиком Императорской академии наук. Как известно, кандидатуру Максимова предложил для избрания А. П. Чехов. Общественное признание громадных заслуг писателя перед русской литературой пришло к нему слишком поздно, на пороге смерти. В письме к Макарову от 19 декабря 1900 года читаем по этому поводу следующие строки: «С возведением меня в звание почетного академика Академии наук «по разряду изящной словесности, учрежденному в ознаменование столетия со дня рождения А. С. Пушкина» (таков полный титул в дипломе), обязан надеть белый галстук и черный (чуть не красный, сенаторский) фрак, чтобы представиться Константину Константиновичу. И не знаю теперь, чем я буду говорить с ним: с разбитым вдребезги горлом придется, видимо, обычаем московских купцов, подхватить обеими руками брюхо и кланяться в пояс,— кланяться до тех пор, пока глаза не нальются кровью».

Преодолевая тяжелый недуг, к апрелю 1901 года Максимов завершил работу над «Крестной силой». В этой книге талантливый этнограф дал

живую картину народной жизни в оправе трудового крестьянского календаря. Современного читателя не должно смущать то обстоятельство, что основой этого календаря был годовой цикл христианских праздников. Знакомство с работой Максимова убеждает, сколь далека народная обрядность от догматических постулатов официального православия, какой причудливой трансформации подвергались в сознании русского крестьянина жития святых, в какую безраздельную зависимость от основных сельскохозяйственных забот мужика они попадали: Тимофей-весновей, Прокоп-увяз в сугроб, Василий-капельник, Евдокия-замочи подол, Герасим-грачевник, Ирина-урви берега, Петр-полукорм и т. п.

Максимов как писатель-демократ всячески подчеркивает именно эту, лишенную всяческого мистицизма, жизнелюбивую сторону народного миросозерцания, подчиненного ритмам годового круговорота природы, связанного с важными этапами трудового крестьянского существования. Однако он не упускает из виду и обратную сторону медали — темные стороны крестьянского миросозерцания, которые обострились на рубеже веков в связи с развитием в деревне новых, буржуазных отношений. Народная песня здесь «сплошь и рядом прерывается разухабистым фабричным мотивом, визгливыми звуками гармоники, а то и просто замечаниями непристойного характера. И единственно, кто еще не дает окончательно умереть подблюдной песне — это деревенские девушки!» Суровая проза крестьянского существования лишь оттеняет в книге Максимова чистую поэзию народного праздника, красоту старорусских обрядов и традиций. «Крестная сила» — итоговое произведение писателя-подвижника, энтузиаста отечественного народознания — достойным образом увенчивает его творческий путь.

В последние годы жизни у Максимова было желание оставить Петербург и поселиться в Ялте вместе с А. П. Чеховым. 29 октября 1899 года он сообщал Макарову: «...наглотавшись досыта крымского винограда в Ялте и напившись ессентуцкой воды в Кисловодске... снова попал в чудовищно-разрушительный климат мерзопакостного города, где теперь действительно нет ни неба, ни земли: одна зыбь поднебесная. А состояние здоровья таково, что врачи в одно слово, как бы сговорившись, советуют навсегда поселиться в Ялте в компании (уже и налаженной мною) с Антоном Чеховым, у которого легочные дела тоже тяжелы очень».

Прекратив в апреле 1901 года свои работы в Этнографическом бюро и с легкой душой собираясь в Крым, Максимов заехал в Варшаву к своему брату В. В. Максимову. Здесь он почувствовал себя так плохо, что по совету брата решился на операцию, которая прошла успешно, но продлила его жизнь лишь на короткое время. Вернувшись в Петербург, он скончался 3 июня, на семидесятом году жизни. Его похоронили на Волковом кладбище, на литераторских мостках, рядом с собратьями по перу, трудам и любви к народу...

Пришло время, когда книги Сергея Васильевича Максимова, «знатока русской коренной жизни, ее духа, ее форм, ее юмора» (А. П. Чехов), переиздаются и становятся, по верному слову М. Е. Салтыкова-Щедрина, настольными для всех исследователей русской народности.

Ю. Лебедев

ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ ЯКУШКИН

(БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК)

Наступила весна 1858 года, и в Петербурге обновлялась природа, оживая и улыбаясь; хотя улыбка эта казалась и в то время довольно грустной, тем не менее та весна была из лучших в другом, не в астрономическом и не в физическом смысле. Переживалось время, когда здоровая струя свежего воздуха вдруг ворвалась в наш мир и потянула такой крепкой тягой, прибодряя нервы, что почуялись особые неведомые силы и неодолимая потребность работы. Среди светлых радостей весны, после суровой зимы и томительных скитаний по сугробам, на освеженном воздухе, на обещанной свободе и несомненном просторе работалось суетливо, безрасчетно, но охотливо, по сознательному долгу и твердой уверенности в неизбежности и обязательности труда[1].

К тому времени весенних работ если и произведено было немного, то затеяно было довольно. Предчувствовались еще бóльшие работы впереди.

Остановимся из многих других на литературном поле, так как на нем и мы толклись с прочими и суетились в толпе, поджидая назначения и не задумываясь о том, что, может быть, приведется тяжело и не по силам. Не зовут вола пиво пить — зовут вола воду возить.

На литературном поле к прежним работникам мало-помалу стали присоединяться новые. Участие свежих сил стало прибодрять; некоторыми показаны новые приемы, и, по общему закону человеческого прогресса, очень удачные и более успешные.

Литература в это время заручилась уже «Губернскими очерками»[2]. Песни Беранже, в прелестных переводах и счастливых переделках В. С. Курочкина, входили во вкус и сильно увлекали[3]. Неумолкавшие деятели из прежних перестраивали тоны и стали искать мотивов не в отвлечениях

абстрактной мысли, а в живой струе голой жизненной правды, олицетворяемой в художественных образах. Кто сделал так, у тех лишь и оставались сочувствующие слушатели. Времени переворота прошло еще немного, но совершилось неслыханное: около новых проповедников быстро собралась густая толпа слушателей и еще быстрее и неожиданнее выразилось взаимное сочувствие, которого ни подозревать, ни ожидать не было никакой возможности. Словно все сговорились, и как будто все давно уже вели между собой условный символический разговор по необнародованной и нецензурной азбуке.

Время это было замечательно именно тем, что проявилось тогда много нового и неожиданного.

Из числа этих новых и неожиданных, по крайней мере для Петербурга, было появление в этом центре журнальной и газетной деятельности весной 1858 года нового лица. Явилось оно по своей надобности, с очень скромной целью. Однако, несмотря на наличную его скромность и даже застенчивость, ни на короткое пребывание его здесь, лицу этому удалось произвести очень сильное впечатление на те литературные кружки, в которых оно появилось. Все было в нем своеобразно и притом самобытно, многое поражало известного рода резкостью и даже крайностями; сама причина его приезда выходила из ряда обыкновенных и была следствием его оригинального образа жизни и способа действий.

Мы увидели перед собой человека, одетого в полумещанский, полукрестьянский костюм, у которого парадным платьем на выход была черная суконная поддевка и те же высокие сапоги с напуском, без калош. В городе, не терпевшем тогда никакого разнообразия и отступлений даже в архитектуре зданий и придумавшем форменную одежду для дворников, появление поддевки показалось явлением довольно резким. Столичный глаз привык понимать по платью только два вида людей: военных и статских. Бороды в то время были строго воспрещенной контрабандой и, в виде исключения, терпимы были только у людей, носивших третий вид терпимой столичной одежды, имевшей общее название русской. На человеке, вызвавшем эти замечания наши, русское платье резало глаза и останавливало внимание проходящих: при русском костюме он носил очки, которые в среде простых, русских людей и посейчас составляют резкую исключительность, допускаемую грамотными стариками-начетчиками. Собственно, только одни очки и стояли в противоречии с костюмом. На первых порах могло казаться, что костюм надет с целью выделиться из толпы и попробовать задать новую моду. Но так могли думать (и думали) лишь мимоидущие: на людей, присмотревшихся

ближе, костюм произвел совершенно другое впечатление. Видимый оригинал надел, в сущности, именно то платье, которое наиболее соответствовало его роду занятий, его задушевным побуждениям, и без него он был бы так же неполон и без бороды и других своих резких, но своеобразных особенностей. По справке оказалось, что такое платье носит тот человек уже десять лет, что он прошел в нем среди серьезных опасностей и великого множества неприятностей и уберег себя среди насмешек и оглядываний.

Борода была густая и довольно подержанная: седина уже предательски пробивалась в ней. Павел Иванович Якушкин был в русском наряде своем безупречно искренен, а без него решительно не мыслим. В Петербурге над ним успели посмеяться до того, что задали ему серьезную задачу пораздумать о замене русского костюма общепринятым платьем. Для подобной оказии раз настояла даже крайняя нужда, когда представилась необходимость являться ему к бывшему его начальнику по Московскому университету, графу С. Гр. Строганову. Подозревалась опасность от швейцара; визит в мужичьем наряде мог показаться если не дерзостью, то насмешкой перед таким богатым и гордым аристократом. Мы очень усердно хлопотали об устранении этих внешних препятствий, которые в то время нам казались очень серьезными. Достали фрак, одели Якушкина франтом, весьма приличным на первый взгляд, но с первых же шагов новоставленника решились отказаться от своей скороспелой затеи: Павел Иванович положительно разучился носить всякий другой костюм, кроме усвоенного и завоеванного им. В нем он производил одну из труднейших работ изучения русского народа, встречался глаз на глаз с ним в самых источниках, где тихо и скромно струятся они в густых зарослях, едва приметные глазу и с трудом доступные (доступные только после многих усилий и при известном искусстве). Об искусстве и работах его знали кое-кто в Москве и очень смутно в Петербурге: так скромна была деятельность этого исследователя русской народности. В Петербурге, в значении литературного деятеля, П. И. Якушкин имел полное основание показаться новостью, и показался именно той силой, которая копилась под спудом, но достаточно окрепла и дерзнула появиться лишь в то время, когда повеяло новым духом и предчувствовался запрос на людей, знакомых с народом, которому приготовлялась великая реформа освобождения. В видимой новинке оказались, однако, старые заслуги и старые труды. Он уже успел сделать довольно и одну часть работы довел до конца. Само появление его в Петербурге вызвано было неудачным исходом этих долговременных и тяжелых работ. Он собирал песни для П. В. Ки-

реевского. Сборник был кончен, надо было его набрать и окончательно приготовить к изданию. Киреевский умер. Наследник его передал его работу г. Бессонову, к глубочайшему огорчению главного деятеля и наилучшего оценщика собранного материала[4]. Павел Иванович решился издать собственный сборник, из записок личной памяти и коекаких лоскутков. На то время пишущий эти строки успел вернуться из Архангельской губернии с двумя сборниками собранных там песен. Павел Иванович приехал с просьбой помочь выйти из обидного положения.

Привел Павла Ивановича брат его Виктор[5], наш друг и товарищ по медицинской академии,— одна из светлых и честных личностей,— находившийся в то время под тем же обаянием необходимости труда живых работ. Привез он брата из деревни, сам будучи на пути за границу для усовершенствования в европейских медицинских факультетах*.

Предшествовавшая жизнь Павла Ивановича не богата событиями. Вот что мы знаем о том. Родился он в 1820 году, в усадьбе Сабурове, Малоархангельского уезда, Орловской губернии, в дворянской семье с достаточными материальными средствами. Отец его, Иван Андреевич, служил в гвардии, вышел в отставку поручиком и жил постоянно в деревне**. Хотя семья Якушкиных и успела лишиться отца далеко до времени совершеннолетия самого старшего брата, Александра, тем не менее она осталась на руках матери, которая пользовалась общим, глубоким уважением, внушаемым ее бесконечной добротой, светлым умом и сердечностью. Прасковья Фалеевна владела в то же время тактом опытной хозяйки, и именье, доставшееся семье после отца, не только не расстроилось (как это бывает при подобных условиях), но приведено было в наилучшее состояние. Благодаря этому счастливому обстоятельству, Прасковья Фалеевна имела возможность воспитать шестерых сыновей в Орловской гимназии

* Удалось ему сделаться потом в своих краях довольно известным в качестве безмездного и опытного врача, особенно между местным крестьянским населением, но преждевременно умер и он (на сороковом году жизни) в Риме, от чахотки. (Здесь и далее постраничные примечания принадлежат С. В. Максимову.— *Ю. Л.)*

** Он имел родного брата Дмитрия Андреевича, сын которого Иван Дмитриевич, двоюродный брат Павла Ивановича, пострадал во время событий в декабре 1825 года, был сослан в Сибирь и оставил после себя записки, напечатанные частью в «Рус⟨ском⟩ архиве»[6]. Сын Ивана Дмитриевича, Евгений Иванович, заявил себя в литературе в последнее время замечательным трудом по исследованию обычного народного права, обратившим на себя особенное внимание ученых. Исследование это («Обычное право», вып. 1) напечатано в Ярославле, в 1875 году. В «Трудах» тамошнего губ⟨ернского⟩ стат⟨истического⟩ ком⟨итета⟩ помещены «Молитвы и заговоры», записанные им же в Пошехонском уезде, а в «Вестн⟨ике⟩ Яросл⟨авского⟩ земства» — «Волостные суды в Ярославской губернии»[7].

и затем двум из них (Александру и Павлу) открыть дорогу к университетскому образованию, а третьего (Виктора) воспитывать в Петербургской медико-хирургической академии.

Хотя я не пишу биографии Якушкина в строгом смысле, с соблюдением надлежащих требований и следуя общепринятым приемам этого рода сочинений, все-таки считаю необходимым здесь, прервав рассказ, остановиться мимоходом на одном обстоятельстве.

Род Якушкиных — старинный дворянский, занесенный в 6-ю часть дворянской родословной книги Смоленской губернии. Несмотря на то, что аристократические права и претензии в данном случае нарушены самым резким демократическим образом всеми шестью братьями без исключения, я не нахожу излишним рассказать следующее: их «предок с детства в службе бранной» служил тишайшему царю Алексею и кротчайшему его сыну Федору в войнах с турским салтаном и ханом крымским с ордами. В грамоте, жалованной царями Петром и Иоанном Алексеевичами и сохранившейся в семействе Якушкиных, за красною печатью и под шелковым прикрытием, стряпчий Григорий Сергеевич Якушкин похвалялся «за службу, промыслы и храбрость» и награжден был в 1686 году пустошами в Московском уезде да в Вяземском. Потомок его, Андрей, в 1752 году жалован из лейб-гвардии капралов в прапорщики, а в 1811 году выдана Якушкиным в Смоленске грамота на дворянское достоинство. Записаны были тогда в 6-ю книгу капитан Семен и подпоручик Иван Андреевы Якушкины и недоросль Иван Дмитриев Якушкин. Иван Андреевич был отцом наших Якушкиных и, через обмен (или покупку) смоленского жалованного поместья на лучшее черноземное в Малоархангельском уезде, стал орловским помещиком. Его женой и матерью 7 сыновей и одной дочери сделалась его крепостная девушка, умная по природе и, по русскому народному закону, во вдовстве проявившая еще бóльшие умственные способности и высокие нравственные и практические качества.

* * *

В Московский университет Павел Иванович поступил в 1840 году на математический факультет, слушал его довольно успешно, так что был уже на четвертом курсе, когда встреча с М. П. Погодиным и П. В. Киреевским изменила предначертанный случайным выбором план будущих занятий. Узнав, что П. В. Киреевский собирает народные песни, Якушкин записал одну и отправил к сообщителю с товарищем, нарядившимся лакеем. П. В. за эту песню выдал 15 р⟨ублей⟩

асс⟨игнациями⟩. Якушкин вскоре повторил опыт и на третий раз получил уже от собирателя приглашение познакомиться. Песни были неподдельного народного творчества, взятые не из того источника, которым пробавлялась столичная публика при помощи цыган и военных запевал на народных гуляньях и кутежах. Чуткий к способностям Якушкина, Петр Васильевич на собственный счет задал ему такую работу, которая наиболее соответствовала дарованиям неудавшегося математика. Не сделался Якушкин ни учителем арифметики и геометрии в какой-либо из гимназий московского учебного округа, ни чиновником казначейства или других счетных палат: П. В. Киреевский отправил его для исследования в северные поволжские губернии, разом на ту дорогу, которая оказалась потом настоящей и на которой Якушкин и получил литературную известность.

Якушкин взвалил на плечи лубочный короб, набитый офенским[8] товаром на крестьянскую руку, ценностью не больше десяти рублей, взял в руки аршин и пошел под этим незамысловатым видом торговца-сумошника на исследование народности и для изучения и записывания песен. Взятый товар, подобранный больше в расчете на слабое девичье сердце, предназначался не на продажу, а на вымен на песни и на что подойдет из подходящего этнографического материала.

Путь был темен, приключений бездна; и жердочка тонка, и речка глубока: опасность на ней велика, если не предусмотреть мелкого пустяка, какого-нибудь сучка, даже задоринки.

Торговец Якушкин по грязи и бездорожице, под защитой случайной угревы, присаживаясь на облучок встречной и попутной тележонки, шел к своей цели прямо. Крюки и уклонения в сторону он позволял себе только по задаче интересной местности — разумеется, всего охотнее в глушь, по диким проселкам. А здесь честь не велика. Две версты до цели.

— Да ты не ходи: идти нельзя, волков много.

— Одну только версту опасно будет, а там другая верста пойдет полем,— утешает другой.

В другой раз смерклось: хорошо бы на боковую. Постучался в одну избу — отказали; постучался в другую — отказали с утешением: «Хоть не стучись — здесь не примут, иди дальше в харчевню на большой дороге». В харчевню также не пустили, хоть и предложена была плата за ночлег. Приняли в караулке. Место на грязном полу, на голых досках вповалку с другими — вот и рай, за который, по требованию, пожалуй, и хорошие деньги можно бы заплатить.

А могло случиться на такую стать: в пешем хождении по Владимирской губернии Павел Иванович попал в зажору по

пояс, промок до костей и прозяб до тифозного воспаления. В кабаке выручил целовальник, из сердоболия дерзнувший отворить дверь и дать водки, но не осмелившийся оставить у себя ночевать и обогреться. Однако дал он провожатого, который и привел в теплую избу. Здесь на печи не столько водка, сколько молодые, не надорванные силы свалили опасность вешних вод и саму воду, как с гуся.

В Переяславле-Залесском отравили его в трактире солянкой, надо было садиться и ехать на лошадях. Ямщик везет и, слушая оханья, приходит в ужас, недалек от мысли бросить больного на дороге, чтобы не привезти труп и не очутиться в ответе. Надо было сдерживать оханья, чтобы обманом сесть с другим ямщиком и ехать на свежих лошадях. С этим ямщиком, по просьбе последнего, нельзя было въехать на постоялый двор, привелось ночевать у будочника в конуре его, по выходе оттуда упасть на улице и, благодаря сердоболию мещанки, избавиться от колик на ее теплой печи, под ее горшками, которые она вскидывала ему на живот. Да всего и не перечесть, да и рассказывать о том излишне, так как Павел Иванович охотливо и откровенно рассказал о многих из своих похождений в немногих рассказах, напечатанных им в разное время и в разных повременных наших изданиях и собранных в настоящем издании полностью, без исключений[9]. Теперь В. О. Михневич, оценивший в нашем друге литературного деятеля, облегчил труд желающих подробнее проследить за поучительными похождениями и добровольным мученичеством оригинального человека.

Способ пешего хождения Павел Иванович признал удобным и обязательным для себя на всю жизнь. Образ странника был любезен и дорог ему, сколько по привычке, столько же и по исключительности положения в среде народа, где страннику, захожему человеку велик почет и уважение. С особенной любовью вспоминал он и рассказывал о тех случаях, когда его покормили молочком, яичницу-верещагу сделали. Около Новгорода попал он на рыбные тони, где отобрали ему ловцы самой лучшей крупной рыбы на уху. В другом месте старушка дала страннику копеечку на дорогу. Попадал он на большие угощения, получал кое-где даже почетные места в переднем углу. Денег нигде не брали.

— Нельзя ли дать мне щей, я заплачу, что стоит.

— И... Избави господи! грош возьмешь — беда! Так кушай сколько хочешь. Да кстати и щи уварились...

Даровое угощение, охотливая помощь ему, заслужившему таковые по безграничной любви к народу, были кстати: Якушкин ходил с скудными денежными запасами. Обусловливал он их у покровителей своих походов очень умеренно,

с совестливой деликатностью, тратил полученное безрасчетливо, больших денег и задатков боялся, не надеясь на себя, и отказывался от получения крупных сумм с откровенным сознанием в неспособности владеть и распоряжаться денежными кушами.

Но выход Якушкина, надо помнить, был новый — никто до него таковых путей не прокладывал. Приемам учиться было негде: никто еще не дерзал на такие смелые шаги, систематически рассчитанные, и на дерзостные поступки встреч глаз на глаз с народом. По духу того времени, затею Якушкина можно считать положительным безумием, которое, по меньшей мере, находило себе оправдание лишь в увлечениях молодости.

Тогда с «мужиками» водилась только литература, да и то благодаря вмешательству И. С. Тургенева, повести и рассказы про них начали читать у Д. В. Григоровича, и у преждевременно скончавшегося И. Т. Кокорева[10]. Однако далевский сборник пословиц был для печати забракован, как сборник «народных глупостей»[11] и т. д. Столичных «гулящих господ» взялись посвящать в тайны народной поэзии цыгане и разные хоры русских певцов, вырядившихся для пущего сходства в красные рубахи и плисовые поддевки. При помощи гитар и медных тарелок «русские певцы» рассказывали о Грунюшке-игрунье, которая умерла без юбки, а цыгане в виде той же народной песни преподносили ту, которая повествует о ножке, наступившей на бревно, и о свидетеле этого события, пожалевшем, что он не бревно. Решившись собирать подлинные народные песни, далеко не ребенком, а под тридцать лет, Якушкин делал крупный литературный шаг, сам того не подозревая, и во всяком случае торил тропу, по которой ходить другим было уже несколько полегче.

Ему на первых порах сошло с рук: увлечение помогло забраться далеко; случайность отвела вероятные толчки и предотвратила опасность. Первое путешествие окончено было благополучно, и прогулка без препятствий оставила лишь самое благоприятное впечатление, разманила, завлекла и обещала наибольшие успехи ввиду приобретенных приемов и практики.

Когда ему предлагали новые походы — он уже не задумывался.

По возвращении из похода в Москву через М. П. Погодина Якушкин сделался известен и любезен так называемым славянофилам, тем немногим, но всем известным московским ученым, которые работали над изучением задач русской жизни и русской мысли. Кружку людей этих П. И. Якушкин обязан был самыми существенными из своих верований и самым главным в своих честных и прямых убеждениях.

В нем не отразилась крайность: он не был славянофилом в том узком смысле, как понимает это наша критика: вынес он с собой и оставил потом при себе искреннюю любовь и твердую веру в честную, даровитую натуру великорусского племени, в широту его мирового призвания, болел случайностями задержки в историческом поступательном шествии его по пути прогресса, веровал в народ и любил его настолько, что всю жизнь потом оставался за него работником, ходатаем и заступником.

Под впечатлением бесед друзей Погодина молодой и талантливый друг наш успел закалиться до того, что впоследствии уже и не изменял ни разу своим целям и убеждениям. Цель, предначертанная ему материальными средствами и надобностью одного из славянофилов — именно незабвенного Петра Васильевича Киреевского,— заключалась в собирании народных песен непосредственно в деревнях, на полях, на широкой Волге, непосредственно из уст самого народа

Якушкин пошел во второй, третий и, кажется, четвертый поход опять под защитой коробка и под маской мелочного торговца. На этот раз ему не сошло так счастливо, как в первый раз. В один из таких походов он натолкнулся на то, что неизбежно и что сходило до сих пор с рук, благодаря лишь случайности. Подвернулась задоринка (даже и не сучок), и шедший по тонкой жердочке поскользнулся. Бывали и отрадные минуты. Пригласили его на барский двор и в барские комнаты показать коробок. Якушкин разложил товары, между которыми булавки, шелковые ленточки, белила и румяна. Обступили его барышни «с звонким девичьим смехом и с вечной красавицей младшей сестрицей». Выбирали ленточки, выслушивали цену. Захотелось купить румян: цена показалась высокой. Барышни щебетали по-французски и, между прочим, выговорили надежду на то, что торговец-сумошник поддастся и сбавит цену. «Нельзя уступить»,— выговорил он по-русски, забывши роль и опасность. Барышни переконфузились, начались расспросы. Кончилось тем, что отец барышень накормил коробочника за собственным столом хорошим обедом.

Выпадали на него и подозрения. Захолустные власти предполагали «измену», обижались и огорчались. Одна добрая душа (другой сотский) сочла за нужное предостеречь.

— Тебя велено поймать, а я тебя ловить не буду. Найми лошадь, я тебе помогу — ступай в губернию.

Прибывши в «губернию» и встретившись в доме товарища с тем исправником, который велел ловить его, Якушкин слышал из уст самого:

— Заковал бы я вас или не заковал — не знаю, но уж, верно, приехали бы вы сюда на казенный счет, а не нанимать бы вам лошадей: непременно переслал бы вас к губернатору.

И тому подобное.

В другой такой же поход за песнями Павел Иванович успел где-то в спопутной деревне заразиться ветряной оспой, заболеть и свалиться в первом попавшемся деревенском углу. Здоровая натура, однако, выдержала натиск, несмотря на все неблагоприятные для больного условия: далеко от врача и вне всякой разумной и целесообразной помощи. Коробейник поправился, но на всю жизнь сохранил на лице следы довольно тяжелой оспы. Лицо было серьезно изуродовано, и Якушкину не раз приходилось потом платиться за это случайное несчастье от тех людей, которые по лицу привыкли составлять впечатление. Опушенное длинной бородой, при длинных волосах, лицо его, изуродованное неожиданной посетительницей, действительно оттеняло его из ряду обыкновенных личностей.

Сам Павел Иванович простодушно сознавался всем замечавшим ему о резкости и подозрительности его физиономии, что в действительности она из таких, которые не находят невест, но очень удобно приобретают врагов. Он признавался всем, что первыми неприятными столкновениями он обязан был именно подозрительности своей физиономии, усиленной, сверх того, крестьянским костюмом при очках, при лоскутках бумаги и карандаше. Замечательно, например, то, что о псковском полицмейстере, имя которого тесно связалось, благодаря журнальным статьям, с именем Якушкина, Павел Иванович всегда отзывался с кротостью, не памятуя зла и не ставя его в вину и осуждение[12]. Издавши отдельной книжкой рассказы о своих похождениях в Пскове и около, он написал заключительные слова: «Дальнейшие происшествия считаю излишним повторять»*. И в этом чувствовалась нам всегда не одна только прирожденная и возлелеянная им незлобивость характера, умевшая забывать огорчения и оскорбления, но и несомненное сознание в участии при его неудачах тех и других недостатков и его физиономии, и его образа жизни, и его характера. В последнем резко выдавался всем известный недостаток силы воли, который, однако, никому не был вреден, кроме самого виновника, добровольно и при

---

* Мы можем указать только на один случай, когда он не мог вынести огорчения и уложить расходившееся сердце. Но то был удар действительно серьезный в самую чувствительную и щекотливую сторону сердца: у него отнято было право редакции песен П. В. Киреевского, на которые он положил всю душу, истратил много здоровья и свежих, молодых сил. У него только и было заветного, святочтимого, и мы нисколько не преувеличим, если скажем, что в этом была его жизнь.

благоприятствующих условиях отдававшегося ему очень часто через меру.

Выше всего стояли симпатические черты характера, которых было столь много, что Павел Иванович владел способностью быстро побеждать предубеждения и привязывать к себе всех, кто набегал на него. Довольно было одной встречи, чтобы при второй получил Павел Иванович приветствия от людей, успевших прислушаться к нему. В этих случаях играла сильную роль его откровенность, самая своеобразная и простодушная. Всего менее можно было назвать его человеком скрытным, себе на уме. Он просто-напросто сохранился таким простаком, которые попадаются в глухих провинциях: очень доверчивый, очень ласковый, готов на бескорыстную послугу, побежать по первому призыву и даже деньги не считает заветными. В Якушкине следовало даже удивляться тому, каким способом он сумел уберечь в себе это патриархальное, старомодное простодушие и поразительную наивность младенца.

«Он всем нравился своей прямотой (писал ко мне один из самых близких и самых строгих к нему людей). Нравился своим бескорыстием,— нет, этого слова мало, чтобы выразить его. В нем было что-то такое, что ставило его выше других, и этим Павел стоял выше всех дрязг и всех мелочей. В нем была особенная нежность, которую он умел показывать братьям и родным не за одно лишь то, что ему все готовно помогали и ни один из них не умел отказывать ему ни в чем. А сколько в нем было юности! Павел нравился именно бесстрашием идти наперекор судьбе, этой беззаботностью в будущем, этой — казавшейся со стороны безумной — смелостью мешать дело с бездельем, жить без заботы,— и оттого-то все и заботились о нем. Оттого никто не хотел смотреть на его внешность, никто не хотел требовать, зная его несамостоятельность. Словом — в нем всего виднее выделяется «хороший человек»!»[13]

В этом отчасти заключался секрет его обаяния и того обстоятельства, что в какие-нибудь две недели пребывания его в Петербурге он сделался между нами сразу своим, как будто знакомство и дружба сведены и прилажены были с ним очень давно. На наших глазах росли его знакомства с положительной быстротой, так что вызывали серьезное изумление: все эти свойства счастливого и успешного миссионера гармонически сочетались в нашем друге. Для всех нас не было сомнения в том, что он один из редких счастливцев, которые попадают на свойственную их характеру стезю и при всяком выходе на свою миссию несомненно возобладают успехом. При этом нет никаких усилий, ничего искусственного — все делается шутя, естественным путем, даже как будто без

всякого особого участия со стороны самого деятеля, по пословице: счастливому и в зубах вязло.

Я был личным свидетелем одного выхода его на базарную площадь, интересовавшую меня деятельностью и проделками кулаков — перекупщиков крестьянского хлеба. Через какой-нибудь час времени Павел Иванович вращался в кучке крестьян, которые галдели с ним запанибрата, трепали его по плечу, хватали за руки, говорили:

— Слышь-ко, Павло Иваныч!.. Надо тебе так говорить, милый человек... Подожди-ко, Павел Иваныч!.. Павел Иваныч, слушай-ко, что я тебе скажу, послушай лучше меня!..

Словно он торговал каким ходовым товаром, привез его много, и товар этот у него рвали с руками. В сущности же, он просто-напросто подбирался к изучению плутовских приемов кулаков, прилагаемых к простому добродушию хлебных производителей, с которыми было так много родственного и схожего в характере самого Якушкина. Отсюда-то он и вынес запас новых и соблюл в чистоте старые прирожденные черты добродушия, столь характерные во всех его пяти братьях. В народной среде создался ее миссионер и толковник. Характер его нравился всем и находил сочувствие даже в двух, в трех лицах, происхождением, воспитанием, богатством и общественным положением поставленных в совершенно иные рамки миросозерцания. Его, по старым отношениям, там любили и принимали без доклада и отказа. Даже откормленный и избалованный швейцар роскошного и изящного дома на Невском проспекте, у Полицейского моста, счел для себя достойным и приличным почистить его поношенную свитку, примолвив: «Перышко, Павел Иваныч, прилипло!..»

Замечательно еще и то, что, как бы крупны и по временам докучливы ни были его некоторые недостатки, они ему прощались, они забывались скоро, обязывая всех и каждого на самую крайнюю терпеливость и самое безграничное снисхождение. Этим секретом примирения владел Павел Иванович в совершенстве до конца жизни.

Из Красного Яра он адресовал к нам своего нового приятеля, в котором мы нашли самого преданного ему человека и искреннего друга и слышали от него, что, как отец за сыном, блюдет в Красном Яре за Павлом Ивановичем и его интересами другой неподкупный друг из местных торговцев. Хороший человек в Якушкине был сильнее человека, имевшего свою долю недостатков.

Возвращаемся к прерванному рассказу о предшествовавших приезду Якушкина в Петербург событиях его жизни.

Большой сборник народных песен принес Якушкин в собрание П. В. Киреевского; сам же поселился недалеко

от своего патрона — богатого помещика той же губернии, в которой родился и воспитывался наш собиратель. Живя в усадьбе матери, путешественник отдыхал, занимаясь по серьезной задаче искусственным разведением рыб (без положительных, однако, результатов), беседами и серьезным обменом мыслей в кружке, который случайно сгруппировался в Орле из образованных и развитых представителей современной интеллигенции. Достаточно указать на талантливого И. В. Павлова (впоследствии редактора «Московского вестника»), на М. А. Стаховича, Н. К. Рутцена, доктора А. А. Ветрова и друг⟨их⟩. То время было временем подготовительных работ и серьезных дум над осуществлявшейся тогда реформой крестьянского труда. Под влиянием и вдохновением высоко честной и развитой семьи товарищеской воспитались первые лучшие деятели, проводники и толкователи великой идеи бессмертного достояния нашего времени. Из этого кружка вышли с запасом энергии и правильно организованных сил те люди, на долю которых выпали первые труды пионеров в опасном и тяжелом деле разъяснения и осуществления великих идей, положенных в основу положения об освобождении крестьян. Предания о честной и правильной деятельности еще живы на местах. Здесь Павел Иванович пел свои песни, напевы которых он хорошо усвоил и в то время отлично помнил. Впрочем, певец он был плохой: голос его был визглив и криклив и вовсе не пригоден для комнат, имел некоторый успех на свежем воздухе, в поле, на улице.

Замечательно было то, что Якушкин сохранял в памяти напевы теперь редких, исчезающих старинных песен, из которых немногие переложены на ноты и, между прочим, К. П. Вильбоа и М. Стаховичем. Сборник напечатан в 1860 году. В последние годы П. И. Якушкин напевы стал спутывать и забывать.

В 1858 году я странствовал по некоторым губерниям черноземной полосы России. На пути из Орловской в Тамбовскую и далее в Пензенскую я заезжал погостить в семью Якушкиных, и Павел вызвался меня проводить до Ельца или лучше до Михаила Александровича Стаховича, богатого помещика, но совершенно демократического закала. Будучи умным и талантливым человеком, он с успехом работал на литературном поприще, и его художественные сцены под названием «Ночное» пользуются такой обширной известностью, что до сих пор не сходят со сцены столичных, провинциальных и домашних театров. Он писал прекрасные стихотворения и делал переводы иностранных поэтов. По убеждениям, симпатиям и деятельности он принадлежал к тому тесному кружку литераторов, который в свое время носил название «молодой редакции» «Москвитянина». Из ее рядов выде-

лился такой крупный и сильный талант, как А. Н. Островский, такие тонкие критики-эстетики, как Евг. Ник. Эдельсон и Ап. Ал. Григорьев, такой замечательный художник-артист, как П. М. Садовский. К ним присоединились и А. Ф. Писемский, который был товарищем Павла Якушкина по Московскому университету, и Ал. Ант. Потехин.

Душой и сердцем Стахович горячо предан был народным интересам, отлично понимал народную жизнь и непрестанно занимался ее изучением. Главным образом он интересовался народной поэзией и счастлив был тем, что отлично знал музыку и потому мог записывать русские песни прямо на ноты (выпущено четыре тетради). Это отчасти, а главным образом поразительное сродство характеров сблизило отношения Павла Якушкина с Михаилом Стаховичем до самой тесной и неразрывной дружбы. Я убедился в этом лично, когда трое суток погостил в Пальне у Стаховича, бывшего уездным елецким предводителем дворянства. Еще более я убедился в том, насколько Михаил Александрович был нежным и мягким человеком, по его отношению к своим дворовым и крепостным, и насколько все они его любили за его чрезвычайную простоту и ласку в обращении с ними,— положительно на правах любящего отца и верного друга. Это тем удобнее было наблюдать и проверять, что, как счастливый попадает к обеду, а роковой под обух, мы с Павлом попали на годовой сельский праздник, когда господское тароватое и обильное угощение развязывало языки и вызывало полную откровенность. Еще легче было убедиться в том, что в своих местах М. А. Стахович вообще пользовался громадной любовью и популярностью, как честный человек, испытанный радетель и неподкупный верный друг. Это тем более было кстати, что тогда осуществлялась «эманципация» и работали все товарищи или сверстники Стаховича.

М. А. Стаховичу предстояли еще бóльшие успехи на поприще его призвания и прямо направленной деятельности, но злая судьба неожиданно пресекла его полезную и честную жизнь. Оказалось вскоре, что мое посещение было в последние, сочтенные и порешенные дни ее. Я видел его убийцу обласканным до панибратства, облюбленным за брата родного и облагодетельствованным до конца. Перед мной во все три дня безвыходно виделся этот человек, умный и ласковый, как неизменный и искренно преданный друг, неотступно состоявший при барине-благодетеле. Крестьяне пальновские говорили мне, что у бурмистра Ивана, благодаря барским милостям, было 300 овец, 50 коров, 12 лошадей заводских, не считая других, 2 тысячи четвертей молоченого хлеба и множество другого видимого достатка. Другого участника в убийстве я не видел: он отправился в Орел получить какую-то крупную

сумму денег, принадлежавшую богатому Стаховичу. Эти-то роковые деньги и послужили основным поводом к злодеянию сговорившихся убийц: бурмистра Ивана и Киндякова, бывшего письмоводителем у Стаховича, как дворянского предводителя.

Останавливаюсь на этом поразительном и неожиданном происшествии здесь именно потому, что судьба Стаховича была тесно связана с судьбой Якушкина: первый имел на второго несомненное влияние, поддерживая его в деловых стремлениях дружескими советами и материальной помощью. Он доверялся Павлу настолько, что поручил ему хлопоты по составлению «Литературного сборника», еще в 1848 году, в котором предполагались (но не осуществились) печататься статьи И. В. Павлова, П. И. Мельникова, М. Е. Салтыкова, А. Ф. Писемского и др. Якушкин должен был дебютировать сборником песен; сам издатель предполагал напечатать уже готовую статью «Мельница», свои «Воспоминания о П. В. Киреевском», переводы из Гейне и собственные стихотворения. В виду этого ясного доказательства самых доверчивых отношений к человеку, всего наименее практическому и умелому, я должен сказать, что и Якушкин, в свою очередь, ни к кому не был так привязан, как именно к М. А. Стаховичу. В личных убеждениях для меня немыслимо отделение этих имен одного от другого: так они тесно между собой связаны и до того настойчиво напрашиваются эти воспоминания мои, которые группируются около упомянутого выше горестного факта.

Когда я уехал, Павел остался еще для своих обычных «проказ». Стахович проводил его домой и, в свою очередь, погостил с неделю в семье Якушкиных, которые не иначе понимали друзей любого из братьев, как за своих близких и родных. Все были на счету и в почете. Самым сердечным образом наводили справки об отсутствующих, самым радушным и задушевным гостеприимством встречали навещавших Сабурово. Когда сюда достигла весть о смерти Мих. Алекс., семейство Якушкиных служило по нем панихиды, для одной вспомнили день его ангела (8-го ноября); заказывали сорокоуст и т. д.

Сначала пустили слух, что М. А. Стахович сам удавился. Впрочем, первоначальный осмотр места преступления то и показывал: голова его оказалась привязанной на галстуке к дверному ключу кабинета. Медицинский осмотр обнаружил следы тяжелых и смертельных ударов в виски и пахи. Бог возглаголил устами младенцев, сыновей бурмистра, которые слышали, что барин три раза вскричал «караул», когда «тятька» был с ним в кабинете. Кроме него и одной женщины, во всем доме никого не было. Бурмистр был арестован,

долго запирался, указывая на самоубийство; потом, сидя в остроге, начал плакать и вскоре во всем чистосердечно признался (его сослали в Сибирь вместе с сообщником).

Быстро разнеслась молва по всей губернии и, по обычаю, ломала истину вкривь и вкось и перетолковывала причины события:

— Сам удавился,— значит, что-то загадочное и нехорошее пожелал отвлечь от себя и запечатал смертью уста, чтобы они не изменили и не предали других.

— Задушил староста, доверенный человек,— значит, не годится обращаться с крепостными запанибрата, потому что малейший выговор и резкое слово забалованных людей этого сорта ожесточает...— и тому подобное толковали люди, изумленные и озадаченные прискорбным происшествием.

— Убит своим крепостным,— стало быть, недобрый был помещик, и один, по выбору и назначению, отомстил ему за всех, и еще явилась новая жертва помещичьего произвола.

Так это и было понято в Петербурге, где и переполошились при мысли об убийстве помещика крестьянами «за тяжкое с ними обращение». Дельная газетная статья о покойном разом могла бы разбить такое ошибочное мнение, но друзья его опоздали. Приказано было произвести строжайшее следствие и отдано дело в руки опытных жандармских офицеров. Оказалось:

В роковой день Мих⟨аил⟩ Алек⟨сандрович⟩ был в Ельце у обедни (он отличался замечательной религиозностью даже до излишеств). После обедни служил панихиду по Петре Вас. Киреевском, столь известном, первом собирателе народных песен. Голубиной кротостью и чистотой души он имел громадное нравственное влияние не только на Стаховича и Якушкина, но и на весь кружок так называемых славянофилов (этот, впрочем, человек — лицо историческое, занимающее видное место в истории отечественного развития; лично его знавшими он был боготворим).

От обедни М. А. Стахович возвращался в Пальню веселым. Дорогой был шутлив и пел любимые им народные песни, которые исполнял с замечательным искусством и точностью. По приезде послал за старостой. Побранил его слегка, но объявил ему на этот раз решительное свое намерение учесть по управлению имением, а в 2 часа Мих⟨аила⟩ Алек⟨сандровича⟩ не стало. Убийца, совершив злодеяние, вернулся из кабинета и сел обедать в столовой. Когда сказали ему, что дверь к барину не отворяется, он сходил освидетельствовать и поспешил тотчас дать знать о том управляющему брата Мих⟨аила⟩ Алек⟨сандровича⟩, имение которого находилось на другой Пальневской горе. На следую-

щий же день убийца озаботился угнать весь свой скот и перетаскать имущество в город. Труп им убитого подвесил он на дверную ручку так, что и близоруким стало ясным это неудачное намерение скрыть следы, а знаки побоев на теле и «смерть от задушения посторонним лицом» засвидетельствована была бесспорно всем составом врачебного управления. На похоронах Мих⟨аила⟩ Алек⟨сандровича⟩ были не только все его и соседние крестьяне, но и окрестные помещики, и именитые и богатые елецкие хлебные торговцы. Погребение оказалось вышедшим из ряда обыкновенных по многолюдному собранию и грустному настроению всех, провожавших его в могилу.

Я поражен был этим страшным известием уже в Казани, когда приближался к Петербургу, а Пав⟨ел⟩ Якушкин был уже в Москве, стремясь соединиться со мной, в намерении сопутствовать мне на Амуре (что, однако, по независящим от нас причинам, для него не состоялось).

Кроме Стаховича, изо всех братьев имел на Павла наибольшее влияние Виктор, несмотря на то, что был моложе на 10 лет. Соединенный тесными узами дружбы с нашим петербургским кружком того давнего времени, Виктор Иванович Якушкин был нам мил своей открытой душой и замечательной сердечностью и был дорог прямотой характера, твердостью честных убеждений и стойкостью во взглядах и суждениях. Светлый ум, чрезвычайная отзывчивость, горячие симпатии ко всему начинавшему выделяться даровитостью в том или другом направлении (иногда доходившие до крайностей) памятны и дороги для всех немногих из нас, остающихся еще в живых. Он рано умер от чахотки в Риме, и хотя ничего не писал для печати, но живые следы его влияния были сильны, и очищенное смертью его место так и осталось незанятым. Дружеские письма его к братьям и приятелям из-за границы, где он, по окончании курса в медицинской академии, совершенствовался в науках своей профессии, могли бы теперь свидетельствовать, насколько был даровит в свою очередь и этот Якушкин. С оригинальным, чисто русским закалом ума, при живой наблюдательности, присматривался он к европейской жизни и тамошним порядкам в такой мере, что заметки его могли бы с большим интересом быть прочитанными и в настоящее время в печати. Они ясно доказали бы, что такой человек мог иметь влияние, и мы знаем, имея в руках много доказательств, что этому влиянию поддавалась и такая упругая натура, какая была у Павла,— склонная, если можно так выразиться, к разнообразным проказам. Брат Виктор был для него гением-хранителем и руководителем в моменты опасных выходок и необдуманных порывов.

* * *

Отделился от друзей и товарищей П. И. Якушкин для того, чтобы попробовать свои силы, по задаче университетского воспитания, на педагогическом поприще.

Он поступил учителем уездного училища в г. Богодухове, потом в Обояни. Грубое обращение директора, с которым не в силах был примириться Якушкин, было причиною размолвки, которая отразилась на судьбе Якушкина сначала переводом его из одного училища в другое, потом окончательным выходом его в отставку. Не послужил он и двух лет в обоих училищах на официальном педагогическом поприще. В это время житья его то в деревне, то в приятельской семье в Орле скончался П. В. Киреевский, выговоривший словесное завещание передать окончательный подбор песен главнейшему виновнику всего сборника. Сталось не так. Якушкин огорчился, выяснил себе намерение поступить самостоятельно и отправился в Петербург. Со сборником песен, переданных ему друзьями, он возвратился в деревню, занялся там систематическим подбором, написал предисловие и в 1859 году напечатал в «Отечественных записках» в виде приложения. В небольшом числе экземпляров его сборник песен, в виде отдельных оттисков, обращался некоторое время в продаже и наконец сделался теперь библиографической редкостью.

Приезды в Петербург на жизнь Якушкина имели то влияние, что он здесь стал чаще загащиваться, приезжал несколько раз, жил месяцами и даже готов был совсем остаться. То же обстоятельство на деятельность Якушкина произвело наиболее благоприятное влияние в том смысле, что он ознакомился с журнальными редакциями, получил от них выгодное приглашение рассказать о своих похождениях и наблюдениях в форме литературных беллетристических статей. Особенным гостеприимством пользовался он в редакции «Современника» и в этом журнале поместил большую часть своих статей, между которыми и лучшие: «Бунты на Руси» и «Велик бог земли русской». Материалы для последней (и наиболее живые и характерные) получил он от брата Николая Ивановича, бывшего мировым посредником, который в то же время был талантливым наблюдателем и искусным рассказчиком. Не отступил Павел Иванович от своих симпатий и в последние годы издания «Отечественных записок», время от времени присылая свои записки и, между прочим, о городе Красном Яре (Астрах. губ.), где он проживал последние годы своей скитальческой жизни.

Прежде чем усесться там и отправиться оттуда прямо к месту вечного успокоения, Якушкину удалось видеть в Петербурге знаки общественного сочувствия к его полезной и честной деятельности. На литературных чтениях, которые

тогда были в моде и в потребностях, его встречали и провожали чрезвычайно сильными и оживленными рукоплесканиями. На улицах на него указывали как на человека, «обошедшего пешком всю Россию». Фотографические карточки, сделанные очень удачно художником Берестовым, покупались десятками нарасхват. С большой смелостью и энергией он мог согласиться на предложение и пуститься в новое путешествие, по желанию никогда не изменявшего ему своей дружбой и помощью М. П. Погодина. По мысли и при участии последнего, Якушкин отправился в Псков и ходил по селам и деревням в окрестностях этого древнего, вечевого города и одного из древнейших русских поселений на севере России. О некоторых результатах он напечатал сам, о самом печальном и последнем аресте его в городском полицейском управлении заговорили про него другие и произвели тот говор и шум в обществе и литературе, которые еще всем памятны и хорошо известны.

Несчастлив он был и в следующий поход свой, который привел его в Нижний Новгород на время макарьевской ярмарки. Выход этот замечателен тем, что был последним в свободной и самостоятельной жизни нашего неугомонного и несчастного друга.

Макарьевская ярмарка 1865 года выделилась из числа предыдущих между прочим тем, что тогда в Нижнем Новгороде собралось одновременно несколько представителей литературы. Хотя это случайное обстоятельство ввиду всемирного значения ярмарки и не могло представляться особенно выдающимся исключением, но на него обратил внимание и пожелал им воспользоваться тогдашний ярмарочный голова Александр Павлович Шипов, человек образованный, известный своей разносторонней общественной деятельностью и глубокими симпатиями к литературе и экономическим наукам, и сам автор многих ученых трактатов. То было такое время, когда эти симпатии были горячи и искренни и публичными заявлениями их не стеснялись, особенно если в то же время предполагалось в них известного рода поучение и руководство. А. П. Шипов согласил ярмарочное купечество ознаменовать это маленькое и случайное событие большим обедом по подписке. Разосланы были официальные приглашения к наличным литературным деятелям, в числе которых в то время были, сколько помнится: П. И. Мельников, В. П. Безобразов, И. А. Арсеньев и еще кое-кто, кроме нашего повсюдного скитальца. Павел Иван. Мельников на это лето был командирован министерством внутренних дел для всестороннего исследования ярмарочных оборотов и для каких-то соглашений ярмарочного купечества, кажется, по поводу открытия русских портов для китайского чая. Тот год пред-

шествовал именно уничтожению кяхтинской монополии и падению сибирской торговли этим ходовым товаром, игравшим в делах макарьевской ярмарки, вместе с уральским железом, первенствующую роль. Владимир Павлович Безобразов, в звании члена экспедиции по изучению хлебной торговли, снаряженной соединенными обществами географическим и вольноэкономическим, жил в Нижнем, на пути в камский бассейн и на уральские горные заводы (отчеты его впоследствии, конечно, появились и в печати).

Обед задался на славу. Готовил сам Никита Егоров, имя которого как знаменитого повара и ресторатора известно всей России. Обилен был обед торгующего на ярмарке купечества, задуманный для сближения с литераторами ввиду их скопления,— и яствами и питиями. Когда достаточно заручились первыми и подбодрились последними, начались речи, т. е. спичи,— новость самая недавняя и обычай, который только что в то время нагуливался. Московских людей успели уже, однако, к этому отчасти приучить, и они с сосредоточенным вниманием прислушивались, кто «скажет хлеще и загнет круче». Говорил петербургский оратор — чего лучше? «Может и настоящая потеха выйти,— любопытно, сейчас умереть!» Хорошо было известно всем, что московским краснобаям за петербургскими спикерами не угоняться: там и климат другой. В зале был слышен полет мухи, когда начал говорить В. П. Безобразов, столь известный деловой и серьезной постройкой своих речей, искусством их произносить и общепонятно излагать, находчиво применять к значению и смыслу того повода и случая, который соединял многих и вдохновлял его самого. Он тогда уже был оратором опытным и смелым, а потому легко и скоро овладел вниманием слушателей.

В самом патетическом месте раздаются звуки, развлекающие общее внимание. То был стук разливной ложки. Ею один из петербургских журналистов размешивал сахар в миске, в которой приготовлял он традиционную жженку, вызвавшись доказать свое искусство. Стук этот действительно был настолько громок, что мешал общему вниманию.

— Остановитесь на минутку, Владимир Павлович! Хороша ваша речь, а вон Илья Александрович стучит: значит, хочет сказать что-то получше.

Это был крик нашего чудака, и, хорошо зная его характер, смело уверяем, что он был искренним, непосредственно вылетевшим из груди, без задней мысли и тем менее из желания порисоваться. Однако эта резкая выходка не прошла ему даром. Она, по обычаю, обнаружила все разнообразие точек зрения на один и тот же предмет, с самыми резкими противоречиями. Одни находили, что это сделано очень мило,

простодушно, без злобы и очень кстати, как протест против наибольшой невежливости и своего рода неуместной выходки. Другие просто обиделись, не будучи в силах примириться с такой дерзостью темного человека, осмелившегося нарушить чин и порядок общественного заседания, и сожалели о том, что не догадались своевременно вывести виновного из-за стола и из залы Главного дома, где кушало именитое купечество. Это, впрочем, имело свою точку зрения и не обиделось. Вот и потеха, вот и «загнул»,— и рядская молва растаскала это известие по всем стогнам ярмарки, увеличивая придатками и привесками, извращая в корне и усиливая в смысле. В окончательно обезображенном и изуродованном виде предстала сплетня перед высшим ярмарочным начальством. Виновник был выдвинут на сцену, вызван, получил строгое внушение и резкий запрос о цели приезда, обследован и оказался достаточно виноватым: толкается на той половине моста через Оку, где собираются бурлаки; видали его в толпах под каруселями; рассиживается в разных трактирах, паспорт «слепой», сам «чудной»... Взяли его под сомнение и возвратили в Петербург скорее, чем сам он на то рассчитывал[14].

— Вот я таким вашим делам всегда готов пособлять,— говорил мне тот же главный начальник, когда я через год после того на следующую макарьевскую ярмарку приехал попробовать торговлю народными книжками, издания (под моей редакцией) «Товарищества общественной пользы»[15], и просил разрешения.

— Помилуйте: съехались, шатаются, кутят, болтают. Особенно вот этот в крестьянском платье!..

Я вынужден несколько дольше остановиться на этом событии в жизни Павла Якушкина главным образом потому, что пустое недоразумение и злая сплетня послужили основой и началом резкого перелома в скитаниях нашего неудачника. Здесь объявился им крайний предел и неожиданный конец. Павел Ив. стал с той поры до конца жизни находиться под опекой. Незаметно для нас таинственно приблизился момент нашего последнего свидания в жизни.

Накануне он пришел проститься.

— Завтра велели мне приходить.

И все такой же: ни на кого не жалуется и всеми доволен. Вспоминал про Тараса Шевченку, с которым был дружен. Рассказывал про сегодняшние похождения, в которых главную роль играли его хлопоты о покупке лекарства (ляписных пилюль). В кармане не было ни копейки, а всего-то нужно было, по крайнему и смелому расчету его, три рубля.

— Только до деревни матери...

По обыкновению, он был суетлив, непоседлив: невозможно было заметить в нем какой-либо след душевной тревоги по поводу неприятного вчерашнего извещения. Тем менее можно было прочитать это на его лице, всегда отличавшемся каким-то испуганным выражением. Располагался он у меня переночевать, но вдруг что-то вспомнил и ушел, условившись зайти на другой день ранним утром. Все это роковое утро я его не покидал. Ходили мы из одного места в другое. В двух нам отказали; велели идти в третье попробовать, не здесь ли знают о том, что с ним надо делать. Только это третье оказалось именно таким, ведомству которого подлежал на это время наш подневольный путник, столь простодушно отдавшийся своей участи и судьбе.

По дороге на Морскую, в канцелярию генерал-губернатора, мы зашли в «Греческую» кухмистерскую. Здесь Якушкин нередко сиживал с А. И. Левитовым, талантливым и известным народным писателем, также торопившим течение жизни, как многие и очень многие. Для смелости и на вторую ногу я предложил отъезжающему другу повторить «бодряжки». Он наотрез отказался; не хотел ни пить, ни есть. Вдруг сделался задумчивым: о чем ни спросишь — требует повторить вопрос. Мне показался он на тот раз таким несчастным, жалким, кровно обиженным и притом совершенно беззащитным.

— До чего это тебя, Павел, наконец затормошила неугомонная жизнь, и чем ты тут, во всем этом, виноват?

— А ты не плачь: мне тогда самому смешней будет.

Только тут и слегка обнаружилось необычное настроение духа. Ему очевидно было очень тяжело, но не за себя:

— Боюсь испугать старуху-мать, когда явлюсь к ней с провожатым.

Успокоился он на том, что в Орле ему помогут упросить губернатора, которому он выдаст расписку за поручительством, и тогда явится в Сабурово хотя и нежданным, но путным гостем (так, впрочем, и случилось).

Расставшись на этот раз, каждый по своему делу, мы по-настоящему не простились, рассчитывая сделать это в другом месте, напр⟨имер⟩, в книжном магазине Кожанчикова, на вокзале железной дороги, и т⟨ому⟩ под⟨обное⟩.

Ждали его проезда, не спуская глаз с Невского проспекта, стоя на крылечке книжного магазина, в котором одна добрая душа приготовила на свои скудные средства и лекарство в дорогу, и малую толику милосердных деньжонок. Собрались попрощаться с ним и другие: Пав⟨ел⟩ Иванов⟨ич⟩ рассчитывал по пути сюда забежать. Но все мы видели потом одно только, как его провез извозчик с провожатым. Памятны мне теперь, как живые, и вчерашние его порывы остано-

виться, слезть с пролетки, взбежать на коротко знакомую ему чугунную лесенку магазина. Кто-то из нас выговорил:

— Точно голубь бьется в силках, и судорожные взмахи крыльев вижу.

Ему так и не привелось проститься с нами: московская чугунка успела его увезти прежде, чем мы добрались до вокзала.

* * *

Проведя большую и лучшую часть своей жизни вне городов и условий городской общественной среды, под непосредственным влиянием бесхитростной, деревенской простоты, П. И. Якушкин не остался без очевидных признаков этого влияния. От долговременной практики и частных сношений с людьми непосредственной природы, в нем осталась привычка прилагать те же способы обращения и со всеми другими людьми высших слоев общества, куда его приводила судьба и случай. В силу этого обстоятельства он казался большим оригиналом, в котором прежде всего замечалось отрицание условных общественных приличий. Он не умел войти, не умел поклониться, не владел почти ни одним приемом, на которые так требовательны гостиные и на которых иные и многие люди строят себе блестящие общественные положения. Чувствуя за собой эти свойства, он, бывало, усердно хлопотал о том, чтобы как-нибудь замаскировали и облегчили его выход, например, даже через небольшое пространство эстрады до места публичного чтения. Не очень он хлопотал о том, что по случайности очень часто приходилось ему начинать беседу свою с щепетильными и брюзгливыми столичными слушателями словами: «Дело было в кабаке» и т. п. Отрешенность его от общепринятых всем громадным большинством приемов и правил, неподатливость его требованиям самым основным и существенным так и остались за ним на всю жизнь. Он не красовался ими, по временам даже тяготился, делал над собой усилия и все-таки был в этом наименее счастлив, чем в чем-либо другом.

Особенно резко выделялась в нем привычка высказывать правду в глаза, забывая о щекотливости самолюбий, не памятуя о том, что в разрешении таковых давно уже отказано и за допущения налагаются строгие взыскания, следуют преследования, возможно мщение по размеру силы и влияния лица, выслушавшего эту голую правду. Привычку эту, которую мы называли в шутку юродством, запоздавшим ровно на триста лет со времени взятия Пскова Иваном Грозным и встречи его там с Николой Святошей,[16] оправдывали в нем

исключительность характера, влияние воспитавшей его среды. Мы знаем много случаев в жизни его, когда подобные приемы были основными причинами неприятных для него столкновений. К этому надо присоединить, что Якушкин был в то же время очень находчив, остроумен и независим (доказательств найдется очень много и в его печатных рассказах, и в памяти людей, его близко знавших). За резко высказанное суждение и оценку действий, не подлежащих его суду, еще в гимназии, в Орле, директором ее он оставлен был в седьмом классе на другой год (учился он отлично и еще там успел высказаться положительно даровитым, с быстрой и легкой восприимчивостью).

В другой раз другому начальнику своему по педагогической службе, имевшему обыкновение говорить всем подчиненным «ты», он отвечал: «ты я говорю только добрым приятелям, людям, которых я ценю и уважаю, а вы говорю даже слугам». Ему за это досталось. Песни, которым учил он ребяток между классами, приняты были за дурное намерение, выходы в соседние деревни за тем же продуктом истолкованы совсем в другую, неподходящую сторону. Над ним наряжено было следствие, кончившееся, однако, тем, что перевели его в другое училище. Павел Иванович просто-напросто употреблял ту систему обращения с учениками, которая теперь признана обязательной для всех и стала общеупотребительной; за отступления от нее вызывают даже к суду и налагают, по приговорам судов, взыскания.

До отъезда Павел Иванович успел удовлетворить требовательности своей живой и непоседливой природы: живя в Харькове на досуге, он успел пошалить, пошабаршить (как называли мы в шутку его суетливость, наклонность к проказам и непоседливость). Между прочим, он надоедал просьбами принять его в ряды «христолюбивого воинства» и остался удовлетворенным, когда отвечал ему начальник, в лице ген⟨ерал⟩-губ⟨ернатора⟩ Кокошкина: «Какой ты воин: посмотри ты на себя, разве такие бывают защитники отечества?» В то время продолжалась Крымская война; в Харьков привозили раненых; в городе назначен был обширный лазарет. Павел Иванович толкался между ранеными, изучал русского солдата в самую щекотливую пору его жизни и умел занести в свои «Путевые заметки» много характерных черт и теплых строк. Тогда же он следил за рекрутскими наборами и также напечатал на эту тему особую статью, которая подверглась, однако, сильным цензурным помаркам[17].

Получая уроки и испытав строгие внушения, Павел Иванович, однако, не унимался. Он продолжал быть собой во всей неприкосновенности и исключительности своего характера, задичавшего на деревенском просторе и в долговременных

скитаниях. Последние влиятельны были на него тем, что он так и остался бездомным скитальцем, со всеми неизбежными притом принадлежностями, даже до излишества. Две, три пары белья про запас, да что на себе — вот вся его движимая и недвижимая собственность. Даже на фотографических портретах, снятых с натуры,— на одном он с чужой шапкой, на другом в приятельском овчинном тулупе из крымских барашков. Между тем в дорогах он свыше полушубков себя не баловал, а в городах (в том числе и в Петербурге) ходил целые зимы в суконном армяке. К морозам он себя приучил издавна и вообще на многое запер сердце.

В дорогу идти — полушубок промышлять и надевать всегда подарочный от доброго, сочувствующего человека. Прежде водилась сумка, потом завелся какой-то чемоданчик, да и он где-то запропастился, был забыт. Чемоданчик сменил просто узелок из подручного платка. Между бельем несколько листиков исписанной бумаги, нечитанная книжка — да и все; даже карандаш от случайно подвернувшегося человека. На счастливый случай и удачный исход (как было в Яму-Мшаге, около старой Русы): частное письмо редакции «Русской беседы», предложение географического общества, его собственное письмо, запечатанное в пакет с надписью на имя секретаря местного губернского правления,— вот что увидел у всегда беспаспортного Якушкина мшагинский становой, расценивший более последнее свидетельство о влиятельности путешественника, чем два первые.

Надо сказать, что у нашего странника, владевшего способностью терять все — от денег до собственных памятных записок,— потерян был указ об отставке. О потере было заявлено местному становому и получено письменное удостоверение пристава о том, что действительно заявление сделано. Якушкин успел потерять и это свидетельство. Один из братьев выхлопотал ему копию с удостоверения, Павел Иванович и ее потерял; взята была копия с копии. Вот этот-то документ и отвечал всем, кому приходилось удостоверяться в его личности. Здесь же главный источник всех недоразумений и следовавших затем неприятностей, осмотров, задержек, арестов и высылок.

* * *

Я не буду следить за дальнейшими похождениями его после выездов в Петербург. Он сам с замечательным искусством, откровенностью, талантливо и остроумно рассказал об них. Две части первоначальных исповедей его изданы отдельными книгами. Д. Е. Кожанчиков в 1860 году издал его «Путевые письма из Новгородской и Псковской губ.»; г. Ген-

кель в 1867 году — «Бывалое и Небывальщина». В «Отечественных записках» четырех последних лет и в «Современнике» (в последние годы его существования) разбросано много других статей, не попавших в два первые сборника. Во всех этих статьях, по обычным приемам нашего песенника-странника, в изобилии находятся автобиографические данные и сквозят симпатичные черты его приемов и личного характера. При одном издании приложен даже его портрет, очень схожий и удачно выполненный на дереве*.

Написал, собственно, Якушкин немного, хотя и сделал несравненно больше того, о чем успел и сумел рассказать, судя по тем сведениям и знаниям, в каких нам сотни раз приходилось убеждаться лично. Он положительно был один из серьезных знатоков народных обычаев, быта и в особенности характера. Преследуя главную цель собирания песен, он изучил этот вопрос до тонкости и, в погоне за любимым делом, мимоходом следя за остальными народными чертами, усвоил их в таком множестве, что возбуждал уважение. Может быть, эта отрывочность сведений и мешала ему остановиться на цельных трактатах и специально их разрабатывать. Вероятно, оттого и литературные работы его представляют коротенькие заметки, всегда сгруппированные около его личных похождений по вызову той или другой задачи. В первых статьях эти мимолетные заметки (всегда, впрочем, очень веские и свежие) сопровождают его рассказ о похождениях за песнями; в последующих (рассказах о Новгородской и Псковской губерниях) те же заметки группируются около похождений его, по задаче М. П. Погодина, за стариной двух вечевых древних русских городов.

По зависимости от случайности этих задач, Якушкин был наемным исполнителем чужих и заказных работ. Не на своей воле и сдержанный в тесных рамках заказа, он был и искусным и честным исполнителем их: отсюда масса сырого, ученого материала и затем отрывки, клочки чисто литературных работ. Но и в них читатели успели спознать несомненно талантливого народного писателя и оценить живого и правдиво искреннего рассказчика. Не забудем при этом, что на долю этого передового, протаптывавшего первые тропы, выпала большая работа с препятствиями, немало потрачено времени на возню со становыми и сотскими. Слабела энергия, охолаживались добрые порывы (и это на лучший конец), круто обрывалась натоптанная тропа на крутой скале: дальше идти нельзя, надо бросать дело и возвращаться назад под

* Настоящий, прилагаемый портрет доставлен нам соседом и приятелем нашего друга, Н. Д. Чиркиным, который, занимаясь фотографией как любитель, столь удачно и мастерски схватил черты всегда оригинального «оригинала»[18].

надежную стреху домашнего крова или цивилизованного общества и благоустроенных городов. Таких решительных обрывов на скользком пути нашего странника попалось заведомо четыре. Из десяти походов был только один вполне удачный.

По желанию заказчиков, Якушкин собирал старину: старинные рукописи, «досельные» (древние) народные предания, былины и преимущественно песни — песни, однако, в первозданной их форме без новейших наростов*. Вот почему мы видим его преимущественно в тех местах, где предполагалась наибольшая цельность народного духа и неиспорченность его преданий и верований. Он бродит сначала в глуши Заволжья, в чернораменных лесах Ветлужского уезда Костромской губернии, на границах великорусского племени с инородческими, в представительстве черемисов. Видим его потом около древних Ростова и Переяславля и, наконец, на берегах озера Ильменя и Псковского, в окрестностях древних городов русских. Пробирался он к Угличу (но не удалось — заболел), походил, однако, на юге в Валковском уезде Харьк⟨овской⟩ губ⟨ернии⟩ по кордонной линии, сохранившейся в виде земляного вала, насыпанного при императрице Анне, от устьев реки Береки, впадающей в Донец, до устья Орели, притока Днепра. По этой линии построено было несколько укреплений и во всех поселены великороссы, выведенные из разных губерний. У этих переселенцев выговор и наречие сгладились в соседстве с Украйной. По подозрению, что осталось много песен, занесенных с родины и неиспорченных солдатами, лакеями и фабричными, Павел Иванович мечтал пройти по всей линии; да не хватило средств, изменили обстоятельства. Кое-что из собранного он затерял, и от похода этого не осталось следов в печати, кроме коекаких обрывков в чужой памяти слышавших от него самого про этот далеко не конченный поход. Он начал писать уже гораздо позднее, чем действовать.

Поездка в Петербург в этом отношении имела для него решительное и знаменательное действие. До того времени он ничего не писал, с того времени он начал сгруппировывать отрывочные данные из запасов памяти. Многое было им забыто, из записанного растеряно, сохранившееся собирал он торопливо, но уделял готовно и для политических газет, и для сатирических журналов, и для периодических изданий с чисто ученым и литературным направлением. Однако, когда потребовался ответ на современные вопросы, он находил силы и возможность удовлетворять им, хотя бы и в отрывочной и своеобразной форме. Так, между прочим, в один из поздней-

* К последнего рода песням в нашем песеннике развилось даже нескрываемое отвращение, простодушно и охотно высказываемое.

ших походов он остановился на изучении склада народного суда и суждений, его деловых (хозяйственных и общественных) дум, что так определительно выражается в мирских избах и волостных сходах.

Для наблюдения за крестьянскими сходками и для изучения их Якушкин выходил специально, сделал довольно, но кроме мелких намеков, сохранившихся кое-где в напечатанных им сочинениях, других следов не осталось. Лоскутки записок, всегда не сшитые, валявшиеся кое-как, растерялись. Память в эти годы ему стала изменять; не было влиятельной руки, которая усадила бы его работать: наверное, исполненная работа пропала без результатов, о ней нигде нет даже намека. Только о рекрутских наборах успел он вспомнить и напечатать.

В ответах на современные вопросы — несомненная причина его быстро выросшей и прочно установившейся литературной известности. В особенности резко выделились «Крестьянские бунты на Руси» и «Велик бог земли русской», и так называемые отрывки без конца и начала по необыкновенной свежести современных мотивов, по простодушной искренности рассказа и по честным намерениям высказаться в защиту тех, к кому выстрадал Павел Иванович такую горячую любовь и объявил такую неизменную и искреннюю «преданность». Радельником народа он был подлинным и судьей его непокупным и неподкупным. Меньше всех ему удалось отойти от его интересов и ближе всех привелось подслушать его заветные и затаенные мысли, отгадать его скромные намерения и простодушно невинные цели. Для этого он отлично знал все места, владел секретом — пользоваться, но не имел собственных средств и помнил о своей главной слабости. Мы знаем один случай, когда он отказался от предложенных трех тысяч на поездку сильным лицом, которое, несомненно, его уважало и ему покровительствовало. Отказался Якушкин от этих денег, выдаваемых целиком вперед, на том основании (по личному его откровенному сознанию), что эти деньги, говоря словами старинного стиха про Голубиную книгу, «в руках держать будет — не сдержать будет».

Даже специальное ученое общество (географическое) узнало о деятельности Якушкина лишь в 1860 году, когда он приобрел уже достаточную известность в литературных кружках и самолично объявился в Петербурге. Его вызвали в одно из заседаний, дали возможность поговорить с кафедры во время одного из общих собраний общества и почтили званием сотрудника. Несмотря на зарок награждать труды по задачам, хотя и соответствующим программе общества, но произведенным не по заказам его, а самостоятельно, этнографический отдел счел полезным и своевременным награ-

дить его серебряной медалью. Он удостоился ее, как сказано в определении совета, «за сборник песен и за весьма полезные указания членам отделения относительно некоторых пробелов программы отделения».

В Павле Ивановиче бессеребреник виделся настоящий: у него никто не видал денежного кошелька, как не видал никто какой-либо другой движимой собственности. Он слишком был отрешен от обыденных привычек оседлых людей и ценил ни во что заветные вещи и предметы, напоминающие о месте или привязывающие к нему. Калика перехожий он был подлинный, со множеством ярких черт этого стародавнего русского типа. Оттого он и казался таким чудаком. Заветного не было у него ничего, начиная с презренного металла (какой для него больше, чем для кого-либо, был действительно презренным) и кончая умственными приобретениями, которыми он также делился без всякого разбора. О денежных вознаграждениях за печатный труд он не уславливался, довольствовался тем, что дадут, никогда не жаловался и не сетовал. Ценил деньги и просил их понемножку, когда были крепко нужны: сквозили сапоги и промокали ноги, сползала с головы шапка, слезала с плеч свитка, да и об этом надо было ему напомнить и кому-нибудь похлопотать. Хорошо вознаграждаемый изредка литературным гонораром, он, любя угощаться, любил угощать, владел замечательной способностью терять деньги и, в особенности, уделять уцелевшие тому, кто в них нуждался. Мы знаем один и слыхали про другие случаи, когда Павел Иванович, при случайной встрече с крайней нуждой, которая успела протянуть руку в то время, когда в дырявых карманах мимо шедшей потасканной и изорванной свиты имелись рубли, Павел Иванович отдавал все, что имел при себе.

Умер он без гроша в кармане и, умирая, имел полное право выговорить вслух пользовавшего его врача: «Припоминая все мое прошлое, я ни в чем не могу упрекнуть себя».

В нем (повторяем опять) скитальческая жизнь сохранила все то, что остается ее привилегией, что могут назвать и распущенностью, и эксцентричностью, чудачеством и всяким неподобным словом. Но это и было его собственной типической чертой, которая жила в нем с подлежащими частностями и потребностями.

К обидам и огорчениям он был мало чувствителен. Сколько раз приходилось слышать от него, обиженного, такие ответы:

— Стало так надо. Видно, он (обидевший) лучше меня про то знает, если говорит мне прямо в глаза.

Не меньше равнодушия замечали в нем к разным случайным неудачам, неудавшимся намерениям, расклеившимся делам. Замечая иногда его личную виновность в этих не-

удачах и останавливая на этом его собственное внимание, на вопрос: «Зачем ты так сделал?» — всегда слышался один ответ, обратившийся даже в общее место: «Чтобы смешнее было». Равнодушие, хладнокровие его, оправдывающие ответ этот, действительно были в нем поразительны, словно ему столько же и не горячо, как и не холодно. Даже минутное замешательство, испуганные глаза, суетливость движений, исчезновение веселости при встрече с неожиданной и поразительной неприятностью мы, как редкие проявления, едва вспоминаем теперь. Затем, всегда хладнокровен, всегда беззаботен и весел, и даже как будто очень счастлив и доволен собой, и всегда не от мира сего. Он был беспечен до того, что как будто надеялся жить вечно, а жить торопился так, как будто предстояло ему умереть завтра.

К друзьям он смело и уверенно приходил во всякое время, не справляясь с часами дня и ночи. К людям, в которых замечал к себе сочувствие, он приходил обедать, когда ему хотелось есть, и сознавался в том с откровенностью, не заставляя догадываться и упрашивать; приходил спать, когда застигала ночь и смежались глаза вблизи квартиры знакомого. Сплошь и рядом возвращавшиеся хозяева находили нашего бездомного скитальца, не имевшего где главы преклонить, преклонившим ее на полене, расположившимся на полу.

«Избавьте мать от меня,— серьезно просил он из деревни в последнее время пребывания его там.— Сколько я могу понимать, хотели высылкой сюда наказать меня, но наказали мать. Войдите же в положение ни в чем не повинной, честной и доброй старушки, обязанной видеть перед собой ежедневно потерянного сына».

Этот редкостный геройский порыв честной души приводит нас на самый конец деяний и похождений нашего незабвенного товарища и друга. Его прошение было исполнено: он был переведен из Орловской губернии в Астраханскую. Он уехал на дальнюю чужбину с тем же чистым сердцем, но, конечно, с меньшим запасом сил, с надломленным здоровьем, недостатки которого медленно близили его к концу земных странствий в 1872 году.

Конец этот постиг его опять-таки на пути передвижения, не в Красном Яре и Енотаевске (Астраханской губ.), где он жил в последние годы жизни, а в Самаре.

Жизнь про себя и для себя ненормальная, исключительная, неправильная, обидная, и — вот он сам за нее в ответе, без родных и близких, в чужом городе, свалился при дороге и даже на историческом бродяжьем распутье.

Но за прохожим человеком другая жизнь: за яркой и блестящей стороной ее шероховатости и неровности другой

стороны стушевываются и пропадают. Ее-то он беззаветно и обращал на суд и оценку, из-за нее-то и не видел несовершенств другой стороны, случайных, при других условиях не изжитых и не обессиленных. Не хотели ее видеть и те, которые прежде других и лучше других видели физиологические и анатомические детали в непощаженном организме при последних расчетах его с жизнью. Хотели видеть и ведать только яркую сторону: самарские врачи подняли безмолвный, свалившийся на дороге труп отшутившего свою жизнь человека и с честью проводили его в могилу.

Якушкина не свалили в придорожную яму, в наскоро сколоченном больничном ящике — положили его в честный гроб с украшениями. Гроб понесли на честных рабочих руках, с церковным пением, которое так понимал и любил покойный, и в довершение с полковой музыкой, которая так отвечала и приличествовала нашему певцу и песеннику.

ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ МЕЙ

(ИЗ ЛИЧНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ)

Двадцать пять леть прошло с тех пор, как мы, небольшой кучкой, проводили тело одного из видных представителей отечественной литературы — поэта Льва Александровича Мея — из Дмитровского переулка, у Владимирской, на Митрофаниевское кладбище. Здесь, 16 мая, благодаря признательной памяти и живым побуждениям его близких родных, нам привелось вместе с ними помянуть эту симпатичную личность, пожалеть, как и 25 лет тому назад, об ее преждевременной и неожиданной кончине и обратиться к далекому прошлому, чтобы там вызвать и объяснить причины нашей нынешней встречи на дорогой и незабвенной могиле. Конечно, не праздная задача поверки числа наличных поминальщиков, хотя бы на праздный и домашний вопрос: «Много ли осталось нас?» — привлекла сюда всех немногих. Пришли немногие,— это само собой разумеется: четверть столетия — достаточное право, чтобы охладеть в давних, хотя бы и искренних, чувствах и, с другой стороны, не успеть ознакомиться молодому поколению с поэтом 40-х и 50-х годов, когда со времени издания его сочинений (в 3 томах) истекли те же 25 лет[1]. Малое же число собравшихся — по нынешним временам — и совсем в порядке вещей. Не так давно, почти что на днях, в домовой церкви удельного ведомства собралось очень мало для чествования более живой памяти умершего за границей П. В. Анненкова[2], последнего представителя эстетической критики, первого и лучшего издателя сочинений Пушкина и первого его биографа, принадлежавшего той же литературной эпохе и родственного по симпатиям и убеждениям с Л. А. Меем. В изящно убранном и весьма поместительном и людном столичном храме согласный хор певчих, очень громкий и сильный голос придворного протодиакона и молитвы священника, произнесенные задушевным, тро-

гательным голосом, слышали всего лишь десять человек (на вторую панихиду в обширном Казанском соборе собралось еще меньше). На могиле Л. А. Мея, под проливным дождем, поминали его, вместе со вдовой и свояком, Л. Л. Леонидов, Д. В. Аверкиев, М. А. Загуляев, В. В. Крестовский и Н. С. Таганцев. Не прибегая к упрекам и утешениям мотивами гражданской скорби, поддаемся невольному увлечению, побуждающему оглянуться далеко назад и хоть наскоро заглянуть в прошлое нашей молодости, в первую половину пятидесятых годов [3]. Тогда произошла наша встреча в Петербурге с этим, только что перебравшимся сюда, коренным москвичом,— коренным по рождению, первоначальному воспитанию, последующему умственному развитию и по душевным симпатиям. Несмотря на то, что Мей переехал сюда с семьей для безвыездного пребывания, он все-таки всецело принадлежал Москве, и не потому лишь одному, что в ней он впервые выступил на литературное поприще и начал печататься в погодинском «Москвитянине».

Петербургская журналистика, уже успевшая в то время поглотить всю наличную литературу, или, как выражались тогда, «изящную словесность», сама продовольствовалась довольно скудными средствами. Газет было всего три, и, по замечательной случайности, в полное противоречие нынешним временам, вместе с ними занимали читающую публику четыре толстых (как называют теперь) журнала. Издавались «Отечественные записки», значительно ослабленные отливом талантливых сил, но сохранившие свое достоинство, признанное и заслуженное, аккуратно выходя в свет к 1-му числу каждого месяца. Блестящий, владевший общими симпатиями, твердо укрепившийся на ногах в течение 5—6 лет своего существования, «Современник» беззастенчиво опаздывал выходом по неделям вследствие различных неприятностей и по независящим обстоятельствам, под которыми всегда безошибочно предполагалась цензурная скачка с препятствиями, а иногда бесхозяйственная беззаботность издателя. С трудом и с опаздыванием на месяцы доживал свой жалкий век «Пантеон», от которого уже оторвался «Репертуар русских театров», но с явными признаками, что существование журнала несомненно обязано честной, опытной и трудолюбивой руке одного неутомимого литератора [4]. Победительно над последним и вдогонку за двумя передовыми силилась поспевать «Библиотека для чтения». И в самом деле, неизбежно и добросовестно являлась она в публике первого числа каждого месяца и, согласно обещанию годовой подписной рекламы, в неизменном размере тридцати печатных листов. Каждый из четырех работал под общим строжайшим попечительством и под надзором отдельных руководителей. «Современ-

нику», наблюдаемому самым снисходительным и уступчивым цензором Бекетовым, завидовали прочие. «Отечественные записки», с своим строгим и опытным Фрейгангом, вели постоянную борьбу без перемирий. «Пантеон» и «Библиотека» стремились отстаивать себя искусными переговорами, с торгом и переторжками, на которые нередко командировали самих авторов. Народился особый тип ловких диалектиков и умных и счастливых адвокатов за себя и других (имена их были известны и пользовались общей любовью и почетом). Такие же литературные вещи, на которые накладывался полный и безапелляционный красный крест, тогда уже почти вовсе не писались. Не только что-нибудь недозволенное или смелое, но и просто такое, что могло быть заподозренным, проносилось хорошо спеленанным, крадучись под забором[5]. Даже на подобное искусство потребовались особое уменье и травленые люди, и нашлись такие, которые возбуждали удивление и служили примером. Всякий из четырех наружно казался довольным своим ментором и лишь опасался, чтобы которого-нибудь из четырех не заменили новым, и, стало быть, нерешительным, или пятым[6], старым и очень хорошо известным: он, как только поступил на место, тотчас же обзавелся каретой, выкрашенной красной краской, и ездил в ней с таким же угрожающим самодовольством, с каким подписывал свое анекдотически-известное имя «Елагин» над литографированными школьными графлеными транспарантами, разрешая их к печати. Кроме подобной резко выдающейся действительности, литературные встречи и беседы изобиловали частными рассказами и указаниями на ту странную и всегда неожиданную требовательность, какая предъявлялась к совершенно невинным размышлениям, картинам и сценам в предъявленных на просмотр статьях. Ко всему этому, взаимное журнальное соперничество разъединяло согласные литературные силы, хотя и поддерживало нравственное напряжение и умственную бдительность. Последние в особенности требовались для «Библиотеки для чтения», подвергавшейся наибольшим упрекам и обличениям. Укоряли журнал в самодовольстве старыми успехами и в неподвижном упрямстве не переменять места, несмотря на новые требования. Затем, когда журнал начал прислушиваться и выступил на путь отступлений и уступок, его стали обвинять в двуличии, хотя это было уже совершенно несправедливо. В первом случае обвинение попадало в цель, так как прямо и непосредственно относилось к основателю и давнему редактору; во втором упреки грешили тем незнанием, что в органе Сенковского были уже два редактора: старый и новый. Старый, руководившийся своеобразными правилами, был бесцеремонен со статьями сотрудников, исправляя и приписывая свое и само-

надеянно перемарывая иногда до такой степени, что от первоначального текста авторского не оставалось слова на слове[7]. Новый редактор был прислушлив к добрым советам, обнаруживал свои симпатии к молодым писателям и современным идеям[8]. Одним из его близких товарищей и друзей был поэт А. Н. Майков, другим — критик и соредактор «Отечественных записок» Дудышкин. Чужие мнения он уважал, чужой литературный труд считал неприкосновенным и ответственным лишь для самого автора. Все эти обстоятельства вызвали переворот и повернули судьбы органа Сенковского на новую дорогу и в противную сторону.

Официальным редактором журнала считался О. И. Сенковский, но в данное время начала 50-х годов он оставался лишь номинальным; действительным же и уполномоченным от него был Альберт Викентьевич Старчевский, а издателем — книгопродавец В. П. Печаткин. Давний основатель «Библиотеки для чтения» (в 1834 году для поддержания и распространения полезной деятельности книгопродавца Смирдина), двенадцать лет писавший и обрабатывавший почти сплошь своей рукой все статьи журнала (за исключением, конечно, статей компетентных ученых или признанных литераторов), к 50-м годам, видимо, стал охладевать к нему. Расстроенное усиленными трудами здоровье потребовало отъезда за границу, но и по возвращении оттуда О. И. Сенковский не восстановил своих симпатий к своему детищу и, конечно, не изменил своих взглядов вообще на журнальную деятельность и задачи. Эти взгляды довольно известны и засвидетельствованы лицом, непосредственно ознакомившимся с убеждениями некогда блистательного и остроумного барона Брамбеуса[9]. Барон никогда не верил влиянию какого-либо журнала на публику. На этот случай у него нашлось обычное парадоксальное уподобление. Он с привычной твердостью и уверенностью говорил, что это мнимое влияние «похоже на неподвижность земли и движение солнца, тогда как земля увлечена последним неудержимо и непреоборимо, сама того не замечая и для самой себя совершенно невидимо». Сенковский был убежден, что всякий журнал доверчиво читается только теми, чьи мнения и страсти он угадывает, и только в той же степени, в какой и в самом деле он их угадывает. «С той самой минуты, как вздумает журнал идти с доверившимися ему наперекор или начнет уверять их в том, что им не по нутру, он теряет у них милость и благоволение и лишается славы». По числу и разряду читателей, т. е. любителей журнала, можно только знать число и качество людей, явно или тайно расположенных к такому-то роду мнений. Журнал «просто товар, покупаемый по вкусу покупателей, или особый род аптечной

приходо-расходной книги, по которой можно определить господствующие роды болезней». Влияние принадлежит лишь необыкновенному таланту и производится им лично и независимо. Критика — похвала, брань — совершенно бессильны над публикой и доставляют ей одну только потеху во вред литературе. Эти убеждения сделали ученейшего и образованного Брамбеуса равнодушным к судьбам той литературной борьбы, которая затеяна была с ним журналами с новыми направлениями. Он оставался хладнокровным и как бы дал себе слово не отвечать на вызовы, хотя ближе знающие его предполагали это равнодушие более искусственным, чем естественным. Здесь же ищут причину возврата его к любимым занятиям археологией и философией. К началу 50-х годов он уже разнообразил привычные и любимые изыскания химическими, оптическими и механическими занятиями. Предоставив журнал непосредственному ведению А. В. Старчевского, сам О. И. Сенковский в своем доме в Свечном переулке производил опыты над жидким стеклом, обливая им, вместо обоев, стены. Занялся акустикой и придумал несколько остроумных применений к музыкальным инструментам и к большому, особого устройства, оркестриону, но к своему журналу охладевал все более и более. Так, например, в 50-х годах он, лишь по усиленным настояниям нового и молодого редактора, успел дать в журнал несколько крупных разборов «Путешествий по Азии» Березина, «Обозрения Оттоманской империи» (Серчевского, в 1854 г.) и библиографических заметок. В числе последних оказался и благоприятный отзыв в характеристике и оценке трудов Л. А. Мея, по обыкновению, написанный на перемеченных лоскутках бумаги, с надписками над строками, со вставками между строк и во всех направлениях по полям, крест-накрест, вдоль и поперек. В этом отношении он был хорошим учителем для наборщиков и бесжалостным мучителем метранпажей[10]: доставленную ему корректуру он снова испещрял поправками, выбросками, вставками; над старой статьей воздвигалась совсем новая. Влияние Сенковского в эти годы выразилось более рельефным образом в рекомендации литературных упражнений женщин, находившихся под особым его покровительством. Появились повести Лейлы (псевдоним г-жи Ахматовой), повести жены Ос⟨ипа⟩ Ив⟨ановича⟩ (урожденной баронессы Раль) и прочие невыгодные и неудобные приобретения для журнала, навлекавшие на него всякий раз новые справедливые нападки критики. Будучи последовательным и не переставая быть противником так называвшейся «натуральной школы», Сенковский тем не менее не мешал уполномоченному редактору действовать в журнале по собственному вкусу и на свой страх, по влечению и симпатиям к новому направлению, обнару-

жившемуся в наибольшем успехе и действовавшему с ускоренной силой в это самое время, предшествовавшее крупным государственным преобразованиям. О. И. Сенковский не одобрял, но снисходительно дозволял помещение очерков из народной жизни, проявляя свою требовательность лишь на перемены резко не нравившихся ему заголовков (так, наприм., название одного рассказа «Пастух» указал переменить в «Встречу» и посетовал на то, что дозволил оставить за одним очерком название «Извозчики»)[11]. В 1854 году остроумный редактор совсем отстал от издания и, кажется, разгневался на него. С большей готовностью согласился он потом служить пером даже на стороне. По старым добрым отношениям с Смирдиным-отцом, он решился помочь его сыну, задумавшему юмористический журнал: написал бойкий проспект, пересыпанный блестками юмора в обычном тоне, с приноровкой к улице, сделал листку «Весельчак» неожиданно большую подписку, затем, как бы спевши лебединую песню, вскоре совсем замолк[12]. А. В. Старчевский решительно шел в новом направлении, стараясь подравняться с тем, которое было любезно и присуще прочим двум петербургским большим журналам. Эти давно уже перестали быть, по иноземным образцам и во вкусе Сенковского, простыми сборниками случайных статей или revues.

В это самое время, когда было начато коренное, можно сказать, преобразование внутреннего содержания «Библиотеки для чтения», прибыл в Петербург Л. А. Мей, присоединился прямо к этому журнальному органу и на первых порах даже поселился в квартире радушного редактора, выехавшего на лето на дачу. В это время мы, уже ранее работавшие в журнале, и спознали лично новоприбывшего поэта-москвича.

* * *

Прибыл Л. А. Мей молодым человеком — по годам, изящным — по наружному виду и усвоенным манерам. Его внешность, как живая, и сейчас восстает прежде всего в моей памяти: до того была типична его невысокая фигура, статная, выступавшая твердым и решительным шагом, с открытым красивым лицом, с откинутыми назад и на высокие плечи длинными вьющимися черными волосами*. Для щеголевато мундирного Петербурга он как раз приходился ко двору, хотя в этом наружном облике художника или поэта, в то время вовсе не казавшемся странным, он не предъявлял

* Портрет, который на днях выдала за Мея «Всемирная иллюстрация», не имеет ни одной живой и хотя бы сколько-нибудь схожей черты; это — несчастная копия с какой-то лубочной фотографии. Покойный Мей сниматься не любил и подлинных, схожих портретов его нам случалось видеть немного.

особенно кричащих претензий. Он был совершенно искренним и самим собою, автором тех пьес, где в таких прелестных образах представлена им пластическая красота древнего мира[13]. Лучшие из его стихотворений,— и между ними «Сплю, но сердце чуткое не спит»,— мы все уже знали наизусть. Знакомство с автором казалось в высшей степени лестным и желательным, и при встрече с ним его приподнятая и откинутая назад голова и несколько театральная выступка нас не поразила. Виделся поэт — поклонник античной красоты, толкователь быта классических времен и переводчик классических поэтов. Наша забитая и напуганная всяческими страхами, а потому недоверчивая и осмотрительная молодая товарищеская семья пишущих всего больше боялась именно неудачи первых впечатлений и разочарований. Однако мы невдолге убедились, что предъявленная нам оригинальностью костюма, прически и посадки была лишь обманчивая внешность, приобретенная привычкой и воспитанием. Он был заботлив и внимателен к себе, по крайней мере, в такой степени, что любил заниматься гимнастикой, выработал крепкие, железные мышцы и был в самом деле очень силен. Любя иногда, при случае, в товарищеском кружке, прихвастнуть этими преимуществами, он производил наглядные опыты с достаточным успехом: оказывался ловким в борьбе и удачливым в подъеме значительных тяжестей одной и обеими руками. Однако все эти особенности обманчиво говорили в пользу его долгой жизни: нашлись иные, враждебные причины, истекавшие из увлекающейся, чрезвычайно восприимчивой и несомненной поэтической природы его. В последней, во всяком случае, нельзя было не признать присутствия полного изящества, которое лишь по неприглядке могло казаться некоторой аристократичностью, излишком привязанности к высшим общественным сферам, очевидным стремлением попасть туда, где богато до роскоши живут, весело до одурения проводят время и едят тонкие блюда до полного пресыщения. Наш поэт так уже наладил себя и был последователен в своих привычках и потребностях: например, при скудных средствах нанимал дорогие квартиры только по той причине, что они были или просторны, или оригинальны, или оказывали из окон хорошие виды. Нужда его не пронимала: в обширной квартире не хватало мебели; другая, красивая, стояла нетопленной, да зато была просторна и светла, отвечала его изящному вкусу и известным привычкам. Пусть кричат птицы в клетках и мешают беседе, пусть снует под ногами шаршавая собачонка,— поэт любил природу и питал нежные чувства ко всем ее созданиям. Это стремление ко внешнему блеску в самом деле иным казалось личной слабостью поэта, и несомненно, по обществен-

ному положению его, было недостатком характера, за каковой и приводилось ему дорого расплачиваться. Во всяком же случае подобным претензиям напрашивалось оправдание и объяснение в воспитании, полученном им в привилегированном Александровском лицее; к тому же он поступил сюда не из простой всесословной или народной гимназии, а из московского дворянского института (впоследствии 4 гимназия, когда она помещалась в самом изящном до замечательной художественности доме Пашкова, на углу Моховой и Знаменки). В Москве Мей начал проходить службу в привилегированной и блестящей канцелярии генерал-губернатора, где от высших чиновников не требовалось особенного канцелярского труда, но было обязательным знание в совершенстве модного языка, внешняя представительность и светская ловкость на роскошных балах. Здесь уменьем танцевать и выдающейся внешностью можно было — и многим удавалось — пробить себе путь с низших должностей чиновников особых поручений до высших ступеней длинной и широкой бюрократической лестницы. Мею одновременно довелось вращаться и в праздной среде богатого московского барства, отживавшего свой век по Староконюшенным, на Сивцевом Вражке и т. под., но еще цеплявшегося за крепостное право и все еще не переставшего держаться многих традиций грибоедовских времен. Затем и в литературной деятельности Мей неизменно продолжал показывать пристрастие к изящной форме изложения, к красивым и образным выражениям старинных летописей и живого народного языка,— стало быть, и на этот раз был искренним и последовательным.

Нам приходится останавливаться на этот раз с некоторой подробностью здесь именно в силу того, что в нашем поэте замечалась видимая двойственность и как будто противоречие в характере. По наружности — аристократ и щеголь, как бы намеренно, в отличие с прочими рядившийся в художественную тогу; в товарищеском кругу — подлинный демократ и в иных проявлениях даже до некоторых крайностей. Нам всем казалось тогда, что микроб демократизма с рождения в бедной чиновничьей семье сидел уже в нем и только задерживался в развитии до сих пор случайными моментами. Лишь только нашлась благоприятная почва, вот он и развился в удобную для наблюдений и хорошую культуру. Эта почва дана была тем литературным кружком, который группировался около новой редакции «Библиотеки для чтения». Она, естественно, нуждалась в молодых силах и собрала их: Кукольника уже вовсе перестали читать, Лейлу никто не читал; у публики отошла охота читать популярные пересказы сочинений иностранных ученых; пожелали статей руководящих и направляющих в политическом и социаль-

ном отношениях. В составе новой редакции «Библиотеки для чтения», как и везде, оказались и начинающие из студентов, офицеров и вообще почувствовавших в себе желание печатно высказаться в том или другом направлении, теми или иными заранее приобретенными наблюдениями. Примкнули вскоре и некоторые уже из работавших в счастливых, т. е. более распространенных, журналах. Первые прибегли охотно, вторые — с оглядкой, принеся на первый раз остатки или излишки тех литературных работ, которые не попали в «Отечественные записки» и «Современник» по недостатку места, по неполному соответствию требованиям этих двух журналов и по другим авторским домашним соображениям. Издатель «Библиотеки» расплачивался аккуратно и не в стеснительном размере гонорара, в то время когда наиболее счастливый журнал зачастую платежи задерживал и на требования платы откровенно сердился и упрекал. Сенковский также был своеобразен в этом отношении. Для него еще было живо в памяти то недалекое время, когда иные писатели за честь считали себе печататься без всякого денежного вознаграждения. Когда двадцатилетняя редакторская и издательская практика заставила изменить взгляды, он все-таки включил в параграфы условий с авторами то, чтобы начинающему не выдавать денег за первые три статьи, в смысле взыскания за рекомендацию публике или вроде тюремного «влазного», когда со всякого новичка арестанты берут вкупную плату. Старый редактор «Библиотеки» считал занятие литературой простым и свободным искусством,— занятием, не нуждающимся ни в каких материальных поощрениях. По свидетельству близко стоявшего к нему человека, не один незнакомец, по незнанию этих убеждений или капризов барона заговаривавший с ним о цене своего рукописного произведения, встречал не совсем любезный прием. Лишь только он смешал ум с деньгами, то был сухо отправляем в книжную лавку или контору издателя, где литература становится товаром. Новый редактор «Библиотеки» начал действовать в противоположном направлении, но в согласии с «Отечественными записками», где расплачивались с небывалой аккуратностью, и достиг именно тех результатов, что в редакцию «Библиотеки для чтения» стали прибегать и даже перебегать. В числе перебежавших были люди суровой школы воспитания, сумевшей сделать их робкими, недоверчивыми к себе и до излишества осмотрительными, а тяжелая, принижающая нужда не позволила развиться достаточной смелости и решительности, хотя бы только для того, чтобы позвонить у дверей богатых квартир редакторов с признанным литературным авторитетом. К тому же на рынке предложение услуг все-таки увеличивалось. «Библиотека» для этих

свежих и новых оказалась действительно вновь открытым рынком для сбыта, когда на нее стал уже сердито ворчать, а потом и взлаивать, при помощи «Северной пчелы», Фаддей Булгарин. До того времени он считал себя с этим журналом в любви, согласии и союзе.

В это самое время переворота и прибыл Л. А. Мей, и не только пристроился к «Библиотеке» и поместился на квартире редактора, но и отдался деловым интересам издания с тем увлечением, которое составляло отличительную и поучительную черту его характера. Тотчас же и оказалось, что внешнее высокомерие и видимая недоступность были обманчивы до последней степени. Совсем напротив: проще в сношениях и охотливее на послугу мало было в литературных кружках людей, подобных ему. Петербургские литераторы казались слишком занятыми собой, чтобы замечать под ногами копошившихся и изнывающих в нужде и в бессилии борьбы с нею маленьких начинающих. Исключение составляли по счету трое; однако, чтобы достичь до И. С. Тургенева, около которого группировались тогда все лучшие и все талантливые силы, надобилось особое счастье понравиться его требовательным вкусам каким-нибудь случайно удавшимся рассказом или стихотворением. Чтобы узнать добрейшего человека И. И. Панаева, надо было очутиться с ним либо лицом к лицу, чтобы никого другого в это время он уже не мог бы видеть, либо принести благонадежную рекомендацию. П. В. Анненков, отличавшийся изумительным добродушием и прославившийся готовностью на всякую помощь, стоял настолько вдалеке и был скромен, что до него трудно было доискаться. Новоприбылой Л. А. Мей с сильным московским закалом и со свойственной его поэтической натуре впечатлительностью тотчас же и предъявил все те данные, с помощью которых люди обыкновенно занимают самую середину кружка и в которых робкие и неумелые сильно нуждаются.

Добрейший человек по самой природе, радушный и хлебосольный с московского обычая, Л. А. Мей оказался с таким избытком сердечности, на которую способна лишь несомненная и чистая поэтическая натура. Как натура цельная, он был и во всех отношениях неизменным: к забитым, заброшенным и потерянным всегда чувствовал особенное влечение. Он не смотрел при этом на частые личные разочарования и те неприятности и огорчения, которые этим природным свойством причинял семье своей, горячо им любимой и платившей ему взаимностью. Встретит он где-нибудь в трущобном месте захудалого оборванца, в поэтическом увлечении заподозрит в нем какую-нибудь симпатическую добрую черту, увлечется — обласкает, приведет к себе на квартиру, украдкой накормит и затем долго возится с ним, рекомендуя

всем, как алмаз в грязи. Он долго потом возится с этим человеком, пока тот чуть не на его глазах не снесет в кабак пожертвованные им на картуз или обувь деньги. Иной просто и начистоту, бывало, обворует благодетеля или, по долгом испытании, покажет ему и досконально докажет всю свою нравственную пустоту или умственную бессодержательность. Будучи деликатным, он никогда не прибегал к упрекам и сетованиям на виноватого и, оставаясь обманутым, никогда не вдавался в раскаяние. На справедливые упреки он отвечал глубоким молчанием: бывало, ходит себе торопливым шагом из угла в угол по комнате и с удвоенной силой потягивает из памятного нам коротенького чубука жуковский табачок, который он, по московским привычкам, не обменивал на папиросы, получившие уже тогда большие права гражданства. Многие из нас, уцелевших, помнят (а нам лично никогда не забыть), с какой неожиданной и удивившей всех стремительностью, в легоньком домашнем пальто и без шапки в холодный и мокрый осенний день он бросился из квартиры, пробежал по холодным длинным сеням и выскочил на улицу спасать щенка, которого безжалостно топил дворник в Лиговке. Он щенка отнял, что-то сунул дворнику в руку и затем не брезговал воспитывать этого «непородистого, нескладного, невзрачного, постоянно злого и постоянно мрачного» пса. Он как бы сочувственно вспомнил самым делом того, которому он далеко раньше посвятил целое стихотворение, озаглавив «Чуру».

Дай лапу мне!.. вот так. Теперь я успокоен:
Есть сторож у меня!.. Пускай нас осмеют,
Как прежде, многие: немногие поймут.

Мы, однако, хорошо понимали, сколько раз видавши его сидящим в карете! Езда в карете была слабостью, доводившей его иногда до комических положений и трагических результатов: приводилось отдавать за нее все то, за чем поэт ездил и что успел получить на домашние потребности и семейные нужды. Но не в этом дело, а суть вся в том, что Лев Александрович несомненно ехал хлопотать за кого-нибудь, за какого-нибудь начинающего писателя по редакциям. Надо было слышать всю неотразимость представляемых аргументов, щедро собранных воедино, в соответствие лицу и сообразно окружающим обстоятельствам, чтобы выпросить денежную поддержку покровительствуемому им лицу. Он не соображал, например, при этом случае, что фельетонист «Библиотеки для чтения» Егор Моллер задолжал издателю свыше головы. Он забывал даже и то, что выхлопотанные деньги пойдут на обед непременно у Доминика[14] и что он сам оторвался от спешной и срочной работы для этих разъездов, чтобы, будучи

обманутым, подчиниться одному лишь влечению доброго сердца. Случай, приведенный в «Новом времени» (в ст⟨атье⟩ г. Быкова), когда наш поэт, обеспечившийся 25 руб., отдал их Льву Камбеку на лестнице своей квартиры, в которой в клетках любимых им птичек замерзала вода,— случай не единственный, а один из целого десятка[15].

Эта возня с потерянными и это хождение по трущобам с очевидным и доказанным демократическим оттенком легко уживались в нем с аристократической внешностью без всяких сделок с совестью и без обмана. Известно до очевидности было то, что он имел товарищей по лицейскому выпуску, стоявших уже в то время на высоких ступенях иерархической лестницы. Однако наш поэт, вечно нуждавшийся и недостаточно вознаграждаемый в силу присущей его духу литературной специальности, никогда не искал в них. Был он настолько горд, строг к себе и независим по профессии, что так и не устроил ни себе самому, ни семье прочно обеспеченного состояния и видного положения. Работать он, однако, любил; от труда никогда не бегал. Известны его пробы в государственной службе в Москве для дела: после канцелярии генерал-губернатора он пытал свои силы на педагогическом поприще — некоторое время был инспектором 2-й гимназии (на Разгуляе), но не удержался, повредила ему откровенная поэтическая беззаботность в рутинном хомуте гимназического чиновника и та независимость убеждений и стойкость во взглядах, которые показались гордостью и сочтены были за либеральное непочтение к начальству. Последнее в те времена старалось быть и казаться в особенности строгим и придирчивым, не сдерживалось в дерзостях, что прямой и мягкой душе поэта, естественно, казалось грубым и жестоким до невыносимого. Московские неудачи дали ему внушительный урок и вынудили искать средств к жизни исключительно в свободных литературных занятиях. Для них он приехал в Петербург, который к той поре уже успел отвлечь от Москвы многие художественные силы и продолжал соблазнять и увлекать остальные. Москва с единственным журналом «Москвитянином» не в силах была удержать даже и ту искусно подобравшуюся и согласно наладившуюся литературную группу, во главе которой стоял крупный талант и великая литературная сила — А. Н. Островский, а около него группировалась так называемая «молодая редакция» «Москвитянина». Поодиночке, один за другим ее члены перенесли свою деятельность в петербургские журналы, как сделали А. Н. Островский, А. Ф. Писемский, А. А. Потехин, и даже все, за исключением первого, самолично перебрались в Петербург на постоянное житье. Так поступили даже и самые деятельные, по постоянному участию в журнале, каковы А. А. Григорьев, Т. И. Филиппов и Е. Н. Эдельсон,

Л. А. Мей оказался только первым из всех, передовым из них, отправившимся как бы для рекогносцировки. Затем, в качестве обжившегося старожила, он поставил для себя священным долгом встречать каждого москвича хлебом-солью: непременно устраивал вечерок. Так как большей частью эти неожиданные наезды застигали его врасплох, во время полного безденежья, то он бросался занимать. Добывши средства, любил угостить широко и сытно — по-московски и со вкусом. Собственноручно на садке у Аничкова моста убивал колотушкой по голове налимов; наберет по пути гастрономических закусок, ценных вин, сам бегал на кухню, изготовляя московскую уху или солянку. Хлопотал, чтобы гостям было весело, и, действительно, был в этом находчив. Торжествовал с сияющим лицом, когда удавалось всех перезнакомить, в чем и заключался весь секрет его преднамеренных желаний и затеянных хлопот. При неудаче промыслить деньги, доходил он до такого отчаяния, что совсем пропадал, не возвращаясь домой. Потом при встрече с несолоно хлебавшим он простодушно извинялся, искренно просил прощения. При удачах все добытое истрачивал, так что для расплаты с извозчиком приходилось ему вновь призанимать у того из гостей, с которым находился в наиболее близких отношениях. «Библиотеке для чтения» этим способом удалось ему оказать серьезные услуги, ввиду того, что у москвичей он пользовался большим уважением и сам, словно тоскующий в разлуке, искренно радовался им, как своим родным. Когда за поэтическое увлечение и московское доверчивое добродушие он наказал себя неудачами, набежал на деловую холодность, а после погодинской распущенности и бессистемности — на организацию петербургских редакций в подлинное подобие деловых коммерческих контор, наш поэт не растерялся, не пришел в отчаяние и не опустил рук. Примирившись с новыми требованиями, он принимал заказные работы и, любя труд, вел их с образцовой добросовестностью: старательно собирал и изучал материалы, не выходя по целым неделям из дому. У нас сохранились новгородские летописи (1, 2 и 3-я), все испещренные по полям и между строками текста заметками Мея, свидетельствующими об его замечательной филологической подготовке, отстроумии в объяснении непонятных и изживших слов и выражений и вообще о выдающейся подготовке к разумению древних памятников и о изумительной начитанности. По новгородским летописям, очевидно, он подготовлял себя к разумению частной жизни северных вольных общинников, столь трудному и темному вопросу, который, однако, с художественной правдой, простотой и рельефностью он разрешил в своих исторических драмах: в «Царской невесте» и особенно в «Псковитянке», а также в песнях про Евпатия Коловрата, княгиню Ульяну Вяземскую и проч. Точно с такой

же добросовестностью отнесся он и к заказной работе, произведенной на наших глазах. Редактор рассчитывал (ошибочно и непрактично) освежить и оживить «Библиотеку» прибавлением, вместо обычных переводных романов, пространного энциклопедического словаря. Подчиняясь закону алфавита, Мею он поручил составить статью об Абиссинии. Лев Алекс⟨андрович⟩ исполнил задачу первым с привычными ему внимательностью и добросовестностью, настолько образцово, что редактор справедливо и основательно ставил нам эту статью в образец. Сам автор откровенно и искренно сознавался, что он с наслаждением подписал под статьей свое имя, хотя эта работа и противоречила его прямому направлению и призванию и давала прекрасный повод к легким остроумным насмешкам, а может быть, должна была вызвать и горькие упреки.

В сущности, Мей был человеком глубоко образованным, в самом строгом значении этого слова, и притом прекрасно воспитанным. Завидные фундаментальные знания, поразившие даже такого энциклопедиста, каким несомненно был высокоталантливый и разносторонне ученый Сенковский, не ограничивались одним знанием многих языков. В самом деле, он переводил подстрочно с подлинников образцы поэзии еврейской, римской, греческой, польской, немецкой, английской и французской. Лингвист он был замечательный, но эта исключительная, как бы прирожденная способность, подкрепленная поэтической восприимчивостью, всегда дополнялась с его стороны строгим историческим изучением и обязывала его на комментарии, блистательные по остроумной находчивости и глубокой вдумчивости в самую суть и корень художественного замысла (пример, между прочим, в переводе «Слово о полку Игореве», в предании «Отчего перевелись на св. Руси витязи», в драме из римской жизни «Сервилия» и многом другом). Филологические исследования были его самым любимым занятием, и в этих знаниях он также был весьма силен. Вследствие последнего обстоятельства, к родному языку Мей питал горячую любовь, доходившую до боготворения. При изложении собственных дум и подыскивая эпитеты, он был настолько строг и в то же время, так сказать, чистоплотен, что в нынешние времена нельзя встретить и отдаленного подобия этому образцовому стилисту и высокоталантливому поэту *. Образцом, добрым советником и

---

* Как увлекающийся всегда и во всем, он и в этом вопросе способен был доходить также до некоторых крайностей. Владея тонким и чутким слухом, он, например, искренно не любил шипящих и свистящих грамматических форм причастий, а деепричастия считал незаконной, извне навязанной формой речи, не приличной строгому и без того богатому языку, и никогда их не употреблял. Мало того, что всех серьезно упрашивал он

опытным проводником он и служил с полной и беззаветной охотой. Сам же дошел до той изумительной виртуозности стиха и пластичности образов, что не только в те времена не видел соперников, но не приобрел таковых даже и до сего дня. Стих давался ему легко; рифмы уловлялись с поразительной быстротой и были изумительны по успехам победы над чрезвычайными трудностями. Сказать экспромт было для него так же легко, как выпить стакан воды. Экспромты Мея еще ждут собирателя: он их разбросал и записал во множестве, но ни один не попал в полное собрание его стихотворений 1862 года. В числе таковых из памятных нам один был записан в течение каких-нибудь пяти минут в раскрытый и подложенный под руку альбом брата переводчика Беранже (Вас. Степ. Курочкина), Николая Степановича, которого мы в тот день собрались провожать на Черное море, в службу врачом на пароходах тогда молодого Южного общества пароходства и торговли[16]. Мей недолго думал и со свойственной ему быстротой и сердечной теплотой написал:

Я люблю в вас — не врача;
Не хвалю, что честно лечите;
Что рецептами сплеча
Никого не искалечите.

Я люблю в вас смелость дум,
Руку дружественно-твердую,
И пытливо гордый ум,
И борьбу с невзгодой гордую...

За свою любовь к родному языку, за почтительное обращение с этим могущественным орудием, за сознательное увлечение его красотами, неустанное искание сокровищ народной поэзии и глубокое, всестороннее их изучение Мей награжден литературным успехом. В переводах и переложениях Мей был точен и столько же строг к себе, как и во всех литературных замыслах и работах. В доказательство мы имеем возможность в конце наших воспоминаний представить один образец Меевского перевода песни Беранже «В день именин моего доктора». Хотя он и был напечатан в 3-м томе полного собрания, но в параллель к нему у нас сохранилось на ту же тему подражание Беранже В. С. Курочкина, не попавшее в полное собрание сочинений столь же незабвенного, милого и дорогого поэта. Тот же случай отъезда брата на далекие моря и в опасные плавания дал возможность Василию Степа-

---

не прибегать к подобному обороту речи,— он написал, для вящего убеждения, целый рассказ «Кирилыч» в «Библиотеке», забракованный самим автором для полного собрания сочинений, но для нас в настоящее время имеющий автобиографическое значение.

новичу выступить в товарищеское, невинно-милое состязание со Львом Александровичем, успевшим уже написать в тот же альбом свой подстрочный перевод Беранже.

* * *

Такого симпатично-милого человека, образцового литературного деятеля и бесценного товарища мы получили в то самое время, когда в особенности нуждались в поддержке и руководстве. Припоминая теперь эти первые пятидесятые годы, едва верится в то приниженное и загнанное положение, которое переживалось нами. Точно какая-то непогодливая темная осенняя ночь заслепила глаза, и путники, желавшие продолжать путь дальше, готовы были остановиться, предавшись полному отчаянию[17]. Невольно они цеплялись за тех, которые были впереди и обещали вывести на свет и простор еще до свету. Задним приходилось вполне им довериться. Когда же, среди непроницаемой тьмы, слышались твердые и торопливые шаги догонявшего и пристававшего к нам со стороны свежего путника, мы как будто подбодрялись, заручались смелостью и надеждой и безостановочно шли вперед, приглядываясь и прислушиваясь к этому еще неусталому прибылому. И страшная гроза успела за это время разразиться над нами, и ужасный ураган, ломавший с корнем деревья темного и дремучего леса, которым мы самоохотно брели, пронесся над нашими головами. Мы держались за провожатых, не спуская их с глаз и ни минуты не теряя из вида. И в сумерки рассвета, и после уходившейся бури, во время отдаленных раскатов смолкавшего грома мы все тянулись себе вперед, стараясь насильно попадать со всеми в ногу. Когда вдруг рассвело, мы все оказались налицо: между нами не было ни отсталых, ни изнемогших, были спотыкавшиеся и немного усталых по причине чрезвычайных трудностей пути по колеям, рытвинам и через валявшиеся под ногами кокоры и сучья. На этот раз, как и всегда после грозы и бури, на полном затишье и при ярком блеске солнца, в разреженном и очищенном воздухе стало легче дышать и вольнее идти.

В конце пятидесятых годов, т. е. в первые годы преобразовательной эпохи, в освободительную пору жизни русской, литературная деятельность Мея выразилась, естественно, с наибольшей силой и велась им с удвоенной энергией. Живой и чрезвычайно подвижный по темпераменту, он стал работать торопливо и поспешно,— может быть, и с ущербом для себя в смысле законченного развития своего большого художественного таланта. Зато он везде поспевал: подкреплял добрым советом начавших, поддерживал участием и личными

хлопотами начинающих, ни разу не отказал нуждавшимся в его личных литературных трудах (благодарная память на недавней поминке на могиле сразу привела трех, обязанных дружбе и помощи Льва Александровича во многом). Когда была дана свобода высказываться печатно, когда литература освобождена была от стеснительных пут и появились новые журналы и газеты, Мей охотно вызывался на помощь всякому, кто умел возбудить его сочувствие, не отказывал даже маленьким уличным листкам. Все это производилось под влиянием тех же присущих его характеру увлечений и готовности помогать всем просящим людям, без разбору. Когда задумана была «Искра»[18], а при недостатке денежных средств искали мы безуспешно материальной опоры, Мей много вложил сердечного участия в поддержку упадавшей энергии и много хлопот, чтобы поставить дело на ноги в коммерческом отношении. Эти хлопоты не удались ему не по его вине, но сочувствие к виновнику нового журнального предприятия, В. С. Курочкину, не переставало делать многое в нравственном отношении. Сочувствие Мея продолжало оставаться всегда неизменным, было очень кстати и имело особенное значение. Курочкин испытывал постоянные неудачи на первых шагах житейского и литературного поприща. Начавши службу в одном из гренадерских полков, он, вместе с товарищами, ехал однажды с парада на извозчике, забывши, по природной рассеянности, снять полукруглый офицерский значок с груди, теперь даже совершенно исчезнувший у всех. На беду, попался он прямо на глаза великому князю Михаилу Павловичу, который и приказал ему отправиться на гауптвахту. Все дело для другого этим бы и кончилось, но полковое начальство сумело затеснить молодого офицера, только что начинавшего, по выходе из корпуса, военную службу. Затеснили его до того, что Василий Степанович принужден был выйти в отставку. Он начал писать стихи, но первые опыты, отданные в журналы, не были напечатаны. Он собрал все их в кучу и сдал в «Современник», и долго ждал, и едва дождался, что они явились в журнале забитыми в отделе «Смеси», без означения его фамилии и с оговоркой вроде того, что вот-де, кажется, и не дурно, а на свой ответ принять помещение их не можем, а напечатать не прочь, и пусть же сами читатели обсудят, правы ли мы в этом деле[19]. Василий Степанович находился в полном разочаровании самим собой, считал себя бедовиком и серьезно сетовал даже и на доставшуюся ему от родителя фамилию. Но он сделал опыт перевода «Старого капрала» Беранже; мы передали его в «Библиотеку для чтения». Кажется, литературный товар был высокой пробы, большой цены и яркого блеска в отделке, но страшно то, что тут предъявляется солдат, прибивший офицера, и т. д. На выручку

выступил Мей, очарованный мастерством стиха. Он, не говоря ни слова, сел в карету, поехал куда следовало и силой своих неотразимых аргументов, с помощью и под защитой авторитетности, признанной за ним всеми тогдашними опекунами печати, отстоял прелестный перевод, которым и украсилась книжка «Библиотеки»[20].

Мей казался всех оживленнее и первым принес на новоселье свой вклад, когда вызвавшийся быть издателем (Базилевский), для знакомства и закрепления отношений, предложил починное пиршество. Обедом дело началось, да им же и кончилось; опекуны неудачного, хотя и охотливого, издателя дали Василию Степановичу новый повод продолжать считать себя в бедовиках, а Льву Александровичу — опять любезные ему и никогда не стеснявшие его хлопоты поймать где-либо более важного и надежного издателя с свободным капиталом. Когда «Библиотека для чтения» обнаружила полную готовность следовать новому направлению, согласному с прочими передовыми журналами, задумано было фактическое знакомство и сближение с редакторами и сотрудниками изданий. Решен был парадный вечер с танцами и роскошным ужином. Мей опять оказался впереди всех нас; самодовольно потирал себе руки, похаживая по большой бальной зале, энергически затягивался из заветной трубочки, опять взял карету, сел и поехал за закупками закусок, расходы по которым лежали на нас, сотрудниках. Мей уже раньше согласил на то, чтобы А. В. Старчевский, живший тогда в доме Авериных на Петербургской Стороне, на Зеленой улице (прозванной нами за дощатую, выстилавшую ее мостовую «клавикордной»), очистил все свое прекрасное и обширное помещение и приготовил ужин. Издатель В. П. Печаткин обязался поставить вина и холодную закуску, мы, сотрудники,— фрукты, мороженое и музыку. Еще раньше Мей решил, кому из нас ехать приглашать гостей из литераторов. Прибыло много, почти все званые, и между ними, по замечательной и счастливой случайности, те два передовых представителя литературы, которые впоследствии и преемственно были редакторами этой же самой «Библиотеки для чтения», т. е. А. В. Дружинин и А. Ф. Писемский. Удостоил посещением наш вечер и сам маститый и домоседливый основатель нашего журнала, О. И. Сенковский. Захотелось ему посмотреть на выросшее новое действующее и похитившее у него любовь публики молодое поколение пишущих. Он поиграл в карты, побеседовал кое с кем, блеснул умом и очаровал всех приветливостью и любезным обращением. Всем было весело, все разошлись довольными, и для журнала вечер наш оказался не безрезультатным. Мей, по просьбе самого Сенковского, перезнакомил всех с ним, сам был до избытка оживлен и весел и об этом событии

вспоминал потом как о самом радостном и дорогом в его жизни. Но кончился пир наш бедою. Лев Александрович, под веселую минуту и в экзальтированном настроении, любил прихвастнуть и показать какой-нибудь замысловатый фокус все в том же прямом расчете оживить собравшееся общество. Не любил он серьезных компаний и нахмуренных лиц и неналаживавшихся бесед. На этот раз он выдумал фокус с бокалами, ножки которых должны были отскакивать, как бы отрезанными, если ударить по верхней чашке сосуда особенно ловко и сильно ладонью руки. Первый опыт оказался блестящим. При втором из руки брызнула кровь фонтаном. Арника не помогла; Николай Курочкин уехал, другого доктора среди нас не нашлось; мы повезли раненого, чтобы перевязать разрезанную артерию ладонной дуги в ближайшей больнице св. Марии Магдалины, на Васильевском острове.

Забыли мы и не в силах вспоминать, за добрыми качествами поэта, его недостатков, на которые успели уже на этих днях указать в печати также встречавшиеся с поэтом и неспознавшие ни причин, ни поводов его общенародной русской слабости. Чужая душа — потемки. Мей же был так деликатен по природе и воспитан прекрасно, что, будучи раздражительным и впечатлительным до обидчивости, умел искусно сдерживать себя и вызывал этим легкомысленное мнение иных судей о своей скрытности. В самом деле, в своей жизни он прошел, как солдат сквозь строй, между целым рядом неудач и невзгод, будучи приготовленным в привилегированном заведении к успехам в службе и к жизни на гладком пути, как на налощенном паркете. Он спокойно, с выдержанным равнодушием шел мимо неудач, не возмущался и не изменял своему по наружности самодовольному и неунывающему настроению духа.

И недаром все, вспомнившие Л. А. Мея через 25 лет по его смерти, согласились на одном, что в русской литературе он представляет собой резко выдающийся образец несправедливо, неблагодарно и незаслуженно «забытого поэта».

В ДЕНЬ ИМЕНИН МОЕГО ДОКТОРА.

(Из Беранже)

Поднимаем мы кверху стаканы
За здоровье врача своего,
Да боимся: больные — тираны,
У друзей не отняли б его.
У господ этих вечно замашка —
Разнемочься некстати сплеча...
— Господа, вам — ромашка,
ромашка.
Дайте выпить друзьям за врача.

БРАТУ Н. С. КУРОЧКИНУ

(Доктору. Подраж. Беранже)

Друзья мои, напенимте бокалы —
И первый пусть в честь доктора бокал;
Я не забыл, как он меня, бывало,
От ран любви по-братски починял.
Да он, никак, уходит? Он бедовый:
Здесь у него больной недалеко...
Да ну его! Пускай пьет жир
тресковый...
А с нами пей холодное клико!

Ведь могли подождать бы больные,
А не ждут: отовсюду гонцы...
Вон — безумцы зовут молодые,
Кифереина сына жрецы...
— Легковерные, вас обманули:
Вы в Эроте нашли палача!
— Господа, принимайте пилюли:
Дайте выпить друзьям за врача!..

Вон — сосед его требует к сроку:
У одной из его дочерей
Пухнуть начало с левого боку,
И что день, то сильней и сильней...
Испугалась семья не на шутку;
Рвет и мечет старик сгоряча...
— Потерпите, о дева, минутку:
Дайте выпить друзьям за врача!

Пусть весной его жизнь процветает,
Пусть, избегнув житейских
мытарств,
И не ведает он и не знает
Ни рецептов своих, ни лекарств!
Вкруг него — все друзья молодые,—
И беседа их так горяча...
— Умирайте уж, что ли, больные;
Дайте выпить друзьям за врача!

Л. Мей

Друзья мои, мы выпьем за здоровье
Лечебницы сверхштатного врача.
Но вот толпа истерзанных любовью
Стучится к нам, зубами скрежеща:
Чиновники, студенты, офицеры...
Тебе от них отделаться легко
Декоктами — сим нектаром Венеры;
А с нами пей холодное клико!

Еще беда: он акушер отличный!
Вот барышня, зардевшись от стыда,
С округлостью немного неприличной,
Запретного вкусившая плода,
Закрыв лицо, с ним шепчется, робея...
Здесь бабушка живет недалеко —
Пусть к ней идет. Там общество
скромнее —
А с нами пей холодное клико!

Нам не до вас, больные, подождите!
Мы с доктором засели пировать.
Пришла к вам смерть — так мрите,
мрите, мрите!
Мы можем к вам священника
прислать,
А в докторе нуждаемся мы сами.
Дай бог ему всю жизнь прожить легко,
И практики побольше, чтобы с нами
Почаще пить холодное клико.

В. Курочкин

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

(ПО АРХИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ И ЛИЧНЫМ ВОСПОМИНАНИЯМ)

Осенью 1855 года в петербургских литературных кружках, тогда не столь разнообразных и многочисленных, как теперь, но гораздо более сплоченных, распространился слух о небывалом событии, казавшемся всем неожиданным и почти невероятным. Правительство понуждалось в содействии тех общественных деятелей, которым уже давно присвоено было обществом не признанное и не утвержденное правительством звание литераторов, находившихся до той поры в сильном подозрении. Неожиданно, но определительно и ясно выражено было намерение употребить в дело силы, с которыми до той поры боролись или которых только гнали. У всех на глазах производились еще невероятные до забавного цензорские придирки, и живо памятны были те, почти вчерашние случаи, когда попечитель учебного округа Мусин-Пушкин, ведавший высшую цензуру, с кулаками наскакивал на авторов и редакторов периодических изданий и крикливо угрожал ходатайством о высылке в места весьма отдаленные. Давно ли газетного шута и доносчика Булгарина Леонтий Васильевич Дуббельт драл, как школьника, за уши?[1] Крутой переход ко вниманию, поощрению и исканию помощи в литературных деятелях был и достаточно неожиданным, и казался знаменательным после того, как по делу Петрашевского поплатились ссылкой несколько человек, заявивших свои имена в печати[2], после того, как И. С. Тургенев успел посидеть в Москве в арестантской Пречистенской части[3]. Почтенный профессор и известный ученый А. В. Никитенко отправлен был под арест за пропуск против военных щеголей невинных строк, не понравившихся Клейнмихелю[4]. Цензура пришла в какое-то оцепенение, не зная, какого направления держаться; цензора боялись погибнуть за самую ничтожную строчку. Цензурный комитет остановил не только новое издание Гоголя, но и напечатанный уже роман Даля[5]; министр просвещения Уваров

говорил, что он хочет, чтобы, наконец, русская литература прекратилась, и т. п. Во всяком случае, ходившие по Петербургу в указанное время слухи, облекавшиеся в факт, являются теперь таким историческим событием, умолчать о котором не вправе лица, принимавшие в этом деле участие. К числу их как один из немногих оставшихся в живых свидетелей, входивший в состав, так сказать, «литературной экспедиции», принадлежал пишущий эти строки. Обязанность высказаться усиливается еще тем обстоятельством, что об этом деле печатно сообщалось очень мало, и если временами встречались заявления и упоминания, то они большей частью отличались неточностью, ограничиваясь либо несправедливыми обвинениями командированных лиц в неисполнении принятых обязательств, либо положительно с ветру схваченными слухами и нередко приправленными клеветами. Не так давно, можно сказать — почти на днях, приходилось отстаивать существенно-неверные и беспричинно-злобные нападки на талантливейшего нашего писателя А. Ф. Писемского[6]. В предупреждение вероятных искажений и возможных неточных сведений, предлагается эта статья. ⟨...⟩

Почин в описываемом нами деле принадлежал молодому тогда генерал-адмиралу, председателю Ученого русского географического общества, великому князю Константину Николаевичу, состоявшему во главе коренных преобразований после севастопольского погрома, успевшему провести важные перемены во вверенном ему ведомстве и флоте и готовившемуся к участию в великом акте освобождения крестьян от крепостной зависимости. ⟨...⟩ «Морской сборник»[7] — орган министерства, находившийся под особенным ближайшим наблюдением и просвещенным покровительством великого князя, из сухого специального журнала успел уже превратиться в живой орган, в котором разрабатывались самые существенные и жгучие общественные вопросы. Памятно это время процветания «Морского сборника»,— время, когда всякое министерство, с его примера, спешило заручиться собственным органом, стараясь каждое оживлять литературными статьями. Так поступили «Журнал министерства государственных имуществ»[8], «Военный сборник»[9], переданный под редакцию Чернышевского. Министерство внутренних дел создало «Северную почту»[10] и поощряло материально и нравственно «Русский дневник»[11] под редакцией известного писателя П. И. Мельникова, писавшего под псевдонимом Андрея Печерского, и т. д.

Великий князь отдал 11 августа 1855 года следующий приказ по министерству, через князя Дм. Алек. Оболенского, занимавшего должность директора комиссариатского департамента:

«Прошу Вас поискать между молодыми даровитыми литераторами (наприм., Писемский, Потехин и т. под.) лиц, которых мы могли бы командировать на время в Архангельск, Астрахань, Оренбург, на Волгу и главные озера наши, для исследования быта жителей, занимающихся морским делом и рыболовством, и составления статей в «Морской сборник», не определяя этих лиц к нам на службу».

Приказ, писанный рукой состоявшего при великом князе статс-секретаря А. В. Головнина (бывшего впоследствии министром народного просвещения и членом Государственного совета), вызвал те последствия, о которых настоящая наша речь. Осуществление мысли великого князя ⟨...⟩ на первых порах оказалось довольно затруднительным. Не сразу выяснились и важнейшие пункты, необходимые и интересные для исследований, и выработалась программа действий для избранных лиц. Выбор лиц из числа наличных писателей представился нелегким, хотя и приняты были к тому энергические меры. ⟨...⟩ Писемский и Потехин успели уже заявить себя разработкой крестьянского быта, обнаружить очевидное, крупное знание народного языка и, стало быть, могли обещать несомненную способность к изучению быта и непосредственному сближению с простым народом. Оба эти писателя к тому же были лично известны августейшему генерал-адмиралу: А. А. Потехин в 1853 г., в зале Мраморного дворца, читал известным всем мастерским способом свою драму «Суд людской — не божий», а А. Ф. Писемский — chef d'oeuvre своих рассказов из народного быта — «Плотничью артель», в каюте фрегата «Рюрик», стоявшего на Кронштадтском рейде, в виду соединенного англо-французского флота под командою адмирала Непира*.

Приглашение остальных лиц потребовало особенных хлопот и долгих поисков, несмотря на то, что кн. Оболенский обращался к компетентным лицам с просьбой о рекомендации и сам лично находился в близких сношениях и дружбе с некоторыми писателями (между прочим, с редакторами «Современника» — Панаевым и Некрасовым, и Анненковым, через Английский клуб, в котором все эти лица состояли членами).

Первую неудачу испытал кн. Оболенский именно на приглашении издателя сочинений Пушкина и автора материалов для биографии нашего великого поэта. Благодушный, но мало знакомый с литературным кругом, помимо того, который собирался у Тургенева, Павел Васильевич Анненков от личного приглашения шутливо отыгрался. «Конечно, нет ничего легче,

* Об этом в свое время (в 1881 г.) подробно сообщал в «Новом времени» известный артист-рассказчик И. Ф. Горбунов, ездивший вместе с Писемским передавать свои превосходные рассказы в самом начале артистического поприща[12].

как молодому литератору (с проседью), каков я есть по вашей оценке,— вы позабыли (пишет он Оболенскому) прибавить еще и красивому,— проехать на тройке через Городец, Горбатов и друг., поговорить на станции, да и составить статейку, но эдакого греха я, перед людьми, на себя не приму. Это дело тех светских и гениальных натур, которые составляют понятия о парнасских увеселениях, итальянской опере в Петербурге, современной литературе и все приписаны к фельетону «Петербургских ведомостей»,— их зело остерегаться надо». «Для добросовестного исполнения подобной миссии,— наставительно прибавляет Анненков,— прежде всего, нужно изучение предмета, а изучение есть не что иное, как отдача всего себя раз выбранной цели на столько времени, сколько потребуется. Вот этого-то, почтенный князь, я и не могу сделать теперь». Вместо себя он рекомендовал «темные, но весьма почтенные имена, таковы: Льховский — знакомый М. А. Языкова, Родзянко — служащий при «Современнике», Колбасин — состоящий при Тургеневе (этот еще и не служит и с радостью принял бы лестное поручение)». В заключение Анненков прибавляет: «Не примите отказа моего, вынужденного случайными обстоятельствами, за увертку. Свидетельствую честью, что, приди ваше воззвание несколькими месяцами позднее, я бы сию же минуту принялся за дело».

Не освобождаясь от того увлечения заманчивою мыслью ознакомиться с народом и его бытом, на готовые средства, под высоким покровительством и ввиду открытых и обеспечивающих страниц морского органа, Анненков своею рекомендацией не достиг цели. Не были приняты ни Родзянко, ни Колбасин — автор биографии старых писателей: И. И. Мартынова, Курганова и Воейкова и некоторых повестей, напечатанных в 1850 г. в «Литературных вечерах» Фумели[13]. Льховский лишь впоследствии командирован был в заграничное плавание, из которого напечатал в «Морском сборнике» две статьи: «Сан-Франциско» (1861 г., № 1) и «Сандвичевы острова» (1862 г., № 2)*.

Неудачи поисков на этом не кончились, хотя и писал Некрасов: «Я получил вчера вопрос о писателях для рыболовства. Я могу достать вам полный комплект; убежду — и меня послушают люди дельные и известные: Потехин, Воронов, Дементьев, Студитский, может быть, Забелин. Но я боюсь обращаться к ним, если вы или ваше начальство обратится к другим. Уведомьте!»

---

* Впоследствии он был начальником типографии морского министерства, преобразованной на коммерческом праве, в каковой должности вскоре скончался от чахотки.

Обращение, действительно, сделано было ко многим лицам: в Петербурге — к члену ученого комитета министерства государственных имуществ г. Веселовскому и к И. И. Панаеву. Писали в Москву к редакторам «Москвитянина»: Погодину и Шевыреву. Г. Веселовский рекомендацией затруднился и не отвечал. Погодин и Шевырев проглядели своего сотрудника, знаменитого драматурга А. Н. Островского, который сам вызвался впоследствии и получил командировку, благодаря приятельскому соглашению с А. А. Потехиным, предложившим уступить верхнюю Волгу. Забыли в Москве и про талантливого Кокорева, автора прекрасных очерков из народного быта, напечатанных в том же «Москвитянине». Н. А. Некрасов с рекомендацией Потехина опоздал; остальные, указанные им, не были избраны. Посчастливилось лишь рекомендации И. И. Панаева, предложившего поэта Полонского и Михайлова. Я. П. Полонский получил в то время штатное место в Петербурге и не пожелал более отсюда выезжать. Точно так же министр народного просвещения (А. С. Норов) не согласился на откомандирование А. Н. Майкова, говоря, что «столь продолжительное (на целый год) отсутствие одного из цензоров, при ограниченном числе членов комитета иностранной цензуры, потребует замены надворного советника Майкова другим лицом на время его отсутствия» (письмо от 9 декабря 1855 года). Точно так же граф Перовский, министр уделов, нашел препятствия в командировке Писемского, состоявшего в то время на службе по департаменту уделов, и уступил воле его высочества лишь при вторичном настоянии: «Я полагаю,— извещал его великий князь,— что сведения, которые он приобретет в разных местах во время предстоящей ему поездки, не будут бесполезны и для удельного ведомства. С своей стороны, если я могу быть вам полезен командировкою в ваше распоряжение морских и штурманских офицеров, я всегда с большим удовольствием и готовностью исполню ваши желания» (письмо от 27 ноября, а 29 числа прислано было согласие на откомандировку титулярного советника Писемского)*.

Вообще предвидели и боялись появления толпы охотников-литераторов, а потому действовали с большой осмотрительностью, будучи убеждены, что явятся «и молодые, и даровитые, пожалуй, на составление легоньких литературных статеек (по вкусу нашей публики), сантиментальных и живо-

---

* Предполагалось первоначально изучение Финляндии и Остзейского края, но эта мысль впоследствии была оставлена. Для Финляндии обращались за рекомендацией лиц, которые в состоянии были бы исполнить поручение, к Якову Карл. Гроту, бывшему профессору в Гельсингфорсе ⟨...⟩. Для Остзейского края рассчитывали на Дерптский университет и предполагали отправить сюда поэта Аполлона Ник. Майкова.

писных, но цели не соответствующих». При этом твердо уверены были, что «⟨...⟩ мысль его высочества, без сомнения, встретит полное сочувствие в молодых литераторах, которым, с одной стороны, открывается поприще общественной деятельности, а с другой — доставляется возможность посредством ближайшего изучения разных краев России довершить свое образование и почерпать из обильного источника русской жизни живые образы и новые материалы для литературных произведений». Рассчитывали также и на то, что литераторы, конечно, не упустят из вида всего того, что может обещать блестящую будущность нашему флоту.

В числе оснований, на которых покоилась мысль генерал-адмирала по поводу командировки «молодых» литераторов, помимо поддержания созданного и упроченного с 1855 года успеха «Морского сборника», находилось и то, чтобы исследовать и описать подробности быта, нравы и обычаи того населения, которое занимается промыслами на воде и из которого, следовательно, всего бы полезнее и натуральнее было «брать матросов». В преобразовательных предначертаниях морского министерства вырабатывался проект рекрутирования флота по образцу французской морской записи, именно теми людьми, которые с малых лет привыкают к жизни и занятиям на воде. Впоследствии эта мысль была оставлена ввиду тех соображений, что Россия, счастливо орошенная громадною цепью рек и усыпанная озерами, всегда в состоянии представить громадное число людей, обыкших в плавании на судах и приготовленных к морскому делу в большей или меньшей степени,— особенно в северной лесной половине страны, по Волге с притоками и даже по южным главным рыболовным рекам и по трем морям (Черному, Азовскому и Каспийскому, по Дону и Днепру). Например, на архангельском севере, в особенности в Поморье и по побережьям всех рек, не только каждый человек, случайно взятый на выбор, представляет бесстрашного и опытного морехода, но даже и женщины наделены теми же способностями, но архангельский север и схожее с ним Обонежье мало населены. По этим-то и другим причинам первоначально намеченные местности для исследований подверглись изменениям, и районы наблюдения были расширены в другом направлении.

Самим наблюдениям этого рода, при выборе деятелей, предполагалась программа и имелся в виду род испытания (экзамена) для желающих, которые должны были представить предварительные работы. В них будущий путешественник обязан был изложить отчет о материалах, имеющихся уже в печати, относительно страны и обитателей, с некоторым критическим разбором и с указанием на неполноты, а в част-

ности составил бы программу, основанную на таком предварительном изучении предмета, и разбор его.

Так, по крайней мере, предлагал поступить барон Врангель, управлявший в то время морским министерством. Великому князю угодно было совершенно устранить этот кабинетно-измышленный способ. Он отвечал: «Я не считаю нужным давать подробную программу для этих исследований, предоставляя каждому составлять описание по собственному усмотрению, но прошу составить для них общие указания тех сведений, которые могли бы быть особенно полезны. Желаю не каких-либо донесений, а прямо статьи для «Морского сборника», вроде прекрасных статей г. Гончарова*. Не желаю, чтобы об этом предприятии что-либо печаталось прежде того времени, когда оно принесет уже желанные плоды».

На этом основании, широко раскрывающем свободу деятельности исследователей, составлена была программа, которой и снабжены были все избранные путешественники. Она заканчивалась следующими знаменательными и поучительными указаниями: «Если вы найдете возможным подметить и другие характеристические черты обозреваемой вами страны и ее жителей, то совершенно от вашего усмотрения будет зависеть вместить их в описание, как признаете за лучшее. Морское начальство, не желая стеснять таланта, вполне предоставляет вам излагать ваше путешествие и результаты исследований в той форме и в тех размерах, которые вам покажутся наиболее удобными, ожидая от вашего пера произведения его достойного, как по содержанию и изложению, так и по объему». Предлагалось обратить особенное внимание на жилища обитателей, их промыслы, с показанием обстоятельств, благоприятствующих и мешающих развитию оных; суда и разные судоходные орудия и средства, ими употребляемые, означая их названия и представляя, если возможно, их изображения на рисунке; физический их вид и состояние, преимущественно их нравы, обычаи, привычки, и все особенности, резко отличающие их от прочих обитателей той же страны как в нравственном, так и в промышленном отношении, а равно и в речи, поговорках, поверьях и т. под.

Выбор лиц, способных исполнить эту программу, все-таки был затруднен, и экспедиция замедлялась ⟨...⟩. Директор канцелярии морского министерства граф Дм. Андр. Толстой

* Часть которых была помещена в «Морском сборнике». Она вошла впоследствии в известное сочинение, выдержавшее несколько изданий, под заглавием: «Фрегат Паллада». В 1855 году в «Сборнике» напечатаны были: «Заметки на пути от Маниллы до берегов Сибири»; «Из Якутска»; «Русские в Японии в конце 1853 и начале 1854 г.» (три статьи). В 1856 г. помещена была статья «На мысе Доброй Надежды». В 1862 году «Фрегат «Паллада» вышел уже вторым изданием.

(бывший потом министром народного просвещения, а затем и внутренних дел) получил 14 октября приказание приискать литераторов «поскорее, хотя даже с риском, что выбор этих писателей не вполне будет удачен». В конце октября присоединен был к заранее выбранным сотрудник «Современника» Алек. Степ. Афанасьев-Чужбинский, предложивший исследование быта прибрежных жителей Днепра и Днестра. Отправляясь на родину в Малороссию по собственным делам, он умерил свои требования лишь до одной казенной подорожной (но получил все, что предоставлено было всем прочим). Одновременно с ним, в конце ноября, отправился на р. Урал и в Оренбургский край уроженец тех мест Мих. Ларион. Михайлов, автор многих повестей и рассказов и романа «Перелетные птицы», пользовавшегося известностью в среде театральных артистов за правдивое и живое описание их скитальческого быта. Около того же времени приготовился к поездке Ал. Ант. Потехин и получено разрешение на откомандировку Писемского. Тогда же И. И. Панаев рекомендовал гр. Толстому и автора настоящей статьи, по указанию Михайлова. Для исследования Дона и Азовского моря был приглашен Н. Н. Филиппов, кандидат Петербургского университета и преподаватель географии в Морском кадетском корпусе, и туда же Ал. Мих. Михайлов. Вместе с ними в эти же казачьи места поохотился поэт Лев Ал. Мей (товарищ гр. Толстого по Александровскому Лицею, находившийся тогда на службе в археографической комиссии министерства народного просвещения), и работа разделена была таким образом, что Мей должен был оставаться на Дону с мая или июня месяца, когда обязан был сменить его Михайлов. Мей, получивший командировку и снабженный денежными средствами, по болезни не поехал, деньги возвратил. По выздоровлении снова заявил желание и как вывод приготовительных трудов, представил программу, понравившуюся морскому ученому комитету: 1) Летопись Дона, 2) Предания и 3) Нынешний Дон. Поездка не состоялась за отказом комитета в выдаче денег по неизвестности размера, «так как это зависит, во-первых, от достоинства, а во-вторых, от объема статей». Филиппов отправился на юг на 5 месяцев, но выхлопотал впоследствии право на пребывание на Дону и Азовском море, наравне с прочими, в течение года. Сюда же, на юг и в теплые страны, просился весною следующего года Мих. Алек. Авдеев (автор известного романа «Подводный камень»), но просился в то время (в мае 1856 г.), когда экспедиция находилась в полном составе. ⟨...⟩ Ввиду того обстоятельства, что на юг уже отправлено четверо, тогда как, по первоначальному распределению, для изучения и описания быта жителей нашего южного края предполагалось

послать только одного писателя, ходатайство Авдеева было отклонено. Приказано было отвечать ему, что ни в какие обязательства с ним входить не могут, но что если он сам от себя будет присылать дельные статьи, то ему будут весьма благодарны. Четвертым назначен был Г. П. Данилевский, чиновник особых поручений при товарище министра народного просвещения, просивший удостоить поручения описать быт чумаков (исчезающего промысла), деятельность которых преимущественно сосредоточивается на том степном пространстве Малороссии, которое залегло между реками Доном и Днепром, не вошедшем в министерскую программу исследований. Он просил командировки лишь на четыре месяца, без денежного пособия, обусловливая последнее в той лишь мере, как признает сама редакция «Морского сборника», но «готов устранить это пособие вовсе, если встретится затруднение в предоставлении его».

Таким образом, обеспечены были исследователями все те благоприятные, по климатическим условиям и по густоте и разнообразию населения, местности нашего обширного отечества, прилегающие к главнейшим, оживленным народным движением, речным системам. Все командированные[14] были, за одним лишь исключением, уроженцами тех мест (стало быть, знакомыми с ними с детства), обследование которых приняли они на себя. Оставались свободными, при добровольном выборе, лишь негостеприимные, суровые и холодные страны севера, расположенные по северным рекам, по Белому морю и озерам Ладожскому и Онежскому. Исследование их принял на себя пишущий эти строки в феврале 1856 г., когда все товарищи по путешествию были уже на местах, исключая А. Н. Островского, отправившегося последним по изумительной случайности. Он мимоходом узнал о задуманном морским министерством предприятии во время проезда через Москву на места исследований двух его друзей, одновременно сотрудничавших с ним в «Москвитянине». А. А. Потехин, ограничившись волжским плесом от устьев Оки до Саратова, уступил Островскому всю верхнюю Волгу от самых ее истоков. А. А. Потехин писал к гр. Толстому, между прочим: «Приступивши к исполнению возложенного на меня поручения, я все более и более убеждаюсь в совершенной невозможности одному в течение годичного срока исследовать с надлежащею подробностью и точностью берега Волги на пространстве двух тысяч верст. При этом считаю долгом сообщить, что А. Н. Островский писал ко мне, с вашего согласия, что он желал бы поделиться со мною трудами при описании Волги. Письмо это и дало мне повод обратиться с настоящею просьбой». 17 марта 1856 г. великий князь изъявил согласие на командировку Островского. Все командированные на окраины

получили подорожные по казенной надобности, оберегающие от неприятных случайностей в дороге. В них исследователи прописаны были в первый раз, что стоит на свете Русь, тем званием «литераторов», в котором до сих пор не могут разобраться присяжные оценщики, но которое тем не менее решительно и безбоязненно присвоено было правительственным учреждением, дававшим, таким образом, этому заподозренному и непризнанному званию свою определительную санкцию. Написанное полными буквами в официальных документах, оно, при посредстве восьми лиц, стало известным в тысяче мест нескольким тысячам человек, впервые слышавших это чужеземное слово и пугливо и опасливо до крайностей комизма домекавших внутренний смысл и значение обязанностей, представляемых им.

В первых месяцах 1856 г. все выбранные исследователи были на местах и приступили к работам, нелегким по тому времени всеобщего возбуждения в различных направлениях, вызванного сильными мерами великих преобразований. Исследователей молодое поколение, все люди, сочувствующие реформам, могли встречать лишь, что называется, с распростертыми объятиями и с энергической готовностью помогать по мере сил и средств, как сверстникам, с которыми можно было сговориться и с первых слов понять друг друга. Ценились они и как дорогие гости, явившиеся исследовать те застарелые язвы народного организма, которые не переставали ныть и болеть. Люди старого воспитания, деятели по заветшалым программам и по приемам, которым отказано было в праве на существование, естественным образом недружелюбно, неискренно и искоса встретили неведомых, незваных и непрошеных и к тому же неожиданных пришельцев, обеспеченных высокою защитой и сильным покровительством, о которых до того слыхом не слыхать и видом не видать. Хорошо еще, если они только ревизоры, передающие наблюдения непосредственно из первых рук, а не то «инкогнито» проклятое, которого надо всемерно остерегаться. Во всяком случае, надо быть вежливыми и по силе-помочи внимательными, но сторониться, осматриваться, опасаться, чтобы какой-нибудь щелкопер тебя не вставил в комедию.

Один из исследователей[15] явился к губернатору для предъявления рекомендательного письма (подписанного гр. Толстым), в котором испрашивалось «благосклонное внимание начальников губернии к даровитым писателям,— внимание, имеющее, несомненно, облегчить предстоящие по этому поручению труды, от которых морское начальство ожидает и пользы, и занимательности». Этот начальник встретил путешественника довольно сухо и важно и на представление тех желаний, ради которых состоялась поездка, отвечал:

— Ничего не увидите. Нечего здесь смотреть. Рыболовства нет, потому что и рыбы нет, да и никогда не было. Судостроение в жалком состоянии.

Через несколько времени, спохватившись, начальник губернии на прощанье пожал руку и попросил за всеми сведениями без церемоний обращаться к нему.

— Если обратитесь к кому-нибудь другому, так вас непременно обманут.

Это — еще в лучшем случае, на счастливый выход; в других — неосновательные подозрения и ошибочные заключения о цели командировок прямо оскорбительно высказывались в лицо и требовали большого присутствия духа, чтобы не обижаться на предъявление подозрений в фискальстве и доносах. Если бы и в самом деле имелась подобная цель, то немудрено было бы опытным исследователям распознать виновных по одним лишь их грубым или недружелюбным приемам: у кого глаза чаще смотрят исподлобья, кто усерднее хоронится и избегает, у того, несомненно, на голове и шапка горит. Не от этих шла доброхотная помощь для заезжих наблюдателей нравов, поставленных в новых местах, как в дремучем непролазном лесу. Местная уездная и губернская молодежь из чиновничьего мира, всего больше и чаще та интеллигентская среда, которую составляют лица из педагогического сословия и духовенства,— вот кто явился в качестве первых искренних друзей и готовных пособников. Через них, как по звеньям цепи до конечного кольца, удавалось доходить и до тех знатоков местности, знания которых в особенности требовались и представляли собою искомую и высокую ценность. Такие знатоки-добровольцы обязательно вырабатываются всюду, доброхотно отдаваясь исследованиям родных гнезд. В подобных поисках всяких препятствий не оберешься, и сосчитать и представить все их на вид и в поучение совершенно невозможно. Особенно такое положение было тяжело в то переходное время и в тех щекотливых случаях, когда доводилось становиться глаз на глаз с народом, обращаться непосредственно к простому деревенскому человеку. Он уже глухо прослышал про надвигающуюся волю и теперь совершенно растерялся в распознавании того, кто его друг и кто недруг.

Один за всех нас откровенно и образно, с присущею ему правдивостью и искусством, рисует такие встречи А. А. Потехин в письме к гр. Толстому (сохранившемся в архиве морского министерства и печатно еще неизвестном):

«Чтобы открыть что-либо новое и интересное, нужны особые усилия и излишняя трата времени, часто для того только, чтобы достать «языка». Русский человек чрезвычайно осторожен и недоверчив: нужно крайнее терпение и особенные

приемы, чтобы войти в его доверие. Официальным путем от него ничего не добьешься; по характеру ли он скрытен и недоверчив, или по чему другому, решите по следующим забавным случаям. На обывательских лошадях в тарантасе и с колокольчиком приезжаю я в одно казенное селение, где, как я после узнал, ожидали вновь определенного окружного начальника. Первого попавшегося мужика начинаю расспрашивать об их житье-бытье, о том, какие у них промыслы, занятия, выгоды. Вдруг мужик мой упал передо мною на колени:

— Ваше высокоблагородие, ваше превосходительство, помилосердуйте: ничего не имеем, совсем с голоду помираем. Хлеб не родится, земля негодная; в Волге рыба по нынешним годам не ловится, даже и вод наших никто не снимает; промыслов никаких нет,— совсем погибаем.

Насилу я успел поднять мужика, насилу успел ему растолковать и уверить его, что я ничего для них не могу сделать, что я не начальник их и даже не чиновник, а просто купец и приехал затем, чтобы расспросить их об ихних водах, которые я хочу снять на себя, если в них ловится хоть какая-нибудь рыба.

— Да за кого же, братец, ты меня принял?

— А я то мекал, что ты новый-то наш кружный.

— Так разве ты не видишь, что я с бородой и платье на мне русское?

— Так вот ты, поди тут,— отвечал ободрившийся мужик,— перепужался-то: вижу, что ты в карете приехал, да с колокольцом, а того и не досмотрел, что выходишь за человек... Эх ты, боже мой!.. Вот ты, поди тут!..

Расхохотался мой мужичок над своею простотой.

— Ну, а если бы и в сам-деле окружной приехал,— зачем же тебе на колени падать перед ним?

— Эх ты, ваше степенство, простая твоя душа: разе не знаешь, как начальству своему потрафить. Я на колени-те пал,— так ему, значит, уважение. А то скажет: ты что, скажет, мужик-дурак, такая-сякая борода твоя... грубианство оказываешь, почтения не делаешь?!

— Так разве окружной потребовал бы этого от тебя, чтобы ты на коленях перед ним стоял?

— Экой, братец, ты какой бестолковый: так ведь я ему не в обиду сделал, а, значит, в почтение,— он этим не осердится, небось, а так-то скорей что в грубость поставит.

— Так воды-то у вас, значит, плохи, и снимать не стоит?

— Ну, как воды плохи: известное дело, все при занятии. А как рыбе не быть,— рыба есть, можно себе получить корысть.

Мало-помалу мужик вошел в полную со мной откровенность, а когда появилась водка, то сделался и вовсе приятелем и только посмеивался, припоминая, за кого он меня принял. До глухой ночи просидел я с этим мужиком и узнал от него то, что не узнал бы никакими другими путями.

В другом селении сельский старшина, считая меня также за купца, долго беседовал со мной просто и откровенно, но когда, не найдя вольных лошадей, я должен был просить у того же старшины обывательских и предъявил ему свою подорожную, то уже никакие просьбы, никакие убеждения не могли заставить его сесть при мне и войти в прежнюю свою роль.

Одно говорил:

— Извините, ваше благородие, не сочтите в обиду: не знали вашей милости.

— Ничего, братец, ничего; сделай милость, садись и будь по-прежнему. Отчего же ты не хочешь сесть?

— Мы, ваше благородие, начальству должны повиноваться.

— Да я не начальник твой, а простой проезжающий; ведь ты сидел же со мной давеча, ведь я не обижался на тебя.

— Извините, ваше благородие, простите великодушно на нашей мужичьей глупости: не знали мы этого, а мы властям повинуемся.

И уже затем от этого старшины ничего нельзя было добиться.

В одном торговом посаде я выразил сыну головы желание познакомиться со свахой, которая могла бы рассказать местные свадебные обряды. Тот вызвался доставить мне таковую и уверял, что она старуха бойкая, болтливая и все мне расскажет. Но что же вышло? Он имел неосторожность объявить свахе, чтоб она отправилась к приезжему из Петербурга барину и там рассказала все, что делается на свадьбах, а он, дескать, запишет. Перепугалась и растерялась со страха бедная сваха.

— За что же,— говорит,— я к ответу пойду? Я не одна здесь. Коли идти к ответу, так я всех поведу с собой, а одна не пойду.

После того большого труда мне стоило отыскать эту сваху, успокоить ее и растолковать, в чем дело; но и тут она решилась рассказать мне все, что знала, не одна, а вместе с другою свахой. Надобно еще заметить, что голова, сын которого вызвался оказать мне услугу, пользуется большим уважением и общим доверием. Вот до какой степени осторожен, подозрителен и недоверчив простой русский человек! А отчего?..

Есть особенный рыболовный снаряд, называемый черной снастью. Этот снаряд запрещен законом, хотя, надо правду сказать, он почти, если не совсем, безвреден, а в иных местах по Волге ничем другим, кроме этой снасти, нельзя ловить

рыбу. Полиция строго запрещает и преследует эту снасть, хотя на всем пространстве Волги ловят ею рыбу, что полиции очень хорошо известно. Преследование не уничтожает и не уменьшает количества черноснастных, но делает только этот снаряд дорогим для хозяев-рыбаков. Мне рассказывал один рыбопромышленник, оставивший уже свой промысел, что земская полиция, в порыве преследований черных снастей, которые хозяин хотел сделать дешевыми для себя и ради этого укрывал от надзора полицейского, приказала вынуть и осмотреть находящуюся в садке красную рыбу, чрез что большое количество ее уснуло, разумеется, в чувствительный подрыв хозяйскому карману. Строго также исполняют свои обязанности так называемые водяные, т. е. дистанционные смотрители на Волге: стоит остановиться судну на пристани или близ нее хотя бы для того, чтобы купить печеного хлеба, как хозяина судна хватают солдаты и ведут к начальнику. Один водяной простирал свою заботливость о строгом исполнении своих обязанностей до такой степени, что гонялся даже за судами, проходящими мимо пристани на парусах, и останавливал их для осмотра. Рассказывают, что на одной пристани судно с грузом обмелело и осталось на берегу, чрез что хозяин разорился тоже вследствие строгого исполнения своих обязанностей г. водяным. А прикол, т. е. причал судна на пристани, хотя и должен зависеть от особенных депутатов, выбираемых из городских обывателей, но принимается водяными под их непосредственное заведование,— разумеется, для отстранения всяких беспорядков, а отчасти и для того, чтобы все, пристающие к берегу, знали, кто главный начальник пристани».

Приблизилось время (через полгода), когда от всех нас, странствующих и страждущих, потребовались сведения о ходе наших работ* на заботливый вопрос великого князя: «где находятся молодые литераторы и от кого из них и какие именно статьи получены?» Не последовало запроса А. А. Потехину, успевшему представить в «Морской сборник» статью «Лов красной рыбы в Саратовской губернии» ⟨...⟩. Не спрашивали А. С. Афанасьева-Чужбинского, который также поспешил высылкою первой статьи, А. Н. Островского, позднее других отправившегося, но тем не менее приступившего к изготовлению и обработке статьи «О Городне», интересном старинном селе на Волге, в 32 верстах от г. Твери, бывшем городе Вертязине, напечатанной вместе с другими его статьями в «Морском сборнике» 1857 г. М. Л. Михайлов из Уральска

* Выговорилось слово «страждущих» в смысле неприятностей от безденежья, испытанных всеми командированными по истечении полугода, когда израсходованы были те 600 руб., которые выданы были вперед и истрачены на подъем, на обеспечение зимней дорожной одеждой, на переплаты: по неопытности, в пути и на чужбине и т. под.

извещал 22 января 1857 г., что им изготовляется сочинение под заглавием «Очерки Башкирии» (том около 15 печатных листов). «Чтобы ближе познакомиться с бытом жителей этой огромной части Оренбургского края, я,— пишет он,— нарочно изучил татарский язык (отчасти известный ему с детства), что дало мне возможность собрать много памятников башкирской народной поэзии: сказок, былин и песен, доныне неизвестных, и близко узнать верования, обычаи, исторические предания и настоящее положение башкир. Второй труд мой, под названием «От Уральска до г. Гурьева» (такого же, если не более, объема) будет заключать этнографическое и историческое описание уральцев, их быта и промыслов как по Уралу, так и в Каспийском море. Для первого труда у меня собраны и отчасти приведены в порядок все материалы, но кочевая жизнь не позволила еще мне дать им дальнейшую обработку. Из второго же труда в настоящую минуту у меня готовы вчерне несколько больших статей, из которых четыре: 1) «Уральск», 2) «Багренье царского куса», 3) «Малое» и 4) «Большое багренье»— будут доставлены в марте месяце. О нескольких мелких статейках, которые могут быть со временем извлечены из моих путевых заметок о других местностях края, я не упоминаю. Думаю, что в трудах моих найдется кое-что нового и для публики, и для науки». Он же писал из Уфы: «Если до сих пор не прислал статей, то потому, что все время было посвящено разъездам и собиранию материалов по Белой, Уфе, Дёме и друг. рекам. Собранные мною сведения составят довольно стройную этнографическую картину Башкирии, доныне никем обстоятельно не описанной. Будучи лишен некоторых ученых пособий, отлагаю до возможности пользоваться петербургскими библиотеками». Всем этим планам Михайлова не удалось осуществиться: ссылка остановила свободный труд, и автор успел приготовить лишь одну статью из своей поездки, которая и была напечатана в «Морском сборнике» 1859 г., в 9 №, под названием «Уральские очерки, из путевых заметок 1856—1857 гг.»

Г. Филиппов в конце марта 1857 г. прислал в редакцию «Морского сборника» первую статью из проектированного им сочинения «Поездка по берегам Азовского моря летом 1856 года».

20 ноября того же года А. Ф. Писемский представил свои работы, и на запросы, обращенные к нему, отвечал перечислением. Он изготовил: 1) «Путевые очерки», 2) «Армяне», 3) «Татары», 4) «Поездка на Бирючью косу», 5) «Поездка в Баку», 6) «Поездка в Новопетровское укрепление», 7) «Поездка в Красный Яр» и, наконец, большую статью «Астраханские калмыки». Тяжкий недуг, захваченный в Астрахани,— нездоровой, прославившейся своими ежегодными злыми лихо-

радками и всегда принимавшей на себя первые натиски холеры и других злокачественных эпидемий,— вынудил его остановить исследования и возвратиться в Москву. Больным вынули его здесь друзья из дорожной повозки, и А. Н. Островский приложил много стараний и хлопот, чтобы облегчить страдания. Он приютил Ал. Феоф. в своем гостеприимном доме, у Николы в Воробине, рядом с историческими, древнейшими в Москве, Серебряными банями. Здесь медленно поправлялся больной Писемский от того органического расстройства, которое впоследствии преследовало его всю жизнь и послужило одной из главных причин его смерти. Московские друзья не решились отправлять его к семье в женино имение (Костромской губернии и уезда, близ торгового села Воронья)[16], из боязни напугать ее измученным, страшно болезненным видом мужа. В кругу близких друзей (по свидетельству А. Н. Островского) «он приводил в порядок дорожные заметки и рассказывал множество анекдотов из астраханской жизни», в особенности об армянах, мало известных в то время с комической стороны, но уже бойко и забавно изображенных в известной по всей широкой и долгой Волге юмористической поэме «Каспарка»[17]. А. Н. Островский хорошо помнил те живые рассказы своего товарища и друга, которые явились результатом замечательно тонкой наблюдательности его и со свойственным ему и всем известным художественным мастерством передачи в словесных рассказах.

Запрос о ходе работ случайно встретился именно с тем временем, когда (через полгода) истощились выданные вперед денежные средства и все, в один голос, как бы сговорившись, в сентябре месяце обратились в министерство с просьбой об удовлетворении остальной половинной условленной суммы для дальнейших работ и передвижений. Комиссариатский департамент опоздал указанием мест и источников для получения денег. Сверх того, своевременный запас ими затруднен был дальностью расстояний и замедленной перепиской по почте, ходившей тогда в наибольшей половине местностей по грунтовым дорогам. Вследствие этих неудобств, некоторым довелось прибегнуть к трате собственных средств, как нижеподписавшемуся и А. А. Потехину. Последний писал: «Выданная сумма давно истощилась и в последнее время я должен был продолжать начатое дело на собственные средства». М. Л. Михайлов извещал: «Дробное получение денег крайне затрудняет в разъездах, заставляя оставаться на иных местах долее, чем того требовали бы занятия». При этом месячное содержание (по сто рублей) оказалось настолько скромным, что замедляло передвижения и оказывало неблагоприятное влияние на ход работ, когда, в увлечении ими, необходимо было производить экскурсии в сторону и вдаль, оплачивать труды

пособников, приобретать вещи, имеющие этнографическую ценность, и т. п. Это неудобство сознало и само министерство, назначая впоследствии более усиленные оклады и обеспечивая так называемыми подъемными. Не все начальники губерний решились кредитовать нуждающихся, не имея от морского министерства указаний на источники сумм. Исключение представляли лишь те два военных губернатора, которые в своем лице совмещали и должность командиров портов (так, адмирал Васильев удовольствовал Писемского 200 руб., но ходатайство за Михайлова оренбургского генерал-губернатора гр. Вас. Алек. Перовского морским министерством было отклонено). Между тем, энергия командированных не остывала, и никакие препятствия не могли сломить добрую волю в том деле, которое и было интересно, и обязывало. Когда практика указала на недостаточность скромно ассигнованных сумм и наглядно обнаружилась несостоятельность годичного срока для подобных исследований, послышались в министерстве просьбы о продлении командировок на 2—3 месяца, о готовности в таких случаях работать даже без денежного пособия. Так, между прочим, писал А. А. Потехин: «Прошу если не о продолжении денежного содержания, то, по крайней мере, о возобновлении казенной подорожной еще на несколько месяцев будущего года, ибо не предвижу возможности в течение данного срока проследить берега Волги на пространстве пяти губерний». И снова заявляет он в другом письме: «Не нахожу никакой возможности окончить к новому году возложенное на меня поручение и считаю необходимым употребить на него еще и будущую весну» (в просьбе было ему отказано). И просит он за всех товарищей «отдать время представления статей на нашу волю». Г. Филиппов понуждался также в продлении срока до размера, одинакового с прочими товарищами по путешествию. Михайлов с Урала «для успешного окончания работ» также испрашивал продления срока занятий еще на 3—4 месяца (и также не получил согласия). Для нижеподписавшегося возможно было исследование в течение года только одной Архангельской губернии: летом западной половины губернии (Поморье) и второй половины обширного края (Мезень и Печора), исключительно доступной лишь зимой, когда бесконечные мокрые тундры заковывает мороз и настилает надежные мосты. Прибрежья озер Ладожского и Онежского, входившие в программу, не могли быть обследованы и описаны по той же причине, что сумма ассигнована была каждому на один год. Тогда же писал я с Печоры в министерство: «Частые и огромные переезды по обширному местному краю и разнообразие исследований при замечательной трудности дойти до желаемых результатов поглощают все проживаемое здесь время и отнимают возможность успокоиться

настолько, чтобы сообразиться и привести в одно целое все виденное и выспрошенное». Одному Афанасьеву-Чужбинскому, умевшему пристраиваться в то же время к различным практическим вопросам (наприм., устройству быта вольных матросов, по административным злоупотреблениям и проч.), удалось искусно и незаметно продолжить командировку на четыре года, снабжать с места родины «Морской сборник» статьями в течение всех этих четырех лет и на вторую половину последнего из них исходатайствовать даже увеличение разъездных денег до 150 р. в месяц (с 1 ноября 1859 г. по 1 мая 1860 г.)*. Управляющий министерством (адмирал Метлин) докладывал: «Афанасьев уже четыре года пребывает в командировке. Издержки на него, со включением платы за статьи в «Сборнике», едва ли вознаграждаются тою пользой, которую морское министерство имело от г. Афанасьева, а потому полагал бы объявить ему, что с первого будущего мая командировка будет считаться оконченною». Августейший генерал-адмирал с этим мнением согласился, но великодушно разрешил прибавку содержания на указанное время 6-ти месяцев.

Затем, когда пришел черед доставления изготовляемых статей в «Морской сборник», выступил на сцену морской ученый комитет как официальный издатель и главный оценщик поступающих в печать литературных и ученых работ. Оказалось, что он не имел никаких сведений как о назначении литераторов, так и об условиях, на которых они отправлены. По этой причине он просил уведомить, сколько будет следовать в выдачу упомянутым лицам и до каких пор эта выдача будет продолжаться. Недоразумение между двумя органами одного и того же министерства разрешено было указанием, что «комитет в таком случае вступил бы в сношение с этими лицами и прекратил бы всякое дело с теми из них, которые, судя по присланным статьям, не представляли вероятности, что командировка их будет полезна». Тем не менее комитет, при оценке поступавших для «Сборника» очерков, действовал и решительно, и самостоятельно, руководствуясь неизвестными правилами и личными вкусами председателя. Таковым был в то время адмирал Рейнеке, автор «Гидрографического описания Белого моря и Северного океана». На представление программ вызвавшимися на исследования он самостоятельно высказывался в решительной форме: «Обещаем, по получении статьи, своевременно ее оценить соответственно исполнению». На одной из таковых, просмотренных им, написал: «...и по литературному достоинству не одобряется к поме-

* Как известно, Афанасьев-Чужбинский все статьи, печатавшиеся в «Сборнике» и друг. изданиях, собрал в отдельное издание в двух томах, вышедших в 1863 г. под общим заглавием: «Поездка в Южную Россию» (1-я часть — «Очерки Днепра» и 2-я часть — «Очерки Днестра»).

щению в «Морском сборнике». Между тем из статей Островского исключаются те места, где автор делится личными впечатлениями с читателем под влиянием ⟨чувств⟩, навеянных на художественную душу красотами природы или вызванных какими-либо резкими характерными чертами быта, представшими на глаза наблюдателя в неприкрашенном виде. Отдается предпочтение лишь тем фактам, которые имеют непосредственное отношение к воде и далеко стоят от живой жизни, между тем как именно на нее сделаны прямые указания в программе, предоставлявшей простор для свободного избрания и формы изложения, и тех размеров, которые каждому окажутся наиболее подходящими. Браковка производилась по-военному, с изумительной самоуверенностью, без справок с желаниями авторов и властной рукой, не признававшею обычных прав сочинителей. Литературные обычаи, установленные в частных журналах на правилах истинной деликатности и уважения к самостоятельным авторским вкусам и приемам, не входили в соображение при расценке трудов даже тех писателей, которые приобрели почетное имя и заслужили известность, как Островский, Писемский и Потехин. Статья А. Потехина «Река Керженец» была возвращена автору как неподходящая, хотя она в прелестной литературной форме излагала данные о лесном торге на одном из притоков Волги, прославленном знаменитыми раскольничьими скитами. Статья должна была искать другого места для обнародования и нашла его себе в строгом на выбор статей «Современнике»[18]. Отказано было Писемскому в помещении очерков быта волжских татар, астраханских калмыков и армян. И эти очерки вслед за тем появились в журнале «Библиотека для чтения»[19]. Там же в четырех №№ 1857 г. (апрель, май, июнь, июль) напечатан также забракованный морским комитетом очерк Г. П. Данилевского «Чумаки», рисующий подробно быт этих промышленников Малороссии, в то время, в ожидании железных дорог на юге, доживавших свои последние дни. Статья была написана совершенно согласно данной автору инструкции, но признана была не имеющей никакого отношения к морскому делу и вовсе не относящейся к редакции «Сборника».

Удары, безрасчетно и настойчиво наносимые самолюбию авторов, потративших труд не в комфортабельных столичных кабинетах, а на скучных приморских берегах, в пустынных степях и унылых лесах, на лютых морозах и осенней непогоде, произвели разлад и в этом направлении. Явилось естественное охлаждение и у авторов, избалованных готовностью частных издателей печатать без изменений (не включая, конечно, цензурных) те статьи, которые доставлялись писателями с известными именами, признанными и любимыми публикой. Большая часть членов экспедиции принуждена была отдавать

свои статьи в другие литературные органы, как сделал это, вслед за прочими, и А. Потехин, напечатавший статью «С Ветлуги, из путевых заметок» в журнале «Век» 1861 года, №№ 2 и 4[20]. Впоследствии само морское начальство решилось расширить авторские права разрешением печатать исследования в частных повременных изданиях. Этим воспользовался и Афанасьев-Чужбинский, и пишущий эти строки, напечатавший часть работ, вошедших потом в книгу «Год на севере», в журнале «Библиотека для чтения» и в газете «Сын отечества», Афанасьев — в «Северной пчеле» и «Русском слове». Наибольшую снисходительность к статьям «Года на севере», в сравнении с прочими путешественниками, со стороны председателя комитета (бывшего в то же время директором гидрографического департамента) автор объясняет сочувствием последнего к жизни севера. Она была хорошо знакома вице-адмиралу Рейнеке во время экскурсий его по берегам Белого моря, когда он описывал их в качестве начальника экспедиции, продолжавшейся с 1827 по 1832 год. Вероятно, под увлечение воспоминаний молодости, лучшего времени жизни, когда началась его блестящая впоследствии карьера, строгий ценитель статей не хотел заметить легкой повествовательной формы очерков северного края и быта его жителей*. При этом полистная плата (по 25 руб.), установленная тем же ученым комитетом, была значительно низшей против цен частных изданий, во всех случаях вдвое, а в некоторых в 5 и 6 раз. Неудобства примирения с нарушенными общепринятыми литературными обычаями усиливались еще более и делали положение безвыходным для всех авторов, следовавших с добросовестностью и настойчивостью программе морского министерства. У всех оставались на руках те многочисленные сведения, которые собирались исключительно для специального морского органа и не могли, в свою очередь, найти себе места в литературных журналах,— те скучные для разработки сведения, над которыми в отчаянии простосердечно воскликнул про себя (в дневнике) великий мастер слова и художественного творчества А. Н. Островский в Твери, заготовлявший для «Морского сборника» статьи о Городне: «Как трудно еще писать для меня!» Слова эти (которые, между прочим, выговаривали

* Сделалось просторнее и свободнее с назначением нового председателя и гораздо легче и льготнее, когда в 1860 г. назначен был полномочным редактором Всев. Петр. Мельницкий (бывший до того с 1853 г. помощником и скончавшийся в сентябре 1866 г.). В лице его оказался не только литературно образованный человек, успевший написать множество прекрасных и дельных статей (между прочим, живые очерки из поездки его по финляндским шхерам), но и человек гуманно воспитанный, обладавший прекрасным сердцем и привлекавший к себе многими симпатичными чертами характера. С автором образцовой биографии известного адмирала П. И. Рикорда иметь дело было легко и приятно.

все великие европейские писатели, начиная с Вольтера) достаточно усиливают и пополняют картину тягостного и обидного авторского положения ввиду тех лишений, которые наносились красными чернилами председателя без объяснения причин и без спроса. Особенно чувствительной оказывается такая несправедливость именно по отношению к нашему знаменитому драматическому писателю. У нас перед глазами находится теперь поражающее количество собранных им на верхней Волге разнообразных материалов. Из них, при более благоприятных условиях труда, при обязательном и желательном гостеприимстве, под художественным пером возникли бы величественные картины великой реки и выступили бы живые образы трудолюбивых, в самых разнообразных формах промыслов, ее приречных обитателей. Теперь материалы сохранились лишь в сыром виде, но из груды их все-таки ярко просвечивает выработанная система, уже ясно намеченные самостоятельные приемы разработки и изумительная до мелочей исполнительность всех задач программы (даже рисунков судов, рыболовных снарядов и т. д.). Сильный талантом художник не в состоянии был упустить благоприятный случай при разнообразных дорожных встречах исполнить то, что составляло его призвание и основную цель жизни. Он продолжал наблюдения над характерами и миросозерцанием коренных русских людей, сотнями выходивших к нему на встречу и поддававшихся его изучению. Это предвиделось и тем, от кого получен был заказ на исследования иного рода. Действительно, в полную меру доставлена была возможность довершить свое развитие нашему драматическому писателю, бравшему художественные типы прямо из жизни и вырабатывавшему цельные картины по непосредственным личным впечатлениям. Он почерпнул здесь и живые образы, и заручился новыми материалами для последующих литературных произведений. Волга дала Островскому обильную пищу, указала ему новые темы для драм и комедий и вдохновила его на те из них, которые составляют честь и гордость отечественной литературы. С вечевых, некогда вольных, новгородских пригородов повеяло тем переходным временем, когда тяжелая рука Москвы сковала старую волю и наслала воевод в ежовых рукавицах на длинных загребистых лапах. Приснился поэтический «Сон на Волге», и восстали из гроба живыми и действующими «воевода» Нечай Григорьевич Шалыгин с противником своим вольным человеком, беглым удальцом посадским Романом Дубровиным, во всей той правдивой обстановке старой Руси, которую может представить одна лишь Волга, в одно и то же время и богомольная, и разбойная, сытая и малохлебная. Захудалый и опустелый за чужое злодеяние, Углич, неповинный, всегда смиренный город, охотно приносивший

покорную и поклонную голову всякому наступавшему врагу, напомнил мимоходом путешественнику, изучавшему современное рыболовство и судоходство, кровавое событие, породившее Дмитрия Самозванца. Наружно красивый Торжок, ревниво оберегавший свою новгородскую старину до странных обычаев девичьей свободы и строгого затворничества замужних, вдохновил А. Н. Островского на глубоко поэтическую «Грозу» с шаловливою Варварой и художественно-изящною Катериной. На городском бульваре и на улицах по вечерам наш автор видал еще стройных новоторок в бархатных (теперь исчезнувших) шубейках рядком и обок с своими «предметами» — добрыми молодцами, с которыми обычай разрешал открыто миловаться и целоваться. В Нижнем Новгороде величественно восстал образ Минина. Случайная встреча с отказом в приюте на ночлег по пути из Осташкова во Ржев и с хозяином постоялого двора, имевшим разбойничий вид и торговавшим пятью дочерями, напечатлелась в памяти и выработалась в комедии «На бойком месте». Припомнилось и пригодилось все: и обилие самоучек Кулигиных, и диких самодуров, и степенных Русаковых в торговых городах Поволжья, где еще сильно распространен обычай свадеб убегом, и т. п. Сюда с заветной любовью и неудержимой охотой и энергией устремилось творчество нашего знаменитого драматурга-художника, потратившего, к сожалению, много времени на исследование разницы между расшивой и баркой, между неводом и мережкой в груде других сведений о разнообразных способах рыбной ловли, торговых и других прозаических промыслов. Родная автору река Волга, во всяком случае, подслужилась достаточным количеством свежих и живых впечатлений, сделалась ему родною и своею и в этом отношении влияла на его многоплодное творчество. На ее берегу постигла его и преждевременная смерть, прекратившая полезную и славную жизнь основателя русского народного театра.

Точно так же оправившийся от болезни и позабывший невзгоды несчастного выезда в нездоровую, голодную и скучную песчаную степь побережьев Каспия Писемский в следующем (1858) году напечатал в «Отечественных Записках» роман «Тысяча душ»,— роман, имевший громадный успех, поставивший автора в ряду первоклассных отечественных писателей и доставивший ему европейскую известность *.

---

* Очерки из поездки, напечатанные в «Морском сборнике» и «Библиотеке для чтения», вошли в посмертное Полное собрание сочинений, изданное г. Вольфом в 1883 и 1884 гг. Не вошла лишь первая статья Писемского «Черноморцы в Астрахани», описывающая прием севастопольских героев в № 6-м 1856 г.

Как бы количественно ни были малы вклады очерков из поездок по отдаленным захолустьям Русского царства в «Морской сборник», начинание покровителя их не только не прошло бесследно, но принесло, очевидно, обильные благие плоды. Сверх указанных косвенных, не замедлили обнаружиться и такие последствия, почин которых принадлежит на бранном поле застрельщикам, а на мирных пажитях засевальщикам, с легкой и наметанной рукой. Не замедлили явиться подражатели и последователи с готовым запасом сведений, приобретенным ранее именно в тех местах, которыми интересовался августейший генерал-адмирал и которые исследовались командированными им лицами. Конечно, наибольшее внимание возбуждало разнообразно-живое северное поморье, где действительно море было тем полем, на котором приобретались жителями все свойства и блестящие качества, необходимые и приличные коренным и образцовым мореходам. Следом за теми статьями, которые доставлялись обязательно лицом командированным, и одновременно с тем печатались в «Сборнике» очерки севера Б. В. Яновского, наблюдавшего местные нравы в течение долговременной командировки по делам службы и стоявшего в наилучших условиях при продолжительном пребывании в среде промышленников и притом в самых глухих трущобах и едва доступных захолустьях*. Статьи эти получали особенную ценность ввиду того обстоятельства, что командированный в такой обширный край мог, наравне с своими товарищами по тому же делу, произвести лишь быстрый и летучий обзор разнообразного края. Только и возможна была, так сказать, литературная рекогносцировка после ознакомления с теми материалами, которые почерпались в отдельных монографиях и, главнейшим образом, в губернских ведомостях. От предварительной работы ознакомления с готовым материалом получалось более или менее определенное указание на интересные местности, на те главные и центральные пункты, где могли быть добыты все данные разом по тому или другому пункту программы. В глухой и беспредельной степи объявились вехи, под указанием коих можно было смело отправляться в путь, втянуться в дело, увлечься до того, чтобы, войдя в самую глубь, с прямого пути свертывать на любопытные проселки, забывать программные пункты и ставить свои новые, далекие от интересов морского дела, но ценные в интересах этнографической науки. Конечно, при этих торопливых поисках и скороспелых наблюдениях ускользало от внимания очень многое; в работе оказывались значительные

* В 1863 г. появились в «Журнале министерства государственных имуществ» прекрасные литературные очерки реки Печоры г. В. Ненарокова (№№ 1, 2, 7 и 8).

и очень важные пробелы. Для заполнения их требовались новые силы: они-то и явились на страницах «Сборника», гостеприимно и широко открытых именно для посторонних сотрудников-добровольцев, представивших свои труды из благородного соревнования и честного соперничества. Материал по описанию мест и быта жителей, наиболее интересных для морского ведомства, оказался настолько живым и обширным, что редакция «Сборника» вынуждена была увеличить и объем книжек, и годовое количество их свыше 12 №№: именно в эти годы (1858 и 1859) журнал выходил в некоторые месяцы двумя книжками. Интерес «Сборника» возрастал, подписка значительно поднялась, число посторонних сотрудников увеличилось (так, между прочим, из наиболее выдающихся помещены были в 1856 г. «Очерки Финляндии» А. Милюкова,— именно той интересной страны, на изучение которой не нашлось охотников и куда никто не был отправлен). Материал⟨...⟩ на последующие годы даже удвоился.⟨...⟩ В это время начались командировки наших судов в дальние морские плавания с практическими целями.

Из прежних кругосветных плаваний остались в литературе сведения лишь о некоторых из них (Литке, Головнина и Крузенштерна), другие совершены были бесследно и безвестно. Такова была, между прочим, долговременная кругосветная экспедиция адмирала Васильева, строго воспрещавшего своим офицерам что-либо сообщать в печати о самом пути и испытанных во время его впечатлениях. Все усилия редакции «Морского сборника» найти в архиве какие-либо материалы об этом загадочном странствовании не увенчались никаким успехом, кроме анекдотической чучелы орла, купленной в Гамбурге и поставленной в морском музее. После блестящего образца, обогатившего отечественную литературу и представленного И. А. Гончаровым, командированным в звании секретаря адмирала Путятина, плававшего в 1853 и 1854 гг. для заключения торговых траков с замкнутою Японией, великий князь Константин Николаевич снова обратился к содействию литературных деятелей. На фрегат «Баян», под командой Истомина, назначен был Ап. Ник. Майков, на фрегат «Ретвизан», под командой Таубе, Дм. Вас. Григорович. Статьи последнего «Год в европейских морях. Корабль «Ретвизан» начали помещаться в 1859 г. в «Морском сборнике»* и других повременных изданиях («Отечеств. зап.» 1862 г. и «Подснежник»)[21]. В кругосветное плавание отправлен был И. И. Льховский, и туда же предназначался на корвете «Посадник», под командой Бирюлева,

* В «Морском сборнике» 1859 г., в №№ 5, 11 и 12; в 1860 г., в №№ 2, 3 и 4; в 1861 г., в № 10; в 1862 г., в № 5. Все эти статьи, вместе с прочими, вошли в отдельное издание.

известного севастопольского героя, автор настоящей статьи*.

После этих опытов починного дела, представившего образцы и примеры, отошла надобность для «Морского сборника» в посторонней помощи. ⟨...⟩ Явились подражатели и последователи тотчас же и рядом с теми, которые отпущены были торить первые пути. На этот раз способные и умелые явились из среды моряков, до той поры упорно молчаливой и неохотливой на занятия и предприятия этого рода. Еще на нашей памяти (и мы лично знавали самих представителей) жив был, как последний осколок темной морской старины, тип таких мореходов Жевакиных, которые откровенно и хвастливо сознавались, что они, как истые моряки-служаки, во время кругосветного плавания ни разу не съезжали на берег, а один знакомый наш все два года просидел в каюте за шканечным журналом и простоял на палубе с секстаном, уловляя, для определения места, высоту солнца.

---

* Командировка эта не состоялась по непредвиденным обстоятельствам. Взамен ее автор отправлен был на Амур в самый разгар полемики об этой реке, веденной Романовым, защитником края и панегиристом его, и Д. И. Завалишиным, противником ⟨...⟩ Когда окончилось это поручение и предстояло обратное возвращение в Россию, автор удостоился получить согласие на поездку по Сибири с целью изучения положения тюрем и быта ссыльных, т. е. вместо одного года получил разрешение еще на один год для исследований. Когда изготовленные статьи не были дозволены председателем сибирского и кавказского комитета Бутковым, сделано было распоряжение о напечатании их в ограниченном числе экземпляров (500), «секретно», под названием «Тюрьма и ссыльные». Значительно дополненные данные из наблюдений в этом направлении явились впоследствии под заглавием «Сибирь и каторга». Третья командировка автора этой статьи состоялась в 1862—63 гг. на прибрежья Каспийского моря и на р. Урал. Когда она была окончена и приготовлены были отчетные статьи, программа «Морского сборника» изменилась. Под редакцией Ив. Ил. Зеленого она сделалась строго специальной; литературный отдел исключен совершенно; самые книжки уменьшились наполовину. Автору предоставлено было право печататься в частных изданиях, что им и исполнено помещением большей части статей в «Отечественных записках», затем в «Деле», в «Семье и школе», в «Ниве» и «Историческом вестнике» («Из Ленкорани», «Субботники», «Общие» «Молокане-уклейны», «Духоборы», «Божий промысел (рыбный) на р. Куре», «Плавня (осеннее рыболовство уральских козаков)», «Бой насекомых», «Чуксей-Ваксей», «С дороги из Баку в Дербент», «С низовьев Волги и из Астрахани»). В «Морском сборнике» удалось поместить лишь статьи: «С дороги на Урал» и «Из Уральска». До изменения и сокращения программы «Сборника» пишущий эти строки успел напечатать в нем все статьи «С дороги на Амур» и «На Амуре», вместе со статьей «Исторический очерк русских переселений» (в 1861 г.). Эти статьи «Сборника» вошли в отдельное издание «На Востоке. Поездка на Амур», вышедшее в 1864 году и вторым изданием — в 1871 г. Прочие наблюдения, произведенные по сибирским тюрьмам, на каторге и в местах ссыльных поселений, одной частью напечатаны в «Вестнике Европы» («Несчастные»), а другая часть («Народные преступления и несчастия») помещена в «Отечественных записках» 1869 и 1870 гг. Собранные вместе и значительно дополненные статьи эти вышли под общим заголовком «Сибирь и каторга, в трех томах».

«Морской сборник» стал заполняться статьями моряков, присылаемых с мест службы и из кругосветных плаваний, и «Указатель» Межова делает многочисленные ссылки на таких же авторов в других изданиях и в таковом числе, какового до сих пор положительно не встречалось едва ли не со времен бывалого человека В. И. Даля, отставного лейтенанта флота, потом доктора медицины и, наконец, управляющего нижегородской удельной конторой.

В числе первых и впереди всех заявил себя «Очерками» пером и карандашом из кругосветного плавания в 1857—1860 гг. морской врач А. В. Вышеславцев, появившимися сначала в «Русском Вестнике» и затем вышедшими с 27-ю иллюстрациями самого автора в отдельном издании в 1862 году. За ним выделяется сколько по живым литературным очеркам, столько и по энергии в этом труде морской офицер г. Станюкович, сделавшийся вскоре известным писателем. Им помещены в «Морском сборнике» следующие очерки из плавания: «Жизнь в тропиках» (1862 г., № 11), «Французы в Кохинхине» (1864, № 3), «Мадера и острова Зеленого Мыса» (1864, № 6), «Шторм, сцена из матросского быта» (того же года, № 12) и проч., составившие том отдельного издания. С фрегата «Аскольд» писали в 1860 г. Муханов и Литке (первый в «Русском вестнике», второй в «Морском сборнике»). Из Японии сообщал интересные сведения живой наблюдатель почтенный Пав. Ник. Назимов, освещая новыми и интересными данными неведомую страну; с мыса Доброй Надежды — барон А. Врангель (в 1859 г.); в том же году Excelsior из Соединенных Штатов Северной Америки и из-под тропиков, под заглавием: «Между делом» и он же в 1861 г. «Дедушка Миссисипи». С «Новика» в тот же «Сборник» посылал ряд сообщений и писем Корнилов 2 (Алек. Алек.) и, между прочим, напечатал очерк «Зимовки в Хакодате», в 1862 г.; А. А. Пещуров — «Плавание в Японском море»; в 1863 году принимают участие в «Сборнике» своими трудами кн. Л. А. Ухтомский («От Петербурга до Астрахани»), К. Небольсин и др. С «Морским сборником» с 1862 г. вступил в товарищество «Кронштадтский вестник»[22], отводивший место трудам морских офицеров и в известной степени облегчивший «Сборник», обремененный значительным числом поступавших к нему рукописей. Специально морская газета, верно рассчитанная и хорошо направленная, успела устоять, благодаря покровительству главного морского начальства, и укрепиться на полезном поприще*.

---

* Как об исключительном случае, следует напомнить о помещенных в «Сборнике» путевых записках марсового матроса, веденных в простоте сердца и про себя, оригинальным языком, с воззрениями полуграмотного, но наблюдательного человека. Он плавал около итальянских берегов.

В форме «приложений» к «Морскому сборнику», при обилии материала, появился ряд изданий, имеющих историческое значение и вызванных тем событием приобретения Амура, которое делало Восточный океан русским морем. В то время, когда на страницах «Сборника» шла оживленная полемика о значении Амура, прибавления к этому журналу «Материалы для истории русских заселений по берегам Восточного океана» в спокойном тоне рисовали те наблюдения, которые произведены были в тех местах прежними кругосветными плавателями. Для того извлечены были самые существенные и практические замечания, сделанные из записок и рапортов капитанов Крузенштерна, Лисянского, Коцебу, Головнина, А. Лазарева, Литке. Произведено извлечение из описания двукратного путешествия в Америку морских офицеров Хвостова и Давыдова в 1802 и 1803 гг. Камчатка и наши североамериканские владения являются цельно обрисованными в описаниях, до сих пор не утрачивающих своего значения и интереса. Особенно это следует сказать о записке К. Хлебникова «Об Америке», рукопись которой найдена была у букиниста, а этому досталась от наследников бывшего директора Американской компании Прокофьева, и о чрезвычайно ценных замечаниях В. М. Головнина (бывшего в плену у японцев и написавшего об этом отдельное сочинение). Замечания эти, помещенные во 2 выпуске и занимающие довольно большую брошюру, относятся до состояния Камчатки и Русской Америки в 1809, 10 и 11 гг. Этот труд знаменитого мореплавателя доставлен был сыном его, Александром Васильевичем, бывшим министром народного просвещения, а в то время состоявшим статс-секретарем при великом князе Константине Николаевиче.

Как «Морской сборник», так равно и все экспедиции обязаны во многом просвещенному содействию и высокогуманному отношению к делу и лицам этого замечательного государственного деятеля. Он предпочитал оставаться в тени, не выдаваясь вперед, но все близко знающие дела «Сборника» явно чувствовали в направлении журнала глубокий ум, которым отличался покойный, и не остывавшее сочувствие к литературе и ее деятелям. Последнее он заявлял и личными трудами в этом направлении, и материальной и нравственной поддержкой (которую особенно испытал на себе «Голос» с самых первых дней своего возникновения). Это был в то же время и высокообразованный человек, при суровой, неприветливой наружности, под видимой холодностью в приемах, не любивший говорить много, но умевший делать подвиги и скоро, и легко, сохранявший доброе, отзывчивое сердце и богато одаренную природу. Как государственный деятель в трудное время коренных преобразований устарелого флота, как ми-

нистр-преобразователь, с именем которого тесно связано введение университетского устава 1863 г., он принадлежит истории и, несомненно, дождется правдивой оценки своих крупных заслуг отечеству, хотя бы утрата его в 1886 году 3 ноября и не вызвала ее, по странной случайности, ни в свое время, ни до настоящей поры. ⟨...⟩ Им составлен, между прочим, «Сборник постановлений по министерству народного просвещения» (1864—1865 г., 3 т.) и тогда же изданы сочинения и переводы отца (5 томов), снабженные биографией, написанной самим издателем, с портретом, картами и планами. Влиянию и руководству его «Морской сборник» во многом обязан был тем почетным и видным положением, которое он занимал в литературе около десяти лет. Всякое нововведение, каждое мероприятие в морском министерстве стало предлагаться в его органе к публичному обсуждению. Всем памятен поднятый здесь вопрос о воспитании. Статьи Пирогова «Школа и жизнь» (1860 г., № 1) и в особенности «Вопросы жизни» (1856 г., № 9) произвели решительный переворот в воззрениях на этот жизненный вопрос и доставили автору неожиданно новые лавры и хвалы. Пирогов, как и университетский его товарищ Даль, оставались верными сотрудниками «Сборника». Ник. Ив. поместил еще здесь «Исторический обзор действий Крестовоздвиженской общины сестер милосердия в Крыму и Херсонской губернии», напечатал «Замечания на отчеты морских учебных заведений» (1860 г., № 13) и «Об уставе новой гимназии, предполагавшейся проектом» (1861 г., № 2). В. И. Даль поместил два литературные очерка: «Два лейтенанта» (1857 г., № 2), «Отставной (очерк денщика прежнего времени)» в 1857 г., № 5, и в 1856 г. две ученые статьи: «Мысли по поводу статьи о воспитании (о значении нравственности воспитателя при воспитании)» и «О контузиях» (как врач).

Когда освобождали крестьян, морское ведомство, заботясь о свободе своих крепостных, предваряло ее строгим изучением быта их. Не решаясь, по цензурным условиям, на всеобщее обнародование результатов своих наблюдений, оно печатало их секретно, в ограниченном числе экземпляров, для раздачи лицам, заинтересованным в деле и имеющим влиять на разрешение вопроса. Когда совершалось дело освобождения, собранные материалы обнародовались в «Сборнике». Так поступило морское министерство по отношению к охтенским поселянам, обязанным адмиралтейскими работами: на страницах «Сборника» появился (в 1855 г.) очерк г. Мансурова «Охтенская адмиралтейская слобода». Когда еще не заходила речь о гласном судопроизводстве, а морское ведомство думало о нем, морской орган знакомил читателей с иностранными судопроизводствами (во Франции — статьи

Глебова, Мельницкого и др.). Г. Яневич-Яневский (в 1857 г., в № 12) написал «О публичности и устности уголовного судопроизводства по русскому положительному праву» и т. д. Когда зародилась мысль и осуществлялась изысканиями средств к развитию купеческого флота в России, для изучения судоходства и торговли на Волге и для доставления статей в «Сборник» в 1860 г. на летнее время командирован был служивший в департаменте государственного казначейства г. Смирнов. Ему предложено было, между прочим, указать меры, которые могли бы быть приняты к устранению препятствий, замедляющих успешное развитие торгового движения на Волге, и узнать, какое имеют влияние на судоходство полиция, расправы и паспортная система. Кроме того, знаменитый ученый, академик Бэр, поместил в «Сборнике» свое известное исследование «Почему у наших рек, текущих на север и юг, правый берег высок, а левый низмен?».

В 1861 году приготовлялось сокращение бюджета морского министерства. Это обстоятельство вызвало со стороны генерал-адмирала сетования на наших финансистов, которые высказаны были в письме его высочества к председателю департамента экономии, барону Мейендорфу (напечатано в «Русском архиве»). «Как ни желательно достигнуть в государственной росписи нашей уменьшения расходов, но, ввиду невозможности этого, я полагал бы полезным употребить наших способнейших финансовых людей к отысканию средств для увеличения доходов государства. Ваше В-во, конечно, сами признаете крайне одностороннюю систему, которая стремится преимущественно к тому, чтобы всячески уменьшать расходы и тем лишать каждое ведомство средств для улучшения своей части, вместо того, чтобы приискать средства для удовлетворения их надобностям». Это обстоятельство затрудняло в широкой деятельности того, который, по словам близко стоявшего к нему лица (А. В. Головнина), «по своей молодости, своим физическим силам, уму и памяти, которыми природа так счастливо наградила великого князя, и его прилежанию, оказался лучше знающим дело, чем все члены» (главного комитета по устройству быта крестьян, в котором великий князь был председателем, работая почти ежедневно свыше 6 и 7 часов более чем в сорока заседаниях)*.

Несмотря на изменившиеся обстоятельства, поддерживая к себе неостывавший в публике интерес и служа для других ученых изданий превосходным образцом, «Морской сборник» в истории нашей литературы успел уже занять почетное место именно в эти годы ⟨...⟩.

---

* Из письма к фельдмаршалу князю Барятинскому А. И, сообщенного в «Русском Архиве», в биографии князя, написанной г. Зиссерманом.

НЕПОДРАЖАЕМЫЙ РАССКАЗЧИК

(ПО ВОСПОМИНАНИЯМ ОБ И. Ф. ГОРБУНОВЕ)

— Слышь, брат-ребята! Пойдем в Осударев Сад смотреть, как пузыри будут пущать.

— Чего там не видали?

— Уж очень, братцы, любопытно! Приделают, знашь, эдак к пузырю лодочькю, барин с барыней сядут и полетят. Очень это — сейчесы умереть! — любопытно!

— Ну, так что ж? Поди просить у хозяина.

— Что ж ты думаешь, не попрошусь, что ли?

— Поди-ко намырнись,— он те даст!

— Ан даст!

— Дал да и полно!

— Ишь даст: мне на пачпорт нужно.

— Ну, так ври ступай, коли поверит.

Стоит перед хозяином Фомка у косяка входных дверей, помолившись в угол на икону и поклонившись неуклюже боком. Глядит он быком, исподлобья. Переминается с ноги на ногу; левую руку заложил за спину, с правой не знает что делать. Спопутно ковырнул сучок на дверном косяке. И вообще собой очень тяготится.

— Я к вашей милости, Кузьма Петрович!

— Что тебе, молодец?

— С всепокорнейшею просьбой.

Фомка силится набрать смелости: обе руки отправил за спину, грудь выпятил и сам повыступил от входной двери, к которой до того точно был прикован.

— Дай, Кузьма Петрович, денег.

— Это на что тебе понадобилось?

— Бурмист, значит, из деревни приехал... Из наших мест, значит... из провинции.

— Ну?

— Бурмист из деревни приехал.

— Да.

— Давай, говорит, денег. А не то, так...— на чугунку.

Повернул правую ногу и оглядывает на сапоге закоблучье.

— Либо-де денег... бурмист-от...

— Слышал я это от тебя.

— А либо-де... на чугунку.

На последнее слово особенно напирает, как будто и в самом деле является уже и виноватым и приговоренным к высылке из веселой столицы в скучную деревню,— может быть, даже и по этапу.

— А уж вы, Кузьма Петрович, не сумлевайтесь,— заслужим вашей милости.

И голос как будто дрожит от подступающей и непрошеной слезы.

— Много ли тебе нужно?

— Дай десять цалковеньких.

— Ладно,— приходи завтра утречком.

— Покорнейше благодарим, Кузьма Петрович.

Встряхнув волоса на лоб,— поклонился. Вдруг осмелел: сделал еще два шага вперед; обеими руками подбоченился и заговорил смелее и громче.

— Кузьма Петрович!

— Ну что еще? Уходи,— надоел.

— Что ты мне вечор уток-от дал: уж и этакая-то рвань! Я, значит, его подвязал да натянул покрепче. Основу-ту, значит, проклеил: теперь хорошо будет.

Выхвастываясь сметкой своей, обеими руками показывал, как он эту самую нитку-уток, намотанную на шпульку или цевку, огладил и уровнял, чтобы вставить в челночок и пустить его бегать поперек натянутых ниток основы, чтобы таким перебором образовывалась ткань. Миткаль на этот недобрый раз выйдет в одном месте с гнильцой и с изъянцем, неистово взвизгнет деревенская баба и сильно изругает неповинного купца за фабриканта, когда начнет кроить и шить себе новый сарафан.

— Не сумневайся, хозяин: теперь хорошо сойдет.

— Ну, ладно,— спасибо тебе!

— Ради стараться твоей милости, Кузьма Петрович. Кузьма Петрович!

— Ну, что еще там у тебя?

— Дай хоть полтинничек.

— Это тебе на что?

— Земляков чайком похолить.

Все это было выговорено Фомкой с той отчаянной решимостью, что затем либо в стремя ногой, либо в пень головой.

— Ладно: приходи ужо.

— Дай лучше тепереча.

— Ишь, дал! — торжествующим и хвастливым голосом говорит Фомка товарищам, которым и подразнить его хочется, и сами еще не вполне доверяют своему счастью погулять не в сухую.

— Дал, да и полно!

— А вишь он!

В раскрытом кулаке правой руки и наглядное доказательство предъявлено налицо.

В то время, когда в Москве серебряные полтинники были не в диковину, как в течение целых сорока лет потом, монета этого сорта попадалась совсем истертая, слепая, поцельнее обращались только полновесные целковые, и между ними попадались нередко старинные «крестовики» с отчеканенным большим крестом матушки царицы Екатерины. Обращались в народной массе и крупные четвертаки с надписью «полуполтинник». Двугривенные и пятиалтынные различались, сверх величины своей, еще четырьмя или тремя точками по ободкам монет. Разгуливали они, впрочем, по всем базарам в таком истертом до неузнаваемости виде, что только на взаимном доверии двух сторон принимались в свою цену. Однако же оставалось обширное поле для недоразумений и пререканий у покупателей с торговцами, у седоков с городскими извозчиками: возьмешь голый пятиалтынный, отдавай его за гривенник, либо приглашай более зрячего и опытного, но и такой зачастую махал рукой и отходил прочь, не разрешив мудреного вопроса. Сверх всего ходила эта голая монета в большом количестве с просверленными дырочками, наплывала она из-за Волги, через Нижегородскую ярмарку, от инородцев, у которых служила головным и шейным украшением женщин.

Тем не менее и совсем голый полтинник стоил не 50 копеек нынешних, а оценивался в рубль семьдесят пять копеек. Давно уже был введен и узаконен курс на серебро, но Москва, а за ней и вся Русь еще долго вела счет на ассигнации[1]. За медный пятак давали большой калач; пара чаю в харчевнях и трактирах стоила медную гривну, и в самых лучших трактирах собирали за 25 коп. ассигнациями того же чаю три пары: подавали шесть кусков сахару и чайного настоя на целый час времени для питья и разговоров. 25 коп. — четвертая часть рубля — давали право вымыться в чистых «дворянских» банях, по этой причине обычно называвшихся четвертными; в Егоровском трактире, в Охотном ряду, на те же 25 коп. можно было получить целую дюжину горячих и вкусных блинов и со снетками, и с рублеными яйцами. Во всяком случае полученный Фомкой от хозяина полтинник обеспечивал впереди много удовольствий не для него одного, но и для всех трех его товарищей.

Честь ему, молодцу, и хвала, что умел молодец говорить с хозяином и на него потрафить!

Такими жизненными и правдивыми картинками начал И. Ф. Горбунов свои столь всем известные характеристики московских купцов и фабричных. С цельным рассказом о «гулянке» ребят, для которого приведенные две сценки служили лишь вступлением,— явился наш незабвенный, незаменимый и неподражаемый рассказчик на суд знаменитого русского драматурга А. Н. Островского в 1853 году. Надо было много решимости для скромного и безвестного молодого человека, жившего в темной доле и приниженной среде, чтоб отдать себя оценке и остановить на себе внимание такого знатока московской жизни, который успел уже к данному времени предъявить и изумительную наблюдательность, и силу художественного таланта даже в самых первых небольших сценах, каковы «Картина семейного счастья», напечатанная в «Московском городском листке» в 1847 г. (№ 60). Похвал и одобрений своего кружка для полной уверенности в себе было недостаточно для начинающего,— довольно того, что настойчивые убеждения товарищей и требовательные настояния ближайших из них поддержали решимость. Все остальное далось просто, и желаемое осуществилось в полную меру.

Оказалось изумительным мастерство быстро изменять тоны голоса и попадать именно в тот, который наиболее обычен у изображаемого лица. В особенности поразительно было искусство вести целые разговорные сцены одного человека за многих и притом так, что из соседней комнаты обманчиво казалось, что беседуют между собой несколько лиц. Обаяние изменчивой мимикой и гибкой декламацией, как основным свойством этого артистического дарования, было полное. Интерес возрастал по мере того, как рассказчик, уведя своих фабричных на гулянку, неожиданно ставил их в различные положения, наталкивая их на разнообразные встречи, большей частью неудачные, но для Москвы того времени обычные и законные.

Вот эти бойкие и задорные гуляки с полтинником в кармане на всю братию перед воротами «Осударева сада», того изреженного и запущенного сада на одной из дальних окраин (за Яузой и Немецкой слободой), примыкающего к зданиям бывшего Головинского дворца, где помещается теперь 1-й московский кадетский корпус. В то далекое время допускались здесь различные представления, преимущественно полеты воздушных шаров-аэростатов.

Ворота по этому исключительному случаю, конечно, заперты, но огромная толпа бесплатных зрителей уверенно рассчитывает на наслаждение редкостным зрелищем даровым

способом. Ее устраивают, усмиряют и осаживают, но неунывающие ребята фабричные привычным опытом не только не слушаются, но отчаянно напирают. Фомка находит даже достаточно смелости в себе, чтобы производить по сторонам наблюдения, делать замечания и задирать соседей.

— Глянь-ко, Теренька, какой у барина картуз: козырь-то словно лопата.

Подхваченное дружным смехом замечание услыхал этот барин из того множества чудаков, которые разгуливали на московских улицах в оригинальных костюмах: в венгерках, поддевках и проч. Они принадлежали к различным классам общества, включительно до известного всей Москвы врача-филантропа, действительно выделявшегося необыкновенным головным убором.

Осмеянный барин рассердился: пообещал раскроить всю рожу, а потом стащить в Басманную часть и попросить там выпороть. Надо было оправдываться, отыгрываться, главное — пятиться прочь, потому что могло обещание сбыться.

— Мы ничего-с. Вы не сумлевайтесь.

— Мы не про вас, сударь!

— Какой, братцы, капрызной!

— Уж очень, ребята, больно серьезной! — отшучивались гуляки, однако значительно осадив назад и в сторону от задетого и обидевшегося. К счастию их, сейчас же наступил и ожидаемый момент начала зрелища.

— Фомка, летит!

— Ишь ты, как высоко!

— Фомка, «мерют»!

То есть меряют, или, проще, начали действовать казаки нагайками, разрежая навалившуюся на садовые ворота кучу зевак, беззаботно и страстно увлекшуюся удавшимся взлетом шара с людьми, который потом начал плавно и ровно подниматься к облакам.

— Фомка, черт, мерют.

Но он уже зазевался, не слыхал товарищеского предупреждения и получил такое воздаяние, что вместо «очень высоко» вынужден был, отчаянно схватившись за спину, закричать во все горло: «Уж очень, брат, больно».

Товарищи успокаивают:

— Ведь, говорили тебе, кажется.

Соседи громко гогочут:

— Глядите-ко, у парня на спине какой рубец казак вырезал!..

После того те же гуляки очутились в новом положении и оказались на другом месте, совершенно в противоположном конце,— у Чудова монастыря. Здесь ожидается архиерейская служба. На крыльце перед входной дверью разыгры-

ваются обычные в этом случае сцены: производится полицейский распорядок. Частный пристав говорит своему подручному из городовых, известных в Москве под общим названием «фараонов»:

— Кондратьев! Пока владыка не приедет, чтоб ни один каналья здесь не проходил.

Разгулявшийся Фомка все это ясно слышит, но и тут не унывает и, под влиянием обычного бойким фабричным бахвальства, опять готов лезть на беду: имеет много к себе доверия, по опыту прежних уличных схваток, требующих особой находчивости и ловкости. Хвастливым тоном, как всегда в таких случаях, говорил Фомка и на этот раз:

— Как я мимо жандарма пройду, так вы все за мной гуськом и ступайте.

— Поди-ко намырнись, он те фонарь-то подставит. Он, брат, знает, в какое место лучше угодить.

— Ничего: я намеднясь проходил.

Бахвал увлекся так, что вовсе не сознавал, как вообще это трудно сделать, а в особенности теперь, когда, по приказу самого частного, городовой Кондратьев заскорузлой и опытной в боях рукой, ухватив огромную, жесткую, как лубок, форменную рукавицу жандарма с раструбами, сделал сильную цепь. Не обращал Фомка никакого внимания и на то, как все мольбы и просьбы о пропуске в церковь грубо и упрямо отклонялись. Купец, очистивши себе пузом дорогу, напрасно пробовал размягчать сердце остраскою, указывая на свое право почетного гражданства.

— Да мне хоть сам граф будьте, коли не велено, не пущу.

Под нарицательным именем графа разумелось, собственно, одно лицо, на всю столицу грозное по старине, немилостивного воеводы града Москвы тех строгих времен[2]. Голая, как ладонь, голова его, как острили исподтишка рядские молодцы, с лысиной до пят, и гладкое лицо, подобное истертому полтиннику тех же времен, возбуждая страх и трепет, заставляли стремительно обнажать головы всех встречных и поперечных. Всякий останавливался и, подхватив живот обеими руками, кланялся в пояс, вовсе не рассчитывая получить ответный кивок головы: только самые именитые благотворители иногда его удостоивались.

Почетный гражданин на глазах ребят стоит на своем. Пререкания продолжаются, но Фомка и знать о том не хочет.

— Нельзя. Никак невозможно, коли высшее начальство не позволяет. Я бы и сам у казарму ушел, да не приказано.

Только один раз умягчилась стража в силу особого распоряжения частного пристава в пользу беззубой и сгорбленной старухи, которая не столько шамшаньем, сколько слезливыми глазами вымолила себе разрешение, и то не сразу:

— Нельзя, старуха, нельзя,— хрипел сам пристав, не то надорванным, не то простуженным голосом, но ласково, мягко и успокоительно. И потом вдруг и неожиданно уступил: — Пропустите старуху, пусть за моих детей бога молит.

— Проходи, старуха, вон на самый на верх. Видишь там большой образ налево, молись за его высокоблагородие! — объяснял жандарм с малороссийским акцентом в говоре.

Это исключение перед прочими дало Фомке смелость: когда солдат разрушил цепь, освободил руку, чтобы показать старухе на паперти тот самый большой образ с изображением Страшного суда, Фомка признал самым удобным моментом для пролаза. С наклоненной головой, как козел в драке, и в надежде на лоб ринулся парень к живой цепи, но она успела уже снова сомкнуться, именно в этом несокрушимом своем звене. Здесь неожиданно и быстро — глазом не успел мигнуть! — получил он под правый глаз такой удар, что из него посыпались искры и изготовилось место для обидного синяка.

— Нынче больно строго стало! — пробовал было Фомка изловчиться оправданием в своей неудаче, когда протискался назад к товарищам. За плюхой он не гонялся,— так ей и быть следовало,— а вот не удалось выхвастаться: хуже этого ничего быть не могло.

— Нынче порядки другие: вовсе строго стало!

— Да и летось так же было! — вылетела из толпы та всегда готовая к услугам неизменно безжалостная насмешка, которая ради красного словца всегда готова на кончике языка и срывается с него неожиданно и быстро. На это в особенности досужлива, находчива и искусна была орава зазывальщиков в Ножовой линии Гостиного двора.

— Вон у него какой здоровый фонарь-то выгорел!

— Пойдем, ребята, отсюда. Пойдем на Иване Великом слова читать.

— Ну, да оно теперь тебе с фонарем-то видко будет! — снова влетело в ухо из толпы новое замечание, острое, как шило, и ядовитое теперь, как пчелиное жало.

Слов на колокольне Ивана Великого, конечно, не прочитали: и высоко, под самой главой, написано, и слепо кажется, лучше узнать по готовому в печатной книжке. Впрочем, не в этом, собственно, заключался вопрос. Мирная прогулка наладилась,— не хочется ее так скоро кончать: надо еще походить и поглазеть, хочется еще при случае прихвастнуть и побахвалить. Вот по пути на Красной площади, перед наглухо запертым Гостиным двором, стоит памятник Минину и Пожарскому, а на гранитном пьедестале светится золотая надпись.

— Ну-ка, Фомка, читай, что тут написано.

— Я, брат, очень превосходно знаю, что там написано-то.

— Коли подлинно знаешь, скажи нам.

— Чего сказать? Я читал.

— Знаем мы, как ты читал. Ну-ко, Теренька, прочитай за него.

Долго глядит Теренька на надпись, долго шевелит губами, бурчит про себя и местами вслух, раз высморкался, раз смахнул со щеки правой рукой словно бы муху, надвигался вперед, заглядывал сбоку и наконец прочитал:

— Гражданскому Мину... и князю Пожарному благородная Расея... летом.

Обнаружился таким образом такой грамотей, который у ткацкого станка начал терять секрет установки всех букв кряду, не проглядев ни одной и определяя всех и каждую на свое место. Остался один выход, чтобы перехвастать Фомку и не осрамиться перед товарищами: пройтись сызнова в третий и четвертый раз по верхам и удариться посмелей и возможно поскорей в догадку. Арабские цифры в цельной тысяче уже только пестрели в глазах враздробь и каждое само по себе, и из них никакого слова не обозначилось.

На этом и конец похождениям по улицам, оконченным, конечно, в трактире за чаем.

Рассказ, как видит читатель, относится к тем временам, когда еще господствовало крепостное право, и хотя оно уже изживало последние 5—6 лет, однако еще опиралось на многие вековые полусгнившие сваи. Между ними не из последних, как памятно всем, торчала вбитой в народную почву здоровая дубовая свая в форме и виде всесильного старосты из крестьян, которого поставляли помещики от себя для управления вотчинами и называли чужим именем, с немецкого образца, бурмистром.

* * *

На этот раз и в свою очередь можно и нам покончить с комментариями, вызванными, собственно, тем обстоятельством, что этот рассказ И. Ф. Горбунова был из починных, первой его песенкой, которую, по меткому пословичному выражению, зардевшись поют. Начальный тон запевки схвачен смело и верно, но голос еще не совсем налажен и не разошелся, местами срывается и фальшивит, хотя ясно обнаруживает свою силу, гибкость и красоту. Чего-то еще недостает, и что-то слышится лишнее. На широкой канве вышиты разнообразные узоры в расчете представить цельную картину: в общем видна и новизна композиции, и счастливый замысел, и ловкие приемы в наложении красок, но местами выделялись не к месту наложенные колера, и выходило пестро, хотя и очень ярко. Полной художественной

картины нет. Это, впрочем, хорошо понимал и сам художник: картины своей он на публику не выставлял, а, оставив ее у себя на дому, прикрыл ее еще сверх всего густой занавеской: в Петербурге никто этого рассказа от самого автора не слыхал; в сборник своих сочинений он его не помещал; бесплодны были все наши дружные усилия упросить его вспомнить и передать.

Восстановляя его теперь по той записи, которая сделана мной в свое время по горячим следам, хотя и с чужих слов, но от лица, владевшего способностью очень точного подражания и поразительной памятью, как прекрасный этюд, как посмертное произведение предъявляю его по следующему поводу. Имею намерение собрать и сохранить многое из забытого покойным или небрежно брошенного за недосугом, в постоянной спешке жить и наблюдать и по иным причинам, составляющим тайну, унесенную им в гроб. На память его многих друзей и многочисленных почитателей заношу и этот запоздалый, полузабытый автором рассказ, ценя в нем то значение здорового зерна, брошенного счастливой и удачливой рукой в подходящую почву. Из сочного ядра вышли крепкие корешки и стали один за другим выступать, весело зеленея, молодые и свежие побеги.

Эта же самая прогулка фабричных ребят по Кремлю привела нашего мастера и на то место, которое стало особенно знаменательным на его начальном артистическом поприще. Того же хвастунишку, попавшего под тяжелую руку жандарма, того пустого человека, из которого никакого проку не выйдет, несмотря на то, что он пыжится при всяком случае забирать верха над товарищами фальшивым превосходством, поставил Иван Федорович прямо против дула Царь-пушки. Ловким ударом мастерского штриха заклеймил он этот повсюдный до докучливости тип самохвала. С этой целью завел он тут между товарищами спор о том, чем лучше зарядить эту большую пушку, которая зияет своим дулом, как черная яма: ядром или бомбой. Ввиду бессилия разрешить столь важный во мнении праздных гуляк бесплодный вопрос, послал рассказчик наш всех их к черту[3].

Счастливо задуманный, а главное с недоступным для подражания искусством передаваемый, рассказ этот в артистической судьбе Горбунова занял большое место и сыграл крупную роль. На всех столичных и провинциальных сценах постоянно и неослабно он имел неслыханный успех и послужил сильным толчком к началу той всероссийской известности, каковой автор вскоре широко воспользовался. Рассказ был подхвачен различными добровольцами, как реклама, помимо воли и всякого участия известного своей скромностью автора, разнесен был по всем городам обширного царства.

Шепелявые молокососы из недоучившихся гимназистов, скитальцы, перелетные птицы из неудавшихся и потерянных провинциальных актеров лезли с этим выигрышным рассказом на подмостки увеселительных заведений, которые в середине 50-х годов вырастали, как грибы. Невзирая на то, что подражатели бессовестно, из слепого стремления к вящему успеху уродовали коротенький рассказ самодельными вставками и безобразно растягивали до томительной скуки, он всегда производил большое впечатление. Стало даже казаться, что как будто и эти самые дощатые и скрипучие подмостки сколачивались и прилаживались в веселых и шумливых залах именно для этой самой «пушки». Когда она была новизной и на столичных сценах в антрактах, иногда для разъезда карет, благосклонно предоставлялось небывалому феноменальному рассказчику несколько минут времени, публика не расходилась. Когда же сам автор своей неуверенной, неровной и характерной походкой появлялся из-за кулис и подходил к рампе, у всех были, что называется, ушки на макушке. Напряженное внимание, выражавшееся готовно налаженными улыбками, разрешалось целой бурей рукоплесканий. Если автор недогадливо не предъявлял своей пушки, ее деспотически требовали и затем неистово вызывали повторения с тем треском, который и до сих пор у многих памятливых свидетелей, несомненно, раздается в ушах.

С этой сценой из похождений фабричных, выделяемой от прочих в самостоятельный рассказ, одновременно предстал Иван Федорович перед А. Н. Островским и окончательно поразил его превосходной сценой, которую развернул он в конторе квартала[4], поставив на первом плане самого квартального надзирателя, еще не протрезвившегося от вчерашнего перегула. Очумелым он производит неправедный суд свой и пристрастное разбирательство дела по иску почетного гражданина и фабриканта против рабочего, укравшего срезку и имевшего дерзость объявить, что он квартального не боится.

За этими двумя крупными рассказами охотливо предложены были вниманию Островского и множество мелких в этот же счастливый час, когда, обогретый ласковым приемом и искренним поощрительным смехом, наш молодой художник осмелел, развернулся и, говоря его же привычным выражением, «рассказывал в полную силу». Неслыханный и самобытный талант ярко светился священным огнем — божьим даром, уделяемым лишь избранникам, а в таком своеобразном виде отпущенным ему одному, этому новому и неизвестному.

На опытный глаз в нем, однако, оказалось многое налицо для самого требовательного вкуса. Прежде, впереди всего другого, необычная скромность — одна из черт, принадлежа-

щих истинно талантливым натурам, не избалованным чрезмерными похвалами и чуждым убийственного и мертвящего таланты самомнения. Ярко выступали милые черты характера мягкого, общительного, живого и ласкового. Потом и тотчас не укрылась и смелая, ловкая схватка самого существенного в изображаемых лицах, превратившихся в цельные типы, несомненно изученные до корня, потому что главные черты вырисовывались легко и свободно. Мелкие из них, неуловимые всяким другим наблюдательным глазом, казалось, сами напрашивались, не требуя никаких хлопот и напряжений, подобно тому игривому признанию, которое сделал наш бессмертный поэт, что с ним «рифмы запросто живут: две сами придут, третью приведут».

Наскоро и как будто мимоходом захваченные фигуры дышат, однако, изумительной правдой, не возбуждающей ни малейших сомнений и не нуждающейся в проверке. Слегка намеченные в «Гулянке фабричных» неясные облики вырастали в цельные образы живых знакомых лиц, с которыми не дальше как вчера произошла встреча и имелось даже столкновение. В дальнейших рассказах Горбунова так и случилось, что уличная мелкота, случайно попавшаяся на глаза, превращалась потом в общественные типы: квартальный в сделке со старухой у Чудова монастыря, квартальный у себя дома при разбирательстве хозяина с работником. Тип из фабричных гуляк, у которого все поползновения выразились бахвальством, со временем выродился в жениха-мастерового, с легким и бесшабашным взглядом на жизнь, задумавшего посвататься к соседке-девушке, живущей при отце на фабрике. Слушал он в течение долгого времени игру ее на гитаре и пение романсов, разговаривал с ее отцом-ундером про войну, много с ним сладкой водки выпил, а потом всю эту канитель бросил. Когда затем, вернувшись в деревню, он окончательно там никуда не погодился и возвратился вспять на прежнюю фабрику,— здесь опять либо «за гульбой пойдет», либо снова начнет старую игру в жмурки, отыскивая с затуманенными глазами способы и средства пристроиться женитьбой к чужому денежному сбережению в виде приданого. Если же на этот раз попадет тут на рожон так ловко, что нельзя ему с него сорваться иначе, как женившись, и вкусит он плодов супружества,— судьба его останется все такой же неудачной и жалкой, а сама жизнь безобразной. При всем честном народе, в бойкий праздничный день, в сильном подгуле, он выкрикнет на всю толпу праздных фабричных гуляк бессвязным языком: «Прощайте, православные, от жены топиться иду!» И в самом деле, на виду у всех, хладнокровно наблюдающих предложенное вниманию шутовское представление, через реку Яузу — куриное переброди-

ще — перейдет мокрым на другой сухой берег. Оттуда покажет увесистый кулак и внушительно потрясет им в угрозу своей спутнице жизни, которая все время ревет в толпе «на двенадцать голосов» (любимое выражение Ив. Фед.), но так же притворно, как и муженек ее побрел топиться. Подобным же образом впоследствии из той же слегка намеченной сцены у Осударева сада развилась широкая картина и обставилась истинно художественными деталями в другом случае, когда надували шар и выделился точно такой же, популярный человек (на этот раз портной с Покровки), приготовившийся летать под облака. Безжалостные праздные скалозубы из толпы успели уже на этот случай возрасти, воспитаться, превратившись жизненным опытом в степенных, лукаво мыслящих, непрошеных добровольцев, резонеров, всегда готовых подслужиться без всякой нужды и призыва. «И как это возможно (хотя бы и потерявшемуся портному) без начальства лететь?»

Горбунов был счастлив именно тем, что прежде всех явился на суд к Островскому. Привело его сюда чувство благоговейного восторга перед крупным талантом, обычно создающим почитателей и привязывающим поклонников, а удержала его здесь очаровательная сердечность, при необыкновенной простоте отношений. Вскоре поставилось дело так, что неведомый добровольный пришелец в гостеприимном доме стал не только желанным гостем, но и своим человеком. Из купеческого семейства, где Ив. Фед. жил домашним учителем, он переехал жить на квартиру Алек. Ник. С той поры оба сделались неразлучными, тесно связанными симпатиями, несмотря на то, что судьба потом разбросила их географически в разные стороны.

Около Островского в то далекое теперь время успели сгруппироваться молодые литературные силы Москвы, имена и работа которых сделалась достоянием истории русской литературы под названием «молодой редакции» «Москвитянина»[5]. В эту-то среду настоящих и строгих ценителей изящного в искусстве и слове удалось попасть Горбунову сразу и укрепиться здесь на прочных основах. Здесь и его начальные шаги к известности и вскоре к славе; здесь же, в этой высшей школе, и даровые уроки в направлении к дальнейшему развитию таланта и его окончательному совершенству. На это и указал в своем сердечном некрологе один из тех пятерых главных, бывших, так сказать, воспреемниками народившегося таланта, быстро возраставшего в силу и мужество. Он остался верным и неизменным другом Горбунова и за могилой, как был и при жизни его добрым советником и строгим оценщиком его необыкновенного дарования. И так длилось более сорока лет до последнего рокового дня 14 декабря 1895 года[6].

Он пишет, между прочим, в «Новом времени» (ст. Т. И. Филиппова «Памяти И. Ф. Горбунова»):

«Разумеется, ничье влияние не оградило бы И. Ф. от этого слишком распространенного порока (наклонности к шаржу ради дешевого успеха), если б в собственной природе его дарования не было залогов строгой художественной трезвости. Но едва ли можно поручиться, что он, хотя бы на время, не впал в этот грех, если б вместо Островского и Садовского он на первых порах своей деятельности попал под руководство, например, Самойлова»[7].

Действительно, если в первых рассказах Горбунова, при ясно выраженной наклонности к юмору, местами проскользали порывы к карикатуре, то последние были прямым следствием влияния среды, в которой воспитался и вращался наблюдатель. Недостатки эти явились последствием неумелой оценки, требовавшей именно грубоватых мазков твердой и сочной, но шаловливо разыгравшейся кисти. Впрочем, этот посторонний налет, в виде невинных и невольных прегрешений против законов эстетики, покрывал самоцветный природный камень легким слоем, и опытные руки мастеров дела легко и скоро могли очистить и даже отшлифовать, при желании, по всем правилам изящного искусства.

Согласно налаженный и тесно связанный живыми литературными интересами кружок А. Н. Островского, или, как он привык называть его, «наша компания», находился еще в полном составе, когда Горбунов обратил на себя его внимание. Ни житейские невзгоды одних, ни перемены служебного положения прочих не нарушали его целости, и тот посторонний и случайный центр, около которого объединились сами по себе все эти молодые даровитые люди, еще существовал: «Москвитянин» Погодина, хотя с томительным и беспричинным запаздыванием, продолжал неисправно выходить в свет с критическими статьями А. А. Григорьева, Т. И. Филиппова, Е. Н. Эдельсона, с стихотворениями Б. Н. Алмазова и проч.

В кружке этом И. Ф. Горбунов был также, само собой разумеется, принят радушно и обласкан дружески, а насколько он поддался его влиянию,— на это будет указано в своем месте.

Здесь, в приходе Николы в Воробине[8], как и там, у Троицы в Сыромятниках, в купеческой семье, также свободно мог продолжать Ив. Фед. наблюдения над тихой, полусонной и скучной жизнью обывателей столичных захолустьев, с которой он так образно знакомил нас потом, сохраняя изумительную точность, воспринятую молодой артистической душой и сохраненной феноменальной памятью. Насколько бы ни были мимолетны и иногда легковесны бытовые картинки,

попавшиеся на глаза наблюдателя случайно или на поисках, насколько бы они сами ни напрашивались своими забавными комическими сторонами на легкую или злую насмешку,— везде проглядывало теплое чувство любви к родному городу и открытых симпатий к его бытовым особенностям. Не всякому петербургскому жителю возможно было оценить в полную меру всю правдивость характеристических черт во всей их цельности. Наибольшая часть красот и достоинств для него исчезала, и когда приходилось принимать все обрисованное в рассказе на веру и в неведении, все исключительное и местное возбуждало лишь безучастный и легкомысленный смех. Ценность рассказов упадала на добрую половину, и это одно из прискорбных неудобств к полному разумению силы творческого таланта автора и одна из причин легкомысленных суждений и критических приговоров. К крайнему удивлению, зачастую доводилось слышать такие мнения, что рассказчик единственно стремится к возбуждению легковесного смеха и исключительно к легкомысленному осмеянию всего, что становилось предметом его поверхностных наблюдений. Из этих судей наиболее доверчивые и простодушные доходили в своих критических отзывах даже до того, что начали считать за автором лично присущий ему тот порок, который он искусно и образно изображал в лице своих подвыпивших или совершенно опьяневших героев рассказов. На это обстоятельство с глубоким огорчением неоднократно жаловался сам виновник подобных мистификаций, умевший, однако, строго выдерживать себя среди соблазнов и искушений, всегда готовый на службу, утром и вечером, и в глубокую полночь, и исполнительный при многочисленных, беспощадных и утомительных приглашениях.

И в явных недостатках, и в подлинных несовершенствах изученных им особенностей московской жизни смягченная и уравновешенная скрытой любовью наблюдательность отыскивала и находила, однако, такие черты, из которых легко складывались цельные художественные образы и создавались талантливые бытовые очерки, ценные сами по себе как литературные произведения. Таков, между прочим, наилучший рассказ, навеянный в тех же темных уголках своеобычного коренного русского города, «Затмение солнца» и все прочие, за малыми исключениями. А таких сцен так много, что нет возможности за всеми уследить и все перечислить. Иные не могли попасть в печать по цензурным условиям, не включая тех, которые настойчиво вызывались и усиленно требовались в заключение веселых ужинов и рассказывались избранным любителям при закрытых дверях. Такова шаловливая сцена между проходящим мимо мастеровым с бутылью скипидара на фабрику и дворником, сидящим у ворот в томительно

жаркий день. И эта сцена, однако же, правдиво и ярко рисовала безвыходную скуку безделья темного замоскворецкого люда, попорченного столичным баловством и фабричным образованием. Таков также и господин, не допросившийся квасу, чтобы утолить мучительную жажду, и т. п. Иные рассказы, рассчитанные лишь на мастерство и живость искусного пересказа, на гибкость тонов голоса, для печати не годились уже потому, что теряли в ней всю соль и образность. Таковы между прочими передававшимися с театральных подмостков: песня проезжего мужика, беззаботно развалившегося на своем возу, задевшего за шлагбаум и не свернувшего с дороги для встречной почтовой тройки, и другая песенка скучающей девицы, картаво распевающей «канареечку, посаженную в злую клеточку», подслушанная (якобы) в тех же тоскливо живущих московских захолустьях — «в доме-крошечке, что на всех глядит в три окошечка» и т. п.

Во всяком случае, наибольшую долю влияния к дальнейшему художественному развитию, а вскоре затем и к успехам в обществе получил Горбунов именно у Островского по многим исключительным обстоятельствам.

Горбунов имел возможность слышать из уст самого автора «Не в свои сани не садись» артистическое чтение его комедии, а равно живое и образное чтение других авторов, являвшихся на товарищеский суд с новыми, изготовленными для помещения в журналах произведениями. Среди всех особенно блистательным мастерством, и каждый в своем роде, выделялись переселившиеся в Москву из Костромы Алексей Феофилактович Писемский и Алексей Антипович Потехин — первый с романами, второй с повестью и драмой «Суд людской — не божий».

Под влиянием кружка и в полном согласии с ним, знаменитый артист-комик Пров Михайлович Садовский с присущим ему замечательным талантом и художественностью исполнения не отставал от прочих, соревнуя им на сцене перед публикой чтением «Повести о капитане Копейкине» Гоголя и другими его же сценами, каковы «Игроки» и «Тяжба». Увлекся этим и король сцены, первоклассный артист, знаменитый Михаил Семенович Щепкин. После классических произведений, как пушкинский «Скупой рыцарь» и в особенности «Полководец» («У русского царя в чертогах есть палата»), он нашел своевременным и обязательным, в ревнивое соперничество с Садовским, превосходно читать гоголевскую сцену Чичикова у генерала Бетрищева.

Все предшественники Горбунова, конечно, послужили главнейшей и высшей школой, как наилучшие образцы, указывающие пути к выработке изящного вкуса в созданиях и развивающие его выдающееся дарование именно в этом пря-

мом направлении. Даруемые охотно и беззаветно впечатления, попадая на готовую почву уже владевшего опытом своего рода мастера, могли лишь его вдохновлять и приблизительно указывать на новые пункты наблюдений, ближайшие и почти однородные, как, например, деревенская жизнь и крестьянский быт, для позднейших и таких поэтических произведений, как «Лес» и «На реке», и таких прелестных, как «Постоялый двор», «Утопленник», «На большой дороге». Во всяком случае, воспринимавший новые впечатления не мог успокоиться на слепом подражании им. Сам будучи творцом и хозяином-собственником с полными и безраздельными правами на благоприобретенное, мог только улучшать и расширять свое достояние. И в самом деле, даже на старых разработанных темах он часто доходил до вдохновенных импровизаций, поражая еще невиданными картинами и внезапно на глазах у всех вспыхивавшим новым ярким освещением старых лиц, знакомством с которыми ему же были лично обязаны.

С замиранием сердца, в молчаливом восторге, не смея проронить слова, не раз приходилось нам наслаждаться тем, как блестки остроумия рассыпались щедрой рукой из невидимого, но понятного источника, и, казалось, не было им конца. Несомненно, осталось их такое же обилие про запас и на новый случай прилива вдохновения и на новый повод развернуться перед такими слушателями, которых он признавал подлинными и заслуженными оценщиками, желающими эстетических наслаждений, а не одного лишь приятного препровождения досужего времени с прибавкой смеха для удобства пищеварения. Родник этого смеха, как все это очень хорошо знали, был неистощим, и струя из него, найдя широкий выход и готовое русло, лилась вполне свободно, не переставая и не уставая.

Еще сверх всего владея секретом повторять свое старое без утраты в нем свежести, Горбунов, конечно, для закрепления наибольшей известности и подкраски впечатлений не нуждался в чужих рассказах (например, Садовского, Павлова и других). Если он и помнил их, как прекрасные образчики, и любовался многими, то повторял их только в крайних случаях настойчивых просьб, в дружеских близких кружках, когда заходила об них речь к слову. Происходило это не из ревнивого чувства зависти — довольно и даже с избытком обычного в среде сценических деятелей; этого недоброго свойства всего менее было отпущено природой на долю Горбунова — происходило же это по простой причине: чужое или костюмное платье было излишним, когда свое обиходное пригнано по мерке, прочно сшито и, видимо для всех, плотно и красиво сидит на плечах. Едва ли не этой же

самой чертой характера следует объяснять отчасти и причину того, что, будучи неподражаемым исполнителем своего, он был неловок и даже застенчив при исполнении ролей чужого вымысла. Вообще на сцене театров он всегда казался временным и случайным гостем, чрезвычайно приятным, очень всеми желательным, веселым и развязным, но никогда не мог сделаться хозяином-владельцем ее. В любом частном доме, в каждой публичной зале стоило ему лишь подхватить, по усвоенной привычке, стул, поставить его перед собой и опереться на ручку,— и его сцена готова без рампы, без декорации — именно та его собственная сцена, на которой он чувствовал себя совершенно дома; немного можно указать таких ролей, где бы он попадал и выдерживал весь целиком заданный автором тон. Рассказчик отлично забыл и никогда потом не возвращался даже к тем пьесам, которые им же были вызваны и для него же лично изготовлялись,— каковы, например, роли с переодеванием, бывшие в моде, а Горбуновым доведенные до окончательного совершенства — такого, что не было уже нужды возобновлять этот балаганный род пьес, эти арлекинады. Зато в этом немногом из чужих созданий ярко выступает и никогда не забудется удалой и ловкий парень Кудряш. Эту роль не без явного намерения придать еще больше ходу и славы автор охотно доверил Горбунову (в «Грозе») — сам автор заботился об его успехах на сцене[9].

В воробинском укромном уголке Москвы И. Ф. Горбунов в не менее значительной степени был удачлив и счастлив тем, что встретился глаз на глаз с знаменитым артистом Императорской сцены П. М. Садовским, который в то же время сам был замечательным и прославленным рассказчиком.

— Слышали ли вы, Иван Парамонович, что за морем-то делается? — услышал здесь впервые от самого Прова Михайловича рассказ, в тоне купца, начитавшегося газет и, по своему доморощенному разумению, перетолковавшего на свой лад недавнюю по тому времени смену французского правительства вслед за отречением Людовика-Филиппа. Рассказ этот, не противоречащий современным цензурным требованиям, к сожалению, не появлялся в печати и, кажется, совершенно забыт даже теми, кто слышал в точной передаче, со слов знаменитого московского артиста-комика, Ив. Фед. Горбуновым. Сохранились и могут быть восстановлены полностью другие рассказы, менее удачные и наиболее отличающиеся искусственной подделкой под уродства гостинодворского говора. Таковы: второй рассказ Садовского о впечатлениях купца, побывавшего на представлении драмы Полевого «Смерть или честь»; третий — о том, как довольный собой мужик сумерничал, глядя с полатей на семью свою; четвертый — «Об вундер-офицере службы военной» и, наконец,

самый известный, наиболее прочих распространенный и даже до некоторой степени затасканный — «О Наполеондере», покорившем под свой ноготок всю Европию, а затем «разгромившем первостольный град Москву». За это, по совету хитрого малого Аглича, выпросившего себе в награду сто рублев золотом, он сослан был «на остров святыя Олены, где нет ни неба, ни земли — одна зыбь поднебесная. Здесь он и живот свой скончал, был положен в двенадесять гробов» и проч.

По большей части молчаливый, как будто на самом деле необщительный и глубоко сосредоточенный в себе, П. М. Садовский сохранил чистую русскую душу с резким оттенком московского закала. Во всей внешней обстановке жизни, до мелких деталей ее, в основном своем миросозерцании и коренных убеждениях и взглядах он оставался на всю жизнь настоящим москвичом, желая и стараясь быть в то же время истинно русским человеком. Он был таковым по данному себе обязательству, хотя, в применении на практике, иное, против воли, доводил до крайностей, которые, будучи искренними, на глазах легкомысленных и недоброжелательных людей казались странными или даже смешными. В самой сущности эта крепкая и слепая привязанность к городу, где выросла его слава, зародилась к нему нелицемерная общая любовь, доказывалась художественным проникновением в самую суть тех характеров из купеческого и чиновного люда Москвы, которые были созданы Островским и уверенно поручены им на суд и творческое одухотворение на сцене Садовским. Одновременно с Горбуновым (но еще не подозревая об его существовании) мы были свидетелями, как начал делить успехи и славу с самим драматургом Садовский, сначала один, а вскоре с Сергеем Васильевым, неожиданно заявившим громадный запас сил чисто художественного комизма, до тех пор бесплодно расточавшегося в мелочах водевильных шаржей. Мы были свидетелями также и того, как все прочие артисты, увлеченные примером и образцами этих двух сценических силачей, дружными усилиями помогали доводить исполнение пьес до небывалой высоты и полнейшего совершенства. «И как можно было не разгореться около такого жаркого огня человеку, способному воспринимать теплоту: Садовскому около Щепкина, Васильеву около Садовского и т. д.» — бегло записал себе на память Горбунов на лоскутке, сохранившемся в его бумагах.

Коренной москвич оказался в Садовском и в том, между прочим, что он не любил Петербурга и при всяком случае с нескрываемым недовольством и остроумными находчивыми насмешками относился к особенностям петербургских характеров и всего склада жизни по-иноземному. И это отчуждение,

может быть и странным образом, но с полной искренностью выражалось и в его упорном нежелании играть на Александринской сцене, несмотря на все настояния друзей. Когда же, по желанию и требованию начальства, он вынужден был явиться на первые гастроли, то замкнулся в маленький кружок своих старых московских знакомых. Из номера, занятого в меблированных комнатах Толмазова переулка, почти никуда не ходил, кроме театра. Петербургом не интересовался и никаких осмотров его не производил, стараясь проводить дни и часы в своих московских привычках. Будучи вызван сюда во второй раз, уединенно жил в квартире своего старого приятеля (С. И. Турбина), изредка лишь интересуясь посещениями небольшого кружка знакомых по особым настойчивым приглашениям. Являлся всюду в своем неизменном костюме, вроде поддевки оригинального покроя, усвоенного им уже с давних пор. Вообще же продолжал чувствовать себя здесь как бы в докучном и неприятном плену, подобно птице в клетке, и из Москвы оба раза приезжал с друзьями-провожатыми, и между прочим с А. Н. Островским (в первый раз); этому своеобразному патриоту-москвичу принадлежит и известное выражение генерала Дитятина. Садовский, отвечая на вопрос об его мнении относительно исхода войны, сказал: «Нас побьют, но не одолеют»[10].

Такой-то цельной и своеобразной натуре на суд и оценку, между прочими своими приятелями, представил тотчас же Ив. Фед. Горбунова Ал. Ник. Островский. Сразу понял высокоталантливый комик молодую, робко выступавшую, но уже ясно определившуюся силу. Молчаливо любуясь, но не осыпая его излишком похвал, он с отеческой нежностью отнесся к нему тотчас же, как только прослушал первые рассказы. Артистической душой, конечно, сразу почувствовал, что в них нет ничего насильно притянутого, искусственно сочиненного, ради усиления смеха неестественной речью, изуродованными учеными или книжными словами, чем достаточно грешат все вышеупомянутые рассказы от имени купцов. С появлением Горбунова он даже стал примолкать. 〈...〉 Уступая свое место вновь наступающей силе, он делал это охотно, с полной готовностью и искренностью. Благодарно вспоминая об этих первых своих встречах с Провом Михайловичем и его товарищеских услугах, поощрении и покровительстве, любовно вспоминал о тех также своеобразных приемах, с какими московский патриот к нему относился. Так, например, в силу особых своих соображений, всегда верный себе, Пров Михайлович признал необходимым переменить Ив. Фед. прическу. С этой целью сам свез его в свою парикмахерскую на Садовой у Ермолая на Козихе, сам указал цирюльнику, как переменить густую шевелюру послушного молодого

человека, чтобы вышло по-русски в кружок и даже в скобку. При этом серьезно и простодушно уверял он новичка, что так непременно нужно сделать, что без этого нельзя, что так будет хорошо: и приличнее и подходящее. Затем, развозя его по знакомым купеческим домам, которых находил заслуживающими этой чести и «способными понимать, в чем тут главная суть заключается», с простодушной заботливостью и предупредительными комментариями спешил давать ход тем рассказам, которые находил наиболее лучшими и эффектными. Тяжело завалившись в уголок дивана, глубоких покойных кресел, обычно понюхивая табачок, Пр. Мих. одобрительно и хвастливо показывал слушателям с веселой и доброй улыбкой кивками головы на рассказчика, иногда с коротким приговором:

— Да-с, так вот тут в чем сила: в таких молодых летах небывалое дело-с.

Когда потом обращались к нему с просьбой, чтоб он рассказал что-нибудь из своего, Садовский брал Горбунова за плечи, становил его перед собой, говорил:

— Вот просите его-с. Он лучше может. Рассказывайте, Иван Федорович. Все, что ни скажете, чудесно будет.

И снова заваливался в угол дивана, молча слушал и наслаждался.

Для Садовского то уже было дорого, что Горбунов подлинный москвич, «наш»: в Москве родился, в ней воспитывался, любит ее так, что вот и рассказывает все про нее, и в ней же впервые предъявил свой крупный талант, весь посвященный бытовым картинам все того первопрестольного города. И замечательно, что под влиянием Садовского и Горбунов по приезде в Петербург все примерял сначала на московскую мерку, а об этом заветном и добром времени трогательно вспоминал не иначе как со слезами в глазах: и так всегда, во всю свою жизнь и при всяком случае, уносившем его мысли в милое прожитое и незабвенное прошлое.

В самом же деле Горбунов не был уже очень молодым, но знаменательную, резко бросающуюся в глаза моложавость сохранял он очень долгое время. Даже отправившись в вечность, не имел на голове ни одного седого волоса, несмотря на то, что ему уже стукнуло за 60 лет. 23-х лет он выступил впервые в Москве на сцену, благодаря все тому же дружескому участию Садовского, который выхлопотал ему разрешение на дебют в свой бенефис в 1854 г. Очень доволен был его успехом, а в особенности вызовами за роль купеческого сына-гуляки в комедии «Образованность»[12]. На память с надписью «Дебютанту моему» подарил впоследствии (в 1859 г.) портрет во весь рост в роли Расплюева[13]— портрет, который

благодарно держал этот «дебютант» всегда на глазах повешенным над письменным рабочим столом.

После этого первого и единственного дебюта на московской сцене Малого театра в начальное время театральной карьеры Горбунова и Садовский начал поговаривать:

— Вам непременно-с надо ехать в Санкт-Петербург. Там вам будет лучше, и об этом следует всякими способами стараться.

Впрочем, эти хлопоты давно уже предполагались в кружке, и были даже приняты кое-какие доступные меры. Между прочим, рассчитывали на помощь Леон. Льв. Леонидова, незадолго переведенного на петербургскую сцену на роли умершего трагика Каратыгина. Леонидов обещал обеспечить гостя на первое время столом и квартирой. Вскоре надежды усилились, когда появился,— появился сначала дворник, Иван Михайлов, он же и швейцар, так как вход был без звонка, попросту, в калитку через двор. К тому же Иван Михайлов предстал хотя и в обычном подгуле, но с испуганным лицом:

— Батюшка-отец! — с привычным приветом обратился он к Алек. Ник.— Там внизу большой барин просится к тебе пройти,— Тургеневым сказывается. Пущать ли?

Озадачен был и этот Михайлыч, непривычный к докладам, необычным поручениям снизу, полученным от незнакомых, смущен был не меньше его и сам хозяин мыслью о том, что почетному и приятному гостю доводится ждать на дворе и на лестнице.

Немалый переполох и замешательство произвело это неожиданное известие о посещении Тургенева и между присутствовавшими, среди которых находился и Ив. Фед. Хорошо помнил он, как сконфузился и сам скромный хозяин, застегивая ворот коротенькой поддевки на крючки, стыдливо оглядываясь на простоту своей повседневной обстановки. Она не совсем соответствовала вкусу и отвечала надлежащему достойному приему такого гостя, который был и богатым человеком, и чуть не аристократом, но во всяком случае уже крупной известностью, передовым после Гоголя писателем. Обе знаменитости русской литературы до тех пор не были лично между собой знакомы. Островский, несмотря на открытую уже Николаевскую дорогу, в Петербурге не бывал, не имея в том никакой надобности. Ив. Серг. Тургенев, заботливо и внимательно следивший за всяким новым журнальным произведением, горячим сердцем принимал и оценивал всякий живой блеск литературного дарования, даже незначительного, но хотя бы что-либо обещающего. Такое же блестящее дарование, которым сразу прославился Островский, Тургенев, конечно, успел оценить в полную силу и меру и,

очутившись на короткое время в Москве проездом из своих орловских деревень, счел своим святым долгом разыскать в трущобе Воробина восходящее литературное светило. И вот он первым пришел ему поклониться. И сам застенчивый хозяин (сохранивший эту характерную черту во всю свою жизнь), и его гости, довольные случаем видеть воочию знаменитого автора «Записок охотника», посещением остались вполне довольны. Простой, приветливой по обычаю беседой его все были очарованы, несмотря на предвзятые предубеждения против петербургских людей, общие не одному лишь Садовскому, но и большей части всего кружка. Ко всему относились недоверчиво, но многое было совсем ненавистно: красные груди гвардейцев, пенснэ и монокли статских людей, их нескрываемая брезгливость ко всему московскому и высоко поднятые головы с презрительным взглядом и многое прочее, чего в Москве совсем нельзя было встретить.

— Ошиблись во взглядах,— объяснял Садовский:— вы думали, что я дурак, а я думал, что вы умный.

Посещением Тургенева воспользовались также и для того, чтоб ускорить или подвинуть дело о помещении Горбунова на Александринскую сцену: имелось в виду давнишнее знакомство Тургенева с начальником репертуара П. С. Федоровым и вообще его обширные литературные и иные связи. Кстати, по московскому же обычаю «пользоваться оказией», на него возложены были и другие поручения. Благодушный, исполнительный, готовый на услуги и всегда памятливый на просьбы, И. С. Тургенев не замедлил письменным ответом. В этом отношении он прославился своей аккуратностью, доведенной даже до маленькой слабости. Так, например, от корреспондентов своих он требовал такого же точного обозначения даты,— числа и года отправления,— и всегда жаловался на тех из них, кто этого не делал. Он не только выучил забывчивого и рассеянного Писемского исполнять этот обычай, но редкому из виноватых в таком упущении не указывал на него в своих ответных письмах. Ответами Тургенев не замедлял; в вынужденном молчании заботливо оправдывался.

На просьбы А. Н. Островского он отвечал из Петербурга следующим письмом от 10 февраля 1855 г.:

«Милостивый государь Александр Николаевич.

Вы, может быть, уже знаете, что я на другой день после моего посещения у вас в Москве занемог и целую неделю сидел дома. Потом я попал в тот несчастный поезд железной дороги, который трое суток с лишком был задержан метелью; а прибывши наконец сюда, я опять занемог и опять не выхожу из комнаты. Этому неприятному стечению обстоятельств

следует приписать, что я до сих пор ничего не мог вам написать о г-не Горбунове, потому что не видел еще Федорова, но как только выздоровею, тотчас пойду к нему и подробно напишу вам результаты нашего свидания. Теперь же, по поручению редакторов «Современника», обращаюсь к вам с вопросом: не хотите ли вы поместить последнюю комедию у них в журнале. Они примут ее с радостью и предлагают вам за нее 250 руб. сер. Если вы согласитесь, то можете выслать ее на мое имя, и поскорее, потому что они хотели бы поместить ее в мартовской книге. Также я попросил бы вас, если это возможно, прислать ко мне несколько рисунков г. Боклевского (если не к «Бедность — не порок», то хотя другие): я пока бы их здесь показывал людям со влиянием, и это могло бы послужить в пользу г. Б⟨оклевского⟩, произведения которого очень бы нужно было вывести на свет. Прошу вас ответить на оба мои запроса, чем весьма меня обяжете. Я видел Писемского, который велел вам кланяться. Он уже поступил на службу, и дела его на хорошей дороге. Нечего говорить, что рисунки г. Боклевского будут возвращены в совершенной целости и исправности. Прошу поклониться Садовскому, гг. Горбунову и Эдельсону (надеюсь, что здоровье его супруги поправилось). Желаю вам здоровья и деятельности и остаюсь с совершенным уважением преданный вам *Ив. Тургенев*».

Несколько официальный, деловой тон письма, вызванного известными поручениями и написанного вскоре после мимолетного знакомства и первого свидания, вовсе не характеризует взаимных отношений обоих писателей. Редкие встречи, обусловленные дальними расстояниями, когда один почти безвыездно жил в Москве, а другой также почти постоянно за границей, действительно не установили тех желательных, близких дружеских отношений между Островским и Тургеневым, какие, наприм., существовали у последнего с Писемским. Писемский несколько лет кряду жил в Петербурге, когда и Тургенев надолго здесь оставался, навещал Тургенева за границей и очень охотливо вел с ним оживленную переписку.

Несмотря на авторитетное содействие Тургенева, на хлопоты других лиц, в числе которых первым следует упомянуть А. А. Краевского, Горбунову довелось пройти за кулисы и в театральную уборную мимо многих мытарств и натолкнуться на серьезные препятствия со стороны тогдашнего директора театров Гедеонова. Привелось, между прочим, выслушать от него нелепое, в чиновничьем вкусе, предложение поступить предварительно сцены в театральное училище,— довелось, одним словом, долго ждать и наконец дожидаться давления свыше, чтобы получить право дебюта в «Ночном» — сценах

Стаховича — и устроиться на Александринской сцене.

Как бы то ни было, но Ив. Фед. в конце зимы 1855 г. переехал на житье из Москвы в Петербург.

У Аничкова моста, в доме Степанова (рядом с Екатерининским институтом), в первом этаже направо, в небольшой квартире И. С. Тургенева, в его приемном зале, изящно убранном портьерами и широчайшей оттоманкой, Горбунов рассказывал в кружке «Современника» корифеям тогдашней молодой петербургской литературы. Рассказывал он, между прочим, ту свою сцену, которую в печати, в собрании своих сочинений, он назвал «Визитом». Главное действующее лицо названо им тем именем, которое для барских лакеев обращалось в насмешливое или бранное. Как всякий ученый медведь — Михайло Потапыч и всякий калмык — Иван Иванович, так точно и каждый лакей — Алексей Алексеевич (молодой лакей Алешка), и все это блаженной памяти испорченное до отвращения племя, вместе взятое,— «уксус», «языком тарелку прошиб», «три сажени пыли проглотил», и т. п. Супруга Алешки Елена Дмитриевна — ломака, побывавшая с барыней за границей, в особенности привела в восторг Ив. Сергеевича жизненной правдивостью, напомнив ему знакомое домашнее и недавнее. Он тотчас же из своих наблюдений дворянского быта сразу начертил легкий мастерски художественный набросок, мимоходом и не для печати, который и сейчас стоит живым у меня перед глазами.

В тот памятный вечер и тут я впервые встретился и познакомился с Горбуновым. Знакомство наше вскоре, как-то вдруг и незаметно, перешло в ту близкую и тесную дружбу, которая не омрачалась и не ослабевала во всю последующую нашу жизнь. По русскому обычаю, эта взаимная приязнь закрепилась для нас кумовством и сватовством и в таком незабвенном для меня лично виде сберегалась цельно и бережно в течение ровно сорока лет.

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ

(ПО МОИМ ВОСПОМИНАНИЯМ)

Если с Большой Лубянской площади пойти по Солянке мимо Опекунского Совета, в котором некогда находилась в закладе и перезалоге почти вся помещичья Россия, повернуть налево, то ударишься (как говорят в Москве) в узкий переулок. Огибая церковь Иоанна Предтечи и делая длинное и кривое колено, Серебрянический переулок приводит на поперечную улицу. Прямо против устья переулка стоял неказистый деревянный дом обычного московского пошиба. Обшит он был тесом и покрашен темною коричневою краской; размерами небольшой, в пять окон. Смотря на него с улицы, казался он одноэтажным, так как второй этаж глядел окнами на свой и соседний двор. Дом стоял на самом низу, у подошвы горки, и начинал собою ряд других домов такого же узенького, но на этот раз прямого переулка, примыкающего на верхушке к церкви Николы в Воробине[1].

Московскому городскому обществу на этом некрасивом доме, следуя добрым обычаям петербургского, уже не доведется прибить доску с надписью, напоминающею о том, что, в честь родного слова и во славу отечественного искусства, здесь жил и работал Александр Николаевич Островский. «И ста запустение на месте святе»[2]: домовое место прорезано теперь новым переулком, носящим иностранное имя, вероятно, того фабриканта, который взгромоздил тут же на углу безобразное здание своего заведения, а против него выстроились два дома, покрашенные голубою краской.

Как все в Москве дышит почтенной и внушительной стариной и еще многое до сих пор живет ее остаточным наследием, так и это место, куда привели нас личные благодарные воспоминания, не лишено исторического значения, хотя и в малых размерах.

Прямо перед окнами дома А. Н. Островского расстилался

обширный пустырь, принадлежащий народным баням, исстари называвшимся «серебряными»,— и, вероятно, они были первыми в Москве общими и торговыми; по крайней мере упоминание о них во владенных старых актах относится ко временам царя Алексея. Через сто лет после него и ровно за столько же до наших дней какой-то заезжий иностранный художник остановился на них, зарисовал, отгравировал и раскрасил, посвятив свою картину императору Павлу. С его соизволения она дозволена была во всенародное обращение (о чем и напечатано внизу) и, как библиографическая редкость, попадается в двух вариантах. На обеих изображен этот самый предбанный двор, в том виде и обстановке, когда общие бани, по самой сущности своего названия, действительно были общими, т. е. мытье производилось в них японским или вообще азиатским обычаем, в одном помещении и лицами обоего пола совместно и одновременно. На одной (раскрашенной) гравюре по направлению к голым фигурам моющихся степенно шествует с пузатым главою впереди купеческое семейство полного состава от мала до велика. На другой гравюре (на иллюминованном экземпляре) группу красных девиц, в телогреях и косыночках, сопровождает такая же группа добрых молодцев в кучерских шляпах. Над той и другой, на заднем плане, двое рабочих взгромоздились на вышку и накачивают сюда, в чан, ручным рычагом воду из Яузы, занимающей добрую половину рисунка,— ту воду, которая и в то время несомненно не была пригодною. На самом заднем плане уже дымит фабричная труба и виднеется самое здание фабрики, изготовляющей для мелкой реки густые, тяжелые и липкие отбросы*.

Из окон второго этажа, который занимал Александр Николаевич в 50-х годах, и мы видали виды, которые также ушли в предание: выскакивали из банной двери такие же откровенные фигуры, какие изображены на павловских гравюрах. Срывались они, очевидно, прямо с банного полка, потому что в зимнее время валил с них пар. Оторопело выскочив, они начинали валяться с боку на бок в глубоких сугробах снега, который, конечно, не сгребался. Затем опрометью же эти очумелые люди бросались назад в баню и стремительно на полок — доколачивать, ласково и ругательно, вперемежку, обращаясь к парильщику, горячими намыленными вениками белое тело, впрок и стальной закал «на

* Лет 5—6 тому назад и самые бани, за ветхостью, срыты с лица земли и замещены жилыми постройками и дровяным складом, сделав таким образом редкую гравюру еще более ценною в глазах антиквариев. Только один извозчик, старик, от целой биржи, вызвался довезти нас к «серебряным» баням, прочие уже этого места не знали: так коротка стала память современной молодежи.

предбудущее время». «Стомаха же ради и частых недугов», для закрепы свежей стали в надлежащую оправу после горячей и дешевой бани, имелся тут же и перед окнами кабак: в банные дни не переставая взвизгивала входная его дверь на блоке с кирпичиком.

Предбанный пустырек и неказистый дом нашего драматурга обеспечен был полицейской будкой, ушедшей также в предание. Не столько охранялся он ею, сколько докучливо торчала она сама перед глазами, единственно с тою целью, что так угодно было начальству. Будку эту с подчаском занимал беззубый полицейский страж Николай, сделавшийся теперь (по крайней мере, лично для нас) также в своем роде лицом историческим, при всем ничтожестве его значения для обывателей. В самом деле, он был последним человеком в этом тихом и удаленном уголке широко раскинувшегося на семи холмах города. Под седьмым и последним холмом и стояла эта последняя будка с остаточным будочником в тяжелой сермяжной броне и с неуклюжей алебардой, незадолго до преобразования московской полиции.

Хотя и ходила еще по Москве в ней сложившаяся, но владеющая всероссийским глубоким значением поговорка: «Мне все нипочем, был бы будочник знаком», но Николай вовсе под нее не подходил. Этого мнения слепо придерживался только дворник Александра Николаевича Иван Михайлов, и то лишь из личных видов. Прямые свои обязанности Николай исполнял более, чем все прочие его сослуживцы, неисправно. Окольная сплетня говорила, что лишь только особому счастью обязан он сохранением если не жизни, то житья в городской будке в ту страшную ночь, о которой речь впереди. Не страшен он был обывателям, хотя также не мог и не смел похвалиться перед ними неподкупною совестью. На обычный ночной его оклик: «Хто йдеть?» — привычный обыватель либо ничего не отвечал, либо его же самого дерзко останавливал:

— Ну, что ты, братец, орешь на всю улицу,— всех ты только пугаешь понапрасну. Спал бы себе во всю носовую завертку.

Иной, впрочем, позволял себе дружелюбно вступать с ним в ласково-шутливый разговор:

— Что ты, в самом деле, петухом-то кричишь: али уж проснулся, на счастье? Вот погоди ужо,— проедет Лужин (обер-полицмейстер тех времен), отберет у тебя топорище-то твое,— другое запоешь. Зададут тебе завтра «разделюцию»... Давай-ка, однако, свеженького-то твоего понюхать.

Угрожающий намек напоминает недавнее событие, долгое время занимавшее Москву и служившее предметом толков и пересудов всего первопрестольного города. Предместник

Лужина Цинский, объезжая ночью полицейские посты, набрал в свои сани 12 алебард, стоявших прислоненными к будкам (живых охранителей налицо не оказалось). Набрал бы он и больше, если бы позволяло место в его санях. Такая попечительность нового главнейшего оберегателя городского спокойствия и блюстителя благочиния явилась, действительно, историческим событием такой особой важности и значения, что его поспешили обессмертить в стихах. Аркадий Марков, известный составитель деловых письмовников и поставщик многочисленных переводов французских романов Евг. Сю и Дюма-отца для книжного издательского рынка на Никольской, написал, в подражание известной балладе Жуковского, довольно остроумную пародию «Двенадцать спящих будочников»,— поэму, вызвавшую неудовольствие и сделавшуюся запрещенною. Сам автор искусно и ловко умел скрыться от преследований, оставив для исторических исследователей имя свое полутемным и спорным. Бесспорным, однако, остается то, что в расчете личной корысти, в видах охраны собственной персоны, на всякий недобрый час и неудачный случай, Марков был на дружеской ноге со всеми будочниками, знал всех по именам (но без отчеств). Проходя мимо каждой будки в ночное время, всегда интересовался, кто стоит на часах и куда подевался товарищ-подчасок, и был очень доволен, когда получал ответ:

— Отпустил я его на всю ночь, до утра. К своей сударке пошел.

Опросы этого рода иногда имели существенное значение для талантливого, но потерянного Маркова, в тех частых случаях его жизни, когда, налаживая в переплет нетвердые ноги, он не доходил на них до квартирки у вдовой дьячихи-просвирни на монастыре церкви Трех Святителей и ему неодолимо хотелось свободного места: в казенных будках Марков зачастую ночевал добровольцем. И во всяком случае мимо редкой будки проходил он без того, чтобы, ради скрепления дружбы и приятного компанства, не попросить понюхать даром или присыпать в табакерку на медный пятак свеженького табачку-зеленчака. Все будочники Москвы занимались в те времена изготовлением в ступках и безакцизною продажею этого продукта, получая его большею частию в подарок из соседней лавки со шлеями и хомутами или прикупая на медную гривну знаменитые нежинские корешки. Так поступал, вслед за другими, и этот Николай с целью розничной продажи в подспорье к жалованью, о размере которого в настоящее время и сказать даже стыдно.

Невозможно затем понять и объяснить, чем обеспечивалась охрана жилища Александра Николаевича и для чего поставле-

на была против самых окон его безобразная будка. В то время, впрочем, вопрос этот решен был тем, что Николай существовал для одного лишь Ивана Михайлова. Всегда навеселе и нередко в невменяемом состоянии, Михайлыч явно показывал, с кем делил добрую долю своих удовольствий, праздничных и будничных утех. Все досужее время, которого у него было в избытке (так как в услугах его мало нуждались), делил или у него в конуре, или наголо и открыто в подручном питейном с ним же. Оправляя себя, оправдывал он и своего друга.

— Иного жулика он и спугнет! Слышь, как стучит топорищем-то своим!

Несмотря, однако же, на это, Иван Михайлов все-таки прикормил и приспособил ко двору сердитую собаку, по тогдашнему всеобщему московскому обычаю. Он в то же время безмерно любил и ласкал комнатную породистую и чуткую «Гольку» (особой английской породы собачку), которая до глубокой собачьей старости прожила в этом не оберегаемом, но богохранимом доме.

Гостеприимный хозяин жил здесь в простоте уединенного и неказового быта, подчиняясь всеобщим московским обычаям, намеренно не желая от них отставать, как заповедных и священных для него, в особенности как для коренного истинно русского человека в самом высшем значении этого великого слова. Так, между прочим, когда он жил в верхнем этаже, у него туда не было проведено звонка. И в этом он не отставал от соседей.

Когда медленным шагом и с опасливой оглядкой «не наша» цивилизация, вместе с комфортом, пробиралась по стогнам богоспасаемого града Москвы (вскоре после крестьянской свободы), зацепляя, однако, и захолустные Зацепы,— звонки начали проводить во дворы. Надо было повеситься на ручке у калитки любого дома на Таганке и в Замоскворечье, чтобы вызвать заспанного сторожа и, под защитою его, входить со двора мимо лохматой собаки. Она испуганно надрывалась от лая до перехватов в горле, а привязана была таким удобным способом, чтобы всех входящих чужих возможно ей было хватать прямо за икры.

Удостоенные чести свободного входа в открытые двери, войдем сюда под радушный кров этого светила нашей литературы в то время, когда еще вокруг него и в нем самом весело играла молодая жизнь,— войдем. и

С благоговейною слезою
Благословим мы, что прошло,
И перед урной гробовою
Преклоним скорбное чело.

Действительно, особенная умилительная сердечная простота во взаимных отношениях господствовала в полной силе здесь, в безыскусственной обстановке жизни нашего великого писателя. Он в коротенькой поддевочке нараспашку, с открытою грудью, в туфлях, покуривая жуковский табак из черешневого чубука, с ласковой и неизменно-приветливой улыбкой встречал всякого, кто получил к нему право входа. Требования для того были скромны, но обусловлены твердо и решительно, не по писаной инструкции, а на основах обычного права: обязательно быть прежде всего русским человеком и доказать свои услуги какой-либо из отраслей родного искусства, той или другой — безразлично. Если давалось преимущество литературным и театральным деятелям, то это зависело от того, что сам хозяин исключительно в эту сторону обратил всю свою любовь и здесь же укрепил свои верования безраздельно и бесповоротно.

Открытое исповедание этой твердой и непоколебимой веры в силу и мощь народного духа он успел уже предъявить громогласно ко всенародному известию,— и стал он посвященным избранником. Неразлучная с верой любовь к отечественному искусству и родному слову обаянием своим послужила притягательной силой,— и избранник стал во главе первенствующим. Неотложно объявились у него пособники, и не замедлили вскоре за тем явиться поклонники. Всякий принес свою посильную лепту, а при жертвах и на эти доброхотные вклады усилились и средства к укреплению самой веры, и облегчилось поступательное движение по тернистому пути к открытой и ясно обозначившейся, сквозь полумрак, желанной цели. Соединенные усилия уже одни обнадеживали успехом, несмотря на то, что дорога тянулась по рытвинам, через груды наваленных препон, и мосты через реки были поломаны или совсем разрушены, и подъемы на горы либо запущены и, будучи заброшенными, стали зарастать, либо намеренно были попорчены так, что не только ослабевала надежда на какую-либо победу, но недоставало и многих орудий, необходимых и пригодных для борьбы[3]. У старорусских богатырей на эти роковые случаи недобрых встреч с препонами припасено было вещее слово зарока — идти дорогою прямоезжею и твердо веровать, что все то не божьим изволением, а по злому вражьему попущению. Шли уверенно вперед и эти новые, по заветам старых, и вели борьбу неустанно, испытывая временами тяжелые поражения, но временами же освежаясь и укрепляясь сладкими плодами счастливых побед. Когда же совсем рассвело, исчез ночной сумрак и загорелось на небе яркое красное солнце[4], оказалось, что в честной борьбе у этих путников прибавилось силы. За великую любовь их не только досталась победа с одолением,

но и в силу того, на законных основаниях, многое им было выделено в приобретение и приращение добровольно уступленным, как бы и в самом деле в прямую награду за старые труды и дознанные подвиги. Как до этой поры закаляла в мужество эта любовь к родине и страдающему меньшому брату, так теперь, когда и для этого наступили счастливые дни, старая любовь еще более окрепла и, сделавшись сознательною, повела к новым победам и приобретениям.

В самом деле, разбираясь в воспоминаниях о прожитом и проверяя свои давние наблюдения над виденным, слышанным и испытанным, уверенно приходишь к заключению, что единственно любовь к народу руководила всеми мыслями и деяниями того московского литературного кружка, которому посвящены эти строки. Живыми, как бы сейчас и наглядно действующими являются усиленные заботы и работы, дружные и совместные, всего кружка, уже успевшего оставить «Москвитянин» и возрасти численностью от вновь примкнувших добровольцев. На первом плане и на видном месте стояла русская народная песня. Она прежде всего и напрашивается на воспоминания наши.

Русские народные песни в компании молодых московских писателей долгое время пользовались особым почетом. Хороших, безыскусных исполнителей, умевших передавать их голосом, без выкрутов и завитков, разыскивали всюду, не гнушаясь грязных, но шумливых и веселых трактиров и нисходя до погребков, где пристраивались добровольцы из мастеров пения и виртуозов игры на инструментах. Здесь услаждали они издавна праздных любителей из купечества.

— Делай, делай! — раздавались поощрительные возгласы загулявших и разгулявшихся, от которых, в награду и поощрение певцов и музыкантов, следовало угощение сладкими водками, денежные награды, наконец, объятия и поцелуи. ⟨...⟩

Т. И. Филиппов в одном из последних своих писем к Горбунову вспоминает о подобном веселом заведении у Каменного моста: «Николка рыжий — гитарист, Алексей с торбаном: водку запивал квасом, потому что никакой закуски желудок уже не принимал. А был артист и «венгерку» на торбане играл так, что и до сих пор помню». Будучи сам превосходным исполнителем народных песен и в то же время

ученым исследователем и знатоком отечественной поэзии, он придавал своим выразительным художественным исполнением высокую ценность всем этим перлам родного творчества, отыскивал и пел наиболее типичные или самые редкие, полузабытые или совсем исчезающие из народного обращения[5].

Вспоминая товарищеские сходки у Аполлона Григорьева, с неподдельным искренним увлечением Горбунов записал про себя на память: «За душу захватывала русская песня в натуральном исполнении Т. И. Филиппова; ходнем ходила гитара в руках М. А. Стаховича, сплошной смех раздавался в зале от рассказов Садовского; Римом веяло от итальянских песенок Рамазанова»[6].

Действительно, надо всеми певцами изяществом и точностью исполнения главенствовал Тертий Иванович и был непобедим. Бесплодно силились соперничать с ним два земляка-друга: М. А. Стахович и П. И. Якушкин, пристававшие с своими орловскими песнями, верно передаваемыми по говору и мотивам. Первый, впрочем, восполнял недостатки в пении искусною игрою на гитаре и был неподражаем в пляске, а Якушкин, зная огромное количество песен, напевы их, своим крикливым раскатистым голосом не умел передавать верно и очень многие путал. Самого А. Н. Островского г-жа Воронова засчитала в певца, свидетельствуя, что он недурно пел; она умела аккомпанировать. У нее нашлись знакомые ему романсы, и он никогда не отказывался петь, когда его просили. «Мне,— пишет г-жа Воронова,— никогда впоследствии не приходило в голову спросить у кого-нибудь из людей, близких к Островскому, что сделалось с его голосом и его пением, но тогда мы им очень любовались». На этот вопрос ответ простой: он перестал петь; по крайней мере я, да и никто из ближайших к нему лиц ни разу не слыхал его пения, потому ли, что спал с голоса и огорчился до молчания, или потому, что счел более полезным и безопасным для себя уступить место лучшим и настоящим певцам»[7].

В числе последних выделялся разысканный в погребке на Тверской (угол Университетского переулка) приказчик, торговавший на отчете,— М. Е. Соболев, ярославец родом, владевший, что называется, серебряным голосом: высоким, звучным и чистым тенором, ловко и умело приноровленным к заунывным деревенским песням. Стремился он, впрочем, доморощенным вкусом к чувствительнейшим романсам и ариям из опер по увлечению знаменитым и несравненным театральным певцом Бантышевым. Впрочем, Соболев умел уловить только быстрый и разудалый переход от арии в «Аскольдовой могиле»[8] к песенке «Чарочки по столику похаживают». В песне Торопки[9] «Близко города Славянска» Соболев немного

походил на Бантышева, в исполнении «Размолодчиков», «Не белых снегов во чистом поле» и «Вспомни, любезная. мою прежнюю любовь» — имел соперника только в одном Т. И. Филиппове. Слушать его сходились и такие мастера пения, как старик цыган, родной брат Матрены[10], восхищавшей Пушкина,— старик купеческой осанки, знавший много старинных былин (я со слов его записал нигде не напечатанную про Алешу Поповича, прекрасную). 〈...〉 Видывали здесь и Ивана Васильева, известного и в Петербурге содержателя самого лучшего хора (в страхе, смирении и целомудрии), почтенного и всеми уважаемого человека, который в компании Островского пользовался должным вниманием и любовью. Здесь же, в погребке, нередко заседал театральный певец Климовский, пением которого один любитель восхитился до того, что назначил ему ежегодную пенсию, и проч.

Во всяком случае этот погребок Зайцева (по вывесочной надписи: Zeizow) был своего рода клубом. Для посетителей из любителей пения предоставлено было особое помещение наверху, над погребком, в виде довольно просторной залы. Насколько же не признавали его отделением кабачка, доказал один из посетителей, известный художник, не задумавшийся нарисовать на стене мастерски углем свой портрет, который бережно потом охранялся, конечно, служа в то же время и некоторой рекламой.

Вскоре клубным местом приятельских свиданий сделался, по заветному обычаю, общему всей Москве, московский трактир Гурина, или лучше то его отделение, которое очень издавна называлось «Печкинской кофейной» и имело отдельные кабинеты. Покинутый Соболев впоследствии, при случайной встрече с Горбуновым на одном из волжских пароходов, вспоминая со вздохами милое прошлое, своей теноровой фистулой говорил:

— Меня, Ваничка, не поняли тогда: я все это свое дело и бросил.

Осталось неизвестным, чего в нем не поняли и что заставило его покинуть выгодную торговлю: то ли, что он большой талант, заслуживавший лучшей участи и, вероятно, императорской сцены, или то, что он хотел вплотную торговать, а к нему ходили петь или всласть его самого слушать и приглашать его на дом. 〈...〉

Увлечение кружка Островского, или молодой редакции «Москвитянина», русскою песней, может быть, имело прямым или косвенным источником движение в эту сторону славянофилов во главе с П. В. Киреевским, примыкавших также своими симпатиями к погодинскому журналу. С другой стороны, тем не менее, перлы народного творчества здесь получали

живое художественное толкование. Песня оживала не в мертвых записях, а в своих цельных образах. Тут уже вовсе не требовалось сухих комментарий, которыми вскоре, по выходе в свет сборника Киреевского, совершенно затемнили ее истинный, глубокий смысл, а ненужными и неумелыми мудрствованиями умалили и ее высокую ценность[11]. То же увлечение кружка производило и другие благотворные влияния и, между прочим, на творчество современных поэтов. Наиболее талантливый из них, примкнувший несколько позднее (бывший в то время инспектором 2-й московской гимназии на Разгуляе), Лев Александрович Мей, успевший создать прелестные лирические произведения на восточные мотивы, и преимущественно еврейские, на библейские темы, евангельские события и события из римской жизни, решительно переменил строй своей лиры, перейдя на родную отечественную почву. Здесь он сразу нашел себе новые вдохновляющие мотивы, которые до той поры были ему мало или вовсе не известны. С несомненною искренностью, судя по силе выражения и образов, в своей превосходной «Запевке»: «Ох, пора тебе на волю, песня русская, благовестная, победная, раздольная, непогодою-невзгодою повитая, во крови, в слезах крещеная-омытая»,— он показал, насколько была сильна его решимость разорвать связи со старым и налаженным и насколько было беззаветно и бесповоротно отречение. Доказательства тому последовательно являлись налицо в песнях: о царе Алексее Михайловиче (озаглавленной им «Спаситель»), про боярина Евпатия Коловрата, про княгиню Ульяну Андреевну Вяземскую, про Александра Невского и проч. и в драмах «Царская невеста» и «Псковитянка», заставивших забыть его скучную и неудавшуюся «Сервилию» — драму из древней римской жизни. Переводы с иностранных языков (греческого, английского, немецкого и французского) он начал усиленно пополнять тою же, мастерскою по стиху и удачною по выбору, передачею стихотворений славянских поэтов: польских — Мицкевича, Сырокомли, Одынца, Залесского, Ходзьки, Реута и украинского — Шевченки. Увлечение же песнями в строгом народном смысле, кроме пробы своей поэтической силы в великорусских народных мотивах и на темы, взятые из преданий и суеверий, Л. А. Мей очевидно и с большим успехом обнаружил в переводах народных песен прочих славянских племен. Душе поэта стало теперь дорого и выражение богатырской самоуверенности русского народа, столь образно выражавшейся в «Слове о полку Игореве» (один из наиболее удачных переводов из существующих в русской литературе), в равной степени милы и ценны ему и меланхолические мотивы, подслушанные им в народных песнях. Насколько прочувствовано Меем житье-бытье русской

женщины, высказано им в трех прелестных песенках и в той четвертой («Как у всех-то людей светлый праздничек»), которая наиболее других осталась у всех в памяти вместе с «Русалкой» и «Вихрем». В последнем поэт показал изумительную виртуозность стиха, составляющую, впрочем, одну из блестящих характерных черт его поэтического таланта. В товарищеские беседы кружка Островского Мей, конечно, имел полную возможность внести известную дозу эстетических наслаждений, но несравненно меньшую тех, которые доставлялись исполнением не сочиненных и оглаженных, а коренных народных песен, принятых непосредственно из уст самого народа.

Во всяком случае, на этом наглядном примере поэта для нас незабвенным и знаменательным представляется то явление, что если в кружке московских друзей привольно было лишь коренным русским людям, то побывавший здесь уходил и с более приподнятым челом, уверенною и твердою поступью, как будто он на свое прирожденное звание получил оформленный и засвидетельствованный патент.

Известное право, как бы своего рода патент, требовалось, конечно, для того, чтоб обратить на себя внимание кого-либо из членов кружка и быть сюда представленным и затем допущенным. Вспоминаю про эту молодежь, которая окружала А. Н. Островского, удачно была им подобрана, а между собою успела спеться так, что умела подцветить досужные часы работников мысли и слова, когда они, для обмена мнениями и для развлечений, собирались у Островского, у Григорьева, у Ев. Эдельсона. Брат последнего, Аркадий, представил своего товарища по рязанской гимназии, Колюбакина. Этот прихватил с собою Мальцева, и т. д. Образовалась, таким образом, небольшая компания живой и веселой молодежи, в составе 4—5 человек, прозванная шутливым именем «оглашенных». Бродяжною или праздною она не была: либо училась, либо служила и, привлеченная притягательною силой литературного светила, составилась из самых усердных и горячих его поклонников. Благодарная за допуск и счастливая исключительностью своего положения, она, в свою очередь и в меру наличных сил и способностей, желала и умела послужить кружку избранных хотя бы веселостью, вообще неразлучною с молодостью, но этим отпущенною в избытке. Сам хозяин добродушно и искренно увлекался шаловливыми, остроумными и находчивыми шутками Мальцева; заливался детским, визгливым хохотком своим смешливый Писемский; приходил в обычный восторг, проявлявшийся громким, откровенным смехом, легко увлекавшийся Ап. Григорьев. Подхваченные здесь песенки и романсы выносились в нашу студенческую семью, где и распевались те из них, как,

например, «Спи, моя Яцента», которые наиболее отвечали молодому настроению и резвому задору.

Живой и всегда неизменно веселый, с явным оттенком беззаботного характера и открытой души, «Костя» Мальцев необычайною подвижностью нервной природы успел выделиться впереди всех прочих. Он с неподражаемым мастерством умел представить сцену молящейся старухи. Стоило ему лишь накинуть на свою курчавую голову носовой платок, подвязав его под подбородком, вытянуть этот подбородок, измять морщинами свое красивое лицо с правильными чертами,— и подобие 70-летней шепелявой и беззубой старухи было изумительно и по сходству, и по быстроте превращения. Она расположилась молиться усердно, накладывая широкие кресты на лоб и плечи, но вдруг и неожиданно привязалась чужая и злая собака. Старуха молится, собака теребит ее за подол и намеревается укусить за ногу. Одна лает, другая ворчит на нее и отмахивается, не забывая в то же время шепелявить молитвенные слова. Собака, наконец, добилась своего — укусила, старуха — своего — больно ударила ногой в морду. В одно время и собака визжит от боли, и старуха от той же причины вскрикивает. И вой и крик, перемежаясь, сливаются, пока не оставит изумительный артист места представления и не удалится, прихрамывая. Еще забавнее была эта же сцена, когда она разыгрывалась вдвоем с Колюбакиным, но вызывала гомерический смех их же обоих сцена, представляющая стадо, которое гонит пастух с поля, и животные, большие и малые, с изумительным сходством подавали свои голоса. В москворецкой бане у Каменного моста шустрый Костя, вбегая в раздевальную, раз заржал жеребенком. Банщик Иван Мироныч Антонов, маленький ростом, говоривший фальцетом и отборными книжными словами, на шалость Мальцева заметил тем выражением, которым воспользовался Александр Николаевич в одной из своих комедий[12]: «Малодушеством занимаешься».

На помощь Мальцеву являлись либо И. Е. Турчанинов, либо «Межевой», либо иные досужие и умелые рассказчики. Первый — Иван Егорыч — числился в драматической труппе Малого Театра, неизменный и постоянный спутник Островского, сблизившийся с ним и приятный ему на одной общей страсти. Оба были страстные и замечательные рыболовы, особенно в мудреном способе лова на удочку, для чего уезжали они на знаменитые карасями пруды подмосковных сел Коломенского и Царицына. Иван Егорыч придумал изображать на своем лице и всей фигурой старую истасканную енотовую шубу. Некто весельчак и чудак, служивший землемером, а в компании известный под названием «Межевого» и «Николая последнего», охотно во всякое время

уморительно представлял утку и т. д.*. Мелкие рассказы и забавные сцены не переставали чередоваться одна за другою, в перегонку и соревнование, пока не занял в ней место Иван Федорович Горбунов, заставивший всех прочих или стушеваться, или совсем замолкнуть. Осталось им перенимать его сцены, с большею или меньшею удачею ему подражать и, во всяком случае, распространять о нем молву и помогать укреплению его славы. Как компетентные (отчасти) судьи, эти его предместники были первыми его приятелями и восторженными поклонниками. Мальцев, например, вскоре покинул старуху, как только Горбунов воспользовался тою же природною подвижностью своих лицевых мускулов и успел создать классического и неумирающего генерала Дитятина**. Колюбакина, богато одаренного от природы разнородным дарованием и обещавшего сделаться серьезным артистом-комиком, в компании веселой молодежи Горбунов уже не нашел. Живы были о нем рассказы и памятной осталась мимоходная легкая заметка Александра Николаевича, в шутливой форме вызванная случайным совпадением: университетские студенты Колюбакин и Мальцев были рязанцами. Это дало повод Островскому, задумавшему тогда своего «Минина» и занимавшемуся разбором старых исторических актов, сделать бытовую справку:

«Эти рязанцы по природе уж таковы, что, как немцы, без шутки и с лавки не свалятся. Ведь вот наш костромич Сусанин не шумел: выбрал время к ночи, завел врагов в самую глушь. Там и погиб с ними без вести, да так, что до сих пор историки не кончили еще спора о том, существовал ли еще он в самом-то деле на белом свете. А Прокопью Ляпунову понадобилась веревка на шею, чтобы растрогать: и вовсе в этой штуке не было нужды. Актерская жилка у всех рязанцев прирожденная» (и он перечислил достаточное число известных лиц). Надо же

---

* Это был Николай Ягужинский, доброхотно пристроивший себя в бессменные ординарцы Александра Николаевича. Будучи человеком весьма неглупым, очень любил выпить и служил предметом постоянных шуток всего кружка. Особенно забавен он был, когда приступал к выпивке, как бы какому священному действию: любовался хмельной влагой, прикидывая на свет, гладил с ласковыми приговорами стеклянную посуду и проч. Он залился горькими искренними слезами, когда, ради шутки, один из свидетелей этой забавной игры, притворившийся спящим, подменил водку водой.

** Сохранился портрет его в этом виде. Под форменной каской измятое морщинами (без всякой гримировки и иных искусственных средств) сурово смотрит лицо этого добродушного, болтливого и находчивого в ответах на самые неожиданные, странные иногда и глупые нередко вопросы. Этого сподвижника 12-го года, к слову сказать, Горбунов, замечательный каллиграф и рисовальщик, умел прекрасно зарисовывать своим бойким карандашом. Портрет снят в Саратове известным в свое время по Волге фотографом Муренко. Садовский, например, в своих письмах к Горбунову обращался всегда с титулом превосходительство и пр.

ведь случиться тому, что и Садовский родился рязанцем.

«Ванечку» Колюбакина природа наградила щедрою рукой, заботливо снабдив разнообразными способностями и задатками. При высоком, 9-ти вершков, росте он сложен был в богатыря и владел замечательною силой: он легко поднимал 18 пудов, носил на себе 26 пудов, и на руках его не было никакой возможности ущипнуть натянутую на стальных мускулах кожу. Вообще сложен он был как античная фигура Геркулеса. Когда ему нужно было отправиться на знакомство с Островским, во всей Ножовой линии Гостиного двора мы не могли найти готовых сапогов, и те, которые предложил нам торговец с уверением, что войдут даже на ноги «Минину-Пожарскому», нашему богатырю оказались узкими. Благодаря этим внешним качествам, он тотчас выделился из толпы сверстников и университетских товарищей далеко до конца первого полугодия по поступлении на первый курс медицинского факультета. Хотя слава ему предшествовала, но наглядные доказательства не замедлили ее подкрепить, когда в той зале знаменитой студенческой Британии, где тогдашняя новость машина-оркестрион наигрывала «Вот на пути село большое», а студенты, собравшиеся пить чай, подпевали,— Колюбакин победил полового Семена, прозванного «крепкоруким». Сидя на полу и ухватившись за железную кочергу с целью испытания кто кого перетянет, Ванечка в виду толпы собравшихся на зрелище свободно приподнял соперника с полу и, как легкий куль, перекинул его через себя, сдержал на руках и об пол не шлепнул. Опыт повторен был с равным успехом три раза ввиду возникавших споров и по требованию эксперта. Этот случайный и посторонний посетитель, подойдя к победителю, крепко пожал его руку, назвав его своим старшим братом. Оказалось, что это был тоже известный силач из окончивших курс студентов, память о котором еще очень свежа была в университете, и, оказывается, была непрерывною и преемственною, нисходя от Дахредена до И. В. Павлова.

Нам, дружившим с Колюбакиным, ближе всех других известна была его голубиная кротость и та обычная силачам сдержанность и уверенность в себе, которые останавливали его от всякого порыва к мускульной мощи. Доброта его доходила до евангельской заповеди, и он буквально и не один раз исполнял ту, которая повелевает отдать ближнему свою рубаху. И сам он в настоящем народном смысле был действительно «рубахой»: и весел, и беззаботен, и расточителен даже в скудных своих средствах, и прост, и легок на товарищеские сближения. Когда мы, по пыльным шоссейным дорогам, из всех девяти губернских гимназий Московского учебного округа, под шлагбаумами всех четырнадцати городских застав, съехались

в Москву ради университета, в Сандуновских банях произошла наша встреча. Когда после одеванья соседи по диванам оказались в вицмундирах с голубыми воротниками, тотчас же и наладился разговор.

— Давайте, господа, познакомимся: мы вот рязанцы,— сказал Колюбакин.

— А мы костромичи.

— Зайдемте к нам чайку попить, табачку покурить. Впрочем, к кому ближе.

Квартира рязанцев оказалась ближе.

Казин притащил от хозяйки нечищеный самовар, снял с левой ноги сапог и начал им раздувать непрогорелые уголья. Мы сбегали за калачами и сайкой, прихватив попутно четверку жуковского табаку, потому что папиросы только что начинали входить в употребление и были пока доступны состоятельным людям, продавались с деревянными мундштучками. Мы стояли на рубеже перелома старого приема курения на новый и накануне перехода Москвы с ассигнационного или медного рубля на серебряный[13]. Стали пить чай: Нестеров заиграл на гитаре, Колюбакин подпевал ему светлым, чистым, замечательно приятным басом. В хозяйстве рязанцев оказалась одна трубка с длинным черешневым чубуком и стамбулкой, прокуренной, однако, до видимых слез и слышного вопля. Курили все, и трубка была пущена вкруговую: один докурит и выколотит, другой набьет. Захаров наблюдает очередь, чтоб увлекшийся не задерживал трубки свыше определенного времени и она успела бы всех обойти прежде, чем тоскливо не скажет, что она уже вся,— надо набить новым табаком. Была тогда в студенческом кругу мода на дроздовку (она же и рябиновка): достали вскладчину и ее,— по гривеннику с брата. Она требовала откровенности и еще больше упростила товарищеские отношения. Колюбакин сразу оттенился тем, что его гимназические товарищи обращались к нему с самою нежною заботливостью, любовно стараясь перед новыми знакомыми выставить его вперед и показать нам его выдающиеся способности. Оказалось вообще, что рязанцы гораздо развитее нас, костромичей, и открыли нам свободно и услужливо множество таких убеждений и верований, о которых мы не имели понятия или запуганно не смели думать. Сделал это для них один человек (Крастелев, учитель русского языка), помимо воли начальства, которое оказалось таким же строгим, как и наше.

Расщедрившаяся на дары свои природа, капризно избравшая нашего друга в любимцы, дала ему способность превосходно рисовать, изумительно схватывая портретное сходство лиц с карикатурным оттенком всегда остроумного свойства. Такого рода изображение бывшего в наше время инспектора

студентов Ивана Абрамовича Шпейера, из моряков, толстого, неуклюжего, гладко, под гребенку, выстриженного, причем короткие волосы торчали щетиной, а из-под очков на обрюзглом лице глядели сердитые, недобрые глаза,— Колюбакин изобразил во всей прелести изумительного сходства до смешного. Б. Н. Алмазов не удержался от того, чтобы не скрепить точность изображения собственноручным свидетельством. Он написал под портретом (а мы его наклеили над входной дверью квартиры нелюбимого нами инспектора) следующее двустишие:

Се Шпейер, се Омар, се бегемотов внук,
Оберегающий Россию от наук.

Незадолго перед тем И. С. Тургенев во время посещения вместе с А. Н. Островским университетского диспута при виде Шпейера пожелал узнать, кто это такой, и заметил:

— Уверяю вас, что кто-то из предков, даже, вероятно, не дальше как его дед, принадлежал к породе бегемотов.

Мне до сих пор не удалось забыть того неистового бегемотского рева, которым разразился Шпейер утром в столовой казенных студентов после того, как познакомился он с надписью под портретом, вернувшись из клуба.

Немалое наслаждение доставляли нам неслыханные комические рассказы собственного сочинения Колюбакина, которые потом высоко оценены были компанией Островского. Особенное же удовольствие испытывали мы от его прелестного голоса. А насколько мы этим не увлекались, вот и ясное доказательство. Проходим однажды мимо церкви Сергия в Пушкарях, куда собирался народ поглазеть на купеческую свадьбу. Протолкались и мы в церковь, в самый перед. Переговорив с дьячком и приняв благословение священника, Колюбакин уже стоял слева впереди аналоя и держал перед собою поднятую по общим приемам книгу «Апостол»[14], придерживая пальцем то место, где ему надо было читать. Когда кончилось венчание и мы двинулись к выходу, седенький старичок придержал нашего «Ванечку» за капюшон шинели и говорил:

— Ивану Антоновичу и в молодых его летах ни в жисть так бы не сделать, как вышло у вас, милостивый государь! Очень вам за все это благодарны: прочитали и чувствительно, и великатно, без крику. Позвольте вам поклониться «лобанчиком».

И совал Колюбакину в руки французский золотой с изображением головы. Монета, конечно, заготовлена им была для игры среди прочих свадебных забав и утех,— для игры в трынку (в «три листка», она же «подкаретная»). Уподобление

же чтения «Апостола» относилось к тогдашнему протодьякону митрополита Филарета, докрикавшему уже последние свои могучие басовые ноты.

Еще лучше и, можно смело сказать, с художественным мастерством читал Колюбакин гоголевские комедии, в особенности «Тяжбу»[15]: сам Садовский отдавал ему преимущество перед своим чтением, и с этим согласны были все прочие. Такое-то мастерство, на несказанную радость и гордость нашу, заявленное нашим другом, между прочим, по дошедшим слухам, заинтересовало Островского. Привел к нему милого и любимого товарища Арк. Эдельсон, а через него уже устроилась и первая наша встреча с знаменитым писателем. Не для ответного визита, а уж прямо с целью готового отозваться на зов человека, который пришелся по душе, и еще лишний раз полюбоваться им в его товарищеской семье Александр Николаевич Островский пришел втроем к нам на чердачок, на Спиридоновку.

Посмотреть на его ясные очи мы настроились торжественно и радостно, не вполне доверяясь сбывчивости события, и нервно, хлопотливо и суетливо готовились к его возможной встрече. Вымели комнатку, прибрали постели, побрились, вычистили самовар, собрали целый капитал суммою свыше пяти рублей на угощение ⟨...⟩. Думали было на оставшуюся сдачу купить монашенок и покурить ими[16], но Колюбакин отклонил: дорогой гость сам курил жуковский табак и, помнится, носил его при себе в кисете. Давно уже мы бегали по трактирам с исключительною целью добиться книжки «Москвитянина», где была напечатана комедия «Свои люди сочтемся»[17]. Ни протекция половых Семена и Кузьмы, ни переход в Московский железный трактир, где также выписывались все журналы, не помогли нашей неутомимой жажде. Понапрасну мы съели много пирогов в 25 копеек ассигнациями и выпили несколько пар чаю, пока добились книжки для прочтения второпях, так как настороженные половые стояли, что называется, над душой, выжидая, когда отложена будет книжка в сторону, схватить и унести ее к более почетному и уважаемому посетителю. Насладившись торопливым чтением, мы как будто совсем не читали, узнали ее совершенно вновь, когда Колюбакин принес от Евг. Эдельсона эту комедию и своим мастерским чтением протолковал ее нам во всю художественную силу в рельефно выраженных красотах ее. Мы уже давно знали, что Гоголь умер для творчества, и не раз бегали взглянуть на него еще живого, ожидая, когда он из ворот дома Талызина выходил на Никитский бульвар для прогулки. Здесь он жил под дружеским попечением, окруженный ласкою и любовью известных своею христианскою жизнью супругов: графа Александра Петровича Толстого и

графини, жены его, Анны Федоровны*. До нас уже дошел слух о том, что Островский у Погодина читал ему свою комедию, что Гоголь опоздал против назначенного им срока, пришел, когда уже началось чтение; пробыл до конца чтения и, на вопрос хозяина, отозвался о пьесе одобрительно, но к Александру Николаевичу не подходил и не изъявлял желания с ним познакомиться. Похвальный отзыв Гоголя, написанный на клочке бумаги карандашом, передан был Погодиным А. Н. Островскому[18] и сохранялся им, как драгоценность, конечно, в том же убеждении, какое высказал тому же Гоголю в письме своем В. Г. Белинский: «Я чувствую, что это не мелкое самолюбие с моей стороны, а то, что я понимаю, что такое человек, как Пушкин, и что такое одобрение со стороны такого человека, как Пушкин. После этого вы поймете, почему для меня так дорог ваш человеческий, приветливый отзыв»[19].

На покинутое Гоголем добровольно и вакантное место выступил достойный последователь и прямой наследник его, с выработанным новым взглядом на русскую жизнь и русского человека, с особенным преимуществом знатока великорусского народного быта и его несомненно верных и до тонкости изученных национальных свойств, а в особенности отечественного языка в изумительном совершенстве.

Перед нами въяве уже объявилось новое, вспыхнувшее ярким блеском светило, и с трепетным чувством благоговения смотрели мы на него, всматривались во все черты его умного лица, прислушивались к звукам его голоса, который казался нам музыкально-мелодичным, и ловили каждое слово. Изумлены были в то же время его простым товарищеским отношением к Колюбакину и ласковым, прислушливым и внимательным обращением с нами. И, помнится, всем этим были даже несколько недовольны: не того мы ждали, не то рисовало нам прислужливое воображение, забежавшее вперед. Словно надо было бы как-нибудь повеличественнее и повнушительнее: ведь уже избранник, ведь уже лежит на широком и открытом челе его печать бессмертия. И какие мы счастливые перед прочими товарищами, тоже своего рода избранные, малые избранные, которым, однако же, многие позавидуют из бегавших вместе с нами смотреть на Гоголя. Позавидуют нам в особенности Николаев, знавший наизусть письма Герцена об изучении природы, и Глазков, также бесподобно читавший «Мертвые души» с артистическим оттенком, признанным всеми, и Сапчаков, который вел постоянные, доходившие иногда до дерзких выходок споры с профессором Шевыревым, гоголевским другом и душеприказчиком.

---

* Известно, что Александр Петрович был тверским губернатором, а потом обер-прокурором святейшего синода.

Вот перед нами вживе воскресшие надежды на возрождение примолкавшей художественной литературы, над которой немытыми руками хозяйничали Елагин, Ахматов, Мусин-Пушкин и прочая братия. На первый взгляд Александ Николаевич показался нам, судя по внешнему виду, замкнутым, как будто даже суровым, но, вглядевшись, мы заметили, что каждая черта лица резко обозначена, хотя вместе с тем и дышала жизнию. Верхняя часть лица в особенности показалась нам привлекательною и изящною. Но лишь только развернулся Колюбакин, куда эта вся черствость взгляда скрылась. Глаза сделались ласковыми, исчезло величавое выражение всего лица, и заметная на нем легкая складка лукавого юмора уступила теперь добродушному и открытому смеху. Эта быстрая смена впечатлений в подвижных и живых чертах лица, выражавшаяся неожиданным переходом от задумчивого к открытому и веселому выражению, всегда была поразительна. Мы приняли это в свидетельство, что под обманчивой и призрачной невозмутимостью и при видимой солидности в движениях скрывалась тонкая чувствительность и хранились источники беспредельной нежности, иначе бы он так мягко и ласково не улыбался и не был бы так очаровательно прост. Белокурый, стройный и даже, как и мы все, малые и приниженные, застенчивый, он и общим обворожительным видом, и всею фигурой совершенно победил нас, расположив в свою пользу до последней степени.

Сопоставляя свои первые наблюдения с впечатлениями Горбунова при первой встрече с Островским, невольно останавливаемся на тождестве чувств. Мы благоговели перед ним не потому только, что этому обязывала нас молодость, впечатлительная и гибкая, а также главным образом потому, что мы еще не были заражены современною модною и ходовою болезнью «ничему не удивляться» (nihil admirari), но воспламенялись энтузиазмом в равной степени, как к красотам природы, так и к людям. Мы видели в них героев. Нам и в голову не приходило смеяться над товарищами и стыдить самих себя за то, что ходили на Никитский бульвар любоваться, как гулял Гоголь.

Впоследствии и вскоре Островский поспешил доказать и многоразличными фактами убедить всех нас в том, что он был поистине нравственно сильный человек, и эта сила соединялась в нем со скромностью, нежностью, привлекательностью. Кроткая его натура обладала способностью огромного влияния на окружающих. Никогда ни один мыслящий человек не сближался с ним, не почувствовав всей силы этого передового человека. Дружба его умножала нравственные средства, подкрепляла нас в наших намерениях, возвышала и облагораживала наши цели и давала возможность действовать с

большою способностью в собственных делах и с большою пользой для других.

При таких высоких свойствах Островского приблизившиеся к нему уже не отставали от него, пребывая верными ему до конца. Вглядываясь во всех окружавших его и близко стоявших к нему и вспоминая каждого в лицо и по имени, вижу не один десяток таких, которые, как звенья в цепи, как плетешок в хороводе, цепляясь один за другого, тянулись сюда неудержимо. Все твердо знали, что здесь почувствуют они себя самих в наивысшем нравственном довольстве, утешенными и успокоенными. Никогда и никому ни разу в жизни Александр Николаевич не дал почувствовать своего превосходства. Он был уступчив и терпелив даже и на те случаи, когда отысканная им или только обласканная личность в самобытности своей переходила границу и вступала в область оригинальности, вызывавшей улыбку или напрашивавшейся на насмешку,— словом, когда этот оригинальный человек начинал казаться чудаком. Конечно, это было на руку драматическому писателю, одаренному тонким чутьем наблюдателя, и заявляемые странные уклонения в характерах принимались про запас в будущих работах как материал для комедий, но самый наблюдаемый субъект не испытывал неловкости положения. Не оскорблялось его самолюбие, и он сам не только не спешил отходить прочь, но еще прочнее и душевнее привязывался к наблюдателю.

Колюбакин был неудачлив и даже несчастлив именно тем, что слишком короткое время находился под влиянием этой высокой личности и представлял противоположный образчик тому, чем стал впоследствии Горбунов как художник, выработавшийся под ближайшим и долговременным влиянием Островского. Последний успел помочь Колюбакину тем, что исхлопотал ему место помощника капитана на меркурьевском пароходе «Гермоген», когда не задался университет.

Поступили мы в университет в 1850 году, когда все факультеты, кроме медицинского, были закрыты[20]. Колюбакину, страстному словеснику, волей-неволей привелось с верхних скамеек амфитеатра слушать крикливую трескотню латинских слов и фраз на лекции лысого Севрука по описательной анатомии. Крутая государственная мера, вызванная революционным движением в Европе конца сороковых годов, примененная в пятидесятом, едва ли помешала, например, гимназическому товарищу Колюбакина Д. И. Иловайскому сделаться профессором и историком, хотя в то же время палка, действуя неожиданно оборотным концом, убила в знаменитом Сергее Петровиче Боткине юриста: воспитался знаменитый клиницист, выдающийся диагност, получивший европейскую известность среди ученого и болящего люда. Зато

половина курса разбрелась в разные стороны, и одним из первых сбежал Колюбакин сначала на Волгу, а потом в бродячую труппу перелетных птиц — провинциальных актеров, среди которых он погряз и погиб. А. Н. Островский во время поездки по южной России с гениальным артистом, умирающим Мартыновым, видел где-то на ярмарочном театре нашего неудавшегося медика и остался игрою его недовольным. Природная комическая жилка еще оставалась действующею, но лишь местами и неровными порывами; балаганная сцена сделала уже свое: в «Женитьбе» Гоголя, которую он некогда знал всю наизусть, он поразил не только незнанием своей роли, но и вставками собственного вымысла в угоду райка, возмутившими компетентного судью до глубины любящего сердца. Народившееся в нем самомнение довело его до нервной раздражительности при выслушивании неодобрительных отзывов даже таких лиц, суждения которых явно не стоили внимания, не имея никакой цены. В Балашове, городке Саратовской губернии, Колюбакин набежал на одного из таких, прожившего отцовское имение на поисках всякого рода забав и увеселений и прожигавшего скудные остатки его около той труппы, в которой первое амплуа занимал наш неудавшийся артист, милый и дорогой товарищ. Резкий отзыв гуляки Докукина об игре его вызвал за трактирным столом после выпивки крупную ссору, доведшую до оскорбления действием со стороны угощавшего. Кроткий нравом и незлобивый сердцем Колюбакин не вынес оскорбления и, отвечая тем же, при своей необыкновенной силе, больно отомстил за обиду. Свидетели поспешили примирить их, заставили поцеловаться, выпили бутылку шампанского и разошлись. Колюбакин еще не успел заснуть в своем номере гостиницы, как в его дверь раздался стук и послышался, в нежных и ласковых словах, голос его оскорбителя. Радушно открыл дверь Колюбакин и, как сноп, повалился тут же навзничь, пораженный предательской пулей прямо в сердце. Убийцу осудили и сослали в Сибирь на каторжные работы, именем убитого дополнив бесконечно длинный список безвременно погибающих, несомненно талантливых русских натур.

Среди счастливцев, окружавших Островского в первые годы его литературной деятельности, был и тот Несчастливцев, который дал ему несколько черт для обрисовки симпатичного лица этого имени в известной, любимой публикою комедии «Лес», роль которого с таким блестящим и неослабевающим успехом исполняет в настоящее время на петербургской сцене Модест Иванович Писарев.

Сам автор, давно знавший этого уважаемого артиста как образованного человека и прекрасного исполнителя многих

ролей в его разных пьесах, пожелал видеть Писарева в этой расхваленной роли. По окончании пьесы в Солодовниковском театре в Москве, весною 1880 года[21], Александр Николаевич пришел на сцену взволнованный, в слезах.

— Что вы со мной сделали? Вы мне сердце разорвали. Это — необыкновенно!

— А я боялся сегодня только одного вас, Александр Николаевич. Кроме вас, для меня никого не существовало.

— Вам некого бояться, Модест Иванович!.. Это высокохудожественно!.. Это, повторяю, необыкновенно!

Передавая незабвенные слова, благородный артист может с полным правом сказать словами Белинского: «Я не заношусь слишком высоко, но, признаюсь, и не думаю о себе слишком мало. Я слышал похвалы себе от умных людей и — что еще лестнее — имел счастье приобрести себе ожесточенных врагов: и все-таки больше всего этого меня радуют доселе и всегда будут радовать, как лучшее мое достояние, несколько приветливых слов, сказанных обо мне Пушкиным и, к счастью, дошедших до меня из верных источников»[22].

Такая же жертва личного темперамента, столько же талантливый, но более опытный сценический деятель в драматических ролях был в то же время последним из могикан, последним трагиком, пользовавшимся огромною известностью в провинциях и горячею привязанностью товарищеской семьи — несчастных пролетариев, бездомных и бездольных скитальцев, на судьбу которых лишь в последние дни обратила внимание благотворительность. Это — Корнилий Полтавцев, несомненный благодетель меньшей актерской братии, единоличный, скорый и умелый заступник и охранитель ее при хищнических и безнаказанных поползновениях театральных антрепренеров. Во всяком случае, память о нем благодарно сберегалась столь долгое время, и имя его в своей сфере заслуженно переходит в потомство. Обладая горячим сердцем, привлекательным, уживчивым и ласковым нравом, он делился с товарищами последним куском черствого хлеба и, как Колюбакин, в буквальном смысле, последнею оставшеюся в дорожной сумке рубашкою. Из всех знакомых артистов «Корнилий», как хорошо мне помнится, у Александра Николаевича Островского пользовался особенною, предпочтительною любовью, а потому не имею права умолчать и об этой прекрасной личности также еще и по поводу нижеследующего знаменательного явления, ярко выразившегося в те дни, когда Корнилий Полтавцев сводил свои последние расчеты с жизнью и подвел уже итоги.

Вот что, между прочим, писал мне Е. Э. Дриянский тотчас после похорон этого артиста-человека, Корнилия Николаевича Полтавцева, в письме от 1 января 1866 г.: «Вчера в 2 часа

опустили мы в могилу нашего Корнилия. Скончался он 30-го в час и 10 минут пополудни так: велел натереть себе бок; в это время вошел к нему И. В. Самарин, больной сделал рукой поцелуй, улыбнулся. Рука уже безнадежно упала, глаза закрылись, и присутствующие минут пять не догадывались, что он уже скончался. Меня известили об этом уже в 4 часа. Следовало успеть похоронить его на другой же день, потому что Новый год — табельный[23]. Не успели ни хорошенько опубликовать, ни успешно устроиться, однако же все сделалось как нельзя лучше. Откуда набралось народу, бог весть! Театральные все, а прочего люда столько, что половина его осталась на паперти. Гроб усыпали весь цветами, я во время самой обедни получал их невесть от кого корзину за корзиной. Все солисты наши: Владиславлев, Куров, Лавров, Бижановский, Константинов и проч., и проч. — пели обедню на два хора. Карет и прочих экипажей набралось и провожало гроб вплоть до Пятницкого кладбища не меньше как на версту. Положили его по соседству с Щепкиным, Грановским и Павловым. Только в этот день объяснилось, каким искренним сочувствием пользовался у всех этот человек, у которого была постоянно, как говорят, «душа нараспашку»...

Егор Эдуардович Дриянский из всех московских литераторов был наиболее частым посетителем Островского, и не одно лишь это обстоятельство обязывает нас остановиться на нем воспоминаниями. За отзывчивое, мягкое сердце он в равной степени оценен был и литературными, и театральными кружками: у постели помиравшего Корнилия Полтавцева он проводил целые дни и темные ночи; в литературных кружках возбуждал сочувствие постоянными неудачами в делах. Казалось, не было человека несчастнее его. А он и не скорбел, и не унывал, и тотчас забывал о себе, как только требовалась на стороне его помощь или просто участие, и затем хлопотал без устали. «Сейчас тороплюсь на похороны (пишет он в одном письме). На наших театральных мор пошел. Вот в один месяц хороним другую актрису: у Суворова жену спрятали на днях, а теперь будем ховать Рензгаузена: этого, верно, видали в «Фаусте», товарищ Кузнецова, а Корнилий впереди. Об этом не могу вспомнить равнодушно: того и жду, что прибегут сказать...» В то же время вспоминаются его хлопоты о новоявленном рассказчике, прибывшем из Рязани (Ф. Ф. Смердове), которого он также представлял Островскому, действительно, с забавными рассказами, из которых особенно выдавался «Рекрутский набор», более крупный и лучше отделанный. В печать их не удалось пристроить в то время, бедное литературными органами,— обстоятельство в самом деле существенного значения. Теперь им отвели бы место в любом издании, не принимая даже в расчет строгую разборчивость.

Сам Дриянский немало помыкался и пострадал от этих затруднений, несмотря на то, что «Записки мелкотравчатого» (в особенности) в «Библиотеке для чтения», 1857 г., и там же «Паныч», «Одарка» — комедия в «Русском слове», изд. гр. Кушелева-Безбородко, «Квартет» (всего до 15 вещей) обратили на это дарование внимание читателей *. На писания он был скор и плодовит. Покойный Горбунов до самой смерти не мог забыть той формы извещения, с которою явился раз Дриянский к А. Н. Островскому, как бы с каким рапортом:

— Ту повестушку, что читал, на днях исправил, как указывали. Теперь роман «заквасил».

Роман этот, взятый Катковым для «Русского вестника», вызвал целую бурю недоразумений и споров, доведенных до жалобы Дриянского в газетах. «Положение мое хуже в десять раз, чем сказать бы скверное (пишет он ко мне). Брожу, как очумелый, и не придумаю, что начать, и с каждым новым днем прихожу к более и более грустному убеждению, что у нас на Руси добыть кусок насущного решительно нет возможности честным литературным трудом. Роман, по милости Каткова, теперь должен, кажется, прокиснуть, лежа на столе[24]: у нас, в Москве, издателя не найдешь со свечой. Один Салаев — и тот, при всей охоте, отнекивается, ссылаясь на трудность ладить с цензорами, которые, вследствие нового благодетельного постановления, отказываются читать рукописи, превышающие 10 печатных листов, а по отпечатании могут кромсать вещь, как их душеньке угодно[25]. Один из самых честных и надежных у нас — это Ив. Григ. Соловьев, но этот просто не имеет свободной минуты, прочие — безнадежная мелкота, с которою сходиться опасно, и т. д.» Роман этот так и не вышел в свет в доказательство того, как нужно было 30 лет тому назад пристроить литературно отделанное произведение. В настоящее время оно бы не залежалось и не обессилило бы вконец достойного человека, страдавшего всеми жизненными невзгодами.

Впрочем, не один неудачливый Дриянский сетовал на подобные затруднения в обнародовании заготовленных для печати произведений. Тот же досадливо нахмуренный тон слышится и от не менее известного писателя и более близкого приятеля А. Н. Островского, каков автор «Ночного» и проч. В письме М. А. Стаховича к П. И. Якушкину, в котором он, между прочим, извещал о том, что начал писать воспоминания свои о Петре Васильевиче Киреевском — известном собирателе народных песен,— находим такие строки: «Плохая участь провинциальных литераторов! Два раза посылаю

* Его рассказы «Записки мелкотравчатого» настолько не утратили своей свежести, что оценены специалистами и, в виде приложений, перепечатаны в 1883 году при журнале «Природа и охота».

«Мельницу», и все невпопад. Если она не помещена в «Библиотеке для чтения», то сходи к Писемскому или Дружинину и моим именем возьми ее. А как я не хочу иметь «Библиотеки» даром, то пришлю им 6 переводов из Гейне и своих четыре стихотворения. Тогда «Мельницу» перешлешь ко мне или к Павлову, вместе обделаем с общего совета, и она нам годится вперед», и проч. М. А. Стахович, однако, не подходит под уровень с Дриянским, как очень богатый человек, вовсе не нуждавшийся в литературном заработке, и притом настолько денежный, что это самое богатство послужило одною из причин его преждевременной насильственной смерти.

Странствуя по черноземным губерниям России и направляясь из Ельца в Пензу, отгостил я у него с Павлом Якушкиным в усадьбе Пальне, случайно попавши на сельский храмовой праздник; осенью 1858 года Михаил Алек. проводил Якушкина в усадьбу его матери — Сабурово, Малоархангельского уезда. Это было как раз в начале октября, а в конце этого месяца в гостеприимной и радушной семье Якушкина услыхали, что недавний гость их 27 октября удавился. Стали припоминать, что он был грустен,— и поверили, плакали об нем, как по родном, зная его за хорошего и умного человека, служили панихиды и заупокойную обедню; чтобы узнать подробности несчастья, писали бурмистру Мих. Алек. с пожеланием, чтобы простил ему бог это страшное преступление. Вся губерния верила в то, что несчастный действительно самоубийца, так как нашли его голову в петле. Однако, по следам истязаний, найденных на теле, предположено было убийство, заподозрили бурмистра, приближенного к барину человека, с которым на наших глазах Мих. Алек. обращался чересчур запанибрата, и письмоводителя Киндякова (Стахович был елецким уездным предводителем дворянства). Киндяков незадолго перед тем ездил с доверенностью в Орел за получением очень крупной суммы денег, неизвестно куда исчезнувшей и, по-видимому, Стаховичу не доставленной. Следователи: Мироненко с жандармским полковником Артишевским — довели обоих убийц до полного сознания. Их наказали и сослали в Сибирь, а московский кружок литераторов вынужден был занести в свой синодик новую жертву неуравновешенного характера и новую потерю несомненно даровитого писателя, умевшего оживлять кружок и вносить в него заразительную веселость и умные живые беседы. Стахович не только был незаурядным песенником, но и большим знатоком народного быта, был общительным и популярным в народе человеком, как прямой и искренний радетель крестьянских интересов в достопамятную эпоху реформ и в первые годы проведения их в жизнь среди множества опасных подводных скал.

По невольному тяготению и сродству душ все наличные художественные силы Москвы находились естественным образом в тесном сближении с литературным кружком «молодой редакции» «Москвитянина», начиная с музыкальных художников, каковы Николай Рубинштейн и Дютш, и кончая художниками в собственном значении, каковы профессор школы живописи Рамазанов и художник Боклевский (скончавшийся в Москве в начале текущего года)[26].

Петр Михайлович Боклевский к самому началу литературной известности Островского успел вернуться из-за границы, куда ездил для изучения школ живописи (преимущественно испанской) по окончании полного университетского курса. Съездил он не только в Италию, но и в Испанию счастливцем для тех времен строжайших запретов на выезд, осложненных большими хлопотами и усиленных дороговизною заграничных паспортов. Когда выросла слава Островского, Боклевский явился к нему на помощь как толковник художественных красот во всеоружии опыта и силы. Испробовав их в блестящих, всем известных рисунках бойким мастерским карандашом типов «Мертвых душ» и других произведений Гоголя, Петр Михайлович с такой же любовью и с таким же точно проникновением в суть творческого замысла изобразил типы из комедии «Бедность не порок». Они пленили Тургенева в оригинале до такой степени, что он добровольно вызвался дать им ход и заботливо хлопотал об издании рисунков у петербургских издателей (об этом уже был случай упомянуть в «Воспоминаниях об И. Ф. Горбунове», в письме И. С. Тургенева к А. Н. Островскому)[27].

Это сближение передовых людей московской интеллигенции в особенный кружок (отдельно от профессорского)[28] если и произошло оттого, что, по случайному совпадению, все были ровесниками, т. е. ровнями по годам, то, с другой стороны, скреплению его главнейшим образом содействовало другое важное обстоятельство: все они безусловно были сверстниками — сплоченность союза облегчалась тем, что подошли друг к другу под лад и под стать. Тем не менее мягкой и любящей, снисходительной и уступчивой натуре А. Н. Островского значительной долею обязан был этот кружок тем, что дружно вел свое дело и не расходился долгое время, несмотря на замечательное разнообразие составных элементов. В московском разобщенном обществе, охотно и ярко предъявлявшем наклонность к уединению и отчуждению от того, что находится вне сферы личных коммерческих интересов, уже одна эта возможность сближения составляет немалую заслугу. Быть же связующим звеном в таком разнохарактерном сборе видимо не подходящих лиц, в каком поставили Александра Николаевича случайные обстоятельства,— это уже нечто вы-

ходящее из ряда всеобщих обычных явлений. Уральский казак и торговец из оптового склада Ильинских рядов, знаменитый виртуоз, не имевший себе соперников в Москве и разделявший славу с Антоном Рубинштейном и его братом Николаем, и рядом кимровский мужичок — бывший сапожник; учитель чистописания и рисования и известные критики-эстетики; землемер и актеры — все объединены и согласованы, все под одним знаменем служения изящному и любви к народу исполняют честный долг перед дорогой и святой родиной.

Уральский казак — Иосаф Игнатьевич Железнов — прибыл в Москву случайно для временного жительства по казенной надобности, как адъютант командира казачьей сотни, а уехал из нее почтенным литературным деятелем, известным не в одних лишь пределах своего войска. Можно смело сказать, что кружок Островского создал в нем литератора, и он стал таковым, даже лично для себя, совершенно неожиданным и незаметным образом.

Чтобы сделаться Железнову литератором-народником, понадобилась случайная встреча с Шаповаловым и Дриянским. Последний и ввел его в компанию Островского, с которою Иосаф Игнатьевич не прерывал своих связей во все время пребывания своего в Москве в течение двух последних сроков командировки. С 1853 года его можно было встречать и в тех двух комнатах на антресолях своего дома, которые занимал Островский, и в больших залах старинного барского дома М. П. Погодина на Девичьем поле, и в тех двух просторных квартирах Евгения Николаевича Эдельсона на Полянке и Кисловке, где всего чаще собирались московские литераторы читать свои произведения и обмениваться мыслями. Здесь главнейшими руководителями при оценке и в направлении неизбежно возникавших при этом споров являлись: сам хозяин, превосходно образованный, воспитавшийся на началах немецкой эстетической критики, переводчик Лессингова «Лаокоона», и Аполлон Александрович Григорьев, горячий поклонник Островского с самого появления его первой комедии, отыскавший в ней и в последующих то классическое «новое слово», с которым, как с литературным термином, неразрывно связано и само имя этого знаменитого критика, восторженного до крайних увлечений в совершенный контраст с симпатичным — деликатным и нежным — и совершенно уравновешенным Евгением Николаевичем Эдельсоном. Не нуждавшийся в материальных средствах Евгений Николаевич, в новую противоположность — именно с А. Н. Островским, почти полжизни проведшим в тисках нужды,— имел полную возможность учащать собрание друзей и с тою же гостеприимною готовностью, приветом и ласкою принимать, не тяготясь,

и новых добровольцев, предъявивших литературные способности, хотя бы и в зачатках.

На этом последнем основании допущен был сюда и Железнов — пришелец с вольного Яика и из киргизских степей,— обративший на себя внимание живыми рассказами об удалых казачьих подвигах на Каспийском море во время так называемого аханного рыболовства[29]. Его уговорили записать этот рассказ на бумаге; общим советом выровняли, вычистили, исправили написанное и, по общему же приговору, постановили его напечатать в последних книжках «Москвитянина» 1854 года[30]. «Картинами аханного рыболовства» Погодин остался очень доволен и затем хвастливо рассказывал: «В нем (Железнове), несомненно, есть талант, и если б он получил получше образование, он далеко пошел бы. Я благословил его на литературное поприще и не ошибся в его призвании». Не ошиблась, собственно, в Железнове «молодая редакция», которая одна и дала направление деятельности молодого писателя, разъяснив ему значение, государственное и общечеловеческое, всего того жизненного строя, которым три уже столетия руководилось родное ему казачье войско. Во время горячих и бесконечных споров того времени о русской общине уральский казак мог легко вывести споривших, веровавших и сомневавшихся из области теории на ту почву, где на самой практике воочию осуществлялось это основное начало всей русской народной экономической жизни. Нарисовавши картину, где казачья община, верная заветам предков в применении коренных основ общинного строя, не останавливается перед смертельными опасностями на морских промыслах, Железнов мог развернуть и такие мирные, согласованные в красивый строй и изящные степные картины, какие представляют два другие способа рыболовства, так называемой «севрюги» и в особенности «плавня». В том и другом одновременно принимает участие все наличное казачье население богатого рыбою Урала,— и зрелище является действительно изумительным и, положительно, единственным в целом мире. Богатство реки с золотым донышком настолько обеспечивало все войско, что оно не имело нужды прибегать к подспорным промыслам и занятиям иного рода. До 30-х годов нынешнего столетия впусте лежали в северной части казачьей земли невозделанными и нетронутыми богатые черноземные вековые залежи, на которых родится теперь пшеница, признанная на волжских хлебных пристанях за самый высший сорт. Самую торговлю, как и хлебопашество, считали коренные казаки неприличным для своего звания занятием, предоставляли ее наезжим из России купцам. В то же время казаки упорно лишали своих гостей права оседлости на своих землях, стесняли приобретением земельных участков даже под дома

и сады в обоих своих городах (Уральске и Гурьеве) и во всех форпостах и награждали сверх того этих «иногородних» злыми и насмешливыми прозвищами. Словом сказать, во время пребывания Железнова в Москве родной и возлюбленный его Урал продолжал еще жить обособленно, отрезанным ломтем, независимо от метрополии, следуя завету предков: «Живи, пока Москва не проведала». Это казакам удавалось в прошлые два столетия, но к середине нынешнего уже с меньшим успехом и с некоторыми зловещими признаками, которые свидетельствовали о том, что роковая беда надвигается. На колебание общинного строя, внушительно налаженного ко благу народа тремя веками, уже устремились властные руки, опасные своим равнодушием при внешней силе и своим неумелым и скороспелым вмешательством. В борьбе с ними и погиб этот истый казак, страстно преданный интересам родины, когда осложнились условия жизни казачьей общины и на почве ее интересов возникли столкновения со властью наказного атамана[31]. Как типичный представитель казачества, Железнов был по взглядам на государство несомненным консерватором и монархистом: идеал его заключался в вечевом устройстве, полной независимости и в возможно более широком самоуправлении общины.

Более умный, чем талантливый, менее образованный, чем деловой и практический, Иосаф Игнатьевич сделался любимцем московского кружка из коренных русских людей наиболее тем, что был самобытным и цельным человеком, с теми исключительными чертами, которые свойственны были ему, как природному казаку. Не как особняк или новинка, он оказался симпатичным и сделался своим человеком по личным качествам, по готовности делиться богатыми сырыми материалами и по той горячей любви, которая ярко светилась во всех его рассказах о родной стране.

Молчаливый, глубоко сосредоточенный в себе, как сама казачья думка о грядущих временах, навеянная лихими ветрами с Оренбургской стороны, и скорее прислушливый, чем разговорчивый, Железнов переставал походить на себя, когда разговор заходил о казачестве, а в особенности о казачьем офицере, ярмо которого он давно уже носил и им тяготился. Тогда оживлялось его круглое лицо с несколько развитой верхней челюстью и загорались глаза в узко прорезанных орбитах,— коренных признаках его происхождения на степном Урале, смежном с кочевьями киргизов (дед Железнова полжизни провел в степи, отец также ходил по службам и пропал без вести). Нельзя было не любоваться на его коренастую, широкоплечую фигуру, когда он свободно, по закону кружка, знакомил с частностями быта своей родины, рисуя ее, как бы вновь открытую страну, и щедро, массою новых и

вовсе неизвестных данных, восполнял усвоенные кружком знания новыми чертами для характеристики русского духа, в лице этого оторванного и уединенного осколка великорусского племени. Как с подлинными новинками, он знакомил с казачьими песнями, а главнейшим образом с их «сказаниями». Для собрания последних, под влиянием московского кружка, он даже нарочно съездил из Москвы на побывку, а вернувшись в Москву, снова и усердно занялся самообразованием и главным образом изучением исторических актов, относящихся до казачества. Под руководством московских друзей и при их хлопотах и содействии он усидчиво занимался в московском архиве инспекторского департамента военного министерства, написал сочинение «Уральцы», записал «Предания о Пугачеве», готовился к составлению «Истории войска» (все его сочинения, напечатанные в 1888 г., составили три тома, а до того времени они печатались по частям: в «Москвитянине», «Библиотеке для чтения» и других изданиях). В ответ на дружеский прием и фактическую помощь Железнов ответил искренней привязанностью к Москве, мечтал в ней поселиться на более продолжительное время, чем дозволяли его временные казенные командировки. Он успел уже установить с Москвою прочные связи, сюда устремил все свои симпатии. Сюда же звали его перебраться и глубоко сожалели о том, что коренные казачьи законы воспрещают всякий выход из сословия, делая казака навеки прикрепленным, со всем нисходящим потомством, к своей земле и своему войску.

Мы были личными свидетелями того глубокого сожаления, с каким встречено было в Москве роковое известие, что И. И. Железнов застрелился в Уральске (в 1863 году). Недостойная интрига и злобная зависть, с примесью рабского прислуживанья и угодничества, дерзнула покуситься на его прочно установившуюся репутацию честного человека, образцового патриота и даровитого исследователя родины и уважаемого отечественного писателя. Он стал еще более задумчивым и необщительным, начал заговариваться, изменил все свои прежние отношения к казакам: перестал их принимать и беседовать с ними. А по свидетельству земляков, он был ласков и обходителен с простыми казаками. И эти отвечали ему таким расположением и откровенностью, какими едва ли кто-нибудь и когда-либо пользовался из лиц привилегированных и офицеров. Вскоре за тем он очень настойчиво стал указывать на преследования и называть таких лиц, которые совсем сюда не подходили. Как ни старался он сохранить присутствие духа и себя подбадривать, умопомешательство его стало обнаруживать острую форму и ждало лишь нового толчка. Он не замедлил. Его, избранного обществом асессора войскового правления, назначили в полк даже не сотенным командиром

и предписали выехать из Уральска в убийственную степную глушь.

10 июня 1863 г. Железнов выстрелил себе в рот из охотничьего ружья, заряженного дробью. Пока товарищи собирались в Уральске поставить на его могиле памятник, московские друзья помянули его добрым словом и панихидою. Когда издатель «Детского чтения» (казак В. П. Бородин) задумал через 23 года после смерти Иосафа Игнатьевича издать «Предания, сказания и песни уральских казаков», А. Н. Островский на письмо к нему отвечал полнейшей готовностью изготовить свои воспоминания об этом превосходном, честнейшем, но несчастном человеке. Только смерть Александра Николаевича в том же 1886 году помешала исполнить его заветное желание.

Когда зимою рокового года привелось мне, по поручению морского министерства, прибыть в Уральск, там не только живы были рассказы о страшной катастрофе, но далеко не смолк всеобщий ропот, сдержанный лишь благоразумием тогдашней молодежи.

Один старик казак, готовно пересказывая мне (неважные, впрочем) подробности события, взволновавшего все войско, высказался так:

— Пропала наша «застóя».

Одновременно с Железновым в кружке Островского можно было встречать другого радельника и печальника за народные интересы, но иного склада и покроя, хотя столь же любящего и искреннего. Это — Сергей Арсеньевич Волков. В молодости шил он на всю молодую редакцию «Москвитянина» фасонистые и крепкие сапоги. Когда стали подрастать его сыновья и вступать в тот возраст, где надобится и внимательный и строгий отцовский глаз, он перебрался в родную деревню Сухую, на Волгу, в 7-ми верстах вниз по Волге от села Кимр, однако все в том «сапожном государстве», где у всякого «шильцо в руках и щетинка в зубах». Сергей Арсеньевич занялся, впрочем, исключительно сельским хозяйством, но с особенною охотою облюбовал божью угодницу пчелку. Когда я, после пушкинских праздников[32], с товарищами навестил его в деревне, он, как увлекающийся юноша, хвастался успехами в этом хозяйстве и, несмотря на раннюю пору лета, вырезал-таки соты и попотчевал нас. По обычаю, жаловался он и в этот раз на распущенность нравов своих соседей,— попечалился и на свою пчелку.

— Раскурили наши озорники табашные трубки на сеновалах — и занялась наша деревня с того конца. Ну, думаю, божья власть: этот старый дом не жаль,— довольно он мне послужил. А вспомнил я про пчелку и пожалел,— повелась она у меня, умница, на усладу и великое утешение. Пожалел

я ее всем сердцем: стал таскать колодки, сколько ни тяжелы они,— на своих руках. Ухвачу в охапку и тащу в свой омшаник за деревней. Восемь колодок перетаскал, с девятою так и повалился на нее, как сноп.

— Устал, что ли, выбился из сил?

— Нету,— стерпеть не мог: изожгли.

Таким-то вот богатырем сохранил он себя далеко за 70 лет и рассказывал о своих старческих подвигах с тем откровенным простосердечием, которым все знавшие его положительно любовались. Бывало, слушает-слушает чтение Александра Николаевича да и вставит свое веское словцо в подтверждение. На это он был охотлив и большой мастер, хотя нередко книжные, вычитанные в житиях, слова переделывал на свой лад иногда очень забавно. Не затруднялся он также дополнять кое-какими своими заметками многие художественные характеры в выслушанных им пьесах нашего драматурга, который все это принимал легким сердцем к своему сведению, так как и высказывалось все это спроста и сразу, без всяких задних мыслей и подходов. Впрочем, в заветных спорах о порче нравов и в придуманных им дома строжайших мерах исправления был неуступчив и упрям. Ко всем знакомым сохранял неизменную дружбу до гроба, а потому у всех был дорогим гостем, когда, пользуясь глухим зимним временем, наезжал сюда или в Москву навестить дружков, прислушаться к новостям, рассказать о том, что теперь и впрямь с молодежью никакого нет слада.

— Все переменили: и лики свои, и одеяния, как и в житиях писано. Понадели куцые спинжаки, по жилету цепочку распустили. Пора стоит летняя, жаркая, а у него калоши на ногах и зонтик в руках. До того все одурели!

Слово у нашего мужичка еще ни разу в жизни не разошлось с делом. Как живую, все мы отлично помним его коренастую, небольшого роста фигуру. Наезжая по зимам, он являлся в теплой поддевке со сборами, подпоясанной домотканым кушаком: в ней ходил по улицам, в ней же садился и в гостях за стол. На голове носил такую высокую меховую шапку, какую на нашей памяти перестали носить священники и старики-купцы. Войдет, бывало, в комнату и прежде всего отыщет в углу божье милосердие, истово помолится и потом уже поздоровается и со всеми перецелуется, не разбирая женщин и девиц. Вытащит из-за пазухи завернутый в ситцевом платочке тверской пряник, изображающий скрюченную стерлядку: это детям в подарок, без которого никогда не являлся.

Угощения чаем не принимал и водки в рот не брал не потому, что был старовером (наоборот, был искренним и усердным православным). Попросит кваску, к нему прикрошат

ему огурцов, вареного картофеля, луку, подольют постного масла, прикупят черного решетного хлеба,— и угощение готово. Поест круто и торопливо, поблагодарит бога и в пояс поклонится хлебосольным хозяевам со своим обычным благодарным словом:

— Уж и не знаю, чем мне будет вашу любовь платить.

И весь этот обиход ведет он — словно священнодействует.

— Не прикажешь ли соленого судачка?

— Да ведь филипповки идут, а сегодня к тому же пятница. Завтра приду — угости, пожалуй, рыбкой.

В разговорах толковал все об одном, все о том же больном месте, которое так и не излечилось до самой смерти этого истинного патриота и народного друга. Не умел он понять и легко примириться с теми новейшими порядками, которые вызваны были недавним великим переворотом в народной жизни, указывавшим новые стези экономического быта после ежовых рукавиц, стеснений, запретов и взысканий.

— В Кимре обедни поют, а ребята в трактире, против самого собора, за пивом сидят и играют в чет-нечет. Теперь уже в каждом доме кабак: о какую хошь глухую пору ночи приходи — продадут. Совсем наши сапожники бога забыли.

И вот, чтоб они его помнили и не казались бы упреки благочестивого человека пустым словом, брошенным на ветер, Сергей Арсеньевич давно ходил по знакомым в Москве и Петербурге, собирая посильное даяние на построение божьего храма в Сухом. Постройку довел он до конца, из деревни сделал новое село, получил от архиепископа Саввы священника «трезвенного и учительного». Немного отдохнул дома и опять пошел за сбором на колокольню — и ее соорудил. И вот недавно сложил он свои старые кости под полом этого самого храма, что считал для себя единственною наградою, о чем изредка и проговаривался с обычною скромностью.

Этот добродушный и открытый, весь налицо, умный человек евангельской простоты к А. Н. Островскому питал особенные чувства глубокой привязанности. Для великого художника этот волгарь был драгоценен в значении беспримесного, непорченого и непорочного человека, как всесовершенный образец настоящего великоросса. Украшенный долготою дней, кимровский старик с своей стороны остался неизменно преданным священной памяти дорогого человека «во блаженном его успении» (как писал он сюда в ответ на извещение мое о нашей тяжелой и невозвратимой утрате). Сам Александр Николаевич не только ценил в нем эту стойкость в коренных народных нравах и обычаях до крайних мелочей, но и любовался той цельностью русской природы, черты которой редко являются в таком твердом и согласном сочетании. Насколько уважал и ценил А. Н. Островский кимровского приятеля, можно ви-

деть из ответного письма по случаю приглашения на освящение вновь сооруженного в Сухом храма:

«Любезный друг, Сергей Арсеньевич. Я и Марья Васильевна благодарим тебя за приглашение. Жаль, что оно пришло не ко времени, а то бы я приехал непременно. 30 августа, на другой день Иванова дня, я именинник, и мне уезжать от своих именин неловко: я, не зная о вашем празднике, пригласил кое-кого из соседей. Поздравляю тебя с твоим душевным праздником! Будь здоров и помолись за нас, грешных: Александра и Марию с чадами. Вся семья тебе кланяется. Искренно любящий тебя А. Островский. Кинешма, 27 августа 1875 г.»

Такова была и та притягательная сила богатства даров, какими обладал этот отечественный писатель и истинно русский человек и какие с избытком отпущены на его долю. Умилительно было видеть, с каким почтением и искреннею преданностью относились к нашему драматургу лучшие представители из московского купечества. Никто из нас не забудет той истинно родственной и дружеской привязанности к нему братьев Кошеверовых (доводившихся П. М. Садовскому дядями). В их семье не только сам Александр Николаевич, но и все «присные» его встречали те же ласки, находили такой же дружеский прием. Особенным радушием отличался старший брат, Алексей Семенович, глава дома и верховный хозяин дела по законам старины, к которому все остальные братья относились с трогательным уважением и покорностью. Из них более тесным образом примыкал к кружку «молодой редакции» один из младших, Сергей Семенович, статный красавец с солидной посадкой, внешностью своей напоминавший нам старую Москву. Таковы, невольно думалось нам, должны быть те бояре, которым доверяли цари охранение внутреннего порядка в государстве или защиту политических интересов перед иностранными государями в чужих землях: один вид и поступь могли уже внушать немцу убеждение в непобедимой стойкости до упрямства. Известное московское хлебосольство в лице старшего брата Алексея доведено было даже до крайних пределов, почти до чудачества. Так, например, он никому, сидевшему с ним в одном кабинете Гуринского трактира, не позволял платить денег за угощение. Когда заезжий гвардейский офицер, получивший от полового ответ, что деньги уже заплачены, вломился в амбицию и дознался до виновника,— этот добродушно, своим мягким голосом и с кроткою улыбкой отвечал:

— Извините меня, старика; я вот уже 25 лет занимаюсь здесь этим самым делом. Не обижайте же и вы меня: примите наше московское угощение, как хлеб-соль приезжему в честь.

Надо было видеть и нельзя было вдосталь налюбоваться, с какою торопливой готовностью, весело и поспешно развязывал Сергей Семеныч на загородной гулянке кульки и корзинки с привезенными съестными и питейными припасами. Один он и хлеб режет, и колбасу крошит, откупоривает одну бутылку за другой, вытирает рюмки и стаканы за несколько поваров и официантов вместе, с артистической ловкостью, с изумительным добродушием, с своеобразными приговорами вслух и лично для себя:

— Режь! руби! кроши!— наливай!..

И для гостей:

— Пожалуйста, мадерцы выкушайте!.. Провесная белорыбица очень хороша, как сливочное масло!.. Выпитых рюмок не считают!.. Проша! (обращение к П. М. Садовскому) съешь ранетку! — и т. д.

И, в полном блаженном настроении, самодовольно потирает он себе руки. ⟨...⟩

С наслаждением истинного художника вращаясь здесь, среди Русаковых[33], Островский восполнял новыми приобретениями прежний и ранний запас добрых чувств и укреплялся в тех симпатиях к коренному русскому человеку, которые затем с неподражаемым мастерством высказал в положительных типах своих бессмертных комедий. Если в молодые годы его, при исключительных условиях обстановки и встреч, могли являться наблюдательному взору эти лучшие и дельные люди как редкость, то в эпоху его литературной славы они охотно шли к нему с благодарными чувствами истинного благоговения и полного уважения, без всякой задней мысли, без лицеприятия. Так, например, Иван Иванович Шанин (торговавший в оптовых Ильинских рядах Гостиного двора) весь готов был к услугам со своим замечательным остроумием, бойким, метким словом, умным и своеобразным взглядом на московскую жизнь вообще и на купеческий быт в частности и замечательною находчивостью при мимоходных характеристиках лиц и бытовых явлений. Это — своего рода талант, и притом, как уверяли, наследственный, во всяком же случае резко выдающийся и самостоятельный. До сих пор памятен его игривый мастерский рассказ о том, как обделывают иногородных покупателей московские оптовые торговцы, чтобы затуманить им глаза и не дать возможности хорошенько разобраться в отпущенной товарной залежи и в так называемом «навале», не указанном в требовательном реестре, доверяемом на кредит, в прямом расчете, что и этот излишек и гнилье сойдет с рук и в темной провинциальной глуши легко распродастся. По самым достоверным известиям, полученным из верного источника, ему, Ивану Ивановичу Шанину, принадлежит основа того рассказа о похождениях купе-

ческого брата, предавшегося загулу и потерявшегося, на которой возник высокохудожественный образ Любима Торцова (шанинский рассказ, говорят, нарисован был более мягкими чертами). С его бойкого языка немало срывалось таких ловких и тонких выражений и прозвищ (вроде, например, «метеоров» для пропащих пропойных людей), которые пригодились в отделке комедий потом, как прикрасы, для пущего оттенка лиц и образа их действий и мировоззрений.

Было бы недостойно памяти почившего драматурга и наших благодарных чувств, если б мы не послушались пословичного завета «из песни слова не выкинешь» и прошли молчанием мимо первой спутницы его жизни в суровой нужде, в борьбе с лишениями, во время подготовки к великому служению родному искусству. Агафья Ивановна[34], простая по происхождению, очень умная от природы и сердечная в отношениях ко всем окружавшим Александра Николаевича в первые годы его литературной деятельности, поставила себя так, что мы не только глубоко уважали ее, но и сердечно любили. В ее наружности не было ничего привлекательного, но ее внутренние качества были безусловно симпатичны. Шутя приравнивали мы ее к типу Марфы Посадницы, тем не менее наглядными фактами убеждались в том, что ее искусному хлопотливому уряду обязана была семейная обстановка нашего знаменитого драматурга тем, что, при ограниченных материальных средствах, в простоте жизни было довольство быта. Все, что было в печи, ставилось на стол с шутливыми приветами, с ласковыми приговорами. Беззаботное и неиссякаемое веселье поддерживалось ее деятельным участием: она прелестным голосом превосходно пела русские песни, которых знала очень много. Хорошо понимала она и московскую купеческую жизнь в ее частностях, чем, несомненно, во многом послужила своему избраннику. Он сам не только не чуждался ее мнений и отзывов, но охотно шел к ним навстречу, прислушливо советовался и многое исправлял после того, как написанное прочитывал в ее присутствии и когда она сама успевала выслушать разноречивые мнения разнообразных ценителей. Большую долю участия и влияния приписывают ей вероятные слухи при создании комедии «Свои люди — сочтемся», по крайней мере, относительно фабулы и ее внешней обстановки. Сколь ни опасно решать подобные неуловимые вопросы положительным образом, с полной вероятностью впасть в грубые ошибки, тем не менее влияние на Александра Николаевича этой прекрасной и выдающейся личности — типичной представительницы коренной русской женщины идеального образца — было и бесспорно, и благотворно. Не сомневаюсь в том, что все сказанное сейчас охотно подтвердят все оставшиеся в живых свидетели, и могу даже при-

знаться в том, что по доверенности двух из них[35], ближайших к покойному, заношу эти строки в свои воспоминания как слабую дань нашего общего и искреннего уважения к памяти давно почившей, но незабвенной для всех нас до сего времени.

Вот та нравственная сфера и область деятельности и подвигов, в которой вращалось срединное светило, окруженное постоянными спутниками, по общим законам тяготения и взаимных влияний. Подобно движению по проводникам обоих электрических токов, положительного и отрицательного (от него к ним и от них к нему), присутствие их, по физическому закону, стало незаметным и неуловимым, как только они соединились между собою. Очевиден лишь конечный изумительный результат: вольтова дуга накалилась, и заблистал яркий ослепительный свет.

— Поздравляю вас, господа, с новым светилом в отечественной литературе!— торжественно, с привычным пафосом сказал профессор русской словесности С. П. Шевырев, признававшийся тогда корифеем эстетической критики и бывший соредактором Погодина в «Москвитянине», где впервые и напечатана была комедия «Свои люди — сочтемся». Этот восторженный, смело и громко высказанный возглас последовал тотчас же за тем, как сам автор прочел на вечере у М. П. Погодина свою комедию и когда удалился (также слушавший ее) Н. В. Гоголь[36].

«Комедия «Банкрот» удивительная! Ее прочел Садовский и автор»,— поспешил записать, по горячим следам, в своем дневнике Погодин с тою своеобразною краткостью, которой не изменил он даже в описаниях своего заграничного путешествия, давших случай остроумнейшему из русских писателей поместить в «Отечественных записках» («Записки Вёдрина») блестящую пародию[37], где соблюден и грубо отрывистый стиль писания, и поразительные выводами приемы суждений.

«От души радуюсь замечательному произведению и замечательному таланту, озарившему нашу немощность и наш застой,— писала Погодину Евдокия Петровна Ростопчина, известная своею горячею преданностью интересам отечественной литературы.— Chaque chose et chaque oeuvre a les défauts et les qualités*, поэтому нельзя, чтобы немного грязного не примешалось в олицетворение типов, взятых живьем и целиком из общества».

Прослушавши комедию два раза, она прямо и кратко выразила свой неподдельный восторг о пьесе таким искренним возгласом в другом из своих писем:

«Ура! у нас рождается своя театральная литература!»

---

* Каждая вещь и каждое произведение имеют недостатки и достоинства (франц.).

Ко мнению Ростопчиной присоединился и другой правдивый и признанный судья, поэт и публицист, стоявший во главе славянофильской партии, А. С. Хомяков, любивший и знавший русский народ теоретически, также одобрял пьесу и предсказывал:

«Ученость дремлет, словесность пишет дребедень, за исключением комедии Островского, которая — превосходное творение».

Графине А. Д. Блудовой он же писал:

«Грустное явление эта комедия Островского, но она имеет свою утешительную сторону. Сильная сатира, резкая комедия свидетельствует о внутренней жизни, которая когда-нибудь еще может устроиться и развиться в формах более изящных и благородных».

«В Островском признаю помазание!— писал Иван Иванович Давыдов, бывший до 1847 года в Московском университете профессором словесности, а потом директором Санкт-Петербургского педагогического института. Он, впрочем, пожалел, верный началам теории по своему же сочинению «Чтение о словесности» (по изданию 1837—1838 гг.),— пожалел он о том, что автор написал драматическое сочинение, а не повесть: «Я назвал бы повесть прекрасною».

Отставного словесника поправил князь Владимир Федорович Одоевский. Сам большой художник-писатель, всею душой любивший литературу и фактически радевший успехам изящных искусств (он, между прочим, одним из первых приласкал в Петербурге Горбунова и дружески сблизился с Писемским),— В. Ф. Одоевский («дедушко Ириней») писал своему приятелю, между прочим:

«Если это не минутная вспышка, не гриб, выдавившийся сам собою из земли, просоченной всякою гнилью, то этот человек есть талант огромный. Я считаю на Руси три трагедии: «Недоросль», «Горе от ума», «Ревизор»; на «Банкроте» я поставил нумер четвертый».

По напечатании комедии послышались Погодину со всех сторон поощрительные голоса тотчас же, как только вышла мартовская книжка «Москвитянина» 1850 года. Вскоре стало очевидным, что и коммерческая сторона дела стала улучшаться: вместо 500 подписчиков в течение того же года оказалось 1100 — прирост, судя по тем временам, изумительный и блестящий. Невольно вспоминается при этом успех в ходе издания, благодаря помещению в ученом журнале литературного произведения; начальный повод и самый прием (знаменательные и своеобразные, как и все у этого самобытного и независимого человека), с какими разыскивал Погодин для себя нового сотрудника, когда на Девичье поле дошел слух о появлении подходящего. Он писал Шевыреву обычно на клоч-

ке бумаги, первом подвернувшемся под руку, и, конечно, дождавшись, по старинному и по деревенскому обычаю, «оказии»,— способом, которому оставался он верным и после, когда уже заведена была городская почта:

«Есть какой-то Островский, который хорошо пишет в легком роде, как я слышал. Спроси г. Попова (товарища Островского по гимназии, бывшего у Шевырева учителем его детей). И не может ли он спросить его трудов. Я посмотрел бы их и потом объявил бы свои условия»*.

Не только в среде университетских студентов всех четырех факультетов новая комедия произвела сильное впечатление, но вся Москва заговорила о ней, начиная с высших слоев до захолустного Замоскворечья. Не только в городских трактирах нельзя было дождаться очереди, чтобы получить книжку «Москвитянина» рано утром и поздно вечером, но и в отдаленном трактире Грабостова у Чугунного моста (привлекавшего посетителей единственною в то время на всю Москву машиною с барабанами[38]) мы получили книжку довольно измызганною. Ежедневно являлся какой-то досужий доброволец и вслух всем, дьячковским способом, прочитывал ее по нескольку раз в день за приличное угощение. Впрочем, каким бы то ни было путем, но молва о том, что некоторый человек «пустил мараль» на все торгующее купечество, побрела по Москве, заглядывая в те торговые дома, где готовились совершить или успели уже проделать на практике «ловкое коленцо» банкротства. Добрела молва и до самой Тверской[39], по той причине, что очень многие обиделись, а влиятельные из купечества пошли даже жаловаться. Комедия не только не была допущена до сцены, но успела навлечь на автора некоторые неприятности. И эта пьеса обречена была на ту же участь покоиться до радостного утра[40],— какую испытали и две ее великие предшественницы: «Горе от ума» и «Ревизор». Невинный автор «взят был под сумление», как у него же выразился потом Любим Торцов. Из Петербурга последовал запрос, что такое Островский, и, по получении надлежащих сведений, его отдали под негласный надзор полиции[41].

Это обстоятельство не помешало, однако же, Островскому знакомить со своим классически художественным произведением интеллигентные кружки Москвы, начиная с артистического салона графини поэтессы Е. П. Ростопчиной (в своем доме на Кудринской-Садовой) и кончая казенным и суровым кабинетом самого графа Закревского на Тверской. Наперерыв друг

* Сообщением этих последних данных я обязан предупредительной любезности Николая Платоновича Барсукова, автора капитального труда «Жизнь М. П. Погодина», готовно уступленных до выхода в свет XI части сочинения, на днях поступающей в продажу.

с другом приглашали читать автора это и последующие его произведения почти ежедневно. Граф Закревский оказался, наконец, в числе его поклонников: на всех первых представлениях «Бедность не порок» и следующих пьес молодого сочинителя гладкая, как ладонь, голова графа неизбежно вырисовывалась в первых рядах кресел рядом со львиной головой, украшенной целою копной непослушной шевелюры, знаменитого кавказского героя генерала А. П. Ермолова. Этот, впрочем, добровольно зачислил сам себя в поклонники собственно П. М. Садовского, которого очень любил. Артист проводил у опального генерала[42] целые вечера в его скромном и пустынном кабинете на Большой Никитской, всегда вдвоем и глаз на глаз.

Как бы то ни было, в залах графа Закревского Островский не раз читал свои произведения, обе первые пьесы, и тут же услыхал оригинальное утешение из уст самого грозного и ревностного блюстителя за спокойствием умов столицы, когда пожаловался наш чтец вскользь о недоразумении, возникшем в Петербурге и вызвавшем полицейский надзор:

— Это вам делает больше чести!— лукаво отыгрывался властный старик почти накануне своего падения.

При вступлении на престол императора Александра II, по всемилостивейшему манифесту, полицейский надзор был снят, и явившийся в квартиру Островского местный квартальный надзиратель и благодарил его, и поздравлял с приятною новостью. Благодарил за то, что освободил полицию поведением своим от излишних беспокойств и сохранил его, квартального, здравым и невредимым, а поздравлял (приправившись приятною улыбкою) словами, хорошо запечатлевшимися в памяти свидетелей этого посещения:

— Кажется, мы вас не беспокоили,— расшаркивался квартальный.— Мы доносили об вас, как о благородном человеке. Не скрою, однако, что мне один раз была за вас нахлобучка.

С 1850 г. началась сразу определившаяся литературная известность Островского, но лишь через три года удалось ему, тоже с первого разу, возобладать сценой с небывалым блеском, прочно укрепиться на ней и прославиться.

25 января 1853 года на Малом театре представлена была в первый раз комедия «Бедность не порок». Она не сходила затем со сцены во весь театральный сезон до первой недели Великого поста, несмотря на то, что высшие и интеллигентные слои московского общества увлекались в то время представлениями знаменитой Рашели, антрепренер которой вынужден был давать спектакли утром. Около того же времени объявлено было о разрыве дипломатических отношений с Англией и Францией и наступило роковое время рекрутских наборов, особенно тягостных тогда по тем приемам, которые грубо прак-

тиковались[43]. Несмотря на хвастливые и задорные уверения в победе над врагами, выразившиеся и патриотическими стихотворениями, и такого же направления пьесами, и неудачным афоризмом, пообещавшим «закидать врагов шапками», недобрые предчувствия все-таки успели уже проникнуть в общественное сознание. Они обнаруживались тревожным настроением именно в той среде, которая наиболее подготовлена и способна была к пониманию и восприятию художественных красот. Тем не менее эти неожиданные события не помешали совершиться на отечественном театре поразительному перевороту, наступлению новой эры.

— Шире дорогу, Любим Торцов идет! — выслушал И. Ф. Горбунов со сцены, в райке, а здесь подслушал восторженное толкование постоянного театрального посетителя и знатока (в лице учителя русской словесности):

— Шире дорогу: правда на сцену пришла. Любим Торцов — правда. Это конец сценическим пейзанам, конец Кукольнику. Воплощенная правда выступила на сцену, и вам, молодые люди, предстоит впереди чрезвычайное множество высоких художественных наслаждений,— приготовьтесь!

В одно слово с ним заговорила и вся московская разнокалиберная и несогласная критика, и несмелая в окончательных выводах, и дерзкая и скороспелая в суждениях, и та, которая привыкла с холодным равнодушием и свысока относиться ко всякому новому и сильному литературному явлению. Все согласились на том, что этот начинающий молодой писатель обогнал всех своих предшественников, что он явно встал плечо о плечо с самим Гоголем, что от него все вправе и твердой надежде ожидать теперь заповедного и великого «нового слова» и проч.

На самой же сцене произошло нечто совершенно неожиданное и чрезвычайное. В том веселом беззаботном комике, который игриво подплясывал в «Материнском благословении»[44] под песенку «За моей женой три су», ярко блеснул художественный комический талант высшей пробы и высокого давления (как выразился А. А. Григорьев). Когда Сергей Васильевич Васильев обратился к Дуничке (Любови Павловне Косицкой) со словами: «Помни, Дуня, как любил тебя Ваня Бородкин!» — театр разразился аплодисментами, в ложах и креслах замелькали белые платки*.

«Восторженный ментор наш,— припоминал И. Ф. Горбунов,— обтер выступившие из глаз слезы и тихо, про себя, произнес:

* Московская публика должна помнить еще более потрясающие слезы на сцене и в партере, когда неистощимый веселостью, богатый необыкновенным талантом комика, этот же С. В. Васильев в прощальном бенефисе 28 января 1861 г., совершенно ослепшим, выведен был на сцену Акимовой

— Это — не игра, это — священнодействие! Какой талант удивительный!»

За Сергеем Васильевым, в тон ему и в соревнование с ним, неожиданно поспешили и те два водевильные «резвые» и «весельчаки»,— Никифоров и Степанов, разыгравши необыкновенную по своей реальности вводную аксессуарную сцену в трактире. Все действовали по искреннему увлечению, заодно и с такою силой ансамбля, что трудно подыскать и припомнить что-либо подобное тому, неожиданно цельному и увлекательному. Бороздина и Косицкая проявили всю силу своих талантов до такой степени, что лучше сыграть было невозможно.

По настойчивому требованию публики в директорской ложе появился и сам главный виновник и руководитель небывалого торжества. Он предстал зардевшимся, как красная девушка, с потупленным взором и с тою застенчивостью, которая у него была чрезвычайно тонкой природы, не уверенный в том, что она может нравиться и привлекать, и лишенный всякого самомнения и тщеславия. Островский всю жизнь не чувствовал себя особенно легко и свободно в присутствии чужих и имел обманчивый вид человека, не привычного бывать в обществе, а под призрачною суровостью, замечавшеюся на его лице, особенно когда он был задумчив, все-таки хранились постоянные источники беспредельной нежности.

На этом незабвенном празднике обручения нашего великого драматурга со сценою (и в таком счастливом представительстве) П. М. Садовский встал во весь рост своего огромного таланта. Вровень с ним уже не привелось наладиться никому: сам великий комик М. С. Щепкин[45] попробовал было впоследствии свои силы в этой же роли Любима Торцова, но не имел никакого успеха*. Самойлов не заслуживает никакого сравнения, и только Павел Васильев своеобразно и до известной степени приблизился к исполнению знаменитого артиста. Ког-

---

и разрыдался. Ничего подобного, трагического не по ходу пьесы, а в строгом смысле, русские театральные залы еще не бывали свидетелями. Несмотря на то, что водевиль «Что имеем — не храним, потерявши — плачем» при исполнении Васильевым роли Морковкина всегда вызывал общий неудержимый смех и все время поддерживал веселое настроение, этот беззаботный смех неожиданно смешался с такими же искренними слезами по заживо отпетом. Сцена невозвратно утрачивала молодую силу, которая только что вошла в совершенный возраст и начала проявлять неистощимые запасы и легкого в водевилях, и высокого комизма в произведениях Островского.

* Знаменательно, между прочим, то обстоятельство, что Щепкин не решился применить свои крупные силы к роли Любима в Москве. Он обдуманно и расчетливо приготовился полюбовать себя перед тою развеселою отобранною московскою публикою, которая выезжает в Нижний на ярмарку, куда и Михаил Семенович прибыл за тем, чтобы дать 19 спектаклей. Хитрый

да Садовский решился предстать перед петербургскою публикой в той же роли во время первого своего приезда в Петербург и в ней дебютировать,— в здешней труппе произошло неблагоприятное волнение. На вечере у начальника тогдашнего репертуара (П. С. Федорова) Самойлов не затруднился при свидетелях обратиться с просьбою не давать Садовскому играть этой роли. А как он играл ее здесь, на то имеется беспристрастное суждение тонкого критика, каким был автор литературных обзоров в «Москвитянине», переводчик классического произведения Лессинга «Лаокоон» Евгений Николаевич Эдельсон. В письме, адресованном автору, он писал из Петербурга 27 апреля 1857 г. (письмо получено Островским в Ярославле во время поездки его по Волге, о чем сказано будет дальше):

«Садовский дебютировал в «Бедность не порок» во вторник 23 апреля. Несмотря на дурную погоду в этот день, театр был почти полон и, по замечанию здешних, публика была гораздо чище обыкновенной александринской. Нетерпение видеть и приветствовать дорогого гостя было так сильно, что каждый раз, как отворялась дверь и показывалось на сцену новое лицо, раздавались рукоплескания, которые, конечно, тотчас умолкали, как скоро публика замечала свою ошибку. Наконец, появился и Садовский. Я, как вам известно, видел его и в первый раз, видел и потом, но никогда он не производил на меня такого впечатления. Он мне даже показался выше ростом (говорю без преувеличения). Минуты две или три публика не давала ему начать, и он оставался в дверях в своей монументальной позе, с поднятою рукой. Дальнейшая его игра была рядом торжеств. Уж и постарался же он! Я спрашивал его на другой день, что он делал особого в этот раз и почему игра его была так особенно рельефна, всякое слово так хлестко. Он отвечал мне, что хотел повнятнее передать публике точные слова роли, которые здесь безжалостно коверкаются. Можете удовлетвориться или нет этим объяснением, а я, по обязанности рассказчика, перехожу опять к рассказу о представлении. Впечатление, произведенное на

старик малороссийского закала оправдывал это намерение свое следующим образом (в письме к сыну 27 августа 1858 года): «Я выучил летом роль Любима Торцова из комедии «Бедность не порок» Островского, в которой Садовский так хорош. Сыграть мне ее нужно было во что бы то ни стало. Это являлось потребностью моей души. В Москве я не мог ее сыграть, потому что это было бы не по-товарищески: я как будто бы стал просить себе сорок руб. разовых, между тем Садовский еще не получает и полного оклада. Роль сама по себе грязна (?!), но и в ней есть светлые стороны. Моя старая голова верно поняла; разогретое воображение затронуло неведомые дотоле струны, которые сильно зазвучали и подействовали на сердце зрителя. П. В. Анненков хотел написать статью, которая расшевелила бы Садовского. Он, бедный, успокоился на лаврах, думая, что искусство дальше идти не может, что при его таланте очень и очень обидно».

всех незнакомою петербургской публике игрою Садовского, новость и неожиданность смысла, который он придал знакомой всем роли, были так сильны, что сами актеры поддались этому обаянию и сделались тоже как будто публикой. С ними случилось то же самое, что с самим Садовским при появлении Васильева в «Наездниках». Дамы, старики, гусары и проч. плакали без различия. Какой-то старик со звездой, кажется, Греч, говорил во всеуслышанье, что он в первый раз видит истинное и высокое исполнение этой роли. По окончании этой пьесы Садовский был вызываем неоднократно; об остальных актерах все как будто забыли (да уж и плохи же были остальные). Садовский играл после того еще три раза в четверг, т. е. 25, в «Женитьбе», в воскресенье, по желанию публики, опять в «Бедность не порок» и в понедельник, в бенефис М. Максимова (Лоскутова), в «Что имеем не храним»[46] вместе с Мартыновым. В последних двух я, по болезни, не был, а о втором скажу вам несколько слов. Публика да и сам остались не совсем довольны этим представлением. На это было много причин. Во-первых, тон, взятый Садовским в первом дебюте, был так высок, что ни в какой другой роли нельзя уже приблизиться к нему, и как бы ни хорошо знала публика разницу между ролью Любима Торцова и Подколесина, под влиянием свежего еще первого впечатления она все-таки ждет от нового, еще впервые представшего ей актера чего-то подобного первому впечатлению. Во-вторых, все остальные актеры наводили просто тоску, с небольшими исключениями, особенно Марковецкий (в роли Кочкарева), которого хорошая игра так необходима для яркости лица Подколесина, был невыносим. Не зная совершенно роли, он говорил бог знает что, кричал, ломался, даже заставил самого Садовского пропустить целую тираду. В-третьих, наконец, сам Садовский был, по моему мнению, не совсем удовлетворителен в этой роли, но об этом я поговорю с вами при свидании. Не испугал ли я вас, однако, и не подумали ли вы, что Садовский хлопнулся в «Женитьбе»? Напротив, вызовов было много, хотя и холоднее первого представления. Спешу, однако, кончить письмо, потому что устал».

С такою любовною требовательностью относились один к другому и с такою заботой охраняла и ценила друг в друге твердо и согласно установившиеся взгляды и убеждения эта кучка друзей, составивших кружок Островского, где Е. Н. Эдельсону, из числа четырех лиц, принадлежало одно из первых мест. У него чаще собирались они, к его суждениям охотнее прислушивались, и его мягким и нежным, почти женственным характером одновременно и наслаждались, как своего рода изящным явлением, и еще более скреплялись тесными дружескими узами. Невозможно, конечно, уловить

степень взаимных услуг, кроме, может быть, одного Ап. Григорьева, который в полной мере и с достаточной искренностью убеждения восторгался в печати новоявленным талантом. Неудержимые восторги свои он доводил во многих случаях до такой степени, что многим — и не без некоторого основания — виделась в них достаточная доза фанатических увлечений. Тем не менее искренность и безграничная любовь к литературе светятся в каждой строчке этого замечательного и не в полную меру оцененного критика и в то же время самобытного и своеобразного человека, стойкого в дружбе, твердого и непоколебимого в своих убеждениях и, не в пример со многими противниками, чрезвычайно образованного и высокоталантливого. Во всяком случае, ожидания, надежды и самые чувствования и его и остальных членов кружка упорно сосредоточивались на успехах Островского и его двух главных истолкователей — на Садовском и Васильеве.

Оставляя в стороне все невыясненные вопросы, не затронутые даже критикой известного публициста, взглянувшего на литературные заслуги Островского совершенно с другой, общественной стороны[47], считаем себя удовлетворенными тем, что имеем возможность представить наглядными симпатичные черты дружеских связей всего кружка. Особенно трогательны они по отношению к тому лицу, которое стояло в центре, на самом видном месте, в среде исполнителей новых комедий на сценической арене, когда очевидно и несомненно созидалось новое здание русского народного театра и теперь очень поспешно и дружно закладывался его фундамент. Талант Садовского возрастал по мере того, как одновременно и параллельно развертывался, постепенно мужая, необыкновенный талант нашего знаменитого драматурга. Садовский задался задачею передавать характеры во всей их целости, не прибегая ни к какому искусственному сценическому оживлению своей роли, на что не менее прочих был падок и такой знаменитый комик, каким был Щепкин. Отвечая именно этим новым требованиям искусства, Садовский здесь-то и был самым строгим и бескорыстным исполнителем, не заботившимся о том, что исполнение роли могло показаться сухим и, при совершенном отсутствии искусственного оживления, даже холодным. Но это-то воздержание и составляет с его стороны важный подвиг, новизну и шаг вперед в искусстве против всех самых талантливых предшественников.

Вообще невольно хочется сказать, под давлением всех этих испытанных наслаждений внове и въяве, что то былое, давнее время носило вид какой-то небывалой торжественности, чего-то праздничного, веселого, поучительного и увлекательного.

Слава основателя русского народного театра возрастала с поразительною быстротою и очевидным постоянством, потому

что и творческие силы не знали устали, освежаемые обилием новых наблюдений, укрепившихся на твердых основах глубокого знания людей и быта. Трудолюбие автора, счастливое блестящими последствиями, поистине было изумительно.

За «Не в свои сани не садись» вскоре последовали: «Бедная невеста», «Бедность не порок». Наконец, дозволено было к исполнению на сцене и первое произведение их автора «Свои люди — сочтемся!» в 1860 году. И время, и обстоятельства показали, насколько отношения к ней влиятельных лиц были несправедливы. Новому директору театров Сабурову, после представления «Грозы» в высочайшем присутствии, стоило лишь написать по-французски письмо к шефу жандармов князю Долгорукову,— и пьеса подвергнута была новому цензурному пересмотру. Стоило лишь затем автору войти в соглашение с цензором драматических произведений (Нордстремом)— и пьесой не только перестали обижаться купцы, но зауряд со всеми стали вникать и наслаждаться ее яркими красотами. Весь секрет заключался в том, что в лице Подхалюзина предложено было наказать порок. В то время обыкновенно производили преследования и налагали взыскания квартальные надзиратели,— «и вот (остроумно замечает в своих воспоминаниях И. Ф. Горбунов) в конце пьесы автор пригласил квартального. В последнее время, когда при новых судах квартальные потеряли свой престиж, из высокохудожественной комедии и квартального убрали».

Если теперь установить наши воспоминания в хронологические рамки, то придется сознаться, что на этот раз довелось забежать несколько вперед. В самой середине пятидесятых годов, именно в начале 1856 года, в жизни и деятельности Островского положено было начало новым творческим обогащениям. К прежнему своему жанру ему представилась возможность присоединить историческую драму или драматическую хронику, на которой одно время он хотел даже сосредоточить всю свою работу; этим намерением он отвечал внешним гнетущим обстоятельствам, именно — временному разладу с театральными руководителями. Такому повороту на новый путь содействовал, главным образом, совсем неожиданный случай.

На это время хотя уже и успели умолкнуть военные громы, но «глубокая еще дымилась рана», нанесенная нам во время севастопольского героического стояния. На врачевание ее быстро устремились все властительные и влиятельные силы дружным и поспешным натиском.

Прежде всего стало врачевать свои раны морское ведомство, находившееся под руководством молодого генерал-адмирала ⟨...⟩. В число сотрудников, по различным частям осуществляемых великим князем Константином Николаевичем

преобразований по флоту, ему понадобились литературные силы. Между многими из них остановил свое высокое внимание августейший руководитель и на Островском, который и был приглашен в состав членов «литературной экспедиции», снаряженной на средства морского министерства. Пишущий эти строки имел уже случай на страницах этого журнала подробно рассказать об этом эпизоде в жизни и деятельности литературных работников*. Повторяться нет нужды и охоты,— довольно припомнить, что, по соглашению с А. А. Потехиным, при разверстке района исследований Островскому уступлена была верхняя Волга до Нижнего Новгорода и что начал он свою работу с Твери.

Из Москвы А. Н. Островский захватил себе в помощь грамотного скорописца и довольно начитанного человека Гурия Бурлакова (остававшегося, между прочим, до конца своей жизни в 1891 г. искренно преданным другом Горбунова). Дружба не только проводила Островского до вагона, но нашла его и в начальном пункте исследований. «Мне очень жаль (счел за нужное оправдаться в письме Е. Н. Эдельсон), что я не успел проститься с вами при отъезде. Я только что вбежал в вагон, чтобы положить на место свои вещи, и тотчас же воротился на галерею, а вас всех уж и след простыл». Садовский успел проводить до Твери, несмотря на свою малую подвижность и великое домоседство. Здесь, пользуясь подходящим случаем, он даже решился познакомить обывателей Твери со своим любимцем, о чем и было повещено весьма заблаговременно в афишах. Театр оказался пустым. Весь город, от верхнего края даже до нижнего, устремился на вокзал железной дороги: провозили большого слона, подаренного персидским шахом (знакомого петербуржцам по его шуткам и долговременному пребыванию под навесом Зоологического сада). Эта маленькая неудача на почине нового дела прошла бы незамеченною, если бы роковым образом, для нарушения благодушно настроенного состояния духа, столь необходимого на первых шагах при почине всякого важного дела, не подвернулись новые неприятности. Они главным образом нарушили благоприятно налаженный строй мыслей: одна — с меньшею горечью, другая, возмутившая нашего путешественника до глубины чистой и честной души его.

— Никакой рыбы у нас не ловится, никаким судостроением здесь не занимаются, и ничего интересного в наших краях нет, и, при всех усилиях, вам не найти,— почти такими словами, но авторитетным тоном уверял начальник губернии (г. Сомов).

Злобная клевета, порожденная недостойною завистью двух

---

* См. статью «Литературная экспедиция» в наст. изд.— *Ред.*

литераторов и мщением одного журналиста, бросила посредством печатного слова грязный камень на незапятнанную репутацию великого художника, свободного от всех подозрений. А теперь-то он и находился именно на том пути самостоятельного и наглядного изучения, каким всю жизнь пользовался наш великий художник и беспримерный наблюдатель характеров и быта русского народа. Нерасчетливо сама себя побивающая клевета дерзнула обвинить Островского в плагиате его первой комедии, подставив ему мнимого сотрудника в качестве главнейшего вдохновителя и помощника в лице купеческого сына Горева, оправдывавшего свою фамилию в несчастной жизненной обстановке провинциального актера. Он напоминал собою подлинного Любима Торцова, будучи оборванным и обдерганным гулякой, которому до художественного творчества было так же далеко, как до звезды небесной. Однако завистливая злоба успела сделать свое скверное дело, вынудив со стороны оскорбленного объяснительные строки (в «Московских ведомостях») и поселив в сердце его то неприятное ощущение, которое испытывается при всякой неожиданной, несвоевременной и глубоко возмутительной встрече[48].

Тем не менее неудачное начало увенчалось блестящим концом. После Волги у Островского совершился знаменательный переход от комедии к драме, т. е. от современных бытовых явлений к прошлому Руси, как бы для поверки воспринятого в настоящем бытовыми чертами старинной жизни, оставшимися во множестве цельными в старорусском Верховом Поволжье.

На родной Волге Островский вдохновился живыми картинами и богато запасся новыми темами для последующих художественных произведений. Здесь родились и созрели и глубоко поэтическая «Гроза», и получил окончательную форму «Сон на Волге»; надумалась, от случайной и забавной дорожной встречи, новая комедия «На бойком месте»; живыми красками на местах действия вырисовался величественный в своей простоте и силе образ бессмертного патриота Кузьмы Минина и т. д. В то же время потрачено было много труда на исполнение сухой задачи морского министерства, результаты которого выразились массою собранного вчерне материала. Приведению его в порядок для окончаттельной отделки помешала автору последующая деятельность его на драматическом поприще, мало имеющая общности с заказною, как добровольная и самостоятельная.

Менее приметными результатами ознаменовалась следующая поездка А. Н. Островского за границу, через шесть лет после волжской, когда понадобился и заслуженный отдых, и потребовалось освежение сил[49].

На этой дальней и веселой поездке теперь и остановимся, чтобы дополнить воспоминания о необыкновенном человеке, не для нас одних дорогом и приснопамятном.

Следуя заветной пословице, что «одному и у каши не споро», А. Н. Островский для заграничного путешествия озаботился заручиться спутниками, из желающих ограничился двумя в такую меру, что ни один не был лишним и оба легки на подъем. На короткое время двух месяцев скреплялся такой союз, в котором каждый, оставаясь независимым, был бы податлив при взаимных соглашениях, покладист при встречах с дорожными неудобствами и сговорчив на случай перемен в направлении пути и времени остановок. Когда все это оказалось налицо, явилась легко и скоро и обоюдная помощь,— главнейшая ввиду того, что двое спутников мало владели разговорными иностранными языками, наиболее расхожими, каковы немецкий и французский. На выручку слабых явился третий сильный в лице Макара Федосеевича Шишко, известного химика, заведовавшего долгое время освещением петербургских театров и знакомого Островскому еще по Москве, во время первоначальной службы Шишко в университетской аптеке. Только лишь с таким умелым «языком», в смысле проводника и руководителя, и могла осуществиться разнообразная и дальняя поездка через Берлин, Вену, Венецию и Рим до Парижа и Лондона. Вторым спутником был Иван Федорович Горбунов, сумевший стать с первых дней встречи с Островским в столь тесные отношения к нему, что сделался человеком необходимым, самым близким, почти родным.

«Я прибыл, почему вы и имеете явиться для беспрестанного пребывания при мне»,— коротко и в шутливом тоне строгого приказа по начальству пишет Горбунову Александр Николаевич в один из своих приездов из Москвы в Петербург.

Или так (в другом случае): «Любезнейший Иван Федорович, вы не стоите того, чтобы я к вам писал, вы сами знаете почему. Но милосердие наше неисчерпаемо, и мы вас до поры до времени прощаем. Зачем вы просили записать себя в члены Кружка (Московского Артистического)? — вы и без того могли бы посещать его, как приезжий артист, а теперь, если вы не внесете денег до 15 декабря, вас вычеркнут из списка, и вы уже никогда не можете иметь входа. Вы сделали это напрасно: зачем платить каждый год даром десять рублей?» — заботливо прибавляет Александр Николаевич к той шутливой угрозе, которою начал свое де-

ловое письмо (по поводу представления «Воеводы» на премию в Академии наук).

«Приезжайте поскорее,— пишет Островский, между прочим, в третьем письме,— вы можете быть очень полезны артистическому клубу, а сами извлечь значительные выгоды».

В четвертом письме Островский, с тою же дружескою заботливостью, извещает Горбунова: «Отвечайте немедленно, приедете ли вы постом в Москву и когда именно, и будете ли участвовать в вечерах Артистического Кружка. Мы можем предложить вам очень большие выгоды, но нам нужно знать время наверное, чтобы заранее составить расписание и выпустить публикации. Запаситесь от начальства дозволением, если оно нужно. Любящий вас».

«Горбунов не приехал: большего огорчения он не мог мне сделать!» — досадливо записал про себя в своем путевом дневнике Александр Николаевич, когда, по прибытии из Вильны на вокзал Варшавской дороги, чтобы ехать за границу, в петербургском поезде не нашел необходимого, приятного и доброго своего спутника, задержанного семейными делами. Он догнал обоих товарищей уже в Берлине, и Островский вынужден был записать себе на память новые строки: «Из театра поехали на железную дорогу, на всякий случай: не приедет ли Горбунов. Я остался в фаетоне, а Шишко пошел на дебаркадер. Минуты через две я смотрю — он тащит Горбунова. Обрадовались ему очень и сейчас же повезли есть устриц». «А уж как Островский-то был рад, что я приехал!» — сообщает Горбунов в письме к жене.

И эта быстрая и легкая смена шутливого гнева на милость, и эта отеческая хлопотливость о материальных благах несколько беззаботного и увлекавшегося человека без лишних объяснений и с достаточною ясностью определяют действительные и прочные дружеские отношения обоих при свидетеле, пользовавшемся также давними симпатиями и глубоким уважением Островского.

М. Ф. Шишко имел за собою немаловажные заслуги, выдвинувшие его из ряда дюжинных людей и в театральном деле доставившие ему видное и почетное место. Настойчиво разрабатывая задачи прикладной химии и при этом владея несомненным художественным вкусом, он успел сделать значительный переворот в декоративном деле, даже в узких рамках освещения сцены по его специальной должности. Он стал изобретателем, успевшим оставить по себе вполне заслуженную и достойную память. И тем, кто помнит это почтенное имя лишь по театральным афишам, где не так давно мелькало оно зачастую, и тем, кто к этому имени по незнанию относился совершенно равнодушно, считаем долгом, поль-

зуясь случаем, объяснить его значение и вспомнить о заслугах того лица, которое носило его честно и с достоинством.

Прежде всего без Шишко петербургским жителям, падким до крайней степени увлечения всевозможными зрелищами, не любоваться бы тем, которое предъявляется в Исакиевском соборе один раз в год за полчаса до Светлой заутрени.

Вспыхивают в разных местах по две звездочки и быстро взлетают на все массивные паникадилы, усаженные сотнями восковых свечей. Тут с двух сторон, прыгая с одной на другую, эти звезды зажигают каждую свечу порознь и все без исключения. И снова, прорезая густой мрак беспримерно темного собора (еще усиленный на этот раз туманом от дыхания тысяч молящихся), взыграли на двух противоположных колоннах новые звездочки. Разбрызгивая по сторонам мелкие искорки, они так же, как акробат по спущенной с трапеции веревке, легко и без остановок, взбираются по ниткам ввысь к самому куполу, спопутно зажигают ту тысячу свечей, которыми опоясано кольцо среднего яруса, и, встретившись каждая на своей последней свече, исчезают. Еще несколько мгновений, и скрывшиеся, но не потухшие звездочки снова всползают, видимо медленнее, как будто бы и в самом деле утомленными, по стенкам широкого барабана. Здесь освещают они самый верхний пояс купола и тем кончают свою работу,— легкую, хотя в самом деле на нее потребовались бы усилия десятков рабочих рук, и интересную потому, что каждая звездочка представляется живым и самостоятельным существом. Головы всех молящихся устремлены на эту игру огоньков, и не медлят затем раздаваться из людской массы отчаянные крики зазевавшихся и оплошавших, заглушающие громкое хоровое пение ста человек певчих.

Все эти движения и увлечения произвела та стапиновая нитка, с которою познакомил впервые М. Ф. Шишко театральные и концертные залы, домовые и общественные церкви и все те обширные помещения, которые освещаются восковыми и стеариновыми свечами, а равно и огромные деревья рождественских благотворительных елок для учащихся детей и т. п. Простое свойство пироксилиновой ваты он применил к бумажной нитке и получил ту зажигательную, которая прошла известные процессы, т. е. обработана в кислотах, промыта в нескольких водах и высушена. Первый опыт, в присутствии императора Николая I, Шишко показал в Зимнем дворце с блестящим успехом. Такого же эффекта перед театральною публикой добился он при освещении фонтанов (в первый раз в балете «Конек-Горбунок»), когда с колосников направлял электрический свет через разноцветные, постоянно меняющиеся стекла. Затем ни одна из коронационных иллюминаций в Москве не обходилась без его деятельного участия. Здесь особенно выдавалась его изобретатель-

ность и богатая фантазия, проявлявшаяся в нем еще с раннего детства. Ему должны быть благодарны все те нежные родители, которые тешат своих детей комнатными бенгальскими безвредными огнями, которые он широко применил как для театральных эффектов, так и для домашних забав, изготовляя их в своей лаборатории и доведя продажную цену до всем доступного минимума.

Обладая этими свойствами даровитой природы, пригодившимися на службу и пользу общества, М. Ф. Шишко для тесного круга друзей и знакомых незаменим был как приятный собеседник, отличавшийся неистощимою веселостью и замечательным остроумием. Приветливый ко всем, находчивый в любой компании, собиралась ли она для важных бесед или на веселую пирушку, Шишко отличался именно теми свойствами, которые составляют принадлежность всех, так называемых общественных людей, с перевесом именно веселого настроения, умевшего высказаться и остроумной шуткой, и забавным анекдотом. Он был настоящий артист в душе ⟨...⟩. Вообще такой умный, наблюдательный и неизменно веселый, притом же еще и бывалый, человек был истинным сокровищем для серьезно настроившегося А. Н. Островского в его заграничном путешествии, начатом 2 апреля 1862 года и оконченном 28 мая.

Столь короткое время, уделенное на поездку тремя друзьями, конечно, находилось в зависимости от материальных средств слишком ограниченных в бюджете людей, живущих литературным и артистическим трудом. Очевидно, не задаваясь широкими задачами серьезного изучения Европы, они рассчитывали лишь на то, чтобы следом за ринувшимися на Запад соотечественниками отправиться посмотреть на иноземные порядки. Для этого царскою волей тогда широко были открыты двери: уничтожены всякие стеснения в справках о благонадежности и правах на заграничный выезд, и до крайнего предела ослаблена стеснительная дороговизна паспортов, стоимость которых с 500 руб. низведена всего до 5 рублей, и т. п.

Заручившись всем необходимым, запаслись наши путники и записными книжками, куда заносили, конечно про себя лично, на память беглые заметки обо всем выдающемся, самобытном и интересном. Впрочем, ничего цельного, отделанного для печати по классическим образцам талантливых предшественников, здесь нет и быть не могло по той простой причине, что эта работа не входила в программу. Поехали просто прогуляться, отдохнуть, заручиться новыми впечатлениями, освежиться ими и самолично убедиться в прославленной разнице между родною русскою и европейскою жизнию,— разнице, определявшейся обычно в целую пропасть. Все воспринятое для домашнего обихода и житейского руководства, конечно, умолчано про себя, и в записках остались короткие заметки вроде тех, какими пишутся

либретто для опер и в которых постороннему и непосвященному не в силах разобраться. Видны лишь следы таких наблюдений, которые были пригодны для личных живых бесед и, под таинственными заголовками в записной книжке, береглись до встречи с близкими людьми и друзьями, чтобы предстать перед ними в живых образах и образных картинах. Особенно характерны в этом отношении приемы в записях И. Ф. Горбунова, владевшего, как известно, изумительною памятью и избалованного исключительною способностью необыкновенной наблюдательности. Вот для примера запись его, сделанная в Риме 1 мая: «Пошли в картинную галерею Ватикана, Преображение Рафаэля. Были опять в храме Петра. В церкви постоянно народ молится. Завтракали у Лепри с Кабановым и Боткиным (Вас. Петр., автором „Писем из Испании"). После завтрака взяли коляску. Посещали Marie Magiore, термы Диоклициана: там французы содержат солому. „Моисей" Микель Анжело, „Speranza" Гвидо Рени. Термы Каракаллы,— лазали на верх. Римские рынки утром. Женщин хорошеньких мало. Попы на каждом шагу. Попы с закрытыми лицами. Простота в ресторанах. В гостинице на стенах есть русские надписи. Из попугая сделан сенатор с подписью внизу: „Из губернаторов в сенаторы"». Такова, как и все, эта короткая заметка, взятая положительно первою попавшеюся на глаза. Между тем в живом рассказе о впечатлениях этого самого дня, полученных в знаменитом храме, нарисован был сбереженный памятью, выхваченный живьем из римского клира забавный тип сытого и пузатого кардинала. Внезапный выкрик его могучим басом во все горло над самым ухом Горбунова: «Salve, salve»,— так запечатлелся в его воспоминаниях, что прежде всех и чаще прочих напрашивался в рассказ о церемониале папского служения, свидетелями которого удалось быть нашим путешественникам*.

С большею обстоятельностью и подобающею сосредоточенностью приготовился воспринимать новые впечатления и давать в них себе отчет А. Н. Островский, как это и приличествовало его выдержанному и солидному характеру. Таким он и представляется в начальных страницах дневника, начатого в Вильне 2 апреля, где он остановился ждать приезда задержавшегося в Петербурге Горбунова. Дорожа каждою строкой нашего знаменитого писателя, а тем более такими, где он рисуется нам без прикрас, в домашнем наряде, привожу эту починную запись в ее неприкосновенной целости, «без романтических прикрас»:

«Мы решились остановиться в Вильне, чтобы осмотреть город и подождать Горбунова. Из городов по дороге замечателен

---

* Дальше, в своем месте, мы представим образец того, как из этих рубрик складывались целые картины и на их месте создавался интересный рассказ (например, по впечатлениям, навеянным Флоренцией).

Динабург со своей крепостью, разливом Двины и великолепным мостом».

«3 апреля (15). В 12 с$^{1}/_{2}$ мы приехали в Вильну. Погода восхитительная; снегу и следа нет; такие дни бывают в Москве только в конце апреля. Остановились в гостинице Жмуркевича за Остробрамскими воротами. Город с первого разу поражает своей оригинальностью: он весь каменный с узенькими, необыкновенно чистыми улицами, с высокими домами, крытыми черепицей, и с величественными костелами. Обедали мы у Иодки,— трактир маленький, всего две комнаты; прислуживают: хлопец, хозяйская дочь и сам хозяин (комик), который поминутно достает из шкапчика мадеру и выпивает по рюмочке. После обеда ездили осматривать город. Над ним возвышается гора, состоящая из нескольких отрогов или гребешков. На одном из этих отрогов конической формы построена башня. Эти горы, вместе с городом, представляют замечательно редкую по красоте картину. Мы наняли извозчика, чтоб вез нас на гору; проехали мимо костела Яна, мимо губернаторского дома, мимо кафедрального костела (в который заходили); выехали на берег Вилии, которая в разливе; у какой-то казармы слезли с извозчика и стали подыматься на гору пешком. Нам очень хотелось взглянуть на город сверху. Приема в четыре, с большими отдыхами, мы кое-как вскарабкались на гору, но там оказались бастионы, и нас попросили убираться вниз. При сходе один очень милый гимназистик нарвал нам первых весенних цветов (анемонов). Цветы уже показались, а трава еще пробивается. Мы сели на извозчика и поехали к костелу Петра и Павла. С лесной стороны костела Вилия, а с правой, на пригорках, сосновая роща: отличное летнее гуляние. Снаружи костел не представляет ничего особенного, но внутри стены и купол унизаны лепными работами в таком количестве, что едва ли где-нибудь еще можно найти подобную роскошь».

«4 апреля (16). Пасмурно и холодно. Побродили по городу, заходили в костел бернардинцев — самый замечательный по архитектуре. Заходили в костел Яна, огромный и величественный, полный народа. У дверей красавица-полька исправляет должность старосты церковного и стучит хорошенькими пальчиками по тарелке, чтоб обратить внимание проходящих. Вообще в Вильне красавиц-полек довольно; попадаются и хорошенькие еврейки, но мало. Здесь я в первый раз увидал католическую набожность. Мужчины и женщины на коленях, с книжками, совершенно погружены в молитву, и не только в костелах, но и на улице, перед воротами Остробрамы. Это — местная святыня: над воротами часовня, в которой чудотворная икона божьей матери греческого письма (прежде принадлежала православным, а потом как-то попала к полякам). В костеле бернардинцев мы видели поляка, который лежал на холодном каменном полу, вы-

тянувши руки крестообразно. Костелы открыты целый день, и всегда найдете молящихся, преимущественно женщин, которые, по случаю страстной недели, смотрят очень серьезно. Для контраста у евреев — пасха: разряженные и чистые, как никогда, расхаживают евреи толпами по городу с нарядными женами и детьми. У евреек по преимуществу изукрашены головы. Мы встречали много евреек, одетых в простые ситцевые блузы, но в кружевных черных наколках сверх париков с разноцветными лентами и цветами».

«Мы завтракали у Иодки, где я ел очень хорошую местную рыбу sielawa. Надо отдать честь польской прислуге: учтивы, благодушны, и без всякого холопства, то же вместе и извозчики».

«5 апреля (17). Проснулись — снег. Собрались и поехали на железную дорогу; довольно долго ждали поезда; впрочем, это у французов — дело обыкновенное. Со всех сторон сыпятся на них ругательства и проклятия, совершенно заслуженные: грубы и, сверх того, мошенники».

Этот резкий отзыв относился к той пресловутой французской компании строителей варшавской железной дороги, которой сдан был для эксплуатации весь длинный и новый путь неудобозабываемой памяти графом Клейнмихелем и немедленно отобранной в казну его преемником. Самый же рассказ о виленских впечатлениях и в настоящее время не утрачивает своей свежести, точности и полноты: и современный обозреватель не в состоянии сказать что-либо больше, если не увлечется историческими справками и окрестностями города. Эти действительно прелестны и представляют собой не меньшие достопримечательности, во всяком случае более привлекательные, чем самый город ⟨...⟩. Исчезли только красивые польки, собирающие деньги, все же остальное на старом положении: лежат «кржижем» (с распростертыми «крестом» руками) перед иконою «Виленской» богоматери, представляющей собою правую половину царских врат, где изображена пресвятая дева, выслушивающая от архангела радостную весть о благодатном рождении спасителя мира (левой половины уже не существует). Точно так же переполняется молящимися кафедральный собор Станислава, потому что здесь хранятся (в серебряной раке, весом в 70 пудов) останки св. Станислава III. Не перестает поражать затейливым изяществом готического стиля костел святой Анны, бывший (до последнего повстания) бернардинским монастырем, при виде которого, судя по местному преданию, Наполеон, шедший на Москву, высказал сожаление, что он не обладает такою силою могущества, чтобы поставить этот храм себе на ладонь и в полной целости, не нарушив ни малейшего орнамента, перенести его в Париж. Так же недоступна по-старому для посторонних посетителей Замковая гора с развалинами части огромного

королевского замка Ягайлов, некогда соединенного с соборным костелом, который, в свою очередь, знаменит тем, что сооружен в 1387 году на том месте, где пылал у Литвы жертвенник Перуна, и точно так же похваляют и теперь рыбку селяву из породы уклеек (cyprinus alburnus), как исключительную особенность западных рек и достопримечательность целого края, и т. п.

«Первая станция от Вильны очень красива,— продолжает свой дневник Александр Николаевич,— идет в горах. Холодно, изморозь, день прескучный. На дороге до Ковно два тоннеля; под самым Ковно тоннель в 600 сажен: сначала испытываешь очень странное чувство в этой совершенной темноте. Под Ковно кое-где зелень, за Ковно ровная, унылая местность. Холод и снежок. В Вержболове — европейский буфет, в Эйдкунене — порядок и солидность».

Таким образом (6 апреля) наши путники были уже вне пределов отечества: первый раз в жизни, вместо одеял, ночевали под перинами и ели чудовищной величины прусские бутерброды. Затем в немецких вагонах, которые оказались гораздо лучше русских и совершенно без тряски, Островский с Шишко отправились в Берлин, и первый записал свои первые заграничные впечатления в таком виде:

«Поля кое-где зеленеют, пахано загонами, местность ровная, большею частью песчаная. Поля возделаны превосходно: унавожены сплошь. Деревни все каменные и выстроены чисто, на всем довольство. Боже мой! Когда-то мы этого дождемся?» Затем и нашего наблюдателя, как и всех русских людей, остановил на себе тот резкий контраст, которым характеризуются немецкие деревни с каменными домами, покрытыми черепицей, к чему так приучен наш глаз на всемозможных заграничных литографиях и гравюрах, знакомящих с немецкими ландшафтами. «Хороши постройки из камня с деревянными перекладинами. На одной из станций меня неприятно поразила фигура прусского офицера: синий мундир, голубой воротник, брюки с красным кантом, маленькая фуражка надета набекрень; волосы причесаны с английским пробором; рябоват, белокур, поднимает нос и щурит глаза».

По приезде в Берлин Островский со спутниками, конечно, прежде всего поспешил заручиться наблюдениями в той сфере, которая для всех троих была призванием, где они были подлинными знатоками и ценителями, на улучшение и усовершенствование чего они посвятили всю свою жизнь, устремили все свои заветные мысли и живые желания. Они прежде всего посетили театры: оперный и драматический. После посещения первого наш знаменитый драматург записал себе на память:

«Слушали «Трубадура»: декорации, постановка, оркестр и выполнение совершенно увлекают, особенно честностью и порядком: здесь опера исполняется, как классический квартет.

Кабы нам сколько-нибудь порядочное управление театрами, можно бы делать дело!» — пророчески заключил свои наблюдения Александр Николаевич за 25 лет до того времени, когда, наконец, воочию исполнились его ранние мечтания и, на короткий срок оставшихся ему дней жизни, досталось в руки управление излюбленным театральным делом в Москве.

На другой день (9 числа) Островский писал в Берлине:

«Видели балет Ellinor: смысла в нем никакого, но постановка бесподобная, особенно карнавал и панорама Неаполя. Танцовщицы велики и тяжелы, скромность в юбках необыкновенная».

После посещения драматического театра он откровенно и шутливо замечал:

«Вечером (10 апреля) были в театре «Виктория». Давали «Альпийского короля». Мы не досмотрели представления; но как здесь все стараются! Немецкий комизм надобно прежде понять умом, а потом уже смешно станет».

«Вечером (11 числа) мы с восторгом устремились в театр: давали «Дон-Жуана», но не сбылись мои ожидания, певцы были очень плохие. Впрочем, несмотря на это, все-таки много было прекрасного».

Преследуя заветные цели, наблюдатели наши не упускали ни одного случая на дальнейшем пути своем, где только представлялась возможность посещать театры. Так, между прочим, на пути из Вены в Италию в Триесте заходили в театр «Гармония», поразивший своею наружной красотой, а внутри сильным тенором и ровным подбором всех голосов. Давали «Отелло». «Вот бы нам такого тенора!» — пожелал наш заведомый патриот. В Милане странники наши, конечно, побывали в театре La Skala, в котором Островский поражен был громадностью залы (15 рядов мест, большое пространство для стоящих, кресел 500), но нашел его менее богатым, чем Большой московский, и писал: «В Skala при нас открыли в первый раз новый занавес. Все аплодировали, два раза вызывали автора, потом, посудя довольно долго, еще вызывали единогласно». О представлении на этот раз, однако, деликатно умолчал увлекшийся европейскими впечатлениями до крайностей наш строгий, но справедливый судья. Его заместил Горбунов своим свободно высказанным на этот раз отзывом. В его записках мы читаем такой отчет: «Давали балет «Flik und flok». Танцовщицы и танцовщики против наших ничего не стоят. Кордебалет плох. Во втором действии одна госпожа танцевала русский танец под музыку: «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан». Черт знает что! Вышла в коротеньком платье с распущенными волосами и т. д.; потом танцевали тоже русский танец фигуранты, одетые в красные черкесские костюмы. Смешно, потому что непохоже». Само собою разумеется, что одновременно с театрами наши туристы в один и

тот же день, вынужденные коротким сроком, назначенным для поездки, спешили любоваться бессмертными художественными произведениями всемирных гениев. Бегло осматривая города с внешних сторон и знакомясь с удобствами жизни в них, добытыми цивилизацией и еще более очевидными с применением русской мерки для оценки комфорта, они не упускали из виду ни одного музея, ни одной картинной галереи, ни одной прославленной библиотеки.

Берлин, с которого начался обстоятельный обзор достопримечательностей, облегчил, между прочим, А. Н. Островскому возможность произвести разнородные наблюдения и дать этому городу своеобразную оценку:

«Улица «Под липами» — нечто среднее между Тверским бульваром и Невским проспектом, и весь Берлин есть помесь старого немецкого города с Петербургом, только дома лучше петербургских. Женщины ни хороши, ни дурны; одеваются плохо, особенно некрасивы шляпы в виде гриба-поганки. Здесь на дворах стены оплетены диким виноградом, да и по дороге в Берлин станции точно так же оплетены вьющимися растениями. Тепло, приятно, есть какая-то влажность в воздухе, какой нет в России в столицах. Каждый день идет несколько раз маленький дождь. Если это всегда так, то какой здоровый климат должен здесь быть! Во всем Берлине воздух такой же, как и за городом».

И дальше: «В Магдебурге улицы узки, как коридоры, у́же виленских. Первое, что бросается здесь в глаза, это няньки в ситцевых плащах с капюшонами, обшитыми оборкой, и то, что дети ходят на ходулях. Смотрели «Dom Kirche», нам ее показывала девушка, которую мы нашли в каких-то склепах с могильными плитами, в жилище сторожа. Хорош бронзовый Архиепископ, гробницы Оттона I и его жены; по стенам скульптурные изображения, и в особенности хороша алебастровая скульптурная кафедра; вообще собор величествен как внутри, так и снаружи».

В спопутном (во время прогулки на Рейн и еще раз на обратном пути) городе Франкфурте (на Майне), несмотря на то, что здесь родина Гёте и Гуттенберга, никаких музеев изящных искусств показать не могли, кроме статуи Ариадны, помещенной в каком-то маленьком здании (при красном освещении она показалась восхитительною). В этом городе — родине банкиров ⟨...⟩ — могли остановить внимание достопримечательности совсем иного рода. «В узенькой улице еврейского квартала, вроде Щербакова переулка, среди также узеньких и высоких домов его показывают тот, очень бедный и невзрачный, где зародилось и откуда вышло семейство Ротшильдов. Дом нынешнего «короля биржи» утопает в роскошных садах, наполненных редкими цветами и деревьями,— в ряду с другими изящными дворцами банкиров,— в новом городе по шоссе, окружающем старый

Франкфурт». В Дрездене, к сожалению и удивлению, нашим туристам не удалось посетить знаменитой галереи с ее сокровищем — рафаэлевской Мадонной: «Нас не пустили (сетует Островский): там ревизия». Зато в Милане, на пути в Рим, довелось испытать полное эстетическое наслаждение, и Островский в свою записную книжку мог занести восторженные строки:

«Пошли осматривать город,— во-первых, к собору. Все, что я видел доселе, было или ожидаемое, или меньше того, что ожидалось. Миланский собор превзошел все мечты и предположения. После него уже чудес нет на свете! Бегло осмотрели внутренность собора,— что за скульптура! — особенно из больших фигур, черные фигуры под кафедрой справа от входа и в приделе налево вторая фигура!»

Насколько же все эти гениальные творения производили свое впечатление на художественную душу нашего знаменитого драматурга, можно судить по тому тайному признанию его, продуманному про себя и невольно вылившемуся на бумагу после первоначального обзора «всемирного города»:

«Проехали по мосту через Тибр, потом мимо св. Ангела и наконец выехали на величественную площадь св. Петра. Осмотрели собор мельком: у меня раза два готовы были навернуться слезы. Поехали в Колизей: этого величия описать невозможно». «Чудеса Ватикана описывать я не стану. Видели в нем все перлы живописи, ложи Рафаэля — «Преображение», «Причащение Доминикиана» и другие сокровища. В церкви S. Giovanni laterana много замечательных скульптурных произведений: алтарь Торлони; еще более замечателен алтарь Корсини, внизу которого группа Бернини: Спаситель и Божья Матерь. Из громадных величественных развалин терм Каракаллы (ходили наверх) заезжали в St.-Pietro in vinculis, где любовались чудом искусства — «Моисеем» Микель Анджело и внизу «Speranza» Гвидо Рени».

Во Флоренции, после осмотра дворца Медичисов, восторг нашего художника достиг до высшей степени напряжения, судя по его собственному откровенному признанию: «Несказанное богатство художественных произведений подействовало на меня так сильно, что я не нахожу слов для выражения того душевного счастия, которое я чувствовал всем существом моим, проходя эти залы. Чего тут нет: и Рафаэль, и сокровища Тициановой кисти и Дель-Сарто, и древняя скульптура!»

В Риме туристы наши были счастливы тем, что в осмотрах древностей руководились таким знатоком их, каковым был Василий Петрович Боткин, полжизни проведший за границей в Италии и Париже (благодаря своим богатым материальным средствам), и та колония русских художников, которые обычно живут в этом городе пансионерами Академии художеств. В благодарность за помощь и на обмен эстетическими наслаждения-

ми, А. Н. Островский в кружке соотечественников (у Боткина) прочел новую свою пьесу «Минин» с присущим автору художественным мастерством. Художники в свою очередь отблагодарили его также и тем, что сопровождали в прогулках по римским окрестностям пешком и на ослах: посреди цветников и в гору по оливковой роще в Тиволи — городок в живописной местности со многими остатками старины, отсюда в виллу д'Эсте с садом, наполненную фонтанами и гротами и расположенную на горе, в грот Нептуна и еще ниже в грот Сирены, на площадку папы Григория, с которой вся река падает в пропасть, в развалины виллы Горация (откуда открывается прелестный вид на водопад), на виллу Мецената (на которой построена фабрика) и наконец на грандиозную постройку виллы Адриана, настойчиво требовавшей реставрации. По возвращении в Рим снова последовало в компании художников посещение храма св. Петра, и на этот раз лазили в купол, читали там надписи русских людей, страдавших болезненными приступами тщеславия. А. Н. Островский заметил между прочими одну: «Я был здесь» и по этому поводу добродушно подсмеялся записью: «Был-то был, да не умел написать!» А вот эти несомненно умели: «Князь Василий Маскутов, Петр Петров Семенов 1855»,—свободно и размашисто, располагая своими орфографическими познаниями, расписались оба и здесь с равною готовностью, как на грошовых обоях ярославских постоялых дворов, так и в вековых куполах исторических храмов и на оконных стеклах римских гостиниц.

Вообще веселое настроение духа, навеянное благодатной Италией, не оставляло наших путников. Все им улыбалось в окрестной природе, а потому и все нравилось: и на узких городских улицах, и на обширных площадях. После прогулки по очаровательным окрестностям, по возвращении в самый город Рим, А. Н. Островский записал:

«Какие молодцы извозчики в Риме, и у всех маленькие желтенькие собачки, с колокольчиками на ошейниках. В тратториях прислуга в бархатных фуражках и белых куртках — красавцы!»

Все окрашивалось розовым цветом, и в самом деле на многое нельзя было не залюбоваться и не записать себе на память. Так, например, по дороге из Асти в Турин напросилась следующая заметка:

«По сторонам дороги — сад. Воздух пахнет сеном, и такое громадное количество светящихся червячков по деревьям, кустам и полям, что мы едем точно по бриллиантовому морю».

В другом месте: «За Гардским озером увидали первые васильки,— прелестные полевые цветы, и между ними играет первую роль мак; особенно красив в голубых цветах лен. У плодовых деревьев сучья прямые и сплошь покрыты листьями».

И опять: «Дорога во Флоренцию — это рай, цветущий и отлично возделанный. Как свободно, легко дышится»*.

В третьем месте (на пути в Венецию за Горицей): «Едем непрерывным садом; по полям китайский мак. Спустились в долину: деревья посажены рядами, между ними пашня, между деревьями висят гирляндами виноградные ветви» и т. п.

А вот и отставная царица морей — препрославленная Венеция:

«От станции до гостиницы «Cavaletto» ехали в гондоле. Пообедавши (салат ромен),ходили на площадь св. Марка и Дожа, на Schiavone; лазили на башню смотреть на город. Были в храме св. Марка,— много похож на наши храмы. Вечером сидели на площади св. Марка: это громадная зала под открытым небом. В разных местах слышится музыка; из кофейных стулья вынесены на площадь; горит газ, сверху светит луна». «Народу тысячи (подтверждает увлечение Александра Николаевича Горбунов в письме своем к семье): гремит музыка, раздается пение, шум, говор... Я в себя не могу прийти. Нет слов, чтоб описать то впечатление, какое произвела на меня Венеция!» На другой день Островский заносил в дневник: «Превосходное утро. Осматривали дворец Дожа. Вот это истинно дворец. Зала Десяти и сената приводят в восторг. В этих стенах патриотизм должен был развиваться сильно. После обеда катались по каналу Grande и кругом всей Венеции. Были на Риальто и на рынках. Что за молодцы гондольеры! Вечером опять гуляли на площади св. Марка. Я влюбился в эту площадь. Это еще первый город, из которого мне не хочется уезжать»**. На третий день по отъезде:

* По поводу благоухания садов и полей, которыми награждала в особенности Италия, А. Н. Островский делает об себе следующую интересную патологическую заметку: «Во всяком благоухании есть какая-то тоненькая струйка запаха, которая преследовала меня в России от Псёла до Одессы и в Одессе с первого по пятнадцатое июля. Другие не слышат этого запаха, но меня он мучает».

** Совершенно иными впечатлениями заручился в Венеции Горбунов. При наклонности к археологическим исследованиям и по страсти к давним историческим временам, он усердно всматривался во дворец Дожей, Залу Совета Десяти, даже тщательно зачертил с указанием возвышения для дожа и выхода для него на балкон, к народу, входные двери и место кафедры, у которой видел помещение для табакерок и носовых платков древних ораторов. Осмотрел небольшую комнату для Совета Трех, обтянутую прежде черным сукном, и представлял себе картину казни. Осмотрел (и также тщательно зачертил) тюрьму — каменный мешок, обшитый досками, в который сажали приговоренных за три дня до казни, и здесь указал на плане отверстие, через которое заключенный пользовался светом. Объяснил значение «Моста вздохов» и видел порог, на котором казнили преступников. У собора св. Марка ему показывали столб, на котором выставляли банкротов. Все это внушительно действовало, настраивая его воображение на поэтический лад. Однако, когда через десять лет, в 1882 г., он вторично навестил Венецию, свежая восприимчивость уже была им утрачена, и в записной книжке этого года находим такую памятку: «Заходил в тюрьму, но она уже не произвела на меня такого впечатления,как в первую поездку».

«Утро отличное (забыл записать, что в Венеции превосходные груши). Костюмы: мужской — пестрядинные панталоны, жилет, куртка, шляпа с широкими полями; женский — пестрядинное платье, набивной платок на шее, соломенная шляпа. Как до Венеции, так и за ней один непрерывный сад». На следующий день (в дороге): «Переезжаем Минчио,— что за горы! В первый раз в жизни я вижу такой колорит». В другом месте (уже в Италии) — еще новое подкупающее благодушное настроение, выразившееся следующею заметкою: «Каждый день в Италии мы едим отличную землянику и черешни (с хлебом): земляника крупна (с грецкий орех) и душиста». «Едим апельсины величиной с дыню», и т. п.

Давая волю поэтическому настроению души своей, чуткой к красотам природы и прислушливой к разнообразным голосам в ее согласном хоре, А. Н. Островский не пропускал мимо себя ничего, что являлось резким контрастом перед строгими и суровыми картинами родины. Этих контрастов оказалось в избытке, и они поспешили обнаружиться еще на самых первых шагах за границей. Едут к Мариенбургу сыпучими песками, но на них виднеются всюду цветущие фруктовые сады. На полях работают женщины в синих набойчатых платьях и шляпах, наподобие наших детских. На дебаркадере толкутся солдаты — совершенные кадеты, а таковы они во всей Пруссии. До Берлина кормили плохо: «Нет, чтобы телятинки подать, как у нас, по душе, с картофелько́м»,—замечает Горбунов. И он же зарисовывает в записках своих головку студента с длинными волосами, прикрытыми шапочкой, вроде ермолки, зеленого цвета, вышитой серебряным галуном. Шапочка набекрень, открытый и свободный взгляд, обратившие на себя внимание наших путников при входе студента в вагон перед Геттингеном, как бы намеренно (казалось им) придуманные для того, чтобы сделать молодого человека недоступным для всяких разговоров и готовым на грубые и дерзкие ответы. Когда же Шишко вступил с ним в разговор, студент предъявился добродушным, откровенным и разговорчивым малым. Оказалось, что он ездил вербовать для своего университета нового товарища (как делают все), и вот теперь везет его туда. В Геттингене его встретили другие товарищи с необыкновенною радостью, все в таких же зеленых шапочках и в статских сюртуках черных и серых, но лишь с зелеными отложными воротниками.

В благодушном настроении по поводу увлечения новыми и неизведанными впечатлениями наши странники в то же время спешили насладиться прелестями теплых стран. Точно все они находились в тревоге, постоянно опасаясь не заметить одних особенностей и отмен, не воспользоваться всеми предлагаемыми и доступными удобствами. При невольной трактирной жизни и по общему обычаю всех русских путешественников, обращено

было особенное внимание на еду: с выездом в Европу все как будто бы задались тем предположением, что попали на какое-то пиршество, обязательное, продолжительное и дешевое. И наши трое не отказывали себе в этом, благодаря прислужливости европейцев, их ловкой и умелой приноровке к русскому вкусу и характеру ввиду необычного и поразительного наплыва туристов*. Родина, однако, неотступно стоит перед глазами и служит постоянным мерилом при усвоении и расценке всего, что особенно поражает и веселит в чужих краях и в этих иноземных городах. Сравнение и уподобление навевают грустные мысли, и если вызывают иногда юмористическую или саркастическую заметку, то в ней всегда подразумевается доброжелательное чувство, истекающее из глубокой любви к родной стране и своему народу. При въезде в Европу обратило на себя особенное внимание, по-видимому, маловажное обстоятельство, но по поводу его довелось написать такие строки: «Кажется, Австрия земля порядка, а локомотивы убраны зеленью,— у нас бы не позволили: уж коли порядок, так порядок!» Впрочем, настоящие австрийские порядки яснее всего дали себя знать на таможнях: на границе перед Прагой Шишко не пустили в Австрию за то, что у него не был визирован паспорт, в Песквере затеяли длинную возню с багажом, его не смотрели, а лишь мяли, и чемоданы все-таки заставляли отпирать. «Одно только и утешало (вынужден был записать Александр Николаевич), что это последний город Австрии, а впереди свободная Италия. Слава богу, выбрались: точно гора с плеч свалилась! Неприятности никакой нам не сделали, а было тяжело. Тяжелы приемы полицейские». «Палацкий, солидный старик, сильно негодует на настоящее положение дел»,— записал Островский в Праге после посещения этого знаменитого славянского патриота и после знакомства и сближения с профессором Лезберой и Пуркиной. «Lesbera много делает для славян: издает книжки, затевает всеславянский журнал. В лице и в голосе у него какая-то унылость, как на всем в Праге. Впрочем, Прага один из лучших городов Германии, ничем не хуже

* А. Н. Островский записал даже себе на память меню обеда у Крола в Берлине за один талер в десять блюд: суп, сардинки, ветчина с картофелем, форель с картофелем, котлеты с горошком, пудинг с малиновым сиропом, дикая коза, салат и варенье к ней, сыр и бисквиты с кремом. И. Ф. Горбунов то и дело заносит в свою книжку: «Ужинали в прекрасном отеле, обедали у Казино, превосходный обед в большом обществе, пошли завтракать — дешевизна необыкновенная» и т. д. О парижских кулинарных наслаждениях он уже и не говорит. Между тем он успел подучиться изготовлению некоторых итальянских и французских блюд и охотно предъявлял свои действительно выдающиеся способности в этом деле ближайшим московским и петербургским друзьям. Третий спутник (М. Ф. Шишко) пошел дальше, руководясь афоризмом, что для изучения народа и его характера прежде всего необходимо знать, что он ест, а потому, не участвуя в первых осмотрах и посещениях, бежал ранним утром на рынок и там пропадал по целым часам.

Дрездена, а еще чище и богаче. Улицы написаны по-чешски. Многое в нем напоминает Россию, есть даже дворянская улица (Pansca ulice)». В особенности же приятно было русскому чувству нашего туриста занести в дневник общее впечатление, полученное среди славян перед Триестом: «В деревнях женщины совершенно русские и такие же лавы через речку, как и у нас», а затем в самом Триесте после посещения тамошнего пратера: «Много хорошеньких женщин, красавиц девушек и красавцев мальчиков. Детей красивее я не видал никогда». Поддаваясь, таким образом, доброму чувству сознания племенного родства, наш коренной русский человек остановил внимание на костюме иллирийцев, чтобы полюбоваться и похвалить необыкновенную чистоту белья и роскошные бюсты и черные, как вороново крыло, волосы и такие же глаза этих славянок южного типа, пришедших из деревень продавать розаны. 〈...〉

Горбунов в Риме ходил в церковь Санта Скала, чтобы видеть лестницу, по которой шел Христос на Голгофу. «В церкви (записал он) постоянно молится народ, и благочестивые люди всходят по лестнице на коленях». В Генуе показывали ему сосуд, который был на тайной вечери, в Турине — полотно, которым обвито было тело Христа после распятия. 〈...〉 Помимо посещения храмов, он не упускал одного случая, где декоративно и театрально обставленные церемонии и крестные ходы воинствующего и торжествующего католичества могли дать повод к сопоставлениям или просто интересное зрелище без всяких поучений. Будучи в Лондоне, не успел, однако, посмотреть в Вестминстерском аббатстве на тот камень, на котором спал патриарх еврейский Иаков и видел во сне лествицу. Зато, например, в Риме он записал в свою книжку: «В 10-м часу мимо окон прошла вереница монахов парами, выстроилась перед образом богоматери и читала нараспев молитву вроде нашей: «Святые ангелы, архангелы, молите о нас, грешных». В Милане он посещал знаменитый собор несколько раз и в одно из посещений всходил на самую высокую башню «очень легко, не дошел только до последней площадки: сделалось страшно. Нет ни одного изваяния, которое не было бы испещрено фамилиями, все стены исписаны». В Риме он также лазил в купол Храма св. Петра. В Триесте все путешественники наши поспешили в греческую церковь к обедне, слушали в ней прекрасное пение греков особенным очень приятным напевом «Христос воскресе», понравившееся так, что и Горбунов, и Островский занесли о том в свои дневники. Вспоминая Флоренцию на досуге в Петербурге после вторичного ее посещения, И. Ф. Горбунов рассказывал следующее:

«Были в старинном монастыре, расположенном на высокой горе, господствующей над Флоренцией. Когда мы вошли в святые ворота, один из спасающихся старцев, красавец, лет сорока мужчина, предложил нам свои услуги — показать монастырь.

Посреди огромного, покрытого цветами и зеленью двора — открытый колодезь с чистейшей водой. Ковш для добывания воды помнит времена Медичисов. Монах обратил на это наше внимание. Обойдя капеллы, украшенные произведениями знаменитых итальянских живописцев, мы вышли на терраску и любовались видом Флоренции с ее церквами, дворцами и колокольнями, с горделиво высящимся огромным куполом кафедрального собора. Под окнами монашеских келий раскинуты цветники. Монастырская трапеза — светлая, чистая и изящная зала. Здесь я невольно вспомнил монастырские трапезы моего отечества. Вспомнился мне присущий каждой из них специфический запах братских серых щей, грязно содержимая посуда, вспоминались мне «укруги хлеба» и на них мух, им же несть числа. Монах показал нам келью, в которой жил папа Пий VI во время изгнания его из Рима французами, и наконец свел нас в аптеку, в которой фабрикуются очень плохие духи и очень хороший ликер «шартрез». Трое монастырских старцев сидели за мраморным столиком и «стомаха ради» вкушали эту душистую, вкусную влагу; один из них, судя по нежно-розовому колеру кончика носа, должно быть, «прилежал к ней довольно». Путеводитель наш очень любезно проводил нас за монастырскую ограду и напутствовал именем св. Троицы»*.

В Рим наши странники попали раньше, чем предполагалось по намеченному плану, благодаря той неудаче, которую привелось испытать на пути из Генуи через Ливорно морем, чтобы полюбоваться расхваленным Неаполем. Всем троим впервые приходилось знакомиться с морским плаваньем, и, на беду, в такое время, когда море сердито настроилось и, в виде контраста, постаралось наградить иными впечатлениями, разрушившими веселое настроение духа. До Ливорно море еще было милостиво, хотя и шел дождь и, по словам Островского, «ветер резал прямо в глаза, и едва можно было стоять на палубе», но дело обошлось без сильного волнения. По крайней мере ему удалось погулять на палубе и отлично заснуть в каюте, в Ливорно выйти на берег и осмотреть город. Когда поплыли дальше, ветер усилился. «Я сначала было испугался качки (записал Александр Николаевич) и лег в каюте, приготовившись переносить морскую болезнь; потом мне это надоело, и я вышел на верхнюю палубу, где любовался морем. Месяц покрыт флером; море синё и сердито, впереди белесоватые облака. Качка усиливается. Я напился чаю и пошел в каюту: твори бог волю свою. Горбунов спит с самого обеда. Я полежал и уснул. Впросонках слышал великие волне-

* Пребывание свое во Флоренции Горбунов из обычных кратких заметок в «дневнике» восстановил потом в подробном виде и впоследствии напечатал. И вот из каких заметок это описание составилось: «Монастырь на горе; площадь; колодезь; заходили в келью; вид из нее на садик; аптека, где приготовлялся шартрез».

ния; волны хлестали в окна каюты; кругом раздавались стоны, но я засыпал опять довольно равнодушно. Проснулся часу в 6-м: волнение страшное — скрежет зубовный!» Проснулся и Горбунов, чтобы написать домой своим: «Волны начали хлестать через палубу; качка сделалась невыносимой,— просто хоть в море бросайся. Этакого волнения, этакой тоски я в жизнь мою никогда не испытывал! Мы сидели в своей каюте, мрачно и беспокойно поглядывая друг на друга и попрекая себя. Часу во втором волны так стукнули два раза в бок нашего парохода, что я невольно перекрестился, сердце замерло, губы задрожали. На палубе забегали матросы, послышался стук... Я выскочил на палубу; ночь черная; пароход скрипит; волны как звери лютые, с визгом перекатываются через борт. На вопрос мой: «Что случилось?» — матрос отвечал, что ветер стал силен. «Опасно?» — «Нет». Я немного успокоился и возвратился в каюту. В пять часов утра мы пришли в гавань Чивитта-Веккия. Первым делом махнули мы рукой на Неаполь и на деньги, которые заплатили за места: взяли свои чемоданы и съехали на берег с тем, чтобы с первым же поездом железной дороги отправиться в Рим (дорога ходит 2 $^{1}/_{2}$ часа)». В досадной неудаче Островский упрекает Шишко, ни за что не желавшего уехать дальше, а Горбунов успокоил себя крестным знамением при сходе на берег и зароком никогда не ездить на пароходах даже по Неве и написал: «За нами сошло очень много пассажиров, потому что оставалось ехать до Неаполя 14 часов, а ветер сделался ужасным: пылью нам все глаза выело».

Из Рима, где любознательность путешественников доведена была до наивысшего напряжения, они отправились, с грубым кондуктором в тесном дилижансе, в Сиену по горам, с которых открывается отличный вид на вечный город. В компании с ними ехали два итальянца: один франт и дурак, другой загорелый и черный с глазами, подобными углям, просто одетый и унылый: его выгнали из Рима, и он всю дорогу ругал монахов, папу и полицию — и тихо грустил. Среди жандармов, расставленных по всей дороге, идущей по горному гребню, откуда направо видны чуть не все папские владения, путники наши достигли до Витербо, чтобы полюбоваться настоящею итальянскою пасторалью: женщины верхом по-мужски, белые овцы, черные свиньи и пастухи, точно сатиры в козьих панталонах, а один мальчик в овечьей куртке, и, по общему итальянскому обычаю, бездна нищих всяких возрастов, докучливых, грубых до назойливости. Горбунов среди них заметил нищенку античной красоты, а также и то, что на папской границе исчезли и нищие. ⟨...⟩

В гостинице прочитали они на стене русскую надпись: «Здесь ограбили двух женщин», и дальше поехали, действительно, в сопровождении конвоя до самой Сиены, где пили сладкое душистое красное алеатико, а по прибытии на вокзал

Островский успел записать себе на память: «Взятка отлично действует по всей Европе».

Во Флоренции, где особенно поразила кипучая уличная жизнь даже ночью, видели аристократическое катанье, повсюдное пение и, между прочим, целый хор, очень похожий на нашу песню «Любит, любит», только запев какой-то странный. Очарованные художественными сокровищами дворцов Медичисов и накупивши себе разных мозаических вещей с обычного примера всех иностранцев, наши путники, посреди уличного шума и крика толпы и под скрипичные звуки маленьких музыкантов, отправились в знакомое Ливорно, небольшой городок, по приморскому положению, оживленный. Отсюда на маленьком, узеньком и вообще дрянненьком пароходике переправились в Генуя, поразившую своим очаровательным видом с моря и рыбным рынком, обильно наполненным различною, совершенно незнакомою рыбою: сагари, паламита и др., и обязательно неизбежными сардинками, для которых полагается здесь отечество, а для устриц — всемирный торговый склад. Здесь также, по обычаю, все осмотрели: и памятник Колумба (который тогда еще только строился), и величественный храм Chiese Annuziata, испорченный двумя алтарями с раскрашенными статуями. Между прочим, видели одну старуху с седой бородой и еще двух женщин также с бородами и такую картину, наскоро набросанную в эскизе нашим драматическим художником в следующем виде:

«Ослы кричат под окнами. Повсюду кипучая деятельность, купцы, банкиры, жиды, матросы, перевозчики и переносчики несут и везут вещи и на себе, и на лошадях, и на лошаках, и на ослах». Отправившись в Турин по железной дороге, тотчас за Генуей проехали самым большим тоннелем из всех, какие доводилось им до сих пор видеть (езды 12 минут). В Турине на площади Carlo они были случайными свидетелями встречи городом короля (Виктора-Эммануила), о которой у Островского и у Горбунова находим почти до слова согласные заметки. «На площади стояла кавалерия, а по улице вплоть до станции — пехота. Площадь и улица были полны народу; балконы тоже. Полиции почти до самого приезда короля не было заметно. Только когда по выстрелу узнали, что король едет, полицейские учтиво подвигали народ к тротуару». Это заметил А. Н. Островский, а вот как подтверждает его И. Ф. Горбунов (у которого, также по московской и петербургской памяти, болел зуб на этой же стороне): «Нет ни давки, ни шума; ходят все свободно, курят сигары; квартальных и в завете нет. Король сидел в коляске, в партикулярном платье; с ним находились двое статских и один военный. Когда коляска въехала в улицу, воздух огласился криками и аплодисментами; из окон начали бросать в коляску букеты. У нас не так. Толпа стоит стенкой тихо, превосходно. Квартальный тоже сто-

ит все смирно,—вдруг, словно муха его укусила, ни с того, ни с сего всполохнулся: «Осади назад!» Зачем? Почему? Ни шевелиться, ни кричать совсем не нужно было,— никто не просил».

Здесь, в гостинице, за табльдотом наши соскучившиеся по родине странники имели случай в первый раз за границей поесть грибов, и А. Н. Островский, как бы по заказу пословицы: поел пирога с грибами и задержал язык за зубами. Выговорилось же так не ради дешевого красного словца, а именно по тому принуждению, что на этом городе прервался дневник его. Вот, по крайней мере, последние в нем строки:

«Поехали в Сузу. Тут нас, после долгих сборов, посадили в дилижанс, запряженный в семь пар лошадей. Таких дилижансов поехало за нами еще 2 или 3. Начался крутой подъем зигзагами по горе. Погонщики и кондуктора бежали на гору бегом. Мы ехали над пропастями между зеленью, которая к вершине все более и более походила на нашу. Мы были между двух слоев облаков, из которых одни зацепились в ущельях, другие над нами, и наконец мы очутились между верхними облаками и луной; но это еще не вершина. На вершину мы приехали, когда уже совсем рассвело. Мальчик принес нам маленький букет синих, пахучих анютиных глазок».

Это подношение савояра было последним подарком на память об Италии, столь очаровавшей нашего драматурга, что, по возвращении в отечество, он немедля приступил к изучению итальянской драматической литературы и подарил свою родную образцовыми переводами с этого языка одной драмы и трех комедий (изд. в 2-х томах в 1886 г.)[50].

Цель подъема заключалась в том, чтобы через Альпы выбраться в Швейцарию и направиться в Женеву.

Утром 11 мая, по свидетельству Горбунова, наши путешественники приехали в St-Michel, пересели в вагоны и отправились в Кулёз. Дорогой отдумали ехать в Женеву, а направились из Кулёза прямо в Париж. Через 12 часов езды они были уже там и тотчас по приезде отправились на рынок и в Пале-Рояль. «Вечером были на Елисейских полях и в Мабиле»,— сообщает Горбунов за всю компанию. Утомление, а может быть, и угнетенное состояние духа под давлением новых неизведанных впечатлений, и притом в таких крупных дозах, вынудили А. Н. Островского покинуть перо, которое до сих пор четко, без малейших помарок, почти каллиграфически писало, и очень тщательно, день за днем, все виденное и выслушанное. А между тем теперь во Франции — да еще вдобавок в Париже — происходил ежедневный и беспрестанный наплыв свежих и еще более новейших, и еще наименее знакомых и вовсе неизведанных впечатлений. На этот раз характерная короткая запись такого торопливого и непоседливого человека, как Горбунов, вполне соответствовала положению дел и настроению духа всех товарищей.

Они, конечно, с тем же постоянством и терпением английских туристов продолжали всматриваться в европейскую жизнь в ее самобытной обстановке, но не имели уже времени, а кажется — и достаточных сил для ежедневной записи на бумагу всего приобретенного за день. На все это, сейчас высказанное, у Горбунова имеются прямые доказательства. Вот для образца несколько выдержек:

«14 мая. Обедали с Тургеневым и Кавелиным в Пале-Рояле. Я изображал генерала, и Кавелин был очень доволен. Вечером были в театре («Скупой» Мольера): Мартынов играл неизмеримо лучше. После театра зашли с Григоровичем и профессором Соколовым в кофейную».

«15 мая. Утром были у Боткина, потом у Сабурова. Завтракали со студентами в Пале-Рояле. Были в Лувре (любовались Рубенсом). Обедали на Елисейских полях. Боткины, Сергей Львович Левицкий, его помощник Ботвинье. После обеда были в Мабиле: очень скучно».

Особенную радость свидания с такими соотечественниками проявил С. Л. Левицкий, наш знаменитый и наилучший фотограф, заведение которого и в то время в Париже считалось первым и у французов находилось в большом почете и в моде. У Кавелина Горбунов встретился с гр. Муравьевым-Амурским, который проводил в Париже все последние дни своей жизни, изредка наезжая в Петербург пообедать у старого Палкина, который почему-то считался русским трактиром на манер настоящих московских. С Кавелиным Горбунов навестил, между прочим, состарившуюся известность, декабриста Ник. Ив. Тургенева (дядю Ивана Сергеевича), со дня выезда до самой смерти не решавшегося возвращаться в отечество. У Мокрицкого, некогда грозного судьи и воеводы петербургской полиции, широко и роскошно проживавшего свой нажитый крупный капитал, наш веселый и счастливый артист простился с Левицким и встретился с Алексеем Феофилактовичем Писемским. С ним вместе и отправился он сначала в Амьен, затем в Булонь и оттуда в Лондон, куда А. Н. Островский, вместе с Шишко, отбыл несколькими днями раньше.

21 мая И. Ф. Горбунов записал в свою книжку между прочим: «Проехали проливом благополучно, и я не слыхал, как вошли в Тамизу (Темзу). Река широкая. На пароходе подъехал таможенный чиновник и осматривал вещи очень благосклонно. Начинаю теряться от английской речи. Проехали Гринвич, весь затянутый дымом от каменного угля. Морской госпиталь. Корабль-госпиталь. Доки. Когда въехали в Лондон, Шишко встретил нас на пристани, проводил в кристальный дворец (допотопные животные). Отправились гулять и на мосту встретили американских фокусников. Вечером были в ковентгарденском театре. Отыскали лавочку, где говорят по-французски. 23 мая посе-

тили выставку (всемирную) и, конечно, прежде всего русское отделение».

24 мая Горбунов записывал: «Лондон встает рано; во время дождя грязен, но в то же время делает неудобными зонтики среди невиданного и неслыханного движения пешеходов по тротуарам. Обязательность англичан и ужас от незнания языка (в почтамте выручает поляк)». К вечеру дело дошло до того, что наш подвижный и любознательный турист не знал, что с собою делать и куда идти, а потому завалился спать.

На этом месте записной книжки и у Горбунова иступилось перо и изломался карандаш. Он также оставил всякие записи, заявив лишь на прощанье с Европой и своей книжкой, что 27 мая они снова вернулись в Берлин, усаженный по улицам березками по случаю троицына дня и в этот праздничный день очень напомнивший нашим путникам милую Москву*.

В 1865 году А. Н. Островский еще один раз прокатился по Волге с исключительною целью веселой прогулки, не упуская случая знакомиться с труппами провинциальных актеров. По укоренившейся привычке и установившемуся обычаю, и на этот раз он не мог обойтись без товарищества И. Ф. Горбунова. Будучи коренным и оставаясь постоянным жителем Москвы, где его все знали, горячо любили и искренно гордились им, он тем не менее каждым летом оставлял ее для милого и родного Поволжья.

В Кинешме надо переехать Волгу, чтобы попасть на проселочную дорогу, идущую на Галич, на тот довольно бойкий проезжий тракт, по которому, в известные времена года, возвращается из столиц на побывку в родные деревни партиями рабочий люд, выходящий на отхожие промыслы из Галицкого, Чухломского и Кологривского уездов Костромской губернии. На 18 версте находится поворот влево, и через версту, по стоялому и хорошо сбереженному лесу, дорога приводит к глубокой долине, на дне которой бежит речка с запрудой для мельницы, а на пологой горе противоположного берега высятся здания усадьбы Щелыкова, принадлежащей нашему знаменитому драматургу** вместе с братом Михаилом Николаевичем.

---

* Вообще порядок передвижений наших путешественников по Европе выразился в таком виде: Берлин, Магдебург, Майнц, Кобленц (про который Горбунов шутливо выразился: «Ну, город! Все солдаты да ребятишки»). Из Майнца, впрочем, успели прокатиться на пароходе по Рейну мимо городков в порядке ресторанных прейскурантов: Гохгейм, Хаттенгейм, Иоганисберг, Рюдесгейм. За Майнцем следовали города в таком порядке: Франкфурт-на-Майне, Дрезден, Прага, Вена, Триест, Венеция, Милан, Генуя, отсюда на пароходе в Ливорно и Чивитта-Веккию, где раздумали ехать в Неаполь и повернули на Рим. За ним: Сиена, Флоренция, Пиза, опять Ливорно и Генуя, Турин, Париж, Лондон и снова Берлин.

** Река Сендега принимает воду этой речки Куекши и уносит ее в реку Меру, впадающую в Волгу. Сельцо Щелыково куплено было отцом драматурга, который проводил в нем каждое лето; там и скончался (в той же

Местность, где расположено Щелыково, действительно, одна из самых живописных. Ее пересекают три речки: первые две (Куекша и Сендега) быстрые в своем течении по оврагам, где они красиво извиваются и шумят, делая бесчисленные каскады. Мера — спокойная, сплавная река, текущая также в красивых берегах (на ней Александр Николаевич любил ловить рыбу неводом). Не было ни одного гостя в Щелыкове, который бы не восхищался его местоположением. Говорят, что отец братьев Островских, чувствуя приближение смерти, просил приподнять его с кровати, на которой кончался, чтобы дать ему возможность в последний раз взглянуть на окрестные виды, открывающиеся из окон дома.

В усадьбе имеется старый деревянный двухэтажный дом с огромным каменным скотным двором и каменным зданием кухни и прачечной с мезонином. В мезонине этом и в верхнем этаже старого дома находили приют приезжие гости. Всех чаще жил здесь актер Александринского театра Федор Алек. Бурдин с семьей, издавна находившийся в дружеских отношениях к Александру Николаевичу, пользовавшийся особенным его вниманием перед прочими и полным доверием. Редкое лето не навещали здесь Александра Николаевича кто-либо из литературных и театральных друзей, и всех чаще, конечно, И. Ф. Горбунов.

С балкона открывается не подлежащий описанию живописный вид на окрестности с речкой внизу горы и с красивой, рисующейся среди зелени церковью Никольского погоста. После покупки братьями Островскими у своей мачехи Щелыкова, Михаил Николаевич не в далеком расстоянии от старого дома выстроил собственно для себя небольшой деревянный домик, соединенный со старым березовой аллеей. В этом домике проживал Михаил Николаевич в редкие свои приезды в Щелыково, чтобы отдохнуть от нелегких и многосложных своих обязанностей по управлению министерством государственных имуществ. В верхнем этаже этого домика Александр Николаевич постоянно занимался вырезными работами из дерева, которые он страстно любил и в которых был очень искусен. Вид из этого домика еше лучше, чем из старого дома.

В последнее время, после кончины Александра Николаевича, брат его разбил и устроил обширный парк, идущий частью сосновым лесом по волнистой местности, частью лужками и полянками и, наконец, по берегу речки Куекши.

комнате, где умер и Александр Николаевич) и похоронен на погосте церкви села Никола-Бережки. К приходу его принадлежало Щелыково. Александр Николаевич похоронен здесь же,рядом с могилой отца. После смерти последнего (Николая Федоровича) имение досталось по завещанию вдове его (мачехе старших двух сыновей), у которой оно было куплено младшим (Михаилом Николаевичем) при участии старшего брата.

В верхней части этого парка на обширной полянке Михаил Николаевич предполагает поставить на гранитном пьедестале бронзовый бюст своего любимого брата.

Мы видели Александра Николаевича среди этих красот природы здоровым и жизнерадостным. С необыкновенно ласковою улыбкою, которую никогда невозможно забыть и которою высказывалось полнейшее удовольствие доброю памятью и посещением,— радушно встречал он приезжих и старался тотчас же устроить их так, чтобы они чувствовали себя как дома. На деревенское угощение имелось достаточно запасов в погребе и на огороде, на котором сажалась и сеялась всякая редкая и нежная овощь и которым любил похвастаться сам владелец. У него, как у опытного и прославленного рыболова, что ни занос уды, то и клев рыбы — обычно щурят — в омуте речки перед мельничной запрудой, и в таком количестве при всякой ловле, что довольно было на целый ужин. Оставаясь таким же радушным и хлебосольным, как и в Москве, в деревне своей он казался упростившимся до детской наивности и полного довольства и благодушия. Несомненно, он отдохнул, повеселел и стал совершенно беззаботен, а чтобы не обратили ему всё это в упрек и обвинение, то вот, когда открывается съезд мировых судей, он, в качестве почетного судьи, каждый месяц ездит в город Кинешму, да и вообще ее старается посещать: там у него есть где остановиться и с кем поговорить. А затем вот и газеты и журналы высылаются из Москвы: «Читаем, гуляем в своем лесу, ездим на Сендегу ловить рыбу, собираем ягоды, ищем грибы». «Отправляемся в луга с самоваром — чай пьем. Соберем помочь, станем песни слушать; угощение жницам предоставим: все по предписанию врачей и на законном основании». Богатырь в кабинете с пером в руках,— в столовую к добрым гостям выходил настоящим ребенком, а семье всегда предъявлялась им сильная и глубокая любовь к домашнему очагу. В маленьком скромном хозяйстве, не дающем ни копейки дохода, ощущалась полная благодать для внутреннего довольства и для здоровья, которое начало сдавать: усилились колотья в боках, увеличилась одышка, очень пугает сердце. В деревне меньше и реже приходится схватываться за грудь и жаловаться на боли, а по возвращении в город, конечно, опять начнется старая история и напомнят о себе застарелые недуги. В городе много работы; не стало отдыха.

— Вы меня, надеюсь, знаете, и я с вами знаком,— благосклонно встретил Островского такими словами государь император Александр III 5 марта 1884 года.— Очень рад вас видеть у себя и познакомиться с вами лично.

И, отпуская, изволил прибавить:

— Поручая вашему ведению свои театры, я уверен, что

они будут в хороших руках. Делайте все, что найдете полезным для процветания их *.

Благоговейно вспоминал эти слова Александр Николаевич и глубоко запечатлел их в своем благодарном сердце, работая потом без устали до полного изнеможения надорванных сил.

Между тем надвигалась беда. Чрезмерная работа последних лет оказалась губительною тем более, что целый год производилась порывами и тревожно. Эти волнения и ежедневные беспокойства в Москве оказались более убийственными, чем прежняя умеренная деятельность и правильно налаженные литературные занятия, когда привелось написать для русской драматической сцены 44 оригинальных произведения[51], кроме некоторых переводных пьес**. Литературные занятия, как всякое телесное упражнение, могли казаться здоровыми, но, чрезмерно возбуждая душевные силы, в то же время истощали и убивали тело, в котором уже успели угнездиться тяжелые недуги. Эта-то чрезмерность в труде, а главное — постоянное раздражение неприятностями по управлению труппой[52] на податливой почве потрясенного организма и сделались роковыми, как всякое излишество, когда перед отъездом на лето в Щелыково Александр Николаевич еще вдобавок и простудился. По целым часам от ревматических болей он не мог пошевелиться и ужасно страдал, дорогой впадал в обмороки.

А затем коротенький сказ, торопливое газетное известие, на легком ходу:

«Утром в Духов день 2 июня (1886 г.) А. Н. Островскому внезапно сделалось дурно, и он скончался».

Совершилось ужасное событие, и разнеслась по России потрясающая весть:

Островского не стало!

Тем не менее, по искреннему и правдивому выражению, безыскусственно высказанному, между прочим, на двадцатипятилетнем юбилее его драматической деятельности,

Пройдут года — дойдет от дедов
Ко внукам труд почтенный твой,
И Пушкин, Гоголь, Грибоедов
С тобой венец разделят свой...[53]

---

* См. «Русское обозрение» 1886 г.

** Переводных пьес 8 и написанных в сотрудничестве с двумя лицами: г. Соловьевым 4 пьесы и г. Невежиным — 1. Из оригинальных пьес семь написаны стихами.

Показывая нам юмористическую сторону жизни, он учил плакать и смеяться честно и искренно,— и этим особенно дорога нам его память. Недалеко ходить и за утешением.

Уж очень давно сказано: «Жить после смерти в сердцах тех, кого покидаем,— не значит умереть», а нашим личным воспоминаниям впереди остается еще довольно простора для объяснения деятельности и для характеристики личности нашего великого драматического писателя.

— Надо освежить голову: потруднее какой-нибудь пасьянс разложить,— обычно говаривал А. Н. Островский, когда, достаточно поработав над отделкою сцен своих драм и комедий и довольный работой, желал отрешиться от нее и отдохнуть.

Он, по издавна усвоенной привычке, когда приготовлялся что-либо писать, то долго, до утомления, расхаживал по комнате, то раскладывал легкие пасьянсы. Знал он тех и других способов подбора карт очень много: трудно было кому-либо показать ему неизвестные. Он не покидал этого стариковского развлечения, столь удачно приспособляемого в досужее время на случаи воспоминаний о пережитом,— не покидал и в молодые годы, когда создавал лучшие свои произведения, прибегая к нему даже и в те дни, когда начал письменную работу.

Писать предпочитал Александр Николаевич по ночам, по крайней мере в первое время своей литературной деятельности, пользуясь теми тихими и молчаливыми, какими славятся и красятся все московские захолустья, а в том числе и воробинское. Обыватели очень рано, по крайней мере не позднее соседней Таганки и всегда в урочный час, как по команде, засыпали мертвым сном. В соседних Серебряных банях усталый до изнеможения дежурный банщик бросал на каменку последнюю шайку, и вода не только не вылетала паром, но и не шипела. Будочник Николай, живший прямо перед окнами, приставлял алебарду к двери, приседал на пороге и, уткнувши голову в колени, также засыпал до утра. Московский день кончался, и для писателя, счастливого необычайными успехами, и для человека, доступного всем и приветливого, беспокойный день оставался назади и с приятными, и с докучными посещениями, которые особенно учащались после каждого представления новой пьесы его на сцене.

По свойству прирожденного характера делать все не спеша, вдумчиво и основательно, Александр Николаевич обыкновенно писал долго, допускал большие перерывы. Так, например, над «Банкротом» («Свои люди — сочтемся») он работал свыше четырех лет, несмотря на то, что писал уже умелою и привычною рукой после сцен и очерков «Замоскворечья» и осо-

бенно после «Картины семейного счастья», которая произвела сильное впечатление на Гоголя. Писал Островский разгонистым и крупным четким почерком, круглые буквы которого напоминали неуверенный женский, что приводило в некоторое недоумение Тургенева, одно время увлекавшегося мимоходно возможностью, по внешним характерным признакам автографов, определять не только состояние духа в данный момент писания, но и вообще душевные прирожденные качества писавшего лица. Впрочем, то было время орешковых чернил и гусиных перьев. Для чинения их продавались в лавках особые машинки, а в департаментах и палатах имелись особые чиновники, изготовлявшие для начальства этого рода изделия*.

Несмотря, однако ж, на поразительную разборчивость своих рукописей, Островский все свои произведения отдавал переписывать в другие руки и по нескольку раз. От этого удовольствия не отказывались ближайшие друзья автора (как, например, Т. И. Филиппов и А. А. Григорьев), и оно же И. Ф. Горбунову, тогда еще неизвестному, но уже до обожания увлекшемуся красотами произведений нового писателя, облегчило возможность найти к нему доступ, удостоиться внимания и знакомства и затем на всю последующую жизнь сделаться неразлучным спутником и самым преданным другом. Горбунов, например, пять раз переписал драму «Не так живи, как хочется». Эта народная драма, между прочим, служит показателем того, что плана, предназначенного, законченного, Александр Николаевич не записывал, полагаясь на свою необыкновенную память. Он подчинялся тому влечению творческого духа, когда завязка и развязка были на втором плане, а фабула зависела уже от характера задуманных и выношенных действующих лиц. Писал эту драму, «взятую из народных рассказов» о событии конца прошлого века, под влиянием настроения кружка, где народная песня была «главною силой, которая постепенно слагала, вырабатывала и выясняла основные мотивы миросозерцания молодых друзей»[54]. Писал ее Островский долго,— гораздо медленнее прочих, может быть, также и потому, что принялся за нее несколько поистратившимся и во всяком случае очень усталым,— принялся тотчас же после последней пьесы («Бедность не порок») из прочих трех, уже игранных на сцене («Бедная невеста» и «Не в свои сани не садись»).

Горбунов, живший у автора в доме и имевший легкую и ежедневную возможность следить за процессом творчества,

---

* Вообще это время — начало 50-х годов — было переходною эпохою от гусиных перьев к стальным, от ассигнационного рубля к серебряному, от сальных свечей к стеариновым, от курительных трубок к папиросам и т. п., и в тех и других случаях с постепенностью, по градациям.

сохранил пол-листа бумаги, на котором рукою Островского небрежно написано что-то вроде конспекта:

«БОЖЬЕ КРЕПКО, А ВРАЖЬЕ ЛЕПКО».

Это зачеркнуто, а сверху написано:

«НЕ ТАК ЖИВИ, КАК ХОЧЕТСЯ».

Лица:

Старик.
Старуха.
Чует мое сердце, недоброе оно чует.
Монастырь.
Наступают дни страшные! Опомнись!
Широкая масленица.
Груша.
Девушки.
Вася. Ну, пияй! Ты меня піять хочешь?
Еремка — олицетворение дьявола.
Уж я ли твому горю помогу,
Помогу, могу, могу...
Петр на тройке.
Ночь.
Прорубь на реке. Удар колокола.
(Балалайка).

(Входит старик).

Сирота ль ты моя, сиротинушка!
Ты запой, сирота, с горя песенку».

Вот и весь сценарий того произведения, которым далеко впоследствии так очарован был знаменитый композитор А. Н. Серов, в свою очередь увлекший автора на переделку. И. Ф. Горбунов в записках своих сопровождает этот точный подлинник таким сообщением:

«Посетившему Александра Николаевича артисту К. Н. Полтавцеву он рассказал пространно, с мельчайшими подробностями, содержание пьесы, но из-под пера вышло не то, что он рассказывал. По рассказу, сюжет мог быть разработан гораздо шире, а не сталось так, может быть, оттого, что в это время Островский очень болел глазами, а пьесу нужно было окончить к бенефису».

Если Островский вообще писал очень медленно, то имеются в то же время факты в виде некоторых немногих исключений. Покойный друг покойного драматурга в пример быстрых или ускоренных работ сообщает, между прочим, что «Воспитанницу» Александр Николаевич написал, гостивши в Петербурге, в три недели, «Василису Мелентьеву» (тоже в Петербурге) в сорок дней. Процесс писания этой пьесы он называл «искушением от Гедеонова»*.

* Тогдашний директор Императорских театров Ст. Алек. Гедеонов, сын прежнего директора, написавший в молодости драму «Смерть Ляпунова»,

Драма «Не так живи, как хочется» к осени 1854 г. была готова, и автор в первый раз прочитал ее «кружку» у себя на дому, следуя издавна установившемуся обычаю доставлять полное эстетическое удовольствие слушателям своим мастерским, несравненным чтением, искать у компетентных судей: от товарищей по перу — советов при случаях нарушения строгого художественного строя цельного произведения, от артистов — указаний практических при уклонениях от требований сцены. Наибольшим доверием у автора между теми и другими оценщиками пользовались: Филиппов, Эдельсон, Садовский и Ап. Григорьев.

Эдельсон, по словам одного из близких друзей и деятельных членов «кружка» (Т. И. Филиппова), «отличался полною самостоятельностью мысли, весьма тонким художественным чувством и замечательно изящным изложением. Тон был всегда спокоен и в высшей степени деликатен. Спокойствие и невозмутимое приличие его тона истекали из глубокого уважения к достоинству литературы»[56].

Садовский, сблизившийся с автором еще в 1849 г., по мнению того же компетентного оценщика, был таким исполнителем типов, созданных Островским, каких можно видеть только во сне. «Этот писатель и этот актер были буквально созданы друг для друга и представляли собою идеальное сочетание»[57].

Ап. Ал. Григорьев, до фанатизма увлекавшийся Островским, прослушал все его художественные создания по нескольку раз, с неустанным и неослабевавшим интересом. Если в это время он не успел подсказать руководящих мотивов, зато

задумал на возрасте новую, также историческую пьесу, основанную на трагической судьбе одной из двух известных в истории наложниц Ивана Грозного,— именно Василисы Мелентьевой. Муж ее, как известно, был заколот опричником, а сама она за то, что ревнивый царь заметил ее «зрящу яро на оружничаго Ивана Девтелева князя», пострижена в Новгороде в монахини. Гедеонов, не пожелавший выступить в дни своего директорства на сцену с пьесой своего сочинения, решился прикрыться авторитетным знаменем драматурга и передал ему свою драму для исправления и отделки. Она Александру Николаевичу так понравилась, что сюжетом ее он искренне увлекся и написал драму, десятки лет не сходящую с репертуара столичных и провинциальных театров. А. А. Нильский, автор недавно вышедшей книги, богато снабжённой интересными и живыми данными по истории театра в последние годы («Закулисная хроника»)[55], пишет, что С. А. Гедеонов, «придумав сценарий пьесы «Василиса Мелентьева», не стал его обрабатывать сам, а отдал весь свой материал А. Н. Островскому, который, по его конспекту, и написал эту драму».

Иначе рассказывает об этом И. Ф. Горбунов, имевший несомненные случаи видеть подлинную гедеоновскую рукопись при ежедневных своих посещениях в Петербурге дорогого московского гостя. Он пишет:

«Директор театров С. А. Гедеонов передал н а п и с а н н у ю п ь е с у Александру Николаевичу, который, оставивши в неприкосновенности сюжет, написал собственную свою пьесу, не воспользовавшись ни одной сценою, ни одним словом из творения Гедеонова».

умел придать энергии в работе и уверенности в силах своими толкованиями места и значения уже созданных и вылившихся в образы художественных типов. Григорьев во всяком случае своими критическими этюдами сделал свое имя, в свою очередь, неразрывным и неотделимым от имени Островского[58].

Конечно, от этих 4—5-ти (из которых остался в живых лишь один человек) получал искренние советы и пользовался неподкупной любовью наш знаменитый писатель,— конечно, единственно от них, а не от надутого Шевырева, чопорного и не в меру строгого Погодина. Такому художнику от этих нечем было поживиться, хотя перед ними раньше других ему довелось впервые обнаружить во всю силу свой необыкновенный талант и поразить их всех обаянием новизны и изумительного мастерства как в отделке фабулы, так и в процессе чтения.

3-го декабря 1849 года Островский прочел «Банкрота» у Погодина (попеременно с Садовским), и затем всю зиму читал эту пьесу то у гр. Ростопчиной, то у кн. Мещерских, у Пановой, у Шереметьевых, у Каткова и везде производил необыкновенное впечатление,— читал чуть не каждый день,— быстро разнеслась его слава по Москве. О чтении у Погодина поэт Берг (Николай Васильевич) записал, что «Гоголь приехал среди чтения, тихо подошел к двери и встал у притолоки. Прослушал, по-видимому, внимательно до конца, но ничего не говорил ни с кем во весь тот вечер. К Островскому не подходил ни разу».

В марте 1850 года комедия через четыре месяца была напечатана в «Москвитянине», упрямо и настойчиво запаздывавшем выходом своих книжек, и с этого времени началась всероссийская известность нового таланта. Особенно быстро распространилась она по Москве, когда узнали там, что пьеса запрещена для представления на сцене и сам автор отдан под надзор полиции. Воспользовавшись случаем сказать об этом в прежних статьях своих, в настоящее время имею возможность сделать дополнение и разъяснение, основанные на свидетельстве лица, близко стоявшего к делу.

Попечитель Московского учебного округа (потом генерал-губернатор Северо-Западного края, некогда сопровождавший в путешествии по России, вместе с поэтом Жуковским, царя-освободителя Александра II, бывшего наследником цесаревичем), Владимир Иванович Назимов, как начальник московской цензуры, предварительно прочел «Банкрота» графу Закревскому. Однако «негласный комитет» из Петербурга обратил внимание министра просвещения графа Уварова (ведавшего всю цензуру), а этот в свою очередь Назимова, поручивши ему сделать некоторое вразумление автору, что цель таланта не только в живом изображении смешного и дурного, но

и в справедливом его порицании, в противопоставлении пороку добродетели, чтобы злодеяние находило достойную кару «еще на земле». Назимову Александр Николаевич, с обычною помощию и по совету ближайших друзей, отвечал письмом, исполненным достоинства. Между прочим, он сказал: «Твердо убежден, что всякий талант дается богом для известного служения, что всякий талант налагает обязанности, которые честно и прилежно должен исполнять человек,— я не смел оставаться в бездействии. Будет час, когда спросится у каждого: «где талант твой?»[59]

Впрочем, столь важная неудача на первых шагах, очень чувствительная также и в материальном отношении, не произвела, как известно, глубокого влияния на впечатлительного автора, сумевшего весьма скоро оправиться от внезапного и сильного удара, побороть в себе естественные и неприятные ощущения острастки, исходившей издалека и свысока. Первым же порывом осмелевшего духа он направил свой путь к предопределенной цели. За «Бедною невестой» последовали комедии «Не в свои сани не садись», за нею и «Бедность не порок», которые в одно и то же время развеяли прахом гнусные клеветы литературных недоброжелателей, бесплодно искавших в первой комедии плагиата, и поставили на чрезвычайную высоту нашу родную (выражаясь словами восторженной гр. Ростопчиной) «театральную литературу». В артистическом же мире совершился коренной переворот со всеми спутниками, присущими крупным явлениям: завистью, недоброжелательством и даже расколом. Совершилось нарождение народного театра и тотчас за ним коренное обновление старого с первого же почина на знаменитом московском.

Высококомический талант Прова Михайловича после легких и веселых ролей, вроде офицеров в «Что имеем не храним», как манны небесной, дожидался ролей: чиновника Беневоленского, богатого и степенного в полную силу коренного русского склада купца Русакова и вконец разорившегося бездомного гуляки (обычного в Москве типа купеческого брата или сына) Любима Торцова и проч. Воплощение Садовского в живых, всем знакомых лицах драм и комедий Островского и после Осипа в «Ревизоре» было поразительно, а в частностях исполнение предстало как совершенно неожиданное новое явление. Актер как бы только и ждал этого подбодряющего нервы и потрясающего до вдохновения нового слова. Следом за тем, одно за другим без отдыха и передышки, свободно вытекали художественные образы, как чистые и светлые струи из неиссякаемого источника, который до той поры глох, не имея простора и воли. Всем существом своим до увлечений, столь свойственных этому коренному русскому человеку, П. М. Садовский отдался толкованию созданий Остров-

ского, уделяя после того лишь изредка по-старому и по наряду меньшую дозу усердия дешевым ролям ежедневного театрального репертуара. С этой поры игра его здесь (в водевилях и переводных комедиях) стала казаться шутками, на досужие часы отдыха, когда бывает забавно и весело самому опроститься до них и легким сердцем порезвиться и посмешить.

С этой поры стала бледнеть и свободная, как дома, заразительная веселостью превосходная игра Живокини, неподражаемого, редкостного и единственного на русских сценах комика-буфа. Забавной непринужденной шуткой совершенно праздного оттенка стала казаться игра его, не имеющая иных претензий, кроме желания смешить во что бы то ни стало. И это в особенности сказывалось в тех частых случаях, когда (конечно, с дозволения начальства и по особому разрешению) этот давнишний любимец публики, помимо текста разыгрываемых пьес, прибегал к неожиданным выходкам: останавливал он в проходе направлявшегося к выходу офицера до окончания водевиля и усаживал его добродушною, безобидною просьбой посмотреть и послушать, что будет дальше, в самом конце. Начинал рассказывать анекдоты из своих путешествий по провинции, когда видел, что товарищи его, актеры или актрисы, замешкались в уборных. Останавливал оркестр, начинавший уже подыгрывать заключительному куплету, передразнивал контрабас и укорял скрипки в том, что они поспешили игрой, когда он еще не рассказал кое-что из того, что хотел рассказать. Затем повествовал о встрече на Тверском бульваре с автором водевиля Тарновским, который предложил ему на выбор два заключительных куплета: один от имени автора с просьбою о снисхождении к сочинению, другой — за артистов и за их настоящую игру: так вот он теперь хочет пропеть последний, а не тот, который начал играть оркестр. Иногда он любезно рекламировал новые пьесы и, приглашая (по тексту водевиля) на свадьбу дочери и встретив, конечно, на заданный вопрос ответное молчание публики, своим своеобразным голосом с пригнуской роптал: «К нам вот на свадьбу не хотят, а на «Свадьбу Кречинского» так ломятся», и т. п. И злоупотреблял: понравившееся публике словечко, вызвавшее хохот, любил повторять на соблазн и на беду легкомысленных приказчиков из Ножовой линии.

Выходило во всех случаях так, что достаточно было неясных звуков знакомого голоса, раздававшегося еще вдалеке за кулисами, как уже растворялись на устах улыбки и тотчас затем раздавался непрерывный сплошной смех, переходивший в откровенный хохот. Слышались женские взвизги от верху до низу, когда начинал хозяйничать на сцене совсем по-халатному Василий Игнатьевич со своими шаловливыми вставками, не имевший соперников и не оставивший, однако, после-

дователей. В руку с ним, ему в помощь, играла и актриса Акимова, бесконечно веселая и живая, и актер Ленский, несомненно даровитый каламбурист и остряк, изготовлявший и подходящие пьесы, как «Принц с хохлом, горбом и бельмом», как «Стряпчий под столом», и т. п. Случилось, однако, то, что хотя с этим несомненным мастером своего дела и давним опытным борцом не легко было справляться и от него отучать избалованную им публику, но и это удалось сделать в эту эпоху театрального воскресения и явного обновления. И Живокини наконец привелось осадить назад, встать совершенным особняком и безобидно примириться с новыми веяниями. Увлекся и сам он лично, попытавши силы, но они, набалованные повадкой и надломленные годами, не выдержали: в шаржированном костюме, с пересолом в гримировке, Живокини не был лицом в роли Карпа Карпыча в картинах московской жизни «Не сошлись характерами». Он перестарался, кого-то пересмеял, просто пошутил и совсем характера роли не понял, подобно тому, как не в силах уже был проникнуться целями автора в Любиме Торцове и сам великий комик Щепкин. В этой роли он так и не имел успеха.

Охотно вскочил с кровати и весело и бойко выбежал из «Комнаты с двумя кроватями» С. Васильев, валявшийся там на одной из них, и вел пустячные разговоры для выяснения каких-то совсем не серьезных недоразумений,— выбежал для того, чтобы возродиться в Бородкине. В лице его, вместо ожидаемого смеха, он вызвал одной лишь фразой, непритворные слезы и откровенные всхлипывания простодушных натур, совершенно обманутых представлением и окончательно на этот раз забывших о театральной сцене. В Васильеве счастливый автор умел найти ту надежную опору, как и в Садовском, на которой твердо укрепился громадный успех его сценических произведений на все то время, пока этому артисту не изменило зрение и красота его глаз не сделалась причиною его преждевременной смерти. Идя в уровень с сильным товарищем, Васильев так же вдумчиво относился к принятым на себя ролям, понимая, какую важную ответственность он несет перед художественной литературой, перед русским обществом в этом служении своем житейской правде. Ей оставались они оба, Садовский и Васильев, последовательными и были точными до самых мелочей, не тяготясь и не пренебрегая незначительными вводными лицами. В пример, поучение и руководство последующим поколениям оба умели из небогатого материала создавать нечто такое, что у зрителя не забывается десятками лет. Васильев, чтоб оттенить малозначащую роль всего в каких-нибудь десяток слов, придавал ей такой комический оттенок, что она делалась цветистою и навсегда памятною. Играя кучера в картинах московской жизни

«Не сошлись характерами» (на дворе), более задорного и храброго, чем первый, и такого молодца, что «хоть сейчас под черкеса»,— он надел на голову огромную кучерскую шляпу по самые уши, на плечи напялил армяк с широкими полами и длинным подолом. В таком наряде всей фигурой он казался гораздо ниже своего обыкновенного роста. Артист и путался в полах армяка, когда говорил, что все об войне думал до того, что раскипелось сердце, и потряхивал не по голове шляпой, когда поддакивал о французе, который придет «и разорит, потому сила». А искусно и находчиво умалил он свой рост также и для того, чтобы резче оттенить и выпуклее представить последующий насмешливый окрик кухарки:

— Ох, воины! Сидя на печке воюете. Видно, не страшна война, только утиши господи!

Он же, С. В. Васильев (впрочем, как и все другие по неизменным московским традициям), не переставал играть в то время, когда ему не полагалось ролей. Исполняя также вводную роль Разлюляева в «Бедность не порок», умел оживить и подцветить ее. С молодцовской ухваткой расхаживал он щеголько между девицами, пощелкивая орешками, и с ухарским вывертом потчевал их из синего платочка. Словом, все было на счету и полагалось в смете, чтоб играла жизнь на сцене так же, как и на вольном свете. И Садовский в роли пропойцы Любима Торцова не задумывался отыскать и надеть тот сорт одежи, которая у рядских остряков давно известна под названием «срам-пальто»: не красит и не греет, и удобно лишь в нем от долгов бегать. Казалось даже и по таким мелочам, что на этих высоких праздниках рождения русского народного театра все, очевидно, воспрянули духом и, несомненно, возликовали сердцем. Поддерживая намерения автора и служа его высоким целям, все без исключения, до женских персонажей включительно, помогали ему с сознанием высокой важности и глубокого значения совершавшегося на сцене исторического события.

Л. П. Косицкая, много уже потратившая сил на слезливых ролях искусственных французских мелодрам, достигшая наивысшего успеха в «Материнском благословении» (где и Сергей Васильев в роли савояра прыгал под песенку некрасовского перевода: «За моей женой три су, а за мной всего четыре»), воспрянула в жизненной поэтической Катерине (в «Грозе»). Здесь она очаровала самого автора, а в роли Дуняши («Не в свои сани не садись») вызывала непритворные слезы, зачастую доводила до истерик более впечатлительную и слабую половину театральных зрителей. Сестры Бороздины (особенно Варвара Павловна в «Грозе») из водевильных гризеток и ложнорусских горничных преобразились в подлинных русских девиц на всякую стать: скромных и застенчивых, бойких и шалов-

ливых, городского пошиба и подлинного купеческого склада.

Все эти исполнительницы, со включением Васильевой (Екат. Ник.) в той пьесе Островского, с которой несомненно началась новая эра, поставленной в бенефис Косицкой («Не в свои сани»)[60], проявили свои таланты в полную меру. Совершеннее сыграть было невозможно.

Из артистов со вторых ролей погодился, приходясь ко двору, и Николай Матвеевич Никифоров, который уже издавна и кстати любил пить чай с купцами в Охотном ряду. Точно так же, к немалому удивлению всех, любовно и зорко следивших за успехами сцены, выступил в пьесе Островского во второстепенной, почти так же вводной, не легкой роли трактирщика Маломальского Степанов, поразивший мастерскою отделкой ее. Точно и он, содержимый в черном теле, все время втайне копил и сберегал свои силы, чтоб охотливо обнаружить их, когда всех потребовали к ответу и облегчили его задачами на знакомые темы. Петр Гаврилович был необыкновенный, замечательный мим, с таким успехом исполнявший роль князя Тугоуховского (в «Горе от ума»), что император Николай Павлович приказал вызвать его в Петербург, чтоб еще раз доставить удовольствие императрице Александре Федоровне, признавшей в этом исполнителе молчаливой роли одного московского сановника. Степанов, сыгравший Маломальского, удостоился и другой оценки, личным свидетелем которой был И. Ф. Горбунов, оставивший в своем дневнике такую заметку.

Вскоре после первого представления комедии «Не в свои сани не садись» зашли они пить чай в трактир Пегова (где теперь ресторан «Эрмитаж»).

— Выпили мы «четыре пары»,— так в свое время определялась порция чаю,— Петр Гаврилович отдал половому деньги. Половой через минуту принес их обратно и положил на стол.

— Что значит?— с удивлением спросил Степанов.

— Приказчик не берет,— с улыбкой отвечал половой.

— Почему?

— Не могу знать,— не берет. Ту причину пригоняет...

— Извините, батюшка, мы с хозяев не берем,— сказал, почтительно кланяясь, подошедший приказчик.

— Разве я хозяин?

— Уж такой-то хозяин, что лучше требовать нельзя! В точности изволили представить! И господин Васильев тоже: «Кипяточку!» На удивление!..

— За комплимент благодарю, а деньги все-таки возьми.

Я привожу этот маленький случай с небольшим актером, собственно, для того, чтобы показать, насколько, при давно уже упрочившейся связи театра с публикой, влияла сцена

на первобытную нетронутую русскую природу, когда заговорили о человеческих чувствах на общепонятном родном языке. До изумительно точного художественно обработанного языка Островского за народную русскую речь выдавалось на сцене такое поддельное месиво, которое по всей справедливости следует назвать дурацким. «Филатка и Мирошка», водевиль актера Григорьева, прославившегося на весь свет куплетом: «По Гороховой я шел, но гороху не нашел, а на Малой на Морской капли нет воды морской»,— водевиль, пользовавшийся необыкновенным успехом даже на детских театрах,— считался первым произведением из народного быта. А между тем не угодно ли прислушаться к тому, как поют на сцене мужички петербургского изделия, по наблюдениям столичных знатоков и сценических исследователей и толковников (кстати сказать, эти пейзаны к тому же все без исключения патриоты самого приторного свойства). Григорьевский мужик поет:

Русских знает целый свет:
Не с руки нам чванство,—
Правду молвил я иль нет,

(обращаясь к публике)

Пусть решит дворянство[61].

Никогда и ни один из русских театров не достигал до такой высоты совершенства и влияния, до какой поднялся к середине текущего столетия Московский театр. Произошло это благодаря необыкновенно счастливому соединению разнообразных талантливых сил, создавших известные традиции, живые и действительные там и в наши дни, и выразилось в том, что все роды драматических произведений находили себе первоклассных исполнителей. Гениальный трагик Мочалов, увлекавший своею игрою до чрезвычайных восторгов самую требовательную публику, донашивал на своих могучих плечах классическую трагедию и драму. Высокая комедия также властительно пользовалась своими законными правами и блистательно отвоевывала их с такими вождями, как Грибоедов и Гоголь, и таким пособником, как М. С. Щепкин, звезда которого к тому времени, когда выступил Островский, еще блистала ярким светом. Под особой защитой высокой комедии укрылся и ужился ветреный весельчак, безобидный остряк и бесстрастный потешник, привозной гость — водевиль, счастливее и богаче всех прочих заручившийся поклонниками и защитниками. При таких условиях сцена, угождая репертуаром решительно всякому вкусу, а при подобных исполнителях самому требовательному, возобладала небывалым влиянием на

общество богатой и купеческой Москвы. Такого влияния в равной степени нельзя наблюдать ни в каком другом городе, хотя бы также университетском и также торговом.

Мочалову (едва ли не из первых) довелось убедиться, насколько существенно это влияние сцены и деятельная связь, незримо, но прочно закрепляемая ею со зрителями. Во всяком случае, он первый в счастливом избытке воспользовался результатами влияния своей потрясающей нервы игры на простых людей, не тронутых образованием, и тотчас же, как только они возымели решимость выйти в театральную залу из затворов Замоскворечья, оберегавшихся дубовыми воротами и злыми цепными собаками. Увлечение Мочаловым в наибольших размерах проявилось именно в этой среде, нуждавшейся в сильных наркотических средствах для подъема душевной энергии, ежедневно ослабляемой мелкими заботами будничной жизни, направленной исключительно к наживе и сосредоточенной на денежном барыше и имущественной прибыли. В то время, когда художественная, тонкая в отделке игра Щепкина в высоких комедиях была здесь менее внятною, чем в интеллигентных столичных слоях,— у Мочалова была благодарная, восприимчивая и им же самим взрыхленная почва в средних классах.

«Купцы наши московские (свидетельствует его дочь, Екатерина Павловна Шумилова) так любили отца, что готовы были пол-лавки отдать за то только, чтоб он побывал у них». Не отставали и француженки в модных и богатых магазинах, рассыпаясь перед ним в любезностях, когда знаменитый трагик с дочерью являлся за покупками.

Если купеческие дети просили матерей лепечущим языком, еще бессильным выговаривать правильно фамилию Косицкой, указать им ее на сцене, то это совсем не означало, чтобы Л. П. разделяла с Мочаловым успехи и славу. Лавры ее и всех прочих выросли в купеческих домах уже далеко потом, а между тем уже в это время 12-летней девочке, дочери Мочалова, лишь из любви к ее отцу один поклонник в серебряных рядах поднес прелестное бриллиантовое колье на шею. При этом замечательно то, что Мочалов своих поклонников не баловал и, пробиваясь тернистым путем и расчищая дикую залежь для последующих сеятелей, знамя независимого артиста держал высоко. Как передовому — и уже положительно первому — ему приходилось выводить звание актера из ничтожества, из того полупрезрительного положения, в каком оно долгое время находилось. Когда, ввиду обычая развозить бенефисные билеты по домам, ему советовали поступить так же, уверяя даже, что купец Гучков приготовил в подарок серебряный сервиз ценою в 500 рублей, Павел Степанович отвечал резким отказом:

— Билеты на бенефис актера Мочалова продаются в кассе Большого театра.

Затем после Мочалова надо было явиться Островскому с народными драмами и комедиями, чтобы, смягчив и уничтожив кое-какие противоречия и недоразумения, разом повернуть симпатии Москвы в другую сторону, остановить их на новом месте и здесь навсегда закрепить.

Благодаря Островскому, сцена сделалась в общественном мнении своею, родною, «нашей московской». Театр из храма увеселений превратился в школу, и в ней совершилось неожиданное чудо. Автор, проникший во все тайны темного царства и выставивший их на всеобщий суд и осуждение, и артист[62], одухотворявший с равным искусством и очевидной правдой и крикливый порок, и молчаливую добродетель, сделались излюбленными друзьями этих самых героев комедий. Уважение обоим великим художникам оказывалось всюду и всеми также великое. Они сделались дорогими гостями. За высокую честь стали считать их внимание и посещения; к их речам с восторгом и благоговением прислушивались. И сотворила такие чудеса художественная правда, выведенная на сцену, не только в среде образованных из купечества, успевшего зачислиться в интеллигенцию, но и среди тех, «диких», избалованных достатком самодуров, которых особенно не щадил автор, и в них действительно еще не кончилась борьба темного злого духа с добрым началом. И эти в одинаковой степени широко растворяли двери своих крепко запертых домов прямо в гостиные комнаты с аляповатой мебелью старых рисунков, с застоявшимся затхлым запахом забытых покоев, которые только что перед приходом дорогих гостей были подметены и проветрены, а открывались и освещались лишь на такие исключительные случаи.

Степень нравственного влияния произведений Островского на публику в главном выдающемся сословном представительстве ее жителей с самых первых пьес сделалась настолько очевидной, что не нуждается в примерах и доказательствах. Особенно сильное возбуждающее впечатление на «купеческую» Москву произвела драма «Бедность не порок», с 25 января 1854 года до последнего дня масленицы не сходившая со сцены. И все это между тем происходило в то тяжелое время, когда помрачился политический горизонт и до патриотической русской столицы, хотя и медленно и в искаженном, по обычаю, виде, доходили недобрые вести о севастопольском погроме.

Очевидец, свидетель первых успехов этой счастливой пьесы И. Ф. Горбунов был поставлен в благоприятные условия наблюдений за теми впечатлениями, какие были вызваны ею в среде московского купечества. Мастерскими штрихами наблю-

дательного художника он сумел оттенить оба результата, вызванные неподражаемою игрой Садовского, с которым Горбунов был в это время неразлучным, сопровождая его всюду, откуда получались приглашения на хлеб-соль или чашку чая.

В одном случае он был свидетелем такого привета, полученного Садовским:

— Ну, Пров Михайлыч, такое ты мне, московской первой гильдии купцу Ивану Васильеву Н—ву,— уважение сделал, что в ноги я тебе должен кланяться. Как вышел ты, я так и ахнул! Да и говорю жене (увидишь, — спроси ее): смотри, говорю,— словно бы это я!.. Борода только у тебя покороче была,— ну вот как есть! Это, говорю, на меня критика. Даже стыдно стало: сижу в ложе-то, да кругом и озираюсь,— не смотрят ли, думаю, на меня. Ей-богу! А как заговорил ты про тарантас, я так и покатился! У меня тоже у Макарья случай с тарантасом был.

И он рассказал, как с Нижегородской ярмарки возвращался он в Москву и три дня не вылезал из тарантаса.

Горбунов записал, между прочим, и такую исповедь Садовскому одного из московских купеческих самодуров, по поводу именно игры Любима Торцова:

— Верите, Пров Михайлыч, я плакал. Ей-богу, плакал! Как подумал я, что со всяким купцом это может случиться... страсть! Много у нас по городу* их таких ходит: ну, подашь ему,— а чтобы это жалеть... А вас я пожалел,— именно, говорю, пожалел. Думаю: господи, сам я этому подвержен был,— ну, вдруг! Верьте богу, страшно стало! Дом у меня теперь пустой: один в нем существую, как перст. И чудится мне, что я уж и на паперти стою, и руку протягиваю... Спасибо, голубчик! Многие, которые из наших, может, очувствуются. Я теперь, брат, ничего не пью,— будет! Всё выпил, что мне положено!.. Думаю так: богадельню открыть... Которые теперича старички,— в Москве много их!— пущай греются. Вот именно мне эти ваши слова: «как я жил, какие я дела выделывал!» Ну, честное мое слово,— слезы у меня пошли».

Сверх купеческих домов, куда нарасхват приглашались наш драматург и его толкователь[63], компания Островского любила посещать по субботам веселые и разнообразные вечера Булгакова,— не Павла, бросившего на сцену кошку вместо букета петербургской танцовщице Андреяновой, а другого брата — Константина Александровича. У этого все друзья Остров-

* Разумея, конечно, Гостиный двор с прилегающими окрестностями. Упомянутый здесь случай благотворения не выдуман.

ского были своими людьми, умело соединенные в такую беседу, подобной которой не было, конечно, во всей Москве, благодаря тому, что и сам хозяин не был заурядным человеком. Он был отлично образован и даровит: прекрасно рисовал, мастерски играл на рояли и под аккомпанемент ее без голоса умел обаятельно передавать суть глинкинских романсов. Сверх всего, владел он необыкновенно добрым сердцем.

Посетители булгаковских вечеров, на Дмитровке, в доме Щученка, куда К. А. перебрался после смерти отца, назывались «субботниками». Заведена была книга-альбом, в которой каждый из посетителей обязан был, при поступлении, собственноручно вписывать свою фамилию. Кн. П. А. Вяземский, при проездах через Москву бывавший у Булгакова, значится в числе субботников, и в альбоме имеются его стихотворения. Вообще стихов было много, в особенности Б. Н. Алмазова. А. Н. Островский также охотливо, вместе с друзьями, посещал эти собрания и, следуя общему закону кружка, внес и свою лепту, и, по примеру большинства, также стихотворную — «К ней» или «Об ней», но во всяком случае вызванную молодым настроением в пору развлечений и любви. Хотя, благодаря внешней форме, стихи могли быть прочитаны при посторонних свидетелях, но в них все-таки скрывалось истинное увлечение влюбленного, и стихотворение предъявлено было в виде признания, но искусно замаскированного шуткой. Свидетелями были обычные посетители вечеров: чуть не ежедневный Садовский, Мих. Ник. Лонгинов, скульптор Рамазанов, музыкант-композитор Дютш, остроумный Б. Н. Алмазов и отставной актер Максин, служивший большим утешением и развлечением общества. Он иногда, среди оживленного разговора, задавал вопросы, совершенно не вытекающие из темы бесед, и вставлял замечания, вызывавшие общую веселость, а временами даже и неприятную досаду. При таком-то вмешательстве Максина, когда он, по привычке, усвоенной на сцене, встал в важную позу и сделал серьезную мину, являя из себя вид знатока, прочитал А. Н. Островский свое стихотворение:

Снилась мне большая зала
Светом облита,
И толпа под звуки бала
Пол паркетный колебала
Пляской занята.

— Прекрасно! — воскликнул Максин. — Живая картина!

У дверей — оффицианты
И хозяин сам.
И гуляют гордо франты,
И сверкают бриллианты
И глаза у дам.

— Необыкновенная поэтическая картина! Ну-с!— не отставал Максин.

— Да не мешайте, Петр Алексеич!

— Я не мешаю: я преклоняюсь перед поэтом.

Воздух ароматно-душен,
Легким тяжело.
К атмосфере равнодушен
Женский пол совсем воздушен,
И одет голо...

— Да! К сожалению, в нашем великосветском обществе дамы одеваются...

— Ах, Петр Алексеевич!

— Молчу!

И отважно и небрежно
Юноши глядят.
И за дочками прилежно,
Проницательно и нежно
Маменьки следят.

Всюду блеск, кенкеты, свечи,
Шумный разговор,
Полувзгляды, полуречи,
Беломраморные плечи
И бряцанье шпор.

Вальс в купчихах неуместно
Будит жар в крови,
Душно, весело и тесно,
Кавалеры повсеместно
Ищут визави.

— Виноват, я думал, что это в великосветском обществе,— не переставал Максин, говоря все тем же напыщенным тоном голоса, к какому привык на сцене, играя в трагедиях.

Вот меж всех красавиц бала
Краше всех одна.
Вижу я, что погибало
От нее сердец немало,
Но грустна она.

Для нее толпа пирует
И сияет бал,—
А она неглижирует,
Что ее ангажирует
Чуть не генерал.

— Превосходно!

— Да отстаньте, Петр Алексеич!

Чтение прерывается. Стихотворение полностью вносится в альбом Булгакова, как в протокол веселого заседания.

Гений дум ее объемлет,
И молчат уста.
И она так сладко дремлет,
И душой послушной внемлет,
Что поет мечта.

———

Как все пусто! То ли дело,—
Как в ночной тиши
Милый друг с улыбкой смелой
Скажет в зале опустелой
Слово от души.

———

Снятся ей другие речи...
Двор покрыла мгла...
И, накинув шаль на плечи,
Для давно желанной встречи
В сад пошла она.

. . . .

Следом за этим стихотворением Щепкин собственноручно вписывает стихотворение Пушкина «Полководец». Он также читал его и здесь, как равно и любимое стихотворение про Жакартов станок[64], которым он всегда занимал публику на благотворительных концертах и литературно-драматических вечерах. Это, как известно, дало повод Б. Алмазову сказать в одном из стихотворений[65]:

И Щепкин не раз про Жакартов станок
Рассказывал нам со слезами,
И сам я от слез удержаться не мог,
И плакали Корши все с нами*.

«Она» стихотворения Островского и его увлекшегося сердца принадлежала к интеллигентной семье и в комедии,

* Известная семья, замечательная выдающимися деятелями: старший, Евгений Федорович Корш, недавно скончавшийся в глубокой старости, принадлежал литературе, как и брат его Валентин Федорович, бывший редактор «С.-Петербургских ведомостей». Младший брат, Леонид, известен был в Петербурге, как владелец экипажной фабрики, изготовлявшей самые фешенебельные и прочные рессорные коляски, кареты и проч. Из сестер одна была замужем за известным нашим критиком Аполлоном Александровичем Григорьевым, другая — за К. Д. Кавелиным, третья — за профессором университета Никитой Ивановичем Крыловым, четвертая — за московским богачом А. К. Куманиным, а пятая расцветала в девицах во время молодости Александра Николаевича Островского.

по толкованию его живых комментаторов, оказалась в семье небогатого чиновника, под именем Марьи Андреевны. Находилась «она» в очень схожих условиях жизни, как и дочь вдовы Незабудкиной[66]. Вообще на «Бедную невесту» будущим комментаторам придется обратить особое внимание, тем более что эта одна из самых ранних пьес писалась под впечатлением ближайшей среды, когда горизонт мировоззрения автора еще не развернулся в полную мощь и сумма наблюдений не была еще настолько богата, как впоследствии. При обобщении характерных черт действующих лиц комедии свободно и естественно могли подвернуться те, которые присущи некоторым друзьям автора, может быть, из его же кружка, как, например, Милашин, и, кроме того, конечно, случайные знакомцы, хотя бы по кратковременной службе автора в одном из московских присутственных мест (каковы: старый стряпчий Добротворский и служащий чиновник Максимка Беневоленский)*. В Хорькова вложены те общие субъективные черты, которые присущи робким и бесхарактерным людям коренного русского склада, ударяющимся при роковых неудачах в загул, но вовсе нет надобности искать здесь какого-то ответа коварной изменнице от страстно влюбленного и отвергнутого поклонника. Могло произойти и это событие живым и вчерашним на зорких глазах юного и впечатлительного автора. Конечно, и его исключительному темпераменту, как избранника, не только не меньше, но в значительной степени в более крупных дозах отпущено было запаса нежных чувств для проявления их, как законной дани молодости. Затем всесильная мода на альбомы и всемогущий обычай свидетельствовать свои влюбленные чувствования стихами известных поэтов, а того лучше собственного сочинения, соблазнили и молодого драматурга нашего. И он не избег общей участи: к нему, конечно, также предъявлялись эти требования в ту пору, когда романтическое настроение еще не искоренилось и замоскворецкие девы поглядывали на луну и задумывались над пылающими сердцами, зарисованными в их альбомы. Молодой Островский представлял из себя стройного юношу, одетого щеголевато, а по получении первой платы от Погодина за «Свои люди», даже по последней парижской моде. Он пел романсы, и пел превосходно, очень мелодичным тенором, как свидетельствовала в печати одна из знакомых его в этой ранней молодости[68]. С годами он начал полнеть, приобрел солидную посадку и перестал в довольной мере напоминать собою то время, когда он был еще начинаю-

* В Беневоленском знающие люди находят схожие во многом черты с известным оригиналом, профессором университета по кафедре Римского права[67].

щим писателем*. А так как в то же время он становился великим, то долг наш, обязывающий сохранять в памяти все то живое, чем высказывался его устанавливающийся характер, невольно понуждает кстати и к слову привести нижеследующий акростих, написанный в скромном и теперь уже потерянном альбоме:

Зачем мне не дан дар поэта,
Его и краски и мечты?
Нашлась нужда теперь на это.
Аврору, майские цветы
И все на свете красоты
Давно бы описал я смело,
А вас писать — другое дело.

Рядом со стихотворными шутками, облегченными знанием родного языка и его форм, доведенным, можно сказать, до виртуозности, у Островского шло прислушливое изучение неизвестных еще приемов в живой речи и усыновление их, при помощи сцены, в литературном языке. Опыты, как известно, оказывались настолько удачными, что многие слова и выражения получили права гражданства и некоторые из них узаконены, как новые пословицы или уличные поговорки. Родную речь он любил до обожания, и ничем нельзя было больше порадовать его, как сообщением нового слова или неслыханного им такого выражения, в которых рисовался новый порядок живых образов или за которыми скрывался неизвестный цикл новых идей. Это привело его к серьезной работе составления особого словаря с своеобразным толкованием, которая, конечно за недосугом, не могла быть доведена до конца. Тем не менее наследникам автора представилась возможность дать второму отделению Академии наук ценный подарок в образчиках, которые удалось набросать Островскому в черновиках его посмертных рукописей[69].

Много слов, взятых из его произведений, прошло в обиход, и досужливому наблюдателю не трудно будет выделить их и занести, как новость и особенность, в словарь, подобно словам «метеорское звание», «доказывать», «патриот своего отечества», «черты из жизни» (на красных носах невоздержных гуляк) и проч., за которыми скрываются цельные представления и картины, обрисовываются оригинальные

---

* «Вот что делают годы: из Аполлона я превратился теперь в Посейдона»,— шутливо острил над собою Ал. Ник. близко знавшим его в молодости друзьям своим в Петербурге.

характеры и живые типы*. Все, имевшие случаи слушать его беседы и принимать в них участие, не откажутся подтвердить, какую массу метких замечаний разбросал он бесследно с легкостью богатого и расточительного владельца.

Глубина наблюдений всегда являлась первою на глаза и вела к прямому убеждению, насколько богато одарена была эта талантливая натура, которой, однако, не помироволила судьба. Богатой природе не дано было настоящего образования в строгом смысле этого слова, по зависимости от обстоятельств того сурового времени, когда начал расти и развиваться самобытный природный талант. Ему не удалось сделаться специалистом, пригодным на государственную службу, так называемым «сих дел мастером», но та же университетская неудача[70] не помешала найти путь к истинному призванию. Не многим удавалось выбиваться из навязанной или вынужденной колеи и за свой счет попасть на прямую дорогу при чрезмерных усилиях. В прежних статьях об Островском я имел случаи указать на резкие и выдающиеся примеры и, теперь при занесении в этот список Островского, тем не менее приходится считать это общеевропейское явление коренным русским. В самом же виновнике недовольство собой и эта досада на вынужденное несовершенство были довольно глубоко и искусно скрыты. Въяве это могло проявляться (и то лишь отчасти) в той хвастливости, которую засчитывали Александру Николаевичу,— явный недостаток, правду сказать, резко бросавшийся в глаза. В сущности же, неудержимое стремление прихвастнуть собой и повеличаться небывалыми и даже невозможными в его положении качествами и достоинствами всего вернее следует отнести ко времени выхода из незаметного положения в общественной среде и к той забалованной привычке, от которой отставать ему не хотелось, а окружающие усиленно не дозволяли. Привычка эта, конечно, приобретена была им главнейшим образом в ту пору, когда ранние успехи и тотчас следовавшая за ними слава захватили его в молодых летах неустоявшимся. Не было опыта жизни и достаточных сил

* «Метеорское звание», которое носил знаменитый Любим Торцов, и сейчас применяется с удобством ко всем лицам подобной печальной профессии метеоров и которым с придатком характеристики «тепленького», «чуть тепленького», оттеняются настоящие, безвозвратно потерянные. «Доказывает» (свое превосходство) — ломается надменный человек, не желающий слушать чужих мнений и не умеющий отвечать по неразвитости; мысли в разброде и голова занята лишь самим собой; гордо глядит, односложными словами отвечает, покручивая усы, и даже мимоходом поглядывая в зеркало, и т. п. Объем статьи затрудняет дальнейшие наблюдения в этом направлении. Применение различных выражений из произведений Островского к случайным обстоятельствам обиходной жизни Горбунов довел также до виртуозности. Модест Писарев также знает почти всего Островского наизусть.

удержаться от угара, чтоб ослабить охмеляющий наплыв лести и слепого повсюдного поклонения. Эта хвастливость не была, однако, продуктом отталкивающего чванства или гордого самомнения. Она носила самый невинный характер, доходивший нередко до забавных крайностей в тех случаях, когда в виду чужих действительных заслуг на него быстро нападал каприз равняться и даже поперевенствовать на словах, как бы из боязни остаться на задах в обидном положении неумелого или неспособного. Зато, если кто из людей, к нему близких, проявил известное признанное за ним дарование, то в глазах и на словах Островского не было уже человека лучшего и высшего. Привязанность здесь была искренняя и прочная, и даже не без крайности и увлечения. Личная же похвальба во всяком случае являлась не только странною, но и совершенно ненужною даже и в это время. Все, что успел Островский сделать в своей трудовой литературной жизни, произведено было им с образцовым и изумительным совершенством, и Александру Николаевичу некому было завидовать.

Мне, между прочим, довелось быть свидетелем того, насколько были вразумительны, сильно трогая и глубоко проникая, те места его произведений, которые отделал он с наибольшим успехом и любовью. И это право отпущено его таланту в исключительный дар за то, что он с уважением относился к каждой написанной им строке; и затем, конечно, мог отстоять каждое слово, им выпущенное, любой эпитет, им подвешенный, ловко и в надлежащую меру.

— Слово «упаточилась» очень известное и употребительное. Да и у меня в рукописи написано оно так четко, что не надобно и разбирать,— с явным досадным упреком и заметным недовольным чувством отвечал он Горбунову, бывшему еще неизвестным переписчиком и спросившему его об этом слове, собственно, для того лишь, чтобы в первый раз в жизни услышать его голос (до той поры он видел его только издалека).

Живо вспоминается теперь чтение А. Н. Островского в одном из купеческих домов за Москвой-рекой, на Полянке, куда привез меня П. М. Садовский, бывший в этой семье своим человеком. Чтение назначено было утром с 12 часов в уважение болезни хозяина, которого Островский очень любил, но которого доктора засадили дома и не позволяли засиживаться по вечерам. Больному хотелось послушать «Воеводу», о котором он слышал как о пьесе давно задуманной, а теперь вот узнал, что она, наконец, написана.

Уже по рысакам у подъезда можно было предположить, что хозяин вознамерился слушать не по-домашнему запросто,

а в большом собрании и с некоторою торжественностью, в праздничной обстановке. Два официанта в нитяных перчатках, встретившие нас в передней, эту догадку подкрепили. Когда же из боковой двери и, по-видимому, даже без особенной надобности, высунулась голова повара в белом колпаке, Пров Михайлович кивнул в ту сторону и заметил, по обычаю отрывисто и кратко:

— Вот изволите видеть! — и, понюхав табачку, тотчас вывел меня из недоумения.

— Вот как у нас чествуют достойных писателей, не то что как в Санкт-Петербурге! (К слову сказать, Садовский этот город иначе не называл, очень недолюбливал и, вернувшись в Москву, после первой гастроли своей на Александринском театре, описывал его изумительно оригинальными и чрезвычайно остроумными штрихами.)

И потом он говорил, когда мы успели осмотреться в гостиной, наполненной посетителями (было человек тридцать):

— Приехал от вас не то жид, не то армянин. Покормили его здесь в полное удовольствие, обласкали. А он взял да в благодарность пасквильные стихи написал: нашему Ленскому позавидовал. Стыдно-с!

— Да ведь он не армянин, а грек...

— Все равно-с. Полухохол и полугрек, но нежинский, а не мелетский[71]. Аполлон (Григорьев) превосходно сказал: теперь ему с выбитым зубом и огрызаться нечем.

— Приехали! — кто-то сказал сдавленным шепотом, но довольно громко.

— И Горбунова привез,— заметил другой сзади меня вполголоса.

— Этот уважит! Сам-от читать, что ли, будет?

— А зачем же тебя и позвали?

Вся толпившаяся около дверей залы и в гостиной публика зашевелилась, освобождая дорожку и устанавливаясь стенкой. Устроилось это совершенно так, как делалось при соборном служении, когда суровый и строгий митрополит Филарет входил в Успенский собор и его также ждали и встречали такими же поясными поклонами, и, кажется, даже с опущенными глазами встретили и Александра Николаевича, который вошел своей медленной походкой с разлитой на лице добродушной и приветливой улыбкой. В руках у него была листовая в переплете тетрадь. Он положил ее на круглый стол, когда сам уселся на диване, а слушатели разместились на тяжелых стульях с выгнутыми спинками, обитых скользкою волосяною материей.

Началось чтение мелодичным голосом, чистым и светлым баритоном, когда одно фальшивое ударение не дерзает оскорблять слуха, как случается теперь зачастую на петер-

бургских литературных чтениях*. При чтении вслух Александр Николаевич выработал особенную манеру, отличительную от других мастеров в этом роде, каковы его друзья: именно Писемский и Ал. Ант. Потехин. Читал он очень медленно и спокойно, как бы сам прислушивался к звукам своего ровного голоса и каждую отделанную фразу, пользуясь этим благоприятным случаем, еще раз взвешивал и оценял. «Сон на Волге» стал оживать в картинной яви, когда у ворот воеводского дома заговорила толпа, раздались крики бирюча и полились затем ворчливые речи измученных воеводскими неправдами посадских из лучших людей. С постепенностью, с какою он вводил всех в интересы действующих лиц, навевал он на слушателей то же душевное настроение, каким несомненно и сам был проникнут.

Невозможно было разобраться, что здесь лучше: прелестный ли стихотворный размер или превосходное чтение. Явно чувствовалось одно, что автор перенес нас в такое далекое время, когда одна за другою восстают новые картины как живые, хотя и не виданные и не слыханные: свободные речи недовольных; площадной шут, дерзающий обличать грозного воеводу, и сам он немилостивный, отбивающийся от жалоб и нападок лукавыми речами всенародно, на городской площади и на ступенях собора, и т. д.

Читал это автор в таком гробовом молчании, которое ясно доказывало, что слушатели, как бы сговорившись заранее между собою, решились ему показать, что они умеют благоговейно слушать, что недаром приучала их к такому способу игра сценических мастеров, каковы Щепкин и Садовский, что они всецело отдались автору, верят всему, что он скажет, и, по мере разумения и по силе чувствований, наслаждаются. Вот этакого разумного человека народил господь и послал в нашу матушку Москву: слушает она его теперь и не может вдоволь наслушаться. То всем дорого и лестно, что наш он, батюшка, наш.

Много раз потом слушал я чтение Островского в ежегодные осенние и зимние приезды его в Петербург (в квартире брата, у актера Бурдина, у Некрасова и проч.), но такой свободной манеры, непринужденной до изящного, и художественной простоты я уже не слыхал (читывал он и стихотворные). Казалось тогда, что будто слушаешь оперу,

* Хотя Островский и считал себя (по отцу) костромичом, родившись в Москве, но в разговоре его не замечалось признаков грубоватого низкого говора на «о»,— он, конечно, говорил и читал свысока, низким московским говором и, разумеется, без пересола замоскворецких кумушек. Зато Писемский упрямо сохранил говор своей чухломской родины, и это помогало ему доводить до полного слухового обмана особенно тех, кто слушал из соседней комнаты чтение «Плотничьей артели» и «Горькой судьбины».

построенную на новых мотивах, словно древних лет Баян воскрес и вновь вдохновился.

И речи из уст его вещих сладчайшие меда лилися.

Прочитал Александр Николаевич пролог «Воеводы» за один дух, и, когда откинулся на спинку дивана, прося позволения отдохнуть,— всеобщее молчание не нарушалось.

Отдыхал автор недолго. Не скрылось от нас, что он сам увлекся чтением и желает его продолжать перед такими охотливыми и благодарными слушателями. Он прочитал затем самый «Сон». Когда дошел до хвалебного стиха Волге, вложенного в уста недруга воеводы, и прочитал его с поразительною простотой и в увлекательно мягких тонах до неестественной торжественности,— в среде простодушных, но тем не менее восприимчивых слушателей началось неожиданное движение. Один глубоко вздохнул на всю комнату и этим как будто подал сигнал, чтобы и прочие несколько пришли в себя, оживились и приободрились. У хозяина навернулись слезы, хотя он и старался скрыть их от чтеца, но это ему не удалось: Александр Николаевич прекратил чтение, посвятивши ему времени около часу. Когда вышел он из-за круглого стола и все поднялись с мест, всеобщее молчание еще некоторое время продолжалось, словно не застыли еще в воздухе и носились в нем нежные слова привета, лаская слух и окрыляя мысли:

Кормилица ты наша, мать родная!
Ты нас поишь, и кормишь, и лелеешь!
Челом тебе! Катись до синя моря!..

Один из слушателей простодушно признавался мне:

— Ну, чего тут толковать и о чем разговаривать? Не хвалить звали — слушать. Неумелою похвалой,— да ежели она невпопад окажется,— можно обидеть. Верно, как говорили, что лучше нельзя, и никто так не может. Вон и Пров Михайлыч — на что уж умен и сам доточлив, а и тот молчал: тоже замер.

Садовский хотя и молчал, но тем не менее действовал: хозяин на ушко спросил его благословения и получил его ответным кивком головы:

— Милости просим к хлебу-соли!

Засим обычная заключительная сцена, на этот раз уже в зале.

В зале, заменившей столовую, началось движение: все подходили к закуске; сверкали рюмками. В предшествии страшного официанта, на манер дворецкого, внесли огромную кулебяку. Дворецкий снял с нее белое покрывало; вытянул вперед губы и сделал большим ножом продольный разрез.

Засочилось. Показалось что-то вроде червонца — это был яичный желток. За ним выскочил петуший гребешок; под ним шляпка белого гриба. Началось присмакиванье, присасыванье. Кто-то свистнул, у одного на левом глазу навернулась слеза.

Сели за стол. Уха из стерляди с налимьей печенкой. Телятина банкетная... Впрочем, я не буду подробно рассказывать, боясь в читателе возбудить, быть может, несвоевременный аппетит. Скажу только одно: нет теперь таких кулебяк, нет такой ухи и телятины, и нет таких богатырей-едоков.

Вот как описал этот завтрак покойный наш друг И. Ф. Горбунов (сам отличный повар), бывший в это же время в числе возлежащих за трапезой. И эту трапезу как неисчислимое множество на своем веку, он охотливо приправил, подсластил и оживил теми своими веселыми и бесподобными рассказами, подобных которым также не было, нет и, кажется, никогда не будет. Равным образом без его поддержки и сладких приправ не обходилось ни одно публичное угощение литературными чтениями, в основу которых обычно полагались корифеи отечественной словесности и выбирались по возможности хорошие чтецы, как А. А. Потехин, А. Ф. Писемский, Вас. Ал. Слепцов, поэты Майков, Полонский и театральные чтецы, укрепившиеся на сцене с примера трагиков, но повернувшие от них в противоположную сторону. От классических восторгов при взвинченных чувствах сделан был удачный, обеспечившийся счастливыми успехами переход на мотивы гражданской скорби (Модест Писарев, Полонский, Никитин) и наконец и даже одновременно быстрый скачок в шансонетки французской закройки, но домашнего шитья (Монахов и даже Самойлов).

Литературные чтения с легкой руки Островского и его ближайших друзей пришлись по вкусу публике и вошли в моду. Островский, Писемский и Потехин начали их в Москве в частных домах купеческих и аристократических и, конечно, бесплатными, исключительно в интересах личного творчества. Впоследствии литературные утра и вечера сделались платными всегда с благотворительною целью. С переходом на эстрады общественных и клубных зал чтения в глазах публики получили сначала тот существенный интерес, что можно было видеть вживе и въяве доселе незримых виновников наслаждений эстетических и художественных, вглядеться в их облик, из уст самих услышать их произведения, а по пути и кстати общепринятыми знаками доказать им свою признательность и за доставленное удовольствие и за поучения. Чтения во фраках сделались нового вида театральными увеселениями.

Если бы возник вопрос, который из трех московских основателей литературных чтений был лучшим, пришлось бы

ответить обычным детским способом. Каждый внес свою монету, и все пользовались одинаковым успехом с наддачею лишних восторгов в сторону которого-либо из них, в исключительных случаях подъема духа публики и вследствие какого-либо особого, временного ее настроения. Вообще прием в публичных чтениях, усвоенный, например, Алек. Ант. Потехиным, выделялся наибольшею горячностью по сравнению с двумя остальными, но у него, как равно и у Писемского, слушатели чувствовали живых лиц с оттенками их голоса и манеры, а для артистов имелись намеченными и готовыми такие штрихи, которые достаточно облегчали пути и способы к созданию полных и правдивых типов. Писемский сам был превосходным актером и замечательным рассказчиком, чего недоставало двум другим, и в особенности Островскому. Последний пробовал участвовать в своих пьесах на домашних сценах, но лишь только превосходно читал избранную роль, и совсем не играл, не был действующим лицом, а лишь посторонним участником и как бы обязательным свидетелем игры прочих. Многим еще памятно одно из таких представлений в квартире его шурина[72] (сначала в Запасном дворце у Красных ворот, потом в казенной квартире в Кремле). Автор превосходно читал свою роль, но все время не спускал глаз с Садовского, который, в числе прочих артистов, избранных и приглашенных на спектакль, сидел между зрителями. Этот странный прием, и притом примененный во все время действия с изумительным упорством, вынудил настоящего артиста сделать в антракте актеру-автору такое замечание:

— Зачем вы все на меня смотрите? Ведь я могу сейчас уйти из кресел, чтобы не мешать вам «играть».

Островский всеми помыслами, можно даже сказать — всем существом своим до того был предан интересам сцены и ревнив к ее успехам до мелочи, что потом еще не один раз пробовал испытывать на ней свои силы, но всякий раз (например, в доме Пановой в роли Маломальского) не пользовался удачами. Не удались ему также роль Подхалюзина и другие в собственных пьесах, из которых игрались преимущественно еще недопущенные в то время на сцену, как «Свои люди» и «Доходное место». Зато Писемский чтением своим (в особенности «Горькой судьбины») развертывал движение целой драмы в мельчайших оттенках характеров каждого из действующих лиц так, как должно быть на театральной сцене и совершенно и безобманно, именно в таком виде, как оно разыгралось бы и в жизни крепостной деревни и барской усадьбы. За эту художественную правду и мастерскую работу при отделке ее, только эта драма Писемского пользовалась большим успехом не столько на столичных, сколько на

провинциальных сценах,— на последних, собственно, благодаря безупречно правдивому исполнению ролей такими артистами, как Стрепетова и Модест Писарев, с его всегда обдуманною и цельно проникновенною игрой в роли питерщика Анания.

В судьбе обоих друзей, Островского и Писемского*, неизменно и искренно связанных друг с другом, без малейшей задоринки в недоразумениях до конца жизни, случилось как раз обратное: счастливый в личном участии на сцене, Писемский не имел возможности наслаждаться продолжительным успехом своих пьес; на сцене многих из них ему даже не пришлось видеть в исполнении. Островский был неизмеримо счастлив тем, что около всех, без исключения, им написанных произведений образовались целые самостоятельные труппы артистов, а на образцовом московском наш автор имел, в видах исключения для одного себя, выдающуюся удачу обойтись на первое горячее время без помощи таких сил, каковы: громадная Щепкина и весьма значительные и внушительные Шумского и Самарина: первого ярко выступавшего в водевилях и комедиях, второго — в комедиях и драмах. И кто бы мог поверить, что эти три артиста были закулисными недоброжелателями нашего знаменитого драматурга: Михаил Семенович довольно открытым, Сергей Васильевич из подражания ему, как своему покровителю, а Иван Васильевич, в то время не успевший вполне установиться на своих ногах, в роли нейтрального, но с приметным наклоном в сторону театрального ветерана. Об этом обстоятельстве необходимо сказать теперь несколько слов в интересах правды и полноты воспоминаний.

Во время расцвета творческого таланта Островского известная борьба славянофилов с западниками была в полном разгаре, в особенности когда первым удалось основать свой орган «Русская беседа» и в нем укрепиться с большею последовательностью и независимостью, чем до тех пор в погодинском органе «Москвитянине» и в отдельных сборниках. Во главе так называемых западников стояли тогда молодые профессора университета: Грановский, Кавелин, Кудрявцев, Катков и другие[73]. Когда Островский напечатал свою превосходную первую комедию «Свои люди — сочтемся» в «Москвитянине», западники легким, скороспелым способом только по одному этому обстоятельству зачислили его в ряды славянофилов. Когда же около погодинского журнала определительно сгруппировалась так называемая «молодая ре-

* Островский, как известно, участвовал в почине литературной деятельности Писемского в журналах: 4 сентября 1850 г. он привез Погодину повесть «Тюфяк», которая и была напечатана в ноябрьской книжке «Москвитянина».

дакция»,— западники еще тверже укрепились в своем ошибочном предположении.

Островский на самом деле мог оставаться еще под некоторым сомнением, если бы западники взяли труд поверить себя хотя бы явными фактами. Оказалось бы, что с славянофилами он тесно не сближался, хотя в то же время не искал знакомства и с их противниками. Однако на приглашение Каткова охотно отозвался и читал у него свою первую пьесу прежде многих других, и едва ли даже не у первого. Салон графини Сальяс, писавшей под псевдонимом Евгении Тур (составленным из обратно переставленных слогов фамилии Тургенева), посещаемый исключительно западниками, Островский изредка навещал, хотя все его прочие товарищи по редакции того намеренно избегали, боясь именно встречи с крайними западниками (и через это попали под их гнев). Их могло еще вводить в сомнение также и то, что некоторые из друзей молодого драматурга, как, например, более известный и видный между ними, придумал для себя оригинальный костюм на манер славянофильского, нечто вроде поддевки, которую и обратил в обиходный. Григорьева видали и в широком армяке, и в сапогах с напуском, и в барашковой шапке мужицкого покроя. Предполагалось, что оба не отпускали бород лишь потому, что с петровских времен борода находится под строгим запрещением: можно рисковать тем, что сведут в ближайшую казарму и там на барабане полковой цирюльник срежет ее и тупой бритвой подчистит. Садовскому, кроме того, мешает так поступить еще и актерское звание при ежедневном обязательстве гримировок.

Недоразумение выходило полное, и оба особняка устоялись в замкнутом и непроницаемом виде, каждый под своей смоковницей, сообразно с личным темпераментом и усвоенными симпатиями. И какие же это были славянофилы, учение которых требовало стойкости и последовательности, если взглянуть на тех же двух из компании Островского? Пылкий, увлекающийся Григорьев — человек замечательно своеобразных свойств, по самому характеру своему менее всего мог быть зависимым от каких-либо навязанных мнений и устойчиво стоять на одном месте. Он по натуре был подвижным. «Золотой сотрудник», как аттестовал его Погодин, с которым у него были близкие и частые сношения. «Много хорошего везде скажет с чувством»,— говорил ветеран-историк, но не был уверен в его прямолинейности и оставался недоволен тем, что не знал, как приладить к нему известную мерку.

Садовский же с первых скитальческих лет с провинциальными труппами оставался просто русским человеком до конца жизни, и, сделавшись москвичом, замкнулся в рамки тех

мировоззрений, какие свойственны этому коренному и центральному русскому городу,— несколько узких, несомненно крайних,— но таких, которые усвоены были нашим великим артистом бесповоротно и замечательно твердо. Он был последователен, даже до крайностей.

Рассказывается такой случай. Известный художник Рамазанов, близко стоявший к кружку Островского, вызвавший известное изречение Садовского, что севастопольские враги нас побьют, но не одолеют,— подвергся со стороны артиста такому простодушному, но искреннему осуждению за то, что выразил сомнение в нашей непобедимости:

— Изволите видеть, как татары-то рассуждают,— говорил тотчас Садовский.

— Какие татары?

— А ведь Николай-то Александрович татарин-с, хотя и санктпетербургский, а все-таки татарин...

— Как так, Пров Михайлович?

— Рамазан...— коротко оправдывался Садовский, лукаво посмеиваясь и обычно понюхивая табачок.

Не простил он ему этого решительно высказанного мнения, хотя твердо удостоверен был многими случаями, что Рамазанов был искренно русским человеком.

Слушать страстные, горячие речи Садовского, окружая группами, сходились все купцы, посещавшие известную печкинскую кофейную,— и такому красноречивому патриоту вовсе не было надобности сверх этого накидывать на себя еще искусственную личину славянофила. Он был только любящий и верующий русский человек, не изменивший себе до конца дней. Известность его в этом направлении была также очень велика. В Москве знали и, между прочим, рассказывали такой случай.

На вечере у М. С. Щепкина один из ученых западников вдался в объяснение того, что вся Русь такова, как обрисовал купеческую семью Островский в первой своей комедии. Иных людей, кроме плутов и мошенников, и быть не может.

— Ну, так прощайте, мошенники!— сказал Садовский — и ушел.

Раскол в ученых и образованных слоях Москвы такой высокой важности и глубокого значения успел проникнуть и за кулисы Малого театра, так как крупных представителей сцены не чуждалось не только образованное, но и самое высшее столичное общество. Впрочем, здесь оба эти направления, занесенные извне во взаимных сношениях между собою артистов, не имели особенно выдающегося и серьезного значения с последствиями, хотя самое движение было очень приметно. Образовались две партии, но ни за тою, ни за другою нельзя было признать указанного определения в строгом смыс-

ле. Вернее сказать, западницкая была просто щепкинской, а другая — крайняя — островской партией. К последней принадлежали почти все артисты, игравшие в пьесах Островского; на стороне правой стояли особняком только три вышеупомянутые во главе со Щепкиным, Шумский и Самарин. В сущности, главным поводом к этому распадению передовых артистов послужил именно новый репертуар, возобладавший сценою с неожиданно поразительным успехом. Эти трое не нашли в нем себе подходящих ролей: ни ветеран сцены, ни прекрасный в водевилях (в то время) Шумский, ни блестящий первый любовник Самарин. Типы Островского оказались совершенно незнакомыми, и им всем как будто приходилось оставаться за флагом. Шумский, ознакомившись с критиками Григорьева, так и говорил откровенно в знакомых домах и за кулисами в уборных:

— Надеть на актера поддевку да смазные сапоги — еще не значит сказать новое слово.

— Бедность-то не порок, да ведь и пьянство не добродетель! — ехидно острил хитрый ветеран сцены, не без скрытого подмигиванья и лукавого киванья в прямом направлении.

На защиту выступал Степанов, отличавшийся в роли Маломальского. Он говорил товарищам, втихомолку подсмеиваясь:

— Михайлу Семенычу с Шумским Островский поддевки-то не по плечу шьет, да и смазные сапоги узко делает: вот они оба и сердятся.

Известно, что Щепкин играть назначенную ему роль Коршунова (в комедии «Бедность не порок») наотрез отказался и резко порицал саму пьесу.

Не выдержал, наконец, и Садовский, вообще сдержанный и правдивый, когда «хитроумный» старец, ввиду выраставших успехов молодого писателя, начал не признавать в его пьесах уже никаких достоинств и в особенности порицал «Грозу». После споров в уборной, когда Щепкин вышел из себя, стучал кулаком по столу, костылем в пол, Садовский хладнокровно установил свое мнение, высказав решающее слово:

— Ну, положим, Михайло Семеныч западник: его Грановский заряжает, а какой же Шумский западник? — Он просто Чесноков.

Такой отзыв быстро распространился, и тем более угодил всем, что Щепкин состоял усердным посетителем собраний западников (чаще у Кетчера), а Грановский, по его просьбе, прочел актерам лекцию о комментаторах Гамлета. Что же касается Шумского, то действительно он носил природную фамилию Чесноков до поступления на сцену в Одессе, которую оставил для Москвы, но снова туда возвращался и опять вернулся в Москву на постоянную службу.

Горбунов, имевший уже тогда доступ за кулисы, помнил много забавных случаев пререканий между театральными западниками и славянофилами и в числе прочих очень остроумно описывал шутливый запрос, сделанный актрисам (Косицкой и Бороздиным) о том, к какой партии они принадлежат, так как знаменитая актриса Арг. Тим. Сабурова называла театральных западников «хлыстами».

Пока за кулисами шли эти споры и распри, совершилось событие, которого все желали и следовало ожидать. Об нем рассказал Горбунов как очевидец:

«В конце своей славной жизни, года за три или за четыре до своей смерти, ветеран-художник протянул руку примирения Любиму Торцову и сыграл его в Нижнем Новгороде. С потоками слез обнял он Островского на литературном утре в четвертой гимназии, где мы все участвовали. Сцена была чувствительная. Не помню слов, какие говорил Щепкин, но помню, что Александр Николаевич очень растрогался.

— Какой счастливый Александр Николаевич! — сказал Садовский, когда мы пошли домой.

— Чем?

— Как чем? Михайло-то Семеныч «приидите поклонимся» ему сделал».

Чуждый всяческих интриг и зависти и забавляясь театральными сплетнями, как веселым развлечением на досужие часы и в приятельской компании, Островский верил своему призванию столь твердо, что на нападки предпочитал отвечать действием, а не словами. Только один раз, выбитый из колеи на пути к славе, он решился печатно опровергнуть злобную клевету, но сделал это так неохотно и неумело в полемическом смысле («Московские ведомости»), что вынужден был поместить (в «Современнике») новое опровержение, изготовив его по настоянию друзей и при их существенной помощи[74]. Самолично же он поспешил ответить на клевету пятью новыми пьесами, тотчас же выпущенными после заподозренной и составляющими гордость отечественной литературы и украшение сцены. Недоброжелательство, укреплявшееся на шатких основах временных недоразумений, стало утрачивать свои силы и совсем ослабело, когда сам автор вышел из тесных рамок купеческого быта и ввел в свои комедии и драмы новые и живые элементы. Драматическая литература обогатилась свежими художественными типами, взятыми из прочих сословий государства, и сценическим деятелям предъявлены были иные мотивы, где можно было показать свои сдержанные силы и всем тем, которые до сих пор намеренно, из притворного упрямства, не хотели прибавить себе лишних успехов на сцене. С появлением в числе действующих лиц новых комедий

с ролями чиновников и военных, помещиков и актеров и проч. секрет был открыт. Самые стойкие и упрямые вынуждены были соблазниться и покориться. За объятиями Щепкина, хотя, конечно, и без прямого влияния их, последовало негласное, но столько же поучительное примирение с автором его театральных противников. И Шумский, и Самарин доброхотно сдались, но тем не менее успели одержать благородную победу над самими собой и блистательную над публикой, когда взялись за те роли в ранних пьесах, которые до того времени обегали. Среди выдающихся сценических успехов в Московском театре не забудется та образцовая мастерская игра, какою отличались: Шумский в роли Вихорева (в «Не свои сани»), Добротворского («Бедная невеста»), Жадова («Доходное место»), Оброшенова («Шутники»), Крутицкого («На всякого мудреца»), Счастливцева («Лес»), ростовщика («Не было гроша») и Самарин в роля Телятьева в «Бешеных деньгах» и Линяева в «Волки и овцы». Исполнение роли Самариным в последней пьесе вызвало искренний восторг самого автора, сказавшего, что артист в ней, как рыба в воде.

С переходом Островского в «Современник» стало ослабевать и то неблагоприятное предубеждение, которое с самого начала его деятельности господствовало среди западников, хотя крайние из них, как В. Ф. Корш и переводчик Шекспира Кетчер, всегда признавали в нем великий талант. Талантливая критика Добролюбова («Темное царство») окончательно разрешила вопрос и примирила западников с Островским. Он сделался постоянным и исключительным сотрудником «Современника», где дана ему была и подходящая материальная оценка, установившаяся раз навсегда (по 200 руб. за каждый акт), и остался верен редакционной компании Некрасова, когда она, после запрещения «Современника», взяла в свои руки «Отечественные записки», где, как известно, Краевский оставался лишь номинальным редактором-издателем.

Рассеялись подозрения западников, однако не без некоторых существенных нравственных утрат для нашего драматурга в среде московских друзей; исчезла рознь в закулисном мире и число исполнителей увеличилось, обогатившись крупными силами,— и Островский действительно стал счастливым человеком, как подсказал Садовский в день покаяния и примирения Щепкина *.

---

* Очень серьезные недоразумения, возникшие впоследствии в личных отношениях между Островским и Садовским, настолько странны и неожиданны, что разъяснение их приходится предоставить будущему. Они не имели особенно важных последствий: Садовский оставался прежним поклонником таланта и честным исполнителем его произведений; Островский первым решился подать руку примирения. Однако прежних теплых и близких отношений не установилось: не на мир они побранились (вопреки народной

Зависть, всегда неразлучная спутница всяких успехов, а тем более столь быстрых, не перешла в ненависть, от которой обычно происходит много бед. Во многом помогла здесь мягкая и нежная природа самого драматурга, который сдержанностью характера и величавым хладнокровием умел ослаблять силу ударов врагов и сдерживать пылкие порывы союзников. Ветки терновника, вплетенные в его лавровый венец, не были для него настолько болезненно колючими, чтобы привести в раздражение. Настоящего горячего или стойкого боя по этой причине не произошло, и даже злому языку водевилиста Ленского, искавшего всюду хотя бы единую кроху для красного словца, здесь не было пищи. Слишком ярко выступало приветливое обхождение с равными и бóльшими, ободряющая ласка к малым и незаметным; с большим тактом устраивались и уладились истинно товарищеские, взаимно помогающие отношения и всегда теплое домашнее гостеприимство и радушная хлеб-соль попросту, а нередко и с затеями.

— Проходил мимо Генералова,— говаривал дома милый хозяин, привычным особенным приемом поправляя свою густую, круто подстриженную бороду,— глядит в окно провесная белорыбица, точно сливки...

— Да и у Арсентьича она не хуже: садитесь — попробуйте,— следовал ответ и наглядное доказательство.

Или так:

— В кофейной у Печкина на карту поставили суп из сморчков...

— Да и в наш суп они сегодня попали...— и т. под.

Так это было, по крайней мере, в те годы, когда возрастала слава и устанавливались литературные и общественные отношения этого дорогого человека. Дорог он был своими сердечными упрощенными отношениями. Шутливым советом И. Ф. Горбунову запастись белою фуражкой с кокардой, чтобы уже очень не обижали ямщики на бойком Петербургском шоссе и притом еще во время ярмарки, проводил он нас обоих в путь на Волгу и дальше из своего укромного и теплого гнездышка. Дружескими советами с крепким объятием и прощальным словом, в котором чувствовалась скрытая жгучая слеза разлуки, любовно напутствовал, отечески благословлял он и меня в дальний путь по Сибири и на далекий неведомый Амур[76]. За больным Писемским, возвратившимся из путешествия по устьям Волги, истощенного астраханскою лихорадкой, он ходил как за ребенком и посылал жене его в деревню успокоительные письма, а впоследствии заботливо защитил его

пословице) в то роковое время, когда от неумелого хозяйства вконец распался московский артистический кружок, в который наш драматург влагал всю свою душу[75].

от легкомысленных и скороспелых обвинений в том, что из поездки своей ничего не вывез и там ничего не делал[77]. Эти доказательства дружеских отношений и братских чувств, которым и вмале он много был верен, приводятся здесь не только по чувству личной благодарности, но и с уверением, что подобных примеров в жизни нашего великого писателя было много, чрезвычайно много. К Садовскому, например, он простер свою дружбу до того, что вместе с ним и исключительно для него приехал в Петербург на первые гастроли артиста; зная нелюбовь его к Петербургу, терпеливо выдержал с ним затворничество в мебелированных комнатах Толмазова переулка и, если настояла надобность выезда, сопровождал его лишь туда, где его не могли сильно огорчить и сам он не мог резко проговориться. На защиту обвиняемых друзей в эпоху всеобщего отрицания (как, например, на обеденных собраниях у Некрасова) Островский, здесь всегда серьезный и очень сдержанный, более молчаливый и прислушливый, чем разговорчивый, выступал с горячностью и убедительностью.

Не только при этих случайных и редких натисках, но и вообще во время приездов в Петербург, он казался далеко не таким, каким был дома в Москве. Исчезали и безграничное добродушие, и приветливая веселость,— вдруг надобилась личина особенного смирения и наложение обета молчания. Иногда невозможно было вызвать его на такую оживленную беседу, какие были обычны в его присутствии и при его живом участии везде в Москве. Здесь он как будто все оглядывался и осматривался, как тот редкий гость, который пришел в незнакомый дом и не знает, что делать: сесть или стоять, слушать других или начать разговор, и даже затрудняется в том, куда девать свои руки. Это не было упорное отчуждение и намеренная замкнутость при полном затворничестве Садовского, но некоторая натянутость москвича все-таки проглядывала при всех его стараниях это скрыть, а в последние посещения даже и развернуться. Конечно, это в развязном Петербурге с дерзким и вызывающем моноклем в глазу нашему скромному гостю совсем не удавалось развернуться: он был тяжел и неловок, не имел светского лоску и не в силах был заставить себя отбросить всякое стеснение. Один только раз помню я, когда речь его заблистала увлекательно и он, осилив натянутость, обычную при первом свидании с незнакомыми, дал себе волю. Это было на одном из еженедельных «вторников» у Н. И. Костомарова в то время, когда печатались в «Вестнике Европы» его «Последние годы Речи Посполитой»[78]. После ответа на вопрос Николая Ивановича, где автор «Минина» нашел известие о том, что этот нижегородский гражданин покупал плохих лошадей, но потом в короткое время они у него так отъедались, что сами хозяева их не узнавали,— ответа,

предъявившего новые доказательства тому, что, отдаваясь известному изучению, Александр Николаевич доходил до корня вдумчиво и основательно,— коснулась речь отношений Москвы к Польше, московских посольств и переговоров. По ведомым, живым образцам, еще уцелевшим в современной Москве в среде именитого купечества, и с тем художественным проникновением, которое составляло секрет Островского, он развернул картину в художественно-комическом виде свидания наших долгополых доморощенных политиков, несговорчивых, грубых и упрямых перед надменными, блестящими кунтушами с таким мастерством, что поразил всех. Болезненно-нервный Костомаров увлекся так, что вскакивал с места, бегал по комнате, хохотал до упаду и топал ногами по привычке, усвоенной им в подобных случаях восторгов и увлечений. Соревнование художника-драматурга с художником-историком действительно было полно интереса и увлекательности. На другой день в «Балабаевской обители» (как шутливо назывался трактир в доме Балабина, рядом с Публичной библиотекой), куда после занятий в библиотеке Костомаров заходил пить чай с Кожанчиковым, Островский побеседовал с нами на подобные же темы, вновь убедивши историка в глубоком изучении и живом понимании именно народной русской истории. Оба художника были в восторге друг от друга, и один из них писал мне потом: «Молю бога, да не оскудевает в обители Балабаевской обилие чайное».

Не от избытков средств теплился и светлел приветливый очажок у Серебряных бань, когда нижний этаж дома отдавался жильцам, а сам хозяин ютился сначала и долгое время наверху. Борьба с нуждой велась незримо для посторонних глаз, но ясна была для окружающих, а от близких и доверенных в крайних случаях и не скрывалась. Далеко было до того довольства совершенно обеспеченного в материальном отношении Тургенева и даже до того скромного, каким, например, успевал обставиться Писемский. В немногих и тесных комнатах Островского не нашлось бы места тем широким оттоманкам Тургенева (привычку к ним не покидал он и за границей), на которых спокойно велись литературные беседы и беззаботно валялись довольные своим настоящим: счастливый в денежных делах Некрасов, обеспеченные отцовскими наследствами: артиллерийский офицер, только что покинувший осажденный Севастополь, граф Л. Н. Толстой, умеренный и аккуратный А. В. Дружинин, обеспеченный доходами с журнала И. И. Панаев, очень богатый от чайной торговли отца В. П. Боткин и другие.

Не помнится, чтоб у Александра Николаевича был даже письменный стол с общепринятыми приспособлениями и приличный такому работнику, но уютного и уединенного ка-

бинета, обставленного удобствами, облегчающими занятия, положительно не было, и нигде невозможно было заметить живых следов литературного труда. Деревянный дом принадлежал ему совместно с братом (Михаилом Николаевичем).

У Погодина нельзя было поживиться: например, Эдельсон и другие получали по 15 руб. с печатного листа мелкого шрифта, и только Алмазову иногда удавалось счастливо срывать 20—30 р. Островский за «Банкрота» получал по мелочам и всякий раз с наставлениями о сбережениях и воздержании, и вдобавок за ними надо было еще ездить в даль Девичьего поля на извозчике. Во всяком случае, великому драматургу приходилось испытывать горькую судьбу литературного деятеля в то время, когда подхваченные на сцене слова и выражения уже разносились по Гостиному двору, начинания с Ножовой линии, и через трактиры уходили в деревни прямо в народ. Писатель становился в полной мере популярным и бесспорно народным.

При таковых-то условиях материальной оценки художественного труда, более мешающей, чем способствующей творческому настроению, приходилось работать Островскому, по крайней мере, на добрую половину его авторской жизни. Их следует знать и помнить при оценке его первых трудов и при встрече с недостатками, обличающими торопливость и недоделанность. Под влиянием дружеских и товарищеских побуждений он должен был поспешать отделкой, поспевая к бенефисам, и под натиском нужды — изготовлением новых пьес к сроку выхода казовых новогодних нумеров журналов. Нужда неотступно стояла за плечами именно во все осеннее время и усиливалась по мере приближения рождественских праздников. «Сами знаете (писал он мне в одном из своих писем), в каком я положении нахожусь. К такому празднику, когда расходы удесетерятся, быть совершенно без копейки — вещь очень неприятная. Я не знаю, что мне делать. Я просто теряю голову»[79].

В это время возраставшей нужды и происходили ежегодно наши петербургские встречи, когда Островский привозил новые пьесы, читал их по вечерам избранным кружкам, приглашая артистов, входил в денежные отношения с Некрасовым; иногда успевал прочитывать корректуру. Корректуру полного собрания доверял обыкновенно мне с помощью Горбунова, а раз избрал меня посредником при продаже 6-го тома, в который вошли: «Горячее сердце», «Бешеные деньги», «Лес» и «Не все коту масленица», книгопродавцу Звонареву[80], а затем и нового полного собрания сочинений Д. Е. Кожанчикову[81]. Из переписки, усилившейся между нами по этому поводу и имеющей уже теперь за собою более чем двадцатипятилетнюю давность, из этой переписки, которая свято

сохраненною лежит теперь перед глазами, воскресает милый образ. На пожелтевших от времени листах выступают живыми и яркими те незабвенные черты его, которые привлекали и очаровывали всех при жизни: поразительная скромность — существенный признак, свойственный лишь истинным талантам и служащий их украшением; еще не установившаяся в себе неуверенность в силе таланта, жаждущая новых проявлений и рассчитывающая на будущие более решительные доказательства; и полная дружеская откровенность с простосердечною искренностью, и при всем этом изумительная деликатность во всяческих отношениях, хотя бы с личным ущербом.

«Мне хотелось бы (пишет он в одном письме ко мне) продать отдельное издание «Василисы Мелентьевой»: она имеет успех и в Москве и в Петербурге». И в другом письме, предлагая Кожанчикову шестой том, столь же наивно объясняет и простодушно хвастается: «Все эти комедии имеют в Москве большой успех, и их давно уж спрашивают». В третьем письме отвечает: «На все условия Кожанчикова я согласен, кроме последнего, т. е. «до распродажи 3000 экз. я не имею права» и проч., но, по-моему, лучше назначить срок. Но и тут я полагаюсь на его волю: какой срок он хочет, такой пусть и назначит». Когда ему улыбнулась было надежда самому, без посредников, издать свои сочинения, он писал мне: «На книгопродавцов, как видно, надежда плоха, но бог не без милости, казак не без счастья. Мне предлагают деньги на условиях, довольно выгодных для меня, но я возьмусь за это не ранее, как посоветовавшись с вами о всех подробностях этого дела. Я очень рад, что овчинка с издания достанется не книгопродавцам, которые дерут ее, не жалея мяса». От этого намерения он, впрочем, отказался, не рассчитывая на свою практичность и убоявшись возни с бумагой, типографией, переплетчиками, расчета при комиссионной продаже. Он снова вынужден был обратиться к издателям. В одном из прочих писем он счел нужным и сам откровенно сознаться: «Верите ли, как мне иногда бывает прискорбно, что я так дурно веду свои денежные дела. Имея четверых детей, это непростительно. Некрасов несколько раз мне в глаза смеялся и называл меня бессребреником. Он говорил, что никто из литераторов не продает своих изданий так дешево, как я». «Я боюсь (прибавляет в конце письма уже совсем с полным простодушием), я боюсь, что Некрасов сообщит об этой моей слабости Звонареву и тот станет прижимать».

Впрочем, опасение было напрасным по обстоятельствам, неизвестным Островскому, но для всех не подлежавшим сомнению. Звонарев был лишь подставным лицом, за фирмою которого скрывался сам Некрасов, не пожелавший ставить своего имени на вывеске книжного магазина. Самое же

недоверие к издателям и опасливое стремление к вернейшему обеспечению своих прав и посторонних обязательств зародилось в Александре Николаевиче еще с 1858 года, когда право на первое издание сочинений уступил он гр. Кушелеву-Безбородко, издававшему журнал «Русское слово», по словесному договору на 3 тыс. экземпляров. Распорядители графа припечатали две тысячи лишних. И вот как сам автор рассказал о последствиях этой проделки: «Я мог тогда же остановить печатание лишних экземпляров, но не сделал этого из деликатности во избежание скандала. Граф предлагал мне запечатать своей печатью лишние книги, я и этого не сделал тоже из деликатности, желая показать ему полное доверие. Что же вышло? Если б я тогда уничтожил экземпляры, я бы через два года (а теперь прошло почти четыре, письмо писано 4 октября 1862 г.) имел право продать второе издание и был бы с деньгами, а теперь ни денег, ни возможности даже получить какие-либо сведения о своем добре. Если даже первое издание (т. е. 3000 экз.) еще не продано, то чем же я виноват! При небрежности продажу можно растянуть на 10 лет. Мои дела теперь плохи. Не сыщется ли кто желающий издать третий том, я взял бы теперь дешево. На третий том наберется произведений и без «Минина» («Минин» разойдется отдельным изданием). Тому, кто купил бы у меня третий том за 2 тыс., я уступил бы издание «Минина» даром».

Так до конца жизни деликатному, нестяжательному и неумелому автору и не удалось выяснить себе подлинную рыночную цену своим произведениям. Ту же нравственную оценку, которая заключается в обеспеченном житейском положении, как награде за понесенные труды, давно заслуженной, он получил лишь за последние годы своей трудовой и достославной жизни. Она еще настолько близка к нам и настоль же мало отделяющее нас расстояние, что невозможно найти ту высшую точку, откуда бы открывалась эта светлая прекрасная жизнь со всех сторон освещенною и легко было бы определить с точностию ее место и мировое значение. Видим проницательный крепкий ум русского склада, т. е. в соединении с крайней сердечностью, чувствуем высокую душу, все проникшее любовью нежное сердце, хотя и с оттенком наружной суровости и сосредоточенности в себе, но не можем еще встать на высоту полного понимания его созданий и личности. Придет и это время, когда Островский вновь воссияет во всей своей бессмертной гениальности. Не мы будем свидетелями этого события, но, памятуя участь Шекспира, любимого и популярного при жизни и совсем забытого потом на целое столетие,— твердо верим, что не только в отечестве, но и в Европе поймут нашего Островского, дорого оценят его и удивятся ему.

ИЗ ОЧЕРКОВ НАРОДНОГО БЫТА. КРЕСТЬЯНСКИЕ КАЛЕНДАРНЫЕ ПРАЗДНИКИ

I

В крестьянском быту святки считаются самым большим шумным и веселым праздником. Они обнимают собой период времени от Николина дня (6 декабря) до Крещенья (6 января), т. е. как раз тот месяц, когда земледельческое население, обмолотив хлеб и покончивши со всеми работами, предается отдыху.

Святки считаются праздником молодежи по преимуществу, хотя и взрослое население не остается равнодушным к общему веселию и к тому приподнятому, несколько торжественному настроению, которое свойственно всем большим праздникам в деревне. Но все-таки центром празднеств служит молодежь: ее игры, песни, сборища и гадания дают тон общему веселию и скрашивают унылую деревенскую зиму. В особенности большой интерес представляют святки для девушек: в их однообразную, трудовую жизнь врывается целая волна новых впечатлений, и суровые деревенские будни сменяются широким привольем и целым рядом забав и развлечений. На святки самая строгая мать не заставит дочку прясть и не будет держать за иглой в долгие зимние вечера, когда на улице льется широкой волной веселая песня парней, когда в «жировой» избе, на посиделках, заливается гармонь, а толпы девушек, робко прижимаясь друг к другу, бегают «слушать» под окнами и гадать в поле. Гаданье составляет, разумеется, центр девичьих развлечений, так как всякая невеста, естественно, хочет заглянуть в будущее и, хоть с помощью черта, узнать, кого судьба пошлет ей в мужья и какая жизнь ожидает ее впереди с этим неведомым мужем, которого досужее воображение рисует то пригожим добрым молодцом, ласковым и милым, то стариком-ворчуном, постылым скрягой, с тяжелыми кулаками.

О том, как совершаются гадания, мы подробно скажем в главе «Новый год», здесь же отметим только, что обычай называть своего суженого и в особенности так называемые «страшные» гаданья довольно заметно отражаются на душевном состоянии гадальщиц. Почти на протяжении всех святок девушки живут напряженной, нервной жизнью. Воображение рисует им всевозможные ужасы, в каждом темном углу им чудится присутствие неведомой, страшной силы, в каждой пустой избе слышится топот и возня чертей, которые до самого Крещенья свободно расхаживают по земле и пугают православный люд своими рогатыми черными рожами. Это настроение поддерживает не только само гаданье, но и те бесконечные рассказы о страшных приключениях с гадальщицами, которыми запугивают девичье воображение старухи и пожилые женщины, всегда имеющие про запас добрую дюжину страшных историй. Чтобы дать читателю представление об этих «святочных» рассказах, являющихся плодом народной фантазии, приведем рассказ крестьянки Евфросиньи Рябых, в Орловском уезде. «Пришла я с загадок и задумала суженого вызвать — страх захотелось мне узнать, правда это или нет, что к девушкам ночью суженые приходят. Вот я стала ложиться спать, положила гребенку под головашки и сказала: «Суженый-ряженый, приди ко мне мою косу расчесать». Сказавши так-то, взяла я и легла спать, как водится, не крестясь и не помолившись богу. И только это я, милые мои, заснула, как слышу, полез кто-то мне под головашки, вынимает гребенку и подходит ко мне: сдернул с меня дерюгу, поднял, посадил на кровати, сорвал с моей головы платок и давай меня гребенкой расчесывать. Чесал, чесал да как дернет — ажно у меня голова затрещала. Я как закричу... Отец с матерью вскочили: мать ко мне, а отец огонь вздувать. Вздули огонь, отец и спрашивает: «Чего ты, Апрось, закричала?» Я рассказала, как я ворожила и как меня кто-то за косы дернул. Отец вышел в сенцы, стал осматривать двери — не видать ничего. Пришел он в избу, взял кнут и давай меня кнутом лупцевать — лупцует да приговаривает: «Не загадывай, каких не надо, загадок, не призывай чертей». Мать бросилась было отнимать — и матери досталось через меня. Легла я после того на постель, дрожу вся как осиновый лист и реву потихоньку: испугалась, да и отец больно прибил. А утром, только я поднялась — вижу, голова моя болит так, что дотронуться до нее нельзя. Глянула я около постели своей на земь — вся земь усыпана моими висками. Вот как «он» меня расчесывал. Стала я сама расчесывать косу, а ее и половину не осталось — всю почти суженый выдернул».

А вот еще один рассказ, записанный в Череповецком

у⟨езде⟩ Новгородской губ⟨ернии⟩: «Собрались, это, девки на беседу в самый сочельник, перед Рождеством — не работать (в сочельник — какая работа: грех), а так — погадать да «послушать» сходить. Вот погадали, погадали, а одна девка и говорит: «Пойдем-кось, девоньки, к поросенку слушать: у нас сегодня большущего закололи и тушу в амбар стащили, пойдемте». Вот и пошли, надо быть, пять девок. Сняли с себя кресты, немытика помянули, очертились ножиком, и одна, которая посмелей, говорит: «Чушка, чушка, скажи, где мой суженый-ряженый?» А поросенок им из амбара: «Отгадайте три загадки, тогда отгадаю всем суженых. Наперво отгадайте, сколько на мне щетинок?» Отгадывали, отгадывали девки — не отгадали: где сосчитать щетинки на свинье? А поросенок им другую загадку: «Сколько на мне шерстинок?» Тоже думали, думали девки — не отгадали. А поросенок опять: «Сколько во мне суставов?» Опять не отгадали девки, а поросенок как рыкнет: «Ну, так я вас всех задавлю». Девки бежать. Прибежали на беседу — лица на них нет. А хозяйка-то беседы, видно, догадливая баба была, бывала в этих делах: сейчас четырем девкам на голову горшки глиняные надела, а этой, коя загадывала, подушку положила. Вдруг как вломится в избу свинья. Схватила с одной девки горшок, думала, это — голова, да о пол, схватила с другой — о пол, да так со всех четырех, а с пятой схватила подушку и убежала».

Как ни страшны сами по себе такие рассказы для напуганного воображения молоденьких слушательниц, однако в веселые святочные вечера даже эти ужасы не могут удержать девушек в хатах, и, как только на селе зажгут огни, они как тени скользят по улице, пробираясь на посиделки. Да и немудрено: до страха ли тут, когда впереди ожидают танцы, маскарады, игры, песни и когда к этим беседам так долго и так много готовились. Почти целый месяц приготовлялись: девушки шили наряды, парни готовили маскарадные костюмы и выбирали «жировую» избу.

Последний вопрос — о выборе избы для посиделок — повсюду считается очень важным и решается сообща. Чаще всего за 2 за 3 рубля какая-нибудь одинокая солдатка или полунищая старуха уступает молодежи свою избу, позволяя вынести домашнюю рухлядь и убрать все так, как захотят наниматели. Деньги за избу платятся наличными или отрабатываются, причем только в очень немногих местах девушки освобождаются от взносов. В большинстве же случаев деревня не знает привилегии дам и обкладывает девушек наравне с парнями, а местами даже заставляет их платить больше, так что если парень платит шесть коп., то девушка должна платить двенадцать, а в случае бедности — день жать.

Святочные посиделки начинаются обыкновенно не ранее 6 декабря и отличаются от всех других посиделок тем, что и парни и девушки рядятся. Это своего рода деревенский бал-маскарад. Правда, ряженье — в особенности в первые дни святок — бывает самое незамысловатое: девушки наряжаются в чужие сарафаны (чтобы парни не узнали по одежде) и закрывают лицо платком, и только самые бойкие наряжаются в несвойственную одежду: парни — в женский, девушки — в мужской костюм. Это последнее переодевание практикуют чаще всего гости, приходящие на посиделки из чужих деревень, чтобы легче было интриговать и дурачить знакомых. Самая же «интрига» в таких случаях бывает также крайне незамысловата: обыкновенно парень, переодетый девкой, выбирает себе в кавалеры какого-нибудь влюбчивого и простоватого парня и начинает его дурачить: заигрывает с ним, позволяет вольные жесты и пощипывания, назначает свидания и даже дает нескромные обещания. К концу вечера простофиля-кавалер обыкновенно пламенеет от страсти и умоляет свою даму, чтобы она осчастливила его немедленно. Но дама обыкновенно кокетничает и уступает не сразу. Зато потом, когда все-таки она выйдет на свидание и влюбленный парень заключит ее в объятия, из избы выскакивает целая ватага хохочущих молодцов, которые быстро охлаждают любовный пыл простофили, набивая ему полные штаны снегу. Приблизительно такой же характер носят интриги девушек, наряженных парнями. Они тоже выбирают себе наиболее простоватых девиц, ухаживают за ними, уговаривают за себя замуж и даже выпрашивают иногда в залог платок, колечко и пр. Справедливость требует, однако, заметить, что интриги подобного рода далеко не всегда отличаются скромностью. Случается, что какая-нибудь расшалившаяся солдатка, наряженная парнем, выкинет такую штуку, что присутствующие девушки сгорят от стыда. Но таких солдаток обыкновенно успокаивают сами же парни, которые с хохотом и криками разоблачают озорницу почти донага и в таком виде пускают ее на улицу, где еще вываляют в снегу. Вообще, сдерживающим началом на посиделках служит присутствие в «жировой» избе посторонних людей в лице ребятишек и пожилых мужчин и женщин. Особенно стесняют ребятишки: иной парень и рад бы позволить себе какую-нибудь нескромность в отношении интересующей его девушки, он видит, что с полатей свесилась голова мальчишки, брата девушки, который все примечает и, в случае надобности, скажет матери, а то и отцу шепнет. Эти лежащие на полатях контролеры иногда так раздражают парней своим неусыпным надзором, что дело кончается побоями: один из парней берет веник и с ожесточением хлещет ребятишек в то время, когда другой припрет

дверь и никого не выпускает из избы. Экзекуции такого рода сплошь и рядом достигают цели, и ребятишки с ревом и плачем без души разбегаются по домам, как только их выпустят.

Сдерживающим началом служит до некоторой степени и присутствие на посиделках чужих парней и девок, пришедших из соседних деревень. Их принимают, как гостей, и стараются, чтобы все было прилично и чинно. Хозяева беседы, как парни, так и девицы, встают с лавок и предлагают их занять гостям, а во время танцев обращают строгое внимание, чтобы чужие девки не оставались без кавалеров и чтобы с парнями-гостями танцевали девки «первого сорта» т. е. самые пригожие. Впрочем, бывают случаи, когда именно присутствие на посиделках чужих парней, явившихся незваными гостями, служит причиной ссор и даже драк. Вот что на этот счет сообщает наш корреспондент из Никольского у⟨езда⟩ Вологодской губ⟨ернии⟩: «Если какой-нибудь парень из чужой деревни вздумает «ходить» (ухаживать) за девкой и посещать игрища, то он непременно должен выставить парням — однодеревенцам девушки — в виде отступного водки — в противном случае он платится побоями и даже увечьем. Избитый в свою очередь редко оставляет побои без отмщения и, подбивши парней своей деревни «выставкою» им водки, является в сопровождении целой ватаги в село к оскорбителям и врывается на игрище, где и завязывается обыкновенно свалка. Девки в таких случаях разбегаются по домам, а парни выходят на улицу и дерутся уже не на кулаки, как в избе, а «плахами» (поленьями). Драки подобного рода происходят по нескольку раз, возобновляясь все с новой силой, и кончаются или тем, что коренные парни, как побежденные, соглашаются принимать на игрище чужаков «без водки», или, как победители, «сдирают» с противников водку, которую и распивают на посиделках»*.

Кроме танцев (кадриль, ленчик, шестерка) и гаданий, любимым развлечением на посиделках являются так называемые игрища, под которыми следует разуметь между прочим представление народных комедий, где и авторами и актерами бывают деревенские парни. В одной из таких комедий фигурирует, например, какой-то король Максимилиан, его непокорный сын Адольфий и приближенный короля Марк-

---

* Такие драки в большом ходу не только в Вологодской г⟨убернии⟩, но почти повсеместно. Объясняется это тем, что на девок своей деревни парни смотрят, как на своего рода коллективную собственность, которую и защищают от ухаживания посторонних людей. Во всеобщем употреблении точно так же и водка, которая одна дает право ухаживать за «чужими» девками.

гробокопатель; в другой главным лицом является Степан Разин со своими разбойниками и красными девушками, причем центром пьесы служит кровавая расправа Разина с корыстным купцом; в третьей, наконец, центральной фигурой является помещик и т. д.[1]. Обо всех этих пьесах мы скажем несколько ниже, здесь же позволим себе заметить, что игрища в огромном большинстве случаев поражают наблюдателя грубостью нравов, так что отцы церкви не напрасно называют их «бесовскими». Конечно, нельзя отрицать, что в доброе старое время св. отцы подходили к вопросу с известным предубеждением и видели в игрищах только остатки язычества и того двоеверия, с которым они так энергично боролись. Но невозможно в то же время упускать из виду, что добрая половина игрищ сама по себе составляет остаток варварства, поражающий стороннего наблюдателя своим откровенным цинизмом. Этот цинизм ужасен еще тем, что он почти всегда переходит в жестокость и издевательство над слабыми, т. е. над деревенскими девушками, за которых некому вступиться. «Деревенские парни,— пишет наш корреспондент из Череповецкого у⟨езда⟩ Новгородской губ⟨ернии⟩,— позволяют себе на беседах такие дикие выходки, что только привычка здешних девиц к терпению и цинизму мужчин останавливает их от жалоб в суд». Для образца укажем несколько святочных игр, практикуемых почти повсюду.

1) Игра в кобылы.— Собравшись в какую-нибудь избу на беседу, парни устанавливают девок попарно и, приказав им изображать кобыл, поют хором:

Кони мои, кони,
Кони вороные...

Затем один из ребят, изображающий хозяина табуна, кричит: «Кобылы славные, кобылы! Покупай, ребята!» Покупатель является, выбирает одну девку, осматривает ее, как осматривают на ярмарке лошадь, и говорит, что он хотел бы купить ее. Дальше идет торговля, полная неприличных жестов и непристойных песен. Купленная «кобыла» целуется с покупателем и садится с ним. Затем, с теми же жестами и песнями, происходит переторжка, после чего начинается ковка кобыл. Один из парней зажигает пук лучины (горн), другой раздувает его (мехи), третий колотит по пяткам (кузнец), а покупатель держит кобылицыны ноги на своих, чтобы не ушла.

2) Игра в блины.— Эта игра столь же популярна, как и предыдущая, и состоит в том, что один из парней берет хлебную лопату или широкий обрезок доски, а другой поочеред-

но выводит девушек на середину избы и, держа за руки, поворачивает их спиной к первому парню, который со всего плеча дует их по спине. Это и называется «печь блины».

3) Игра в быка.— Парень, наряженный быком, держит в руках, под покрывалом, большой глиняный горшок с приделанными к нему настоящими рогами быка. Интерес игры состоит в том, чтобы бодать девок, и притом бодать так, чтобы было не только больно, но и стыдно. Как водится, девки подымают крик и визг, после чего быка «убивают»: один из парней бьет поленом по горшку, горшок разлетается, бык падает, и его уносят.

4) Игра в гуся.— Гусь приходит тоже под покрывалом, из-под которого виднеется длинная шея и клюв. Клювом гусь клюет девок по голове (иногда пребольно), и в этом состоит все его назначение.

5) Игра в лошадь.— Над лошадью ребятам приходится много трудиться, чтобы приготовить ей сверх покрывала голову, похожую на лошадиную. Но смысл игры все тот же: лошадь должна лягать девок.

6) Игра в кузнеца.— Это более сложная игра, представляющая собой зародыш деревенской комедии. В избу, нанятую для бесед, вваливается толпа парней с вымазанными сажей лицами и с подвешенными седыми бородами. Впереди всех выступает главный герой — кузнец. Из одежды на нем только портки, а верхняя голая часть туловища разукрашена симметрично расположенными кружками, изображающими собой пуговицы. В руках у кузнеца большой деревянный молот. За кузнецом вносят высокую скамейку, покрытую широким, спускающимся до земли пологом, под которым спрятано человек пять, шесть ребятишек. Кузнец расхаживает по избе, хвастает, что может сделать все, что угодно: замки, ножи, топоры, ухваты и, сверх того, умеет «старых на молодых переделывать». «Не хочешь ли, я тебя на молодую переделаю!» — обращается он к какой-нибудь девице не первой молодости. Та, разумеется, конфузится и не соглашается. Тогда кузнец приказывает одному из ряженых стариков: «Ну-ка ты, старый черт, полезай под наковальню, я тебя перекую». Старик прячется под пологом, а кузнец бьет молотком по скамейке, и из-под полога выскакивает подросток. Интерес игры состоит в том, чтобы при каждом ударе у кузнеца сваливались портки и он оставался совершенно обнаженным. Когда всех стариков перекуют на молодых, кузнец обращается к девушкам, спрашивая у каждой: «Тебе, красавица, что сковать? тебе, умница, что сковать?» И каждая девица должна что-нибудь заказать, а затем, выкупая приготовленный запас, поцеловать кузнеца, который старается при этом как можно больше вымазать ее физиономию.

Все перечисленные игры (в которых мы должны были пустить наиболее циничные пассажи), при всей грубости и жестокости, все-таки не заключают в себе ровно ничего такого, что оскорбляло бы религиозное чувство человека и что, так или иначе, связывалось бы с христианскими верованиями и обычаями. Но, к сожалению, существует целая группа других игр, которые окрашены не только в цинизм, но содержат в себе элемент несомненного кощунства. Такова, например, игра в покойника (местами эта игра называется «умрун», «смерть» и т. д.). Состоит она в том, что ребята уговаривают самого простоватого парня или мужика быть покойником, потом наряжают его во все белое, натирают овсяной мукой лицо, вставляют в рот длинные зубы из брюквы, чтобы страшней казался, и кладут на скамейку или в гроб, предварительно привязав накрепко веревками, чтобы в случае чего не упал или не убежал. Покойника вносят в избу на посиделки четыре человека, сзади идет поп в рогожной ризе, в камилавке из синей сахарной бумаги, с кадилом в виде глиняного горшка или рукомойника, в котором дымятся горячие уголья, мох и сухой куриный помет. Рядом с попом выступает дьячок в кафтане, с косицей назади, потом плакальщица в темном сарафане и платочке и, наконец, толпа провожающих покойника родственников, между которыми обязательно имеется мужчина в женском платье, с корзиной шанег или опекишей для поминовения усопшего. Гроб с покойником ставят среди избы, и начинается кощунственное отпевание, состоящее из самой отборной, что называется, «острожной» брани, которая прерывается только всхлипыванием плакальщицы да каждением «попа».

По окончании отпевания девок заставляют прощаться с покойником и насильно принуждают их целовать его открытый рот, набитый брюквенными зубами. Нечего и говорить, что один вид покойника производит на девушек удручающее впечатление: многие из них плачут, а наиболее молоденькие, случается, даже заболевают после этой игры*. Кончается игра тем, что часть парней уносит покойника хоронить, а другая часть остается в избе и устраивает поминки, состоящие в том, что мужчина, наряженный девкой, оделяет девиц из своей корзины шаньгами — кусками мерзлого конского помета.

В некоторых местах та же игра в покойника варьируется в том смысле, что покойника, обернутого в саван, носят по избам, спрашивая у хозяев: «На вашей могиле покойника нашли — не ваш ли прадедка?» Находящиеся в избе,

* Характерно, что и в этой игре парни намеренно вводят скабрезный элемент, приводя в беспорядок туалет покойника: «Хоша ему и самому стыдно,— говорят они,— да ведь он привязан — ничего не поделает».

разумеется, приходят в ужас. Бывали случаи, когда маленькие ребятишки падали в обморок и долго после того бредили.

К игре в покойника взрослое население относится с полным осуждением. В народе ходит даже слух, что тот, кто изображает покойников, будет схвачен ими в лесу и утащен неведомо куда. Так, в Никольском у⟨езде⟩ Вологодской губ⟨ернии⟩ рассказывают, что один парень, надевший на святках саван, был утащен покойником в болото и отдан во власть дьявола. Дьявол долго бил парня дубиной, заставляя снять с себя крест и бросить в болото. Однако несчастный, несмотря на жесточайшие мучения, все-таки не покорился и креста не снял, чем и спасся от смерти, отделавшись тяжкими увечьями.

Но несмотря на такие «страшные» рассказы, обычай рядиться покойниками еще очень распространен по всему нашему северу, и в том же Никольском у⟨езде⟩ Вологодской губ⟨ернии⟩ покойниками наряжается не только молодежь, но и женатые мужики, и притом по нескольку человек сразу, так что в избу для посиделок врывается иногда целая артель покойников. У всех у них в руках туго свитые жгуты, которыми они беспощадно хлещут парней из чужой деревни и приезжих девиц (гостьев). Достается, впрочем, и своим девицам, которым без дальнейших разговоров наклоняют голову и хлещут по спине до синяков.

Из числа других игр, представляющих собой зародыш младенческой комедии, необходимо указать на очень распространенную «игру в барина». Эта комедия, несомненно, носит сатирический характер, и происхождение ее восходит ко временам крепостного права. В избу для посиделок ряженые вводят под руки человека необыкновенной толщины, в высокой шапке, с лицом, густо вымазанным сажей, и с длинным чубуком в руках. Это и есть «барин». Подле него суетится казачок, подающий огня для трубки, и кучер (он же бурмистр), гарцующий на палочке верхом и хлещущий бичом то палочку, то девок. Барин неповоротлив, глух и глуп, кучер, наоборот, хитрая бестия, хорошо знающая барские вкусы и барскую повадку. Барин усаживается и начинает ворчать и ругаться, а кучер подобострастно вертится около и поминутно спрашивает: «Что прикажете, барин-батюшка?» Само представление начинается с того, что кучер, обращаясь к парням, спрашивает у них, не желает ли кто жениться, и приказывает спрашивать разрешение барина. Вслед за тем один из парней приближается к барину, кланяется в ноги и говорит:

— Батюшка-барин, прикажи жениться.

— Что-о? Не слышу,— переспрашивает глухой барин.

— Жениться! — кричит во весь голос парень.

— Телиться?
— Жениться!
— Ягниться?
— Жениться!
— А, жениться!.. Ну, что ж, женись, женись, выбирай девку!

Парень выбирает девушку. Товарищи его подхватывают ее под руки и подводят к барину. Девушка, разумеется, всеми силами упирается и не идет. Тогда кучер бьет ее «шелепугой» (бичом) и кричит: «Благодари барина, целуй барина». Как только девушку подведут к барину, с него как рукой снимет прежнюю апатию и сонливость: он делается необыкновенно подвижен, оживлен, рассыпается мелким бесом и то лезет целовать и обнимать девушку, то делает полные непристойности жесты. Кучер же в это время изо всех сил помогает барину ухаживать и придерживает увертывающуюся от поцелуев девушку. Потом к барину подходит второй парень, который тоже испрашивает разрешения жениться, и так продолжается до тех пор, пока все не переженятся.

В некоторых местах эта сатирическая комедия представляется с различного рода вариантами; причем характерно, что комедия не застыла в раз навсегда определенной форме, а подвергалась целому ряду изменений, сообразно с новейшими переменами в судьбе барина. Так, например, в ней нашло свое отражение и современное помещичье оскудение. По крайней мере, наш смоленский корреспондент свидетельствует, что в Юхновском у⟨езде⟩ действующими лицами пародии являются промотавшийся помещик и его слуга-пройдоха. Пародия начинается монологом помещика, который жалуется на трудные времена и на то, что народ от рук отбился. Ему, барину, сейчас нужны деньги, он вчера дотла проигрался в карты, а староста между тем не несет оброка*, хотя давно должен был бы явиться. От нетерпенья барин кличет слугу:

— Ванька новый!
— Чего изволите, барин голый?
— Что-о? Что ты сказал?
— Я говорю: чего изволите, мол, барин?

Барин посылает слугу в лавку набрать товару в долг. Но слуга возвращается и говорит:

---

* Анахронизм этот не так велик, как может показаться с первого взгляда, так как помещики через сельских старост собирали оброк с крестьян и после их освобождения, пока крестьяне не согласились пойти «на выкуп»; в общем, при освобождении крестьян, «выкуп» земли у помещиков не был обязателен, и во многих местах оброк за пользование ею платился весьма долго и продолжался бы, может быть, и дольше, если бы крестьяне платили его исправно.

— Не дает лавочник-то. Говорит: «Этакому шаромыжнику да в долг давать? Твой,— говорит,— барин больше ничего, как мазурик...»

— Молчи, молчи, дурак! — прерывает барин расходившегося лакея. Но лакей не унимается:

— Я что ж-с, я молчу... А только лавочник говорит: «Этакому,— говорит,— жулику — и в долг? Сохрани меня боже... Ежели бы,— говорит,— порядочному господину — я с моим удовольствием, а твоему,— говорит,— беспортошному барину ни в жисть... Много, мол, развелось их нынче, рвани всякой...».

Барин, наконец, не выдерживает и кидается на лакея с чубуком. Лакей убегает, и на его место является староста. Барин очень рад старосте, но боится прямо спросить про оброк и заводит разговор издалека, осведомляясь о деревенской жизни и о своем хозяйстве. Староста начинает с того, что на деревне все обстоит благополучно и незаметно возбуждает у барина надежду на получение денег. Но как только эта надежда переходит в уверенность, староста докладывает, что хотя и все благополучно, но жеребец издох.

— Что? — кричит барин.— Мой жеребец?

— Ваш, батюшка-барин, ваш. И дом сгорел.

— Что-о? Мой дом?

— Ваш, сударь, ваш. И рожь уродилась такая, что сноп от снопа — столбовая верста, а копна от копны — целый день ходьбы.

Помещик подавлен всеми этими известиями, а староста не унимается и выкладывает все новые и новые беды, пока барин не прогоняет его.

Кончается пьеса тем, что к барину является кредитор, и барин опрометью, без души, улепетывает от него на улицу.

Эта пародия очень нравится крестьянам, так что актеров-любителей не только принимают с распростертыми объятиями, но угощают и дарят деньгами.

До сих пор мы останавливались преимущественно на таких играх и забавах крестьянской молодежи, которые рисуют святочные развлечения нашего народа с отрицательной стороны. Но есть, разумеется, много игр совершенно невинных, характеризующих лишь наивность и простоту деревенских нравов. Из таких игр можно указать, для образца, хотя бы следующие.

Игра в волосянку.— На посиделках какой-нибудь бойкий парень выходит на середину избы и громким голосом произносит:

Ну, давайте-ка, ребята,
Голосянку тянуть.
Кто не дотянет,
Того за волосы-ы-ы-ы!..

И парень, а за ним и другие начинают тянуть это «ы» до бесконечности. Посторонние же посетители (ребятишки и пожилые) всячески стараются рассмешить участвующих в игре и тем заставить прервать звук «ы». «Эй ты, Егорко, лопнешь! — кричат они какому-нибудь парню,— смотри, как шары-то (глаза) выпучил!» Окрики эти сопровождаются обыкновенно самым заразительным смехом, и потому Егорка, не удержавшись, в конце концов расхохочется и оборвет звук «ы». Тогда на него наскакивает целая толпа и теребит за уши, за нос, за волосы. Азарт при этом бывает так велик, что тешит ребят, даже не участвующих в игре.

Почти такой же азарт вызывает игра в молчанку. Она состоит в том, что по команде «раз, два, три» все парни и девушки должны хранить самое серьезное молчание. Эта игра напоминает «фанты», потому что не выдержавшие молчания подвергаются какой-нибудь условленной каре, например, съесть пригоршню угля, поцеловать какую-нибудь старуху, позволить облить себя водой с ног до головы, бросить в рот горсть пепла, сходить на гумно и принести сноп соломы (последнее наказание считается одним из тягчайших, так как ночью на гумно не ходят из опасения попасть в лапы «огуменника», одного из самых злых домашних чертей). Исполнение штрафов за нарушенное молчание производится по всей строгости уговора, а если кто-нибудь откажется съесть, напр⟨имер⟩, уголь, то его начинают «катать на палках». Для этого толпа бойких ребят находит где-нибудь три, четыре круглых и гладких полена, раскладывает их на пол и всей артелью валит на эти поленья виновного, после чего парни подхватывают несчастного за ноги и за руки и начинают катать по поленьям (операции этой очень часто подвергаются и девушки, хотя и кричат при этом от боли).

С посиделок молодежь расходится далеко за полночь. Но, так как веселое настроение, поднятое танцами и играми, не проходит сразу, то парни обыкновенно не идут по домам спать, а продолжают шалости на улицах. Объектом этих шалостей чаще всего служат мирно спящие крестьяне, над которыми проделываются всевозможные штуки. Сговариваются, например, два парня подшутить над каким-нибудь дядей Семеном и придумывают такую «игру»: берут мерзлого конского помета, распускают его в горшок с горячей водой — так, чтобы образовалась жижица, затем вместе с этим горшком и метлой подходят к Семеновой избе и становятся — один подле окна, а другой с горшком у самой стены — так, чтобы его не было видно из избы. После этого стоящий под окном начинает стучаться и кричать чужим голосом:

— Эй, хозяин! А, хозяин! подь-ка сюда на минутку!

Встревоженный дядя Семен, заслышав шум, встает, лезет, кряхтя, с полатей и первым делом отворяет окно и высовывает голову:

— Что надыть?

Но в эту минуту парень, прижавшийся у стены, быстро макает метлу в горшок и мажет дядю Семена по лицу. И пока Семен, отплевываясь и чертыхаясь, разберет, в чем дело, парни уже будут далеко, и долго в тишине деревенской ночи будет раздаваться их смех и ожесточенная брань дяди Семена.

Еще чаще расшалившиеся парни «пужают» спящих обывателей стуком в стены избы. Для этого толпа головорезов приставляет к переднему углу, где стоят иконы, толстый «стяг» (жердь) и изо всей мочи ударяет концом стяга в стену. Удар нередко бывает так силен, что вся изба приходит в сотрясение, и иконы, если они плохо прикреплены к божнице, падают на пол. В таких случаях рассвирепевший хозяин в одной рубашке выскакивает из избы и с топором в руках преследует озорников. Это «стуканье», разумеется, вызывает со стороны степенных домохозяев искреннее негодование, тем более что тут замешано, некоторым образом, неуважение к святыне. Поэтому, если разбуженному хозяину удастся настигнуть кого-нибудь из озорников, то дело часто кончается тяжкими побоями и даже увечьем. Впрочем, для предупреждения «стуканья» некоторые хозяева соединяются даже в компании и, подстерегая парней на месте преступления, беспощадно бьют их батожьем.

Но самой излюбленной шалостью деревенской молодежи следует признать заваливание ворот и дверей изб всяким деревенским хламом: дровами, бревнами, сохами, боронами и проч. Взявшись за это дело целой гурьбой, озорники так завалят все выходы из избы, что утром все хозяева очутятся, как в плену, и нередко до вечера будут потом разбираться. Иногда, для большей потехи, парни взбираются на крыши заваленных изб и выливают в трубу ведро воды, после чего хозяева, как очумелые, носятся по избе и даже взывают о помощи к соседям*.

До сих пор мы останавливались, главным образом, на святочных забавах деревенской молодежи. Но и взрослое население в эти веселые вечера не любит сидеть дома и предается свойственным его возрасту развлечениям, в ряду которых едва ли не главное место занимают хождение в гости, взаимные угощения и отчасти азартные игры. Последние, с развитием путей сообщения, проникли даже в такие медвежьи углы, как Вологодская губ⟨ерния⟩, где играют и ре-

* С неменьшим удовольствием молодежь утаскивает в поле (иногда за несколько верст) сани и телеги спящих однодеревенцев, разрушает поленницы дров и разваливает печи в банях.

бятишки, и парни, и взрослые мужики. Ребятишки, конечно, играют на денежки из тонко обструганной березы, а взрослое население на настоящие деньги. Любимая игра — «хлюст», «мельники», «окуля» (окуля — дама бубен, она ничем не кроется и ничего не кроет)*. Игра сопровождается большим воодушевлением и нередко переходит в такой азарт, при котором крестьяне забывают все, бранятся и жестоко дерутся, нанося друг другу тяжкие побои. Характерно, что такой же азарт овладевает мужиками и тогда, когда они играют не на деньги, а, например, в бабки. В Никольском у⟨езде⟩, Вологодской губ⟨ернии⟩ бородатые игроки в бабки часто из-за одной или двух ладышек ссорятся и дерутся, как ребятишки, а некоторые, как уверяет наш корреспондент, охотно соглашаются, чтобы их изо всей мочи ударили кулаком с ладышкой в лоб, но с условием, чтобы спорная ладышка была отдана им. При игре на деньги азарт доходит до того, что некоторые записные игроки не только проигрывают большие деньги (до 10 руб. и более), но оставляют своим счастливым соперникам даже одежду, так что возвращаются домой почти нагишом, в одной рубашке. Есть деревня, где почти все крестьяне обратились в страстных игроков, сражающихся в карты даже летом, в сенокос и жатву.

Чтобы закончить характеристику деревенских святок, необходимо еще, хотя вкратце, упомянуть о святочных, или, как их называют крестьяне, «святовских» песнях. Особенность этих песен состоит в том, что они сопровождаются играми, различными хождениями девиц, то рядами, то кругами[2]. Игры, разумеется, придают значительный интерес посиделкам и вносят оживление в крестьянские вечеринки. Вторая особенность «святовских» песен заключается в том, что они составляют исключительную принадлежность рождественских и новогодних вечеров и в остальное время года предаются совершенному забвению, так что самое пение их, помимо святок, считается в народе грехом. Понятно, таким образом, что песни эти, составляя запретный плод в течение целого года, являются любимыми святочными развлечениями деревенской молодежи. На беседах они начинают входить в употребление уже с зимнего Николы, но пение их в это время еще не сопровождается играми, и только с наступлением рождественских вечеров игры вступают в свои права.

Наш вологодский корреспондент (Никольского у⟨езда⟩) разделяет святочные песни на три группы, в зависимости

* Масти на крестьянском языке носят несколько иное название, чем в образованном обществе; трефы называются «кресты», пики — «вини», дама — «краля», валет — «холоп», король — «бардадым», козырной туз — «необыгримка» и пр.

от сопровождающих их игр. В первую группу он включает те песни, при пении которых девицы, присутствующие на беседе, разделяются на два равных ряда, причем оба ряда устанавливаются таким образом, чтобы лица обоих рядов девушек были обращены друг к другу. Когда послышатся первые слова песни, первый ряд девушек начинает идти ко второму, который в это время стоит на месте. Подойдя к нему, первый ряд расступается, девицы поворачиваются в другую сторону, спиной к лицу девиц второго ряда, берутся снова за руки и идут к своему прежнему месту. А в то же время и второй ряд оставляет свое место и идет вслед за первым рядом до другого конца избы, где оба ряда, распустившись, поворачиваются на своих местах и, взявшись за руки, идут туда, где стоял второй ряд; здесь, снова распустившись, опять берутся за руки и вторично идут к месту, занимаемому первым рядом, и т. д. Как образчик святовских песен первой группы, можно указать следующую, записанную в селе Юзе, Вологодской губ⟨ернии⟩, Никольского у⟨езда⟩:

По горам да девки ходили,
Да по крутым красны гуляли,
Да и мечем горы шибали*.
Да напишу ли я грамотку,
Да с по белу бархотку,
Да отошлю ли я грамотку,
Да родимому батюшке:
Да что велит ли мне батюшка,
Да мне с поигрищам ходити?
Да ты ходи, дочи, веселись,
Да с кем ни сойдешься, поклонись,
Да ты по старому-то поклонись,
Да ты со младым-то пошути,
Да ты от младого прочь пойди.

Ко второй группе святочных песен относятся такие, которые поются с «отпевами», т. е. вопросно-ответные, или диалогические. Для пения их участвующие разделяются, как и в первой группе, на два равных ряда и точно так же, взявшись за руки, становятся на двух противоположных концах избы. Но так как песни второй группы состоят из вопросов и ответов, то при самом исполнении их сохраняется диалогическая форма: вопросы поются одной стороной, а другая только «отпевает» (отвечает).

Вот образец такой песни:

Загануть ли,
Загануть ли,
Да красна девка,
Да краснопевка,

* Бросать, бить, кидать.

Да семь загадок,
Да семь мудреных,
Да хитрых-мудрых,
Да все замужеских*,
Да королецких**,
Да молодецких?

Это вопрос, который поется одной стороной. Другая же отпевает:

Да загони-ко,
Закогони-ко,
Да красна девка,
Да краснопевка,
Да семь загадок,
Да семь мудреных.— *И т. д.*

Когда вторая сторона пропоет свой ответ, первая предлагает вопрос-загадку:

Еще греет,
Еще греет,
Да во всю землю,
Да во всю руську,
Да во всю святоруську?

Вторая отвечает:

Солнце греет,
Солнце греет,
Да во всю землю,
Да во всю руську,
Да святоруську.

Дальнейшие загадки, по своей трудности, ничем не отличаются от первой. Спрашивают, например, что светит во всю ночку, и отвечают — месяц светит; что сыплют во все небо — звезды сыплют и т. д.

Третью группу святочных песен составляют песни хороводные. Участвующие в игре девицы образуют круг и стоят, не передвигаясь с места, во время пения. По за-кругу же ходит одна какая-нибудь девушка, изображающая собой «царевеня» (царевича), который обращается с вопросами к царевне (царевну изображает весь хор).

Ц а р е в е н ь
Ты пусти во город,
Ты пусти во красен.

---

* Т. е. таких, которые под силу только мужскому уму.
** Королевских.

Царевна

Те по ще во город,
Те по ще во красен?

Царевень

Мне девиц смотреть,
Красавиц выбирать.

Царевна

Тебе коя люба,
Коя прихороша,
Коя лучше всех?

Царевень

Мне-ка эта люба,
Эта прихороша,
Эта лучше всех.

С этими словами «царевень» выводит из круга выбранную им девушку и, взявши своей левой рукой ее правую руку, с пением быстро ведет ее по за-кругу. Когда песня кончится, ее начинают сызнова и поют так до тех пор, пока царевень не выберет из круга всех девиц. Таким образом, в конце игры образуется целая «пленица» (вереница) девушек, предводимая царевичем. При пении же в последний раз «Возьму я царевну» — царевень, увлекая за собой всю цепь, делает несколько спиралеобразных поворотов, и на том игра оканчивается.

II

Рождественский сочельник повсеместно проводится крестьянами в самом строгом посте. Едят только после первой звезды, причем сама еда в этот день обставляется особыми символическими обрядами, к которым приготовляются загодя. Обыкновенно перед закатом солнца хозяин со всеми домочадцами становится на молитву, потом зажигает восковую свечу, прилепляет ее к одному из хлебов, лежащих на столе, а сам уходит во двор и приносит вязанку соломы или сена, застилает им передний угол и прилавок, покрывает чистой скатертью или полотенцем и на приготовленном месте, под самыми образами, ставит необмолоченный сноп ржи и кутью. Когда, таким образом, все приготовлено, семья снова становится на молитву, и затем уже начинается трапеза.

Солома и необмолоченный сноп составляют непременную принадлежность праздника. Они знаменуют собой пробуждение и оживление творческих сил природы, которые просыпаются за поворотом солнца с зимы на лето*. Садовые же расте-

* По календарю, этот перелом зимы приходится на Спиридона-поворота, 12 декабря.

ния и плоды, а также подсолнечные зерна считаются в народной мифологии как символ оплодотворяющего землю дождя.

Кутья, или каша, разведенная медом, также имеет символическое значение. Она знаменует собой плодородие и употребляется не только в сочельник, но и на похоронах и даже на родинах и крестинах (в последних двух случаях она подается с маслом). Сама трапеза в рождественский сочельник совершается среди благоговейной тишины и почти молитвенного настроения, что, однако, не мешает крестьянам тут же, во время трапезы, гадать о будущем урожае, выдергивая из снопа соломинки, и заставлять ребят лазить под стол и «цыкать» там цыпленком, чтобы хорошо водились куры.

По окончании вечера часть оставшейся кутьи дети разносят по домам бедняков, чтобы и им дать возможность отпраздновать «богатую кутью», и затем в деревнях начинаются колядки.

По свидетельству большинства наших корреспондентов, обычай колядовать в рождественский сочельник за последние 5—10 лет стал выводиться, но все-таки и теперь он далеко не повсеместно забыт деревенской молодежью, которая видит в нем не только веселое препровождение времени, но своеобразную доходную статью[3]. Есть места, где практикуется не только рождественская коляда, но и васильевская (под Новый год) и крещенская (в крещенский сочельник). Коляда состоит в том, что парни, девушки и мальчики собираются группами и, переходя от одного двора к другому, поют под окошками, а иногда и в избах, песни, то в честь праздника, то как поздравление хозяев, то просто ради потехи и развлечения. За это им дают копейки, хлеб, а иногда потчуют водкой.

В Грузинской волости Новгородского у⟨езда⟩ из колядованья выработался интересный обычай «цыганичанья», который, по словам нашего корреспондента, состоит в том, что в первые два дня великого праздника молодые девушки, одевшись в разноцветные и шитые не по росту платья, накидывают себе на плечи большие распущенные платки (на манер цыганского костюма) и ходят по дворам и домам — одни с гармонией и балалайкой в руках, а другие с лукошками. Вся эта веселая ватага распевает цыганские песни, играет, пляшет и выпрашивает все, что попадется на глаза, причем, в случае отказа хозяев, «по цыганской совести» бесцеремонно тащит все, что плохо лежит. Часто случается, что эти русские цыганки уносят разные вещи у своих соседей, но соседи редко обижаются и обыкновенно предлагают выкуп за свое добро. На вырученные деньги девушки покупают себе гостинцев на весь праздник, причем обычай запрещает, чтобы на «колядовые» деньги покупалось что-нибудь полезное.

Кроме деревенской молодежи, в колядах принимает участие и сельское духовенство, хотя справедливость требует отметить, что обычай этот распространен чрезвычайно мало и имеет значение чисто местное. Но тем не менее он существует, и притом не где-нибудь в лесном захолустье, а в Курской губ⟨ернии⟩. Вот что пишет нам по этому поводу один священник: «Эта «коляда» была для меня совершенной новостью, я о ней даже и не слышал, а теперь самому пришлось волей-неволей ехать за подаянием. «Да ваше дело такое, что вам нужно ехать,— подбодряет меня церковный староста,— покойный отец благочинный по нескольку возов с одной деревни, случалось, собирал, и вам всякий даст, я с вами сам поеду». Отправляемся в деревню «в коляду», в дом идет староста и говорит: «Батюшка в коляду приехал». Выходит хозяин: «В коляду приехали?» — спрашивает у меня. «Да»,— отвечаю я в смущении. «Что ж, ваше дело такое, на нови нужно дать, пойдемте в амбар». Я стараюсь как можно скорей уйти из амбара, чтобы не смотреть, как мне ссыпают коляды. Видя мое смущение, некоторые хозяева замечали: «Вы дужа рахманны, нужно быть посмелей, покойный отец благочинный сам каждого хлеба требовал. Ну ничего, даст бог, поживете с нами, пообвыкнете»...»

Как на оригинальную особенность, связанную с колядованием, нужно еще указать на следующий обычай, практикуемый в Вологодской губ⟨ернии⟩, Кадниковского у⟨езда⟩. Здесь мальчишки 7—10 лет ходят по избам сбирать лучины на вечера, причем распевают такие песни:

Коляда ты, коляда,
Заходила коляда,
Записала коляда.
Государева двора,
Государев двор середи Москвы,
Середь каменныя.
Кумушка-голубушка,
Пожертвуйте лучинки
На святые вечера,
На игрища, на сборища.

Если лучины дали, то в благодарность еще поют: «Спасибо, кума, лебедь белая моя, ты не праздничала, не про..., на базар гулять ходила, себе шелку накупила, ширинки вышивала, дружку милому отдавала. Дай тебе господи сорок коров, пятьдесят поросят да сорок курочек».

Если же лучины не дали, то пожелания принимают совсем другой характер: «Дай же тебе господи: одна корова — и та нездорова, по полю пошла — и та пропала».⟨...⟩

III

В ночь под Новый год бесчисленные сонмы бесов выходят из преисподней и свободно расхаживают по земле, пугая весь крещеный народ. Начиная с этой ночи, вплоть до кануна Богоявления нечистая сила невозбранно устраивает пакости православному люду и потешается над всеми, кто позабыл оградить свои дела крестом, начертанным на дверях жилых и нежилых помещений. В эти страшные вечера, говорит народная легенда, бог на радостях, что у него родился сын, отомкнул все двери и выпустил чертей погулять. И вот черти, соскучившись в аду, как голодные набросились на грешные игрища и придумали, на погибель человеческого рода, бесчисленное множество развлечений, которым с таким азартом предается легкомысленная молодежь.

Так говорит строгая легенда, созданная благочестивыми людьми в поучение ветреной молодежи. Однако молодежь до сих пор не прониклась смыслом этого поверья и по всей великой Руси проводит святки в веселье, распевая песни, затевая игры и устраивая гаданья.

Гадание составляет любимое святочное развлечение. Гадают кое-где и под Рождество и под Крещенье, но самым верным и действительным считается гадание под Новый год (если только гадающий не забудет соблюсти все необходимые условия, т. е. будет гадать без креста, без пояса и не благословясь).

Почти все способы гадания имеют одну цель — узнать, скоро ли, куда и за кого выдадут замуж (или на ком женят) и как сложится жизнь в чужой семье, среди чужих людей. Эти вопросы, по понятным причинам, всего больше интересуют женскую половину деревенской молодежи, и потому естественно, что девушки отдаются гаданию с особым увлечением.

Наиболее распространенными видами гадания считается литье олова или воска, гадание с петухом, выбрасывание за ворота башмаков или лаптя и обычай «хоронить золото». Но все эти способы гадания практикуются повсеместно, а самый ритуал их настолько общеизвестен, что нет надобности говорить о нем вновь. Можно только указать на кое-какие местные особенности того или другого гадания. Так, в некоторых глухих губерниях (напр., в Вологодской) при гадании с петухом считается необходимым украсть у кого-нибудь из причта наславленного овса* и этим овсом обсыпать свои кольца. То же гадание в Муромском у⟨езде⟩ обставляется такими особенностями: гадальщицы раскладывают на столе щепотку крупы,

* В глухих местах причту дают иногда, вместо денег, продукты хозяйства.

кусок хлеба, ножницы, золу, уголь и ставят миску с водой. Ежели затем петух клюнет крупу или хлеб, то суженый будет из богатой семьи, ежели ножницы — то портной, ежели золу — табашник, воду пить станет — муж будет пьяница, а если уголь вздумает клевать — то девушка не выйдет замуж совсем.

Кроме этих общеизвестных способов гадания, существуют еще и такие, которые почти неизвестны в городах и практикуются только в деревне. Так, напр., в Курской губ⟨ернии⟩ девушки под Новый год ходят в хлев и обвязывают овец и коров поясами, а наутро смотрят: если овца или корова станет головой к воротам, то девушка выйдет замуж, если задом или боком — то придется ей еще год просидеть в ожидании женихов. Этот способ гадания редко обходится без шуток и глумлений со стороны деревенских парней. Вот что на этот счет рассказала одна баба нашему корреспонденту из Обояни. «Один раз стали наши девки гадать, пошли в овчарух, обвязали овечек поясами, да и ушли в хату. А ребята поразвязали овец, наловили собак, обвязали их поясами, да и пустили в овчарух. Пришли наутро девки — глядь, а вместо овец собаки... И что ж бы вы думали,— закончила рассказчица свое повествование,— повышли те девки замуж, и у всех до единой собачья жизнь была».

В Вологодской губ⟨ернии⟩ вместо овец и коров при гадании девушек играют роль лошади. Гадальщица надевает коню мешок на голову и завязывает на шее, после чего садится верхом, задом наперед, берет в зубы хвост и гонит лошадь. Если при этом лошадь пойдет к воротам, то девушку нынче же выдадут замуж, и наоборот — если в хлев или к забору, то в нынешнем году никто не посватается.

И этот способ гадания тоже, разумеется, не обходится без шуток парней, которые стараются испугать лошадь и хохочут, когда всадница свалится на землю. Но всего чаще проказят парни при так называемых гаданиях в овинах и в банях. В ночь под Новый год девушки толпой тихонько пробираются к овину, который считается страшным местом, потому что здесь обитает злой дух «овинник», и каждая, подняв сарафан, становится задом к окошечку, выходящему из ямы овина, и говорит прерывающимся от страха голосом: «Суженый-ряженый, погладь меня». Если затем девушке покажется, что ее погладили мохнатой рукой, то, значит, муж у нее будет богатый, если голой, то бедняк. Проделав это, девушки идут в овраг, где находится баня, снимают с себя кресты и сеют золу, которую потом каждая из них высыпает отдельной кучкой возле печки. Здесь они проделывают то же самое, что у окна овина, только подходят к челу печки передом — и тоже просят суженого погладить их. Вот тут-то и слу-

чается, что, вместо нечистого духа, в овин и в баню забираются ребята и проделывают над гадальщицами непристойные, а иногда и прямо жестокие шутки, которые частенько кончаются трагически. (Наш пензенский корреспондент рассказывает об одном случае, когда гадальщица, которую схватил парень, спрятавшийся в овине, умерла от испуга.) Но в тех случаях, когда парни не мешают девушкам, гаданье в бане заканчивается тем, что, насыпав кучу золы, девушки на другой день идут смотреть в баню: если на кучке заметен след ног в сапогах — то девушка выйдет за богатого, если в лаптях — за бедного, если, наконец, будут видны следы от удара кнутом — то муж у девушки будет сердитый и будет бить жену.

В огромном большинстве случаев девушки гадают одни, без участия парней. Но есть способы гаданья, в которых принимает участие молодежь обоего пола. Сюда относятся, например, гадания на росстанях дорог (известно, что перекрестки дорог — любимое место нечистой силы). Парни и девушки садятся здесь в кружок, очерчивают себя кругом, прикрываются белой полотняной скатертью и напряженно вслушиваются в тишину морозной зимней ночи. Если кто-нибудь услышит звон колокольчика — значит, девушка выйдет в ту сторону замуж, а парень оттуда возьмет жену. Точно так же предвещает свадьбу и собачий лай, причем по характеру лая определяют даже свойства жениха (или невесты). Хриплый, грубый лай знаменует старого, ворчливого жениха, звонкий — молодого. Если лай послышится вблизи, то и жених будет из ближнего села; если послышится лай далекий, едва уловимый, то и жених будет из дальних мест. Всего чаще, конечно, гадальщики, настроенные на любовный лад, слышат или звон колокольчика, или собачий лай. Но бывают случаи, когда до них доносятся звуки, предвещающие несчастье, например, звук топора (смерть) или звук поцелуя (потеря чести для девушки). Гаданье на перекрестках дорог требует, чтобы никто из гадающих не выходил из круга, пока все не будут «расчерчены», т. е. пока кто-нибудь из присутствующих здесь же, но не участвующих в гаданье снова не очертит кругом гадающих — иначе гаданье не сбудется.

К числу совместных гаданий, в которых принимает участие молодежь обоего пола, следует отнести и подблюдные песни, которые, как известно, составляют лишь особый вид святочного гаданья. Впрочем, подблюдные песни, по общему отзыву наших корреспондентов, почти повсеместно выходят из употребления, и молодежь к ним относится далеко без той серьезности, какая наблюдалась в старину. Теперь пение этих безыскусственных, полных ребяческой наивности песенок-загадок сплошь и рядом прерывается разухабистым фабричным мотивом, визгливыми звуками гармоники, а то и просто замечания-

ми непристойного характера. И единственно, кто еще не дает окончательно умереть подблюдной песне — это деревенские девушки! Они еще сохранили вкус к поэзии отцов и дедов и, собираясь в Васильев вечер[4] «закидывать кольца», наблюдают, чтобы подблюдные песни распевались чин чином и чтобы старинные обряды сохранялись при этом во всей полноте, т. е. чтобы воду, куда опускают кольца, приносили из проруби, чтобы приносил ее парень первородный (первенец) или девушка «последняя» (т. е. младшая в семье*) и т. д.

Все виды гаданий (в особенности так называемое «страшное» гаданье с зеркалом) считаются благочестивыми людьми за грех. Но еще больший грех совершают те, кто рядится и надевает «хари» (маски). В особенности это развлечение считается неприличным для женщин и девушек. Во многих местах девушка из богобоязненной семьи, воспитанная в твердых правилах крестьянского приличия, ни за что не позволит себе не только надеть маску, но и просто нарядиться в несвойственный ее полу и возрасту костюм. Даже для парней маска, купленная в городе, считается непристойной забавой и настолько тяжким грехом, что провинившемуся остается только один способ поправить дело — это выкупаться в проруби в день Богоявления[5].

Однако, несмотря на такое строгое отношение к обычаю рядиться, ни одни деревенские святки не проходят без того, чтобы парни не устроили себе потешных развлечений с переодеванием. Еще загодя они подготавливают самодельные маски, бороды из льна и шутовкие костюмы, состоящие из самых худых зипунов, вывороченных шерстью наружу полушубков и пр. В сумерки желающие рядиться собираются к кому-либо в хату и одеваются — кто цыганом, кто старым дедом, кто уродом-горбачом. При этом почти всегда устраивают кобылу, т. е. вяжут из соломы чучело, немного похожее на

* Для интересующихся можем указать еще следующие, очень распространенные способы святочного гаданья: в Васильев вечер девушки ходят под окна и подслушивают разговоры соседей, стараясь по отдельным долетающим до них словам узнать свою судьбу. Еще чаще ходят слушать на церковную паперть, причем если гадальщицам почудится, что в пустой церкви поют «Исаия ликуй» — то замужество в этом году неизбежно,— наоборот, если послышится «Со святыми упокой», то гадальщицу ожидает смерть. В большом ходу точно так же гаданье «на чулок» и «на замок». В первом случае девушка, ложась спать, оставляет на одной ноге чулок и говорит: «Суженый-ряженый, разуй меня». Во втором случае она привязывает к поясу замок, запирает его и ключ кладет под голову, тоже со словами: «Суженый-ряженый, отомкни меня». К этому же способу относится обычай «класть колодезь под головы». Колодезь — не что иное, как лучинки, положенные четырехугольником. Приговор в этом случае почти такой же, как и в предыдущих: «Суженый-ряженый, приезжай коня поить». Наконец, в большом ходу еще обычай ходить в полночь в курятник, ловить петуха на нашесте и по цвету перьев его определять цвет волос будущего мужа.

лошадь, которую затем должны нести четыре парня. Когда все оделись, отправляются по деревне с песнями и криком. Впереди всех едет верхом на кобыле горбатый старичок с предлинной бородой (для этого наряжают мальчика подростка). За ним ведут медведя на веревке цыган и солдат, а затем уже следует целая толпа ряженых парней и подростков. Шумной, веселой ватагой врываются ряженые в дома, пляшут, поют, предлагают гадать и выпрашивают табаку и денег. Обойдя все дома более богатых соседей, вся эта толпа вваливается в святочную избу и, если денег насбирала довольно, то начинает бражничать.

Мы так долго останавливались на новогодних развлечениях деревенской молодежи только потому, что эти развлечения, как уже было сказано, составляют центр русских святок, и что не кто другой, как именно молодежь, дает тон общему веселью и своим жизнерадостным настроением, своими проказами, песнями и смехом заражает взрослое население, заставляя и его тряхнуть стариной и вспомнить молодость. Впрочем, забавы взрослых далеко не носят такого шумного характера и почти целиком направлены на исполнение дедовских обычаев, освященных церковью и временем. Притом же день Нового года представляет собой своего рода рубеж, отделяющий прошлое от будущего. В этот день даже в самой легкомысленной голове шевелится мысль о возможном счастье или несчастье, а в сердце роятся надежды, может быть, и несбыточные и ребяческие, но все-таки подымающие настроение и вызывающие какое-то смутное предчувствие лучшего будущего. В трудовой жизни крестьянина-пахаря, которая вся построена на случайностях и неожиданностях, это настроение приобретает особенную остроту, порождая те бесчисленные приметы, своеобразные обычаи и гадания, которые приурочены к кануну Нового года и к самому Новому году.

Гадает взрослое население, разумеется, только о том, что составляет центр всех деревенских помыслов, т. е. об урожае, причем сплошь и рядом гаданье, как суеверное желание узнать будущее, сливается в данном случае с приметой, т. е. с наблюдением, проверенным опытом стариков. Вот, например, как гадают об урожае крестьяне Пензенской губ⟨ернии⟩, Краснослободского у⟨езда⟩. В канун Нового года, около полуночи, двенадцать стариков (по числу месяцев в году), избранных всем обществом за примерную жизнь и испытанное благочестие, идут к церковной паперти и ставят здесь снопы хлеба — ржи, овса, гречи, проса, льна и пр., а также кладут картофель[6]. На утро Нового года те же двенадцать стариков приходят в церковную ограду и замечают: на каком из снопов больше инею, того хлеба и надо всего больше сеять.

Кроме этих местных примет, есть и общие, распространенные по всей Великороссии. Так, например, почти повсюду крестьяне верят, что если в ночь под Новый год небо будет звездное, то в наступающем году будет большой урожай ягод и грибов *. Не довольствуясь, однако, приметами, народная фантазия придумала целый кодекс гадания об урожае. Так, в Козловском у⟨езде⟩ крестьяне, отстоявши утреннюю обедню, уходят на гумно и зубами выдергивают из кладушек былинки. Если выдернется былинка с колосом, полным зерна, то год будет урожайный, если с тощим — неурожайный. Еще более своеобразный обычай наблюдается в Саранском у⟨езде⟩ Пензенской губ⟨ернии⟩. Здесь крестьяне в канун Нового года пекут отдельный каравай хлеба, взвешивают его, кладут на ночь к образам, а утром снова взвешивают и замечают: если вес прибавится, то наступающий год будет урожайный (в таком случае каравай съедается семейными), если же, наоборот, вес убавится, то год будет неурожайный (в этом случае каравай отдают скотине, чтобы она меньше голодала во время бескормицы) **. С той же целью — определить урожай будущего года — крестьяне после заутрени ходят на перекресток, чертят палкой или пальцем по земле крест, потом припадают к этому кресту ухом и слушают: если послышится, что едут сани с грузом — год будет урожайный, если пустые — будет недород***.

После урожая вторым властителем деревенских дум является, как известно, скотина. Ее здоровье и благополучие в значительной мере обусловливают и благополучие хозяев. Поэтому нельзя удивляться, что скотина точно так же составляет центр, вокруг которого создался целый цикл новогодних примет и обычаев. Так, например, во многих селениях центральной полосы России в Васильев день принято колоть

---

* Что касается крестьянских примет вообще, то большинство из них поражает своей наивностью и первобытностью миросозерцания. Однако попадаются и такие, которые делают честь народной наблюдательности и пытливости крестьянского ума. Интересующиеся могут на этот счет найти у Глеба Успенского («Власть земли») много подробностей и чрезвычайно глубокую оценку народных примет.

** Известен также повсеместный новогодний обычай обсыпания зерновым хлебом, по преимуществу овсом или хмелем (символ изобилия). Обсыпают обыкновенно с различными приговорами; вроде: «Уж дай ему, бог, зароди ему, бог, чтобы рожь родилась, сама в гумно свалилась». Зерна засевальщиков тщательно сберегают до весны, и ими начинают засевать яровые поля.

*** Из числа других новогодних примет, не имеющих прямого отношения к урожаю, можно указать следующие: если утром в день Нового года первой придет в дом женщина, то это неминуемо принесет несчастье, если мужчина — то счастье. Если в день Нового года есть в доме деньги — весь год не будешь в них нуждаться, но только при условии, если никому не дашь взаймы. (На том же основании даже ребятишки не дают взаймы костыг и бабок.)

так называемых «кесаретских» поросят (Васильев день называется иначе «Кесаретским» по имени Василия Великого, архиепископа кесарийского). Зажаренный кесаретский поросенок считается как бы общим достоянием: все желающие односельцы могут приходить и есть его, причем каждый из приходящих должен принести хоть немного денег, которые вручаются хозяину, а на другой день передаются в приходскую церковь и поступают в пользу причта. Обычай требует, чтобы кесаретский поросенок непременно был жареный и подавался на стол в целом виде (неразрезанным), хотя бы по величине он походил на большую свинью. Перед едой старший в семье поднимает чашку с поросенком вверх до трех раз, приговаривая: «Чтобы свиночки поросились, овечки ягнились, коровушки телились». По окончании же трапезы хозяин обыкновенно вызывает из числа гостей смельчака, который решился бы отнести кости поросенка в свиную закутку. Но охотников на такое рискованное дело почти никогда не находится, так как кости надо носить по одной, а в закутке в это время сидят черти, которые только того и ждут, чтобы выискался храбрец и явился в их компанию. Тогда они быстро захлопнут за вошедшим дверь и, среди шума и гама, будут бить его по голове принесенными костями, требуя назад съеденного поросенка. Понять происхождение этого обычая нетрудно: основная идея его заключается в сборе денег в пользу духовенства, которое за это должно молить бога о здоровье и плодовитости скотины *. Что же касается участия в этом обычае нечистой силы, приютившейся в свином закутке, то это не более как один из тех остатков язычества, которые переплелись с христианскими обрядами еще в те незапамятные времена, когда на Руси господствовало двоеверие. Доказательством того, что обычай колоть кесаретских поросят имеет именно такое значение, может служить аналогичный же обычай, практикуемый в Сольвычегодском у⟨езде⟩ Вологодской губ⟨ернии⟩. Здесь крестьяне в день Нового года рано поутру съезжаются на погост со всего прихода, и каждый привозит свиные туши: кто четверть, кто половину, а кто и целую свинью, глядя по усердию и достатку. Туши эти жертвуются в пользу причта, а головы их кидают в общий котел и варят щи, которые и съедаются всем миром. Обычай этот соблюдается очень строго, и не пожертвовать в Новый год духовным лицам свинины считается непрости-

* Существует мнение, что кесаретский поросенок режется в память того, что пресвятая богородица приносила в храм обрезывать младенца. Поэтому будто бы кесаретским поросенком и угощают, по преимуществу, зятьев. Но нетрудно видеть, что такое объяснение слишком натянуто и страдает искусственностью, не говоря уже о том, что обряд обрезания и угощения зятьев не стоят между собой ни в какой связи.

тельным грехом, так как жертва эта делается в благодарность за благополучие скота в прошедшем году и с целью умилостивить бога и предохранить скот от падежа в наступающем году.

Из сказанного позволительно заключить, что кесаретский поросенок центральных губерний и свиные туши Сольвычегодского у⟨езда⟩ по идее ничем не отличаются друг от друга и составляют один обычай. Вся разница между ними состоит в том, что в центральных губерниях при помощи кесаретского поросенка в пользу духовенства собираются деньги, а в Сольвычегодском свинину привозят натурой, и духовные лица сами уже должны продать ее особым скупщикам.

IV

В центральных губерниях Великороссии канун Богоявления[7] называется иногда «свечками», так как в этот день после вечерни, когда совершается водосвятие, деревенские женщины ставят к сосуду, в котором освящается вода, перевитые лентами или цветными нитками свечи. Уже один этот обычай показывает, что водосвятие, совершаемое в канун Богоявления, крестьяне считают особенно важным торжеством. И действительно, весь этот день они проводят в строжайшем посте (даже дети и подростки стараются не есть «до звезды»), а во время вечерни маленькие деревенские храмы обыкновенно не могут вместить всей массы молящихся. Особенно велика бывает давка во время водосвятия, так как крестьяне сохранили убеждение, что чем раньше почерпнуть освященной воды, тем она святее.

По возвращении с водосвятия каждый домохозяин со всей семьей с благоговением отпивает несколько глотков из принесенной посудины, а затем берет из-за иконы священную вербу и кропит святой водой весь дом, пристройки и все имущество, в полной уверенности, что это предохраняет не только от беды и напасти, но и от дурного глаза. В некоторых губерниях, сверх того, считается за правило вливать св. воды в колодцы, чтобы нечистые духи не забрались туда и не опоганили воду. При этом, однако, необходимо строго наблюдать, чтобы никто не брал воды из колодца до утра 6 января, т. е. до освящения воды после обедни. По совершении всех этих обрядов, св. вода обыкновенно ставится к образам, так как крестьяне не только веруют в целебную силу этой воды, но точно так же твердо убеждены, что она не может испортиться и что если заморозить богоявленскую воду в каком угодно сосуде, то на льду получится явственное изображение креста. Приблизительно такое же священное значение приписывается крестьянами не только воде, освященной в церкви, но и простой речной воде, которая в канун Крещения получает особую

силу. По народному представлению, в ночь с 5 на 6 января в реке купается сам Иисус Христос — поэтому во всех речках и озерах вода «колышется», и чтобы заметить это чудесное явление, необходимо только прийти в самую полночь на реку и ждать у проруби, пока «пройдет волна» (признак, что Христос погрузился в воду). Это общераспространенное верование создало в крестьянской среде обычай, в силу которого считается большим грехом ранее истечения недели мыть белье в той реке, на которой происходило крещенское водоосвящение. Нарушители этого дедовского завета считаются приспешниками и помощниками черта, так как при погружении св. креста в воду вся нечистая сила, в страхе и ужасе, не помня себя, бежит от него и, хватаясь за белье, которое полощут в проруби, выскакивает наружу. Вода, почерпнутая в проруби в канун Крещения, считается целебной и помогает в особенности женщинам-кликушам — необходимо только, идя от проруби, не оборачиваться назад и произносить молитву.

В день Крещения, лишь только ударит колокол к заутрени, в деревнях начинается движение: благочестивые люди спешат зажечь вязанки соломы перед избами (для того, чтобы Иисус Христос, крестившийся в Иордане, мог погреться у огня), а особые мастера-любители, испросив благословения у священника, хлопочут на реке, устраивая «ердань»[8]. С необыкновенным старанием они вырубают во льду крест, подсвечники, лестницу, голубя, полукруглое сияние и вокруг всего это желобчатое углубление для протока воды в «чашу». Подле чаши во время богослужения становится причт, и при чтении ектении особый знающий человек сильным и ловким ударом пробивает дно этой чаши, и вода фонтаном вырывается из реки и быстро заполняет сияние (углубление), после чего длинный осьмиконечный крест точно всплывает над водой и матовым серебром блестит на ее поверхности. На это торжество стекается обыкновенно масса народа, и стар и млад, все спешат на «ердань», так что толстый лед, в полтора аршина, трещит и гнется под тяжестью молящихся. Привлекает прихожан не только красота зрелища и торжественность богослужения, но и благочестивое желание помолиться, испить освященной воды и омыть ею лицо. Находятся удальцы, которые даже купаются в проруби, памятуя, что в освященной воде человек не может простудиться (как выше было сказано, всего больше купаются те, кто на святках рядился и надевал «хари»).

Праздник Крещения господня принадлежит к числу тех, которые больше других очищены от языческих наслоений, хотя и здесь имеются своеобразные обряды и обычаи, в которых христианская вера как бы переплетается с языческим суеверием[9]. Из числа таких обычаев можно, например, ука-

зать на «освящение скота» самими крестьянами. Вот как совершается этот обряд в Орловской губ⟨ернии⟩. После обедни, которая в Крещение отходит рано утром, крестьяне расходятся по домам и поздравляют друг друга с праздником; потом один из членов семьи берет с божницы икону с зажженной перед ней свечой, другой — кадильницу, третий — топор, четвертый (обыкновенно сам хозяин) надевает вывороченную наизнанку шубу[10] и берет миску с богоявленской водой и соломенное кропило. Сделав эти предварительные приготовления, вся семья отправляется на скотный двор в следующем порядке: спереди, согнувшись, несет сын или брат домохозяина топор, острием книзу, так что оно касается земли; за ним кто-нибудь из женщин несет икону (по большей части Воскресения Христова), далее идут с кадильницей и, наконец, хозяин с чашей воды. Шествие совершается торжественно, среди полнейшего молчания, причем процессия останавливается посреди двора, где разложен особый корм для скота: печеный, разломанный на куски хлеб, ржаные лепешки, сохраненные для этой цели от праздника Рождества Христова и Нового года, хлеб в зерне и немолоченые снопы ржи, овса и других хлебных растений, оставленные к этому дню с осени (оставляют обыкновенно по шести снопов каждого хлеба). Когда процессия останавливается, хозяйка выпускает из хлевов до тех пор запертую скотину, которая с недоумевающим видом бродит по двору и, наконец, накидывается на лакомую пищу. Между тем процессия обходит вокруг скотины с образом, причем хозяин окропляет св. водой каждую голову крупного и мелкого скота в отдельности. Этот обход делается три раза, после чего топор крестообразно перебрасывается через скот, и участники процессии направляются обратно в избу. Определить истинный смысл этого обычая сами крестьяне не могут, и объяснения их разноречивы: одни говорят, что соблюдение этого обряда угодно богу, другие уверяют, что обряд имеет в виду умилостивление домового, который-де не будет обижать скотину кормом, третьи, наконец, свидетельствуют, что таким путем скот гарантируется от падежа, так как всякие скотские болезни пересекаются топором, брошенным накрест. Но, кажется, проще всего будет предположить, что обряд этот возник во времена отдаленной древности, когда храмов господних было еще мало и когда благочестивые хозяева, по нужде, сами должны были исполнять обязанности священников, окропляя св. водой свою скотину. Тогда же этот по основе своей христианский обычай подвергся языческим искажениям, и явился топор, пресекающий изурочье и напуск болезни на скотину, и вывороченная наизнанку шуба, как средство угодить бесам, которые все носят наизнанку[11]. Таким образом, в данном случае нетрудно установить все признаки

того двоеверия, которое, как ржавчина, насквозь проело христианские обряды наших крестьян.

С той же целью — предохранить скот от болезней и от порчи колдунов и ведьм — крестьяне некоторых губерний (напр., Орловской) считают за правило непременно приезжать, а не приходить на крещенские богослужения. На вопрос одного из наших корреспондентов, чем вызывается такой обычай, один крестьянин ответил так: «Да как же, в церкви на иконе написан Егорий на белом коне; значит, конь этот не простой, а вроде как святой будет, потому в церквах он стоит. Притом же сам Егорий перед тем, как убить ему змею огненную, что людей жрала, освятил в речке воду и заехал в ту воду на коне, чтобы, стало быть, коня своего освятить и чтобы змея уже никакой вреды — ни жалом, ни огнем — лошади его не сделала. Вот теперича и мы так же: в реку, конечно, лошадь не загонишь, потому вода очень студеная, так пусть хоть по льду пройдется и освятится малость — святая ведь вода-то на Крещенье».

Из числа других крещенских обрядов и обычаев можно указать на особый вид гаданий и на смотрины невест, приуроченные к этому дню[12]. Гадания на Крещенье в общем те же, что и на Новый год и на святки. Исключение составляет лишь так называемое гаданье с кутьей, состоящее в том, что гадальщицы, захвативши в чашку горячей кутьи и скрывши ее под фартуком или платком, бегут на улицу и первому попавшему мужчине швыряют в лицо кутьей, спрашивая его имя. Еще более оригинален другой вид специально крещенского гаданья: в сочельник, после заката солнца, девушки нагие выходят на улицу, полют снег, кидают его через плечо и затем слушают: в которой стороне послышится что-нибудь, в ту сторону и замуж выдадут.

Обычай устраивать на Крещенье так называемые дивьи (девичьи) смотрины принадлежит к числу вымирающих. Он сохранился лишь в самых глухих местах, где еще не исчезли предания старины и где браки устраиваются с патриархальной простотой, по выбору родителей. Смотрины происходят либо в церкви, во время литургии, либо на городской площади, где катаются матери с дочками, а мужской пол стоит стеной и производит наблюденье. «Все невесты,— рассказывает наш корреспондент,— наряженные в лучшие платья и разрумяненные, выстраиваются в длинный ряд около «ердани». При этом каждая старается выставить напоказ и подчеркнуть свои достоинства». Между невестами (называемыми также «славушницами») прохаживают парни, сопровождаемые своими родительницами, и выбирают себе суженую. При этом, как водится, заботливая родительница не только внимательно рассматривает, но даже щупает платья девиц и берет их за

руки, чтобы узнать, не слишком ли холодные руки у славушницы. Если руки холодны, то такая невеста, хотя бы она обладала всеми другими качествами, считается зябкой и потому не подходящей для суровой крестьянской жизни. (Славушницы выходят на смотрины обязательно с голыми руками, без рукавиц.)

V

Сретенье господне (2 февраля) не считается в крестьянской среде большим праздником. Очень часто крестьяне, в особенности неграмотные, даже не знают, какое событие вспоминает в этот день православная церковь, а самое название праздника — «Сретенье» — объясняется таким образом, что в этот день зима встречается с летом, т. е. начинают ослабевать морозы и в воздухе чувствуется приближение весны[13]. Приписывая Сретенью лишь значение календарного рубежа, крестьяне соединяют с этим днем множество земледельческих примет: «На Сретеньев день снежок — весною дожжок»,— говорят они, гадая о будущих дождях. Капель в этот день предвещает урожай пшеницы, а ветер — плодородие фруктовых деревьев, почему садовники, пришедши от заутрени, «трясут деревья руками, чтобы были с плодами». Если в Сретеньев день тихо и красно, то летом будут хороши льны, и прочее. По погоде этого дня судят также об урожае трав, для чего бросают поперек дороги палку и наблюдают: если снег заметет ее, то и корм для скота «подметет», т. е. травы будут дороги. Наконец, в Сретеньев день хозяйки начинают усиленно кормить кур, чтобы были но́ски. Что касается религиозных обычаев, связанных с этим днем, то их, на всем пространстве Великороссии, почти не существует; лишь кое-где (напр., в Вологодской губ⟨ернии⟩) крестьяне обходят свои дома с иконой Сретения господня или Спаса, причем когда икону приносят в дом обратно, то вся семья с домохозяином во главе падает ниц и вопиет: «Господи боже наш, войди к нам и благослови нас».

VI

При распределении даров благодати между святыми угодниками христианской церкви значительная доля ее досталась св. великомученику Власию. Ему поручено было покровительство и защита всего живого, служащего в помощь и пригодного на потребу человека, еще с тех первоначальных времен, когда на простом созвучии имен (Власий приравнивался языческому Велесу)[14] можно было укрепить веру доверчивых и успокоить подозрения сомневающихся. Впослед-

ствии, по мере того как народная жизнь во всех своих проявлениях развивалась, благодатной силы Велеса оказалось недостаточно, понадобилось участие иных добрых сил, новых помощников и покровителей. В русском православном мире в помощь земледельцам явились св. мученики Борис и Глеб, пчеловодам — Зосима и Савватий соловецкие, оберегателям домашней птицы — Сергий Радонежский и т. д. Все они явились в дополнение к тем святым, которые перешли из греческой церкви и завещаны древней Русью: св. Георгий Победоносец — для рабочего скота, а с ним св. Афанасий и Кирилл (2 мая). Для всякой птицы, идущей в пищу, услаждающей слух и истребляющей вредных насекомых и т. п.,— покровителями служат сорок мучеников, утопленных за веру в Севастийском озере (исключительно для гусей — Никита мученик); для овец — св. Анисим (15 февр.) и вровень с Егорием, в одинаковую с ним силу значения и почитания,— защитники лошадей, св. муч. Флор и Лавр (в народном языке часто сливающиеся в одно имя Фрол-Лавр или еще чаще «Фролы»). Празднование Егорьева дня и Фролов отличается особым чествованием, так как в этом отношении святые эти затмевают не только меньших угодников, но и столь почтенного, по первородству и древнему преемству, как св. Власий.

В настоящее время присвоенная честь и то значение, которое приписывалось Власию в доисторическую эпоху, сохранились более в народном календарном языке, чем в церковных празднествах и обрядах. Власия зовут «бокогреем» и «сшиби рог с зимы» за то, что память этого греческого священномученика падает на 11 февраля, т. е. на то время, когда зимние холода часто становятся более мягкими и морозы уже не столько велики. Солнце начинает сильно пригревать, и в тамбовских краях говорят, что «с Власьева дня полоз саней покатится и корова бок греет», что значит, в переводе на общепонятный язык, что следы шагов и полозьев, остающихся в феврале на снегу, начинают «лосниться», а это и называется «полоз покатится». Замечают также, что выпущенная на прогулку скотина, ввиду того, что на дворе еще очень холодно, старается встать так, чтобы солнышко ударяло на нее. Те же тамбовцы на Власьев день стараются вообще не работать в расчете предохранить свой скот от падежа. Молитвы во время самой эпидемии обращаются, помимо всех других святых, прямо к Власию: «Св. Власий, дай счастья на гладких телушек, на толстых бычков, чтобы со двора шли-играли, а с поля шли-скакали». Эта вера цельнее уберéглась в черноземной России, где давние выселенцы из коренной и срединной Руси, удаленные от влияния Москвы и Киева и дошедшие до полного отчуждения на окраинах государства, до сих пор являют образцы полного двоеверия. В коровниках и хлевах

ставят образ св. Власия. Запасаются подобными иконами от владимирских ходебщиков на случаи общих молебнов, как, например, в первый день выгона скота в поле и, в особенности, в день преполовения и во время падежа скота. С иконой св. Власия обходят без священника больных: овцу, барана, лошадь и корову, связанных хвостами и выведенных на деревенскую площадку. По обходе зараженных гонят их за село в овраг и там, в память языческих обрядов, побивают животных камнями и припевают: «Мы камнями побьем и землей загребем, землей загребем — коровью смерть вобьем, вобьем глубоко, не вернешься в село». Затем на трупы набрасывают усердно столько щепы и соломы, чтобы сделать костер, способный спалить всех четырех жертвенных животных без остатка. Так поступают в Чембарском у⟨езде⟩ Пензенской губ⟨ернии⟩. В резкую противоположность этому обычаю, на глухом севере, например, в Кадниковском у⟨езде⟩ Вологодской губ⟨ернии⟩, чествование Власьева дня знаменуется многолюдным молебствием, съездом целых волостей и бесчисленными молебнами (простыми и водосвятными) в промежуточное время между заутреней и обедней. Это празднество сопровождается также следующим местным обычаем: на особые столы, а за недостатком их, прямо на церковный пол кладутся караваи ржаного хлеба, который священники кропят святой водой, и хозяйки скармливают скотине. Власьев день (пишут оттуда)— праздник по всем приходам на три дня и больше. Варят пиво, покупают водку, приглашают всю родню — словом, празднуют широко и разгульно. В обилии вологодских жертвенных хлебов, таким образом, до некоторой степени, богатая храмами северная лесная Русь сберегла родственное племенное сходство с малоцерковной черноземной Украиной Великороссии. Зато на севере, в среде более раннего заселения страны, с примечательной последовательностью и в явной неприкосновенности сберегались на окраинах всех древних лесных городов храмы во имя священномученика Власия, намеренно строившиеся некогда на главных городских выгонах (в Вологде, Костроме и др.). Там же, где власьевские церкви вошли в срединную черту городов (как в Москве, Ярославле и проч.), они служат лишь мерилом и показателем постепенного роста городского населения. Вместе с тем все эти города представляют собой однородные картины в дни, посвященные церковному празднованию св. великомученика Победоносца Георгия и св. мучеников Флора и Лавра, с тем приметным различием, что в первом случае главная роль принадлежит женщинам, во втором — исключительно мужчинам. На этих двух праздниках и сосредоточивается, собственно, всенародное молитвенное настроение в пользу тех домашних животных, которые составляют основу и главную

поддержку всего домашнего строя жизни и деревенского быта. По смыслу этого закона и самые празднества являются выдающимися, обставленными доступной торжественностью и очень яркими проявлениями слепой и твердой веры в могущественную помощь святых защитников и покровителей. Эти два праздника, по их распространенности, мы имеем полное право назвать именно всенародными и всероссийскими.

VII

В ряду святых угодников, чтимых православным народом, Касьян занимает совершенно исключительное место — это нелюбимый святой, «немилостивый». В некоторых местах, как, например, в Саранском у⟨езде⟩ Пензенской губ⟨ернии⟩, он даже не считается святым и не признается русским, а самое имя Касьян слывет как позорное. В Кадниковском у⟨езде⟩ Вологодской губ⟨ернии⟩ Касьяна считают как бы «опальным» святым и рассказывают о нем следующую легенду: «Св. Касьян сначала был светлым ангелом, почему бог не имел нужды таить от него свои планы и намерения. Но затем святой этот соблазнился на обещания и уловки нечистой силы и, перейдя на сторону дьявола, шепнул ему, что бог намерен свергнуть всю сатанинскую силу с неба в преисподнюю. Однако впоследствии Касьяна стала мучить совесть, он раскаялся в своем предательстве и пожалел о прежнем житье на небе и о своей близости к богу. Тогда господь внял мольбам грешника и сжалился над ним, но из осторожности все-таки не приблизил его к себе, а приставил к нему ангела-хранителя, которому и приказал заковать Касьяна в цепи и бить его по три года тяжелым молотом в лоб, а на четвертый отпускать на волю».

Но не это отступничество от бога послужило источником охлаждения православных темных людей к Касьяну, а главным образом его «немилостивое» отношение к бедному народу. Вот что говорит на этот счет другая легенда, записанная в Зарайском у⟨езде⟩ Рязанской губ⟨ернии⟩: «Однажды Касьян, вместе с Николаем Чудотворцем, шел по дороге, и встретился им мужичок, который увязил воз в грязи. «Помогите,— просит мужичок,— воз поднять». А Касьян ему: «Не могу,— говорит,— еще испачкаю об твой воз свою райскую ризу, как же мне тогда в рай прийти и на глаза господу богу показаться». Николай же Чудотворец ни словечушка мужику не ответил, а только уперся плечом, натужился, налег и помог воз вытащить. Вот пришли потом Николай Угодник с Касьяном в рай, а у Николая-то вся, как есть, риза в грязи выпачкана. Бог увидал это и спрашивает: «Где это ты, Микола, выпачкался?» — «Я,— говорит Николай,— мужичку воз помогал из грязи вытаскивать».—

«А у тебя отчего риза чистая, ведь ты вместе шел?» — спрашивает господь Касьяна. «Я, господи, боялся ризу запачкать». Не понравился этот ответ богу, увидал он, что Касьян лукавит, и определил: быть Касьяну именинником раз в четыре года, а Николаю Угоднику, за его доброту, два раза в год». Хотя эта легенда пользуется на Руси самым широким распространением, но все-таки есть места, где ее не знают. Так, в Новгородской губ⟨ернии⟩ (Боровичского у⟨езда⟩) крестьяне несколько иначе объясняют тот факт, что день Касьяна празднуется только раз в четыре года (29 февраля). «Св. Касьян,— говорят они,— три года подряд в свои именины был пьян и только на четвертый год унялся и праздновал своего ангела в трезвом виде — вот почему и положено ему быть именинником через три года раз!»

Сообразно с такой оценкой нравственных свойств Касьяна установилось и отношение к нему: крестьяне не только не любят, но и боятся этого святого: «Касьян на что взглянет — все вянет»,— говорят мужики и твердо верят, что у Касьяна недобрый взгляд: если он взглянет на скотину — околеет скотина, взглянет на человека — будет тому человеку великое несчастье. Применительно к такому пониманию, в народном языке сложилось даже несколько поговорок, характеризующих «глаз» Касьяна. Про угрюмого, тяжелого и несообщительного человека говорят, что «он Касьяном смотрит». Про человека, способного сглазить, замечают: «Касьян косоглазый, от него, братцы, хороните все, как от Касьяна,— живо сглазит, да так, что потом ни попы не отчитают, ни бабки не отшепчут». «Глаз Касьяна» считается настолько опасным, что в день 29 февраля крестьяне не советуют даже выходить из избы, чтобы не случилось какого-нибудь непоправимого несчастья; в особенности опасно считается выходить до солнечного восхода (в Орловской и Рязанской губ⟨ерниях⟩ крестьяне стараются даже проспать до обеда, чтобы таким образом переждать самое опасное время).

К этой характеристике св. Касьяна в Вологодской губ⟨ернии⟩ прибавляют еще одну черту, которая рисует этого святого врагом человеческого рода. Здесь существует легенда, что Касьяну подчинены все ветры, которые он держит на двадцати цепях, за двадцатью замками. В его власти спустить ветер на землю и наслать на людей и на скотину мор (моровое поветрие). В Вятской же губ⟨ернии⟩ к этой легенде присовокупляют, что сам бог приказал образ святого Касьяна ставить в церквах на задней стене, т. е. над входной дверью.

При таком воззрении народа на св. Касьяна немудрено, что високосный год повсюду на Руси считается несчастным и опасным, а самый опасный день в этом году — Касьянов.

VIII

Плющиха. Под таким названием известен в народе день св. Евдокии, празднуемый 1 марта. Название это связывается с переменами, происходящими в это время в природе: от теплой погоды снег начинает подтаивать, оседать и как бы сплющивается. В некоторых местах св. Евдокия называется также «свистуньей», потому что в это время начинают дуть и свистать весенние ветры, а в старину народ именовал ее «весенницей», так как эта святая женщина заведовала у бога весной[15]. У нее хранились ключи от весенних вод: захочет «весенница» — рано пустит воду, не захочет или прогневается — задержит, а то так и морозы напустит. Оттого в доброе старое время крестьяне боялись св. Евдокии и 1 марта никогда не работали.

Но зато теперь в день св. Евдокии деревенская Русь не устраивает никаких религиозных торжеств и ничем не отличает этот день в ряду второстепенных церковных праздников. Только бабы обязательно приходят в церковь и заказывают молебны перед иконой Евдокии, так как эта святая считается покровительницей овец. Зато в календарном отношении с днем Евдокии связывается много примет, предвещающих хорошие урожаи, хорошую погоду и пр. «На плющиху погоже — и все лето пригоже»,— говорят крестьяне. «Отколь ветер на плющиху подует, оттоль придет и весна!» Но в то же время крестьяне сознают, что в начале марта погода еще бывает капризна, и вместо весеннего тепла разражается иногда метель. «На Евдокию еще собачку в сидячку снегом заносит»,— говорит народ о таких капризах погоды. Однако эти случайные вспышки зимы уже никого не обманывают, все знают, что св. Евдокия — предвестница весны и что весеннее солнце скоро возьмет свое. В некоторых деревнях женщины и дети начинают даже «кликать весну», для чего влезают на крыши или на пригорок и поют приличествующие случаю песни (веснянки). Точно так же во многих случаях крестьяне приносят в этот день из лесу сучьев, топят избы, «чтобы весна была теплая», скидывают с кровли снег, а вечером примечают: если на крышах сосульки долгие, то и лен будет хороший, в особенности куделью. Вообще крестьяне верят, что на Евдокию «Капельницу» все подземные ключи закипают, а бабы с этого дня начинают белить холсты.

IX

День сорока мучеников Севастийских (9 марта) носит на языке народа название «сороки», а иногда «кулики». В этот день, по воззрению крестьян, прилетает из теплых стран сорок

птиц, и первая из них — жаворонок. «Бывает,— уверяют опытные старики крестьяне,— что прилетают жаворонки и раньше, да только те непутящие: прилетит и смерзнуть может. А уж тот жаворонок, который на сороки прилетит, тот настоящий, он не сдохнет».

Сороки с полным основанием можно назвать детским праздником: еще накануне женщины месят из ржаной муки тесто и пекут «жаворонков» (в большинстве случаев, с распростертыми крылышками, как бы летящих, и с хохолками), а утром, в день праздника, раздают детям. Кроме того, утром же одна из женщин делает на дворе сорок соломенных гнездышек и в каждое кладет по яичку из теста (это делается отчасти для того, чтобы куры не ходили по чужим дворам, а неслись дома, отчасти же с целью потешить ребят). Когда жаворонки поспеют, дети берут их и громадной гурьбой, с криками и звонким детским смехом несут куда-нибудь в сарай или под ригу — закликать жаворонков. Там они сажают своих птиц, всех вместе, на возвышенное место и, сбившись в кучу, начинают что есть мочи кричать: «Жаворонки, прилетите, студену зиму унесите, теплу весну принесите: зима нам надоела, весь хлеб у нас поела!» В некоторых местах (например, в Орловской губ⟨ернии⟩) эта детская песня заменяется другой: «Уж вы, куличкижавороники, солетайтеся, сокликайтеся. Весна-красна, на чем пришла? На сошечке, на бороночке, на лошадиной голове, на овсяном снопочку, на ржаном колосочку, на пшеничном зернышку-у-у».

Эта песня поется несколько раз. Затем ребятишки разбирают своих жаворонков и с той же песней бегут по деревне. Так продолжается до самого обеда: деревня полна детских песен, детского крика, детского смеха. Набегавшись вволю, ребятишки опять собираются в одно место и начинают есть своих ржаных птиц. Едят обыкновенно всю птицу за исключением головы, которую малыши берегут каждый для своей матери. Кончается празднество тем, что ребятишки целуются между собой, поздравляют друг друга с весенним праздником и разбегаются по домам. А дома каждый мальчик отдает головку жаворонка матери, со словами: «На-ко, мама, тебе головку от жаворонка: как жаворонок высоко летел, так чтобы и лен твой высокий был. Какая у моего жаворонка голова, так чтобы и лен головастый был»[16]. Так протекает этот прекрасный детский праздник в Орловской губ⟨ернии⟩. В Пензенской же жаворонки пекутся и для взрослых, которые по этим птичкам гадают. Прежде чем посадить жаворонков печь, закладывают в каждого какуюнибудь вещицу: кольцо, щепку, копейку. Каждая из этих вещей имеет символическое значение: кольцо, напр(имер⟩, обозначает свадьбу, щепка — гроб, копейка — деньги и т. д.

Но в других губерниях взрослые предоставляют жаворонков в исключительное распоряжение детей, сами же занимаются более гаданиями о будущем урожае, стараясь по погоде, какая была на «сороки», определить погоду весны и лета. Если, например, на «сороки» было морозное утро — то, значит, жди весной сорок «утренников».

X

Устанавливая сырную неделю с ее полускоромной пищей, православная церковь имела в виду облегчить христианам переход от мясоеда к великому посту и исподволь вызвать в душе верующих то молитвенное настроение, которое заключается в самой идее поста, как телесного воздержания и напряженной духовной работы. Но эта попечительная забота церкви повсеместно на Руси осталась гласом вопиющего в пустыне, и на деле наша масленица не только попала в число «праздников», но стала синонимом самого широкого безбрежного разгула[17]. В эту неделю наш скромный и набожный народ как бы разгибает свою исполинскую спину и старается в вине и веселье потопить все заботы и тяготы трудовой будничной жизни. Насколько при этом бывает неудержим народный разгул, можно судить уж по одним эпитетам, которыми наделил народ масленицу. Она называется «веселой», «широкой», «пьяной», «обжорной», «разорительницей». Сверх того, ни одна неделя в году не изобилует так происшествиями полицейского характера и не дает такого значительного числа мелких процессов у мировых судей.

Празднование масленицы почти повсюду начинается с четверга, хотя работы во многих местах прекращаются уже с понедельника, так как крестьяне, озабоченные наступающим праздником обжорства, разъезжают по соседним базарам и закупают всякую снедь. По общему отзыву наших корреспондентов, закупки такого рода бывают, применительно к крестьянскому бюджету, очень велики: семья среднего достатка в 5—6 душ затрачивает от 6 до 10 руб. на водку, рыбу, постное масло, гречневую муку и всякие сладости. А если к этому прибавить еще расходы на обновки бабам и девушкам, то будет вполне понятно, почему масленица называется разорительницей.

Впрочем, крестьяне, при всей их сдержанности и бережливости, не тяготятся этими расходами, так как на масленицу приходится принимать гостей и самим ходить в люди, и, стало быть, нужно и угостить прилично и одеться по-праздничному, чтобы соседи не засмеяли. Сверх того, масленица — любимый праздник у крестьян, когда вся православная Русь, от мала до велика, веселится до упаду и когда широкая

русская натура любит развернуться вовсю. В масленичную неделю более чем скромная физиономия русской деревни совершенно преображается. Обыкновенно тихие, безлюдные улицы полны подгулявшего, расфранченного народа: ребятишки, молодежь, старики — все высыпало из душных хат за ворота, и всякий по-своему празднует широкую масленицу. Одни катаются на тормозках и салазках или с хохотом «поздравляют блины», опрокидывая в снег пьяного мужика, другие с надсадой орут песни и пошатываясь плетутся вдоль деревенской улицы, третьи в новых нагольных тулупах сидят на завалинках и, вспоминая свою юность, глядят на оживленные группы, столпившиеся у качелей, и на всю горластую, шумную улицу, по которой взад и вперед снуют расфранченные девушки, подгулявшие бабы, полупьяные парни и совсем пьяные мужики. Всюду весело, оживленно, всюду жизнь бьет ключом, так что перед глазами наблюдателя промелькнет вся гамма человеческой души: смех, шутки, женские слезы, поцелуи, бурная ссора, пьяные объятия, крупная брань, драка, светлый хохот ребенка. Но все-таки в этой панораме крестьянской жизни преобладают светлые тона: и слезы, и брань, и драка тонут в веселом смехе, в залихватской песне, в бравурных мотивах гармоники и в несмолкающем перезвоне бубенцов. Так что общее впечатление получается веселое и жизнерадостное: вы видите, что вся эта многолюдная деревенская улица поет, смеется, шутит, катается на санях. Катается особенно охотно: то там, то здесь из ворот вылетают тройки богачей с расписными, увитыми лентами дугами, или выбегают простенькие дровни, переполненные подвыпившими мужиками и бабами, во всю мочь горланящими песни. От этих песен изнуренные, костлявые, но разукрашенные ленточками и медными бляхами крестьянские лошаденки дрожат всем телом и под ударами захмелевших хозяев мчатся во весь дух вдоль деревенской улицы, разгоняя испуганные толпы гуляющих. Никогда не достается так крестьянским лошадям, как в дни масленицы. Обыкновенно очень сердобольные к своей скотине крестьяне берегут и холят лошадей больше, чем собственных ребят, но на масленицу, под пьяную руку, всякая жалость к скотине пропадает. На худых, заморенных клячонках делаются десятки верст, чтобы попасть на так называемые «съездки», т. е. грандиозные катания, устраиваемые в каком-нибудь торговом селе[18]. До какой степени бывают велики эти «съездки», можно судить по тому, что, например, в селе Куденском (Вологодской губ⟨ернии⟩ и уезда) лошадей на кругу бывает от 600 до 800. Еще с утра из всех окрестных деревень съезжается сюда молодежь и останавливается или у родных, или в тех домах, где есть «игровые» или знакомые девушки. А часам к трем

пополудни начинается катанье. Катают, как водится, всего охотнее молодых девушек, причем девушки, если их катает кучер из чужой деревни, должны напоить его допьяна и угощать гостинцами. Много катаются и бабы (причем, из суетного желания похвастать, подвертывают сзади шубы, чтобы показать дорогой мех, и никогда не надевают перчаток, чтобы все видели, сколько у них колец). Но всех больше катаются «новожены», т. е. молодые супруги, обвенчавшиеся в предшествовавший мясоед, так как обычай налагает на них как бы обязанность выезжать в люди и отдавать визиты всем, кто пировал у них на свадьбе.

Есть предположение, что масленица в отдаленной древности была праздником, специально устраиваемым только для молодых супругов: для них пеклись блины и оладьи, для них заготовлялось пиво и вино, для них закупались сласти. И только впоследствии этот праздник молодых стал общим праздником. Не беремся судить, насколько это предположение справедливо и как велика его научная ценность, но несомненно, что нечто подобное в старину было. По крайней мере, на эту мысль наводит существование множества масленичных обрядов и обычаев, в которых центральное место предоставляется «новоженам». Сюда, например, относятся так называемые «столбы».

«Столбы» — это в своем роде выставка любви. Обычай этот принадлежит несомненно к числу древнейших, так как по своей ребяческой наивности и простоте он ярко напоминает ту далекую эпоху, когда весь уклад деревенской жизни не выходил за пределы патриархальных отношений. Состоит этот обычай в том, что молодые, нарядившись в свои лучшие костюмы (обыкновенно в те самые, в которых венчались), встают рядами («столбами») по обеим сторонам деревенской улицы и всенародно показывают, как они любят друг друга.

— Порох на губах! — кричат им прохожие, чтобы молодые поцеловались.

Или:

— А нуте-ка, покажите, как вы любитесь?

Справедливость требует, однако, заметить, что праздничное настроение подвыпивших зрителей создает иногда для «новоженей» (и в особенности для молодой) чрезвычайно затруднительное положение: иной подкутивший гуляка опустит столь полновесную шутку, что молодая зардеет, как маков цвет. Но неловкость положения быстро тонет в общем праздничном веселье, тем более что и самые «столбы» продолжаются недолго: час, другой постоят и едут кататься или делать визиты, которые точно так же входят в число ритуальных обязанностей молодых. В некоторых местностях (например, в Вологодской губ⟨ернии⟩) визиты начинаются еще в мясное

(последнее перед масленицей) воскресенье. В этот день тесть едет звать зятя «доедать барана». Но чаще первый визит делают молодые. Обыкновенно в среду, на масленой, молодой с женой едет в деревню к тестю «с позывом» на праздник и после обычных угощений возвращается уже вместе с тестем и тещей. Случается и так, что масленичные визиты молодых носят общесемейный характер: молодые с родителями жениха отправляются в дом родителей невесты, и начинается угощение сватов. Молодые при этом играют роль почетных гостей: их первых сажают за стол и с них начинают обносить яствами. Пиршество обыкновенно длится чрезвычайно долго, так как масленица — праздник еды по преимуществу, и обилие блюд считается лучшим доказательством гостеприимства. После бесконечного обеда молодые обыкновенно катаются на санях вместе с бывшими подругами невесты, а сваты в это время начинают уже свою попойку, которая заканчивается только к ночи с тем, чтобы на другой день начаться снова уже в доме родителей жениха.

Не везде, однако, масленичные визиты молодых проходят так мирно и гладко. В некоторых местах, например, в Хвалынском у⟨езде⟩ (Саратовской губ⟨ернии⟩) визит молодых к теще и поведение при этом зятя принимает иногда характер резко выраженной вражды. Это бывает в тех случаях, когда молодой считает себя обманутым. Тут уж как ни старается теща «разлепешиться в лепешку» перед молодым, но он остается непреклонным. На все угощения отвечает грубо: «Не хочу, от прежних угощений тошнит... сыт, дома наелся», а то и просто нанесет теще какое-нибудь символическое оскорбление: накрошит блин в чашку с кислым молоком, выльет туда же стакан браги и вина и, подавая жене, скажет: «На-ко, невинная женушка, покушай и моего угощенья с матушкой: как тебе покажется мое угощенье, так мне показалось ваше». Иногда раскуражившийся зять не ограничивается символами и при теще начинает, по выражению крестьян, «отбивать характер» молодой жене. А случается, что и теща получит один, другой подзатыльник. Достойно примечания, что ни молодая, ни теща почти никогда в таких случаях не протестуют, так как сознают свою вину. Удивительно также, что тесть не только не останавливает зятя, но, по уходе молодых, считает своим долгом поучить старуху, чтобы лучше смотрела за девками*.

* Отмечаем мало распространенный, но очень оригинальный обычай, наблюдаемый в Пензенской губ⟨ернии⟩,— это «хождение молодых с мылом». В среду или четверг масленицы отец молодых посылает их к свату. Здесь их угощают деревенскими сластями, а вечером сюда же приходят подруги молодой и ее родственники. В этот вечер молодая вспоминает свое девичье житье (так наз⟨ываемые⟩ «перегулки», как бы повторение свадьбы), и веселье

Кроме молодых, масленичные визиты считаются обязательными и для кумовьев. Родители новорожденных детей ходят к кумовьям «с отвязьем», т. е. приносят им пшеничный хлеб — «прошенник» (этот хлеб приготовляется специально для масленицы, он печется с изюмом и украшается вензелями). В свою очередь кум и кума отдают визит крестнику, причем оделяют его подарками: кроме «прошенника», кум приносит чашку с ложкой, а кума ситцу на рубашку, более же богатые кумовья дарят свинью, овцу, жеребенка.

Кроме «столбов» и обязательных визитов, в некоторых отдаленных углах северных губерний уцелели еще остатки весьма своеобразного масленичного обычая, в котором также фигурируют молодые и происхождение которого восходит ко временам очень отдаленной старины. Так, в Вологодской губ⟨ернии⟩ крестьяне собирают с молодых дань «на меч», т. е., попросту говоря, требуют выкуп за жену, взятую из другой деревни. Уже само название этого выкупа — «на меч» показывает, что обычай возник еще в ту эпоху, когда и мирный земледелец нуждался в оружии, чтобы защищать свой очаг и свое достояние, т. е. приблизительно в эпоху удельных князей (а может быть, и ранее, потому что сам факт уплаты выкупа, и притом не родителям невесты, а ее односельчанам, позволяет заключить, что возникновение обычая относится к родовому периоду).

В нынешнее время, когда в оружии уже нет надобности, деньги, полученные с молодого, идут, конечно, не «на меч», а на водку (которая распивается всем миром) и на чай-сахар для баб.

По свидетельству нашего корреспондента, эта своеобразная подать взыскивается или в день свадьбы, или в мясное (последнее перед масленицей) воскресенье, и притом взыскивается во всей строгости обычаев: ни просьбами, ни хитростью молодому от выкупа не отвертеться.

Не менее оригинальный обычай сохранился и в Вятской губ⟨ернии⟩. Известен он под именем «целовника» и состоит в том, что в субботу на масленице подгулявшая деревенская молодежь ездит целовать молодушек, которые живут замужем первую масленицу. По установившемуся ритуалу, молодая подносит каждому из гостей ковш пива, а тот, выпив, трижды целуется с ней.

В старину одним из наиболее популярных масленичных развлечений были кулачные бои: крестьяне и горожане оди-

---

продолжается далеко за полночь. Наутро же переночевавшие у тестя молодые ходят с визитами к родственникам, причем берут с собой кусочки мыла и пирожки по числу родных. Придя в дом родственника и помолившись, они дают хозяину кусочек мыла и пирожок, а домохозяин одаривает их мелкими деньгами.

наково любили поразмять косточки в драке, и побоища сплошь и рядом принимали грандиозный характер, заканчиваясь иногда более или менее тяжелыми увечьями. Но в наше время эта забава взята под опеку полиции и заметно выводится из употребления. Однако и теперь во Владимирской губ⟨ернии⟩ и в медвежьих углах далекого севера, а также кое-где в Сибири уцелели любители кулачных развлечений. Так, например, наш вытегорский корреспондент (Олонецкой губ⟨ернии⟩) сообщает, что в некоторых волостях у них и поныне устраиваются настоящие сражения, известные под невинным названием «игры в мяч». Состоит эта игра в следующем: в последний день масленицы парни и семейные мужики из нескольких окольных деревень сходятся куда-нибудь на ровное место (чаще всего на реку), разделяются на две толпы, человек по тридцать каждая, и назначают места, до которых следует гнать мяч (обыкновенно сражающиеся становятся против середины деревни, причем одна партия должна гнать мяч вниз по реке, другая вверх). Когда мяч брошен, все кидаются к нему и начинают пинать ногами, стараясь загнать в свою сторону. Но пока страсти не разгорелись, игра идет довольно спокойно: тяжелый кожаный мяч, величиной с добрый арбуз, летает взад и вперед по реке, и играющие не идут дальше легких подзатыльников и толчков. Но вот мяч неожиданно выскочил в сторону. Его подхватывает какой-нибудь удалец и что есть духу летит к намеченной цели: еще 20—30 саженей, и ловкий парень будет победителем: его будут прославлять все окольные деревни, им будут гордиться все девушки родного села!.. Но не тут-то было. Противная партия отлично видит опасность положения: с ревом и криком она прорывается сквозь партию и со всех ног кидается за дерзким смельчаком. Через минуту удалец лежит на снегу, а мяч снова прыгает по льду под тяжелыми ударами крестьянского сапога. Случается, однако, и так, что счастливец, подхвативший мяч, отличается особенной быстротой ног и успеет перебросить мяч на свою половину. Тогда противная партия делает отчаянные усилия и пускает в ход кулаки. Начинается настоящее побоище. Около мяча образуется густая толпа из человеческих тел, слышатся глухие удары ног, раздаются звонкие оплеухи, вырывается сдавленный крик, и на снегу то там, то здесь алеют пятна брызнувшей крови. Но осатаневшие бойцы уже ничего не видят и не слышат: они все поглощены мыслью о мяче и сыплют удары направо и налево. Постепенно над местом побоища подымается густой столб пара, а по разбитым лицам струится пот, смешиваясь с кровью... Такой необыкновенный азарт этого русского «лаун-тениса» объясняется тем, что проиграть партию в мяч считается большим унижением:

побежденных целый год высмеивают и дразнят, называя их «киловниками» (очень обидная и унизительная кличка, обозначающая верх презрения). Наоборот, победители пользуются общим почетом, а парень, унесший мяч, положительно становится героем дня, с которым всякая девушка считает за честь посидеть на вечорках. Некоторым объяснением азарта служит и водка, которую на пари выставляют местные богачи, угощая потом победителей.

В других губерниях хотя не знают игры в мяч, но кулачные бои все-таки устраивают и дерутся с не меньшим азартом. Вот что сообщает на этот счет наш корреспондент из Краснослободского у⟨езда⟩ (Пензенской губ⟨ернии⟩). «В последний день масленицы происходит ужасный бой. На базарную площадь еще с утра собираются все крестьяне, от мала до велика. Сначала дерутся ребятишки (не моложе 10 лет), потом женихи и, наконец, мужики. Дерутся большей частью стеной и «по мордам», как выражаются крестьяне, причем после часового упорного боя бывает «передышка». Но к вечеру драка, невзирая ни на какую погоду, разгорается с новой силой, и азарт бойцов достигает наивысшего предела. Тут уже стена не наблюдается — все дерутся, столпившись в одну кучу, не разбирая ни родных, ни друзей, ни знакомых. Издали эта куча барахтающихся людей очень походит на опьяненное чудовище, которое колышется, ревет, кричит и стонет от охватившей его страсти разрушения. До какой степени жарки бывают эти схватки, можно судить по тому, что многие бойцы уходят с поля битвы почти нагишом: и сорочки, и порты на них разодраны в клочья.

Сообщения наших корреспондентов о кулачных боях очень немногочисленны и носят, так сказать, характер исключений. Это, разумеется, дает полное основание предположить, что и в крестьянском быту средневековые нравы постепенно отходят в область преданий и что успехи грамотности отражаются на характере народных развлечений самым благоприятным образом.

Но если кулачные бои, как обломок темной эпохи средневековья, мало-помалу исчезают с лица русской земли, то зато в полной силе сохранился другой старинный обычай, не имеющий, впрочем, ничего общего с грубой и дикой дракой — это русский карнавал. Мы употребляем это слово, конечно, не в том смысле, какой придается ему в Италии или во Франции, хотя западноевропейский карнавал с его заразительным ликующим весельем, с его разряженной смеющейся толпой, оживленно парадирующей в уличных процессиях, имеется и у нас — только, разумеется, условия нашего климата и особенности деревенского быта не позволяют этому празднику принять характер того пышного торжества, какое мы

наблюдаем у народов Запада. Наш деревенский карнавал гораздо проще, беднее и первобытнее. Начинается он обыкновенно в четверг на масленой неделе. Парни и девушки делают из соломы чучело, одевают его в женский наряд, купленный в складчину, и затем в одну руку вкладывают бутылку с водкой, а в другую блин. Это и есть «сударыня-масленица», героиня русского карнавала. Чучело ставят в сани, а около прикрепляют сосновую или еловую ветку, разукрашенную разноцветными лентами и платками. До пятницы «сударыня-масленица» хранится где-нибудь в сарае, а в пятницу после завтрака парни и девушки веселой гурьбой вывозят ее на улицу, и начинается шествие. Во главе процессии следует, разумеется, «масленица», рядом с которой стоит самая красивая и нарядная девушка. Сани с масленицей влекут три парня. За этими санями тянется длинная вереница запряженных парнями же салазок, переполненных нарядными девушками. Процессия открывается песней, которую затягивает первая красавица с передних саней; песню дружным хором подхватывают остальные девушки и парни, и весь масленичный поезд весело и шумно движется по деревенской улице. Заслышав пение, народ толпой высыпает на улицу: ребятишки, взрослые и даже пожилые крестьяне и крестьянки спешат присоединиться к шествию и сопровождают «масленицу» до самой катальной горы, где «сударыня-масленица» и открывает катание. Те самые парни, которые привезли ее на гору, садятся на сани, а прочие прикрепляют к саням салазки и целым поездом с хохотом, визгом и криком несутся по обледенелой горе вниз. Катанье обыкновенно продолжается до самого вечера, после чего «сударыня-масленица» снова водворяется в сарай. На следующий день, в субботу, «масленица» снова появляется на улице, но теперь уже в сани, вместо парней, впрягают лошадь, увешанную бубенцами, колокольчиками и украшенную разноцветными лентами. Вместе с «сударыней» опять садится девушка, но уже не одна, а с парнем, причем у парня в руках четверть водки и закуска (и то и другое покупают в складчину). За сани же, как и прежде, привязывают салазки, на которых попарно сидят девушки и «игровые» парни. Эта процессия с пением ездит по селу, причем парни пользуются всякой остановкой, чтобы выпить и закусить. Веселье продолжается до вечера, причем в катанье принимают участие не только девушки, но и женщины. Последние, по сообщению нашего орловского корреспондента, катаются вместе с «сударыней-масленицей» не столько ради удовольствия, сколько для того, чтобы «зародился длинный лен».

В воскресенье вечером «масленица» сжигается. Этот обряд обставляется со всей доступной для деревенской молодежи

торжественностью. Еще загодя ребятишки, девушки и парни несут за околицу старые плетни, испорченные бочки, ненужные дровни и прочее и складывают из этих горючих материалов огромный костер. А часов в 8—9 к этому костру направляется печальная процессия, причем девушки жалобными голосами поют: «Сударыня-масленица, потянися». У костра «масленицу» ссаживают с саней и становят на снег, потом снимают с елки ленты и платки и делят их между девушками и поют масленичные песни. Когда же раздадутся слова песни: «Шли, прошли солдатушки из-за Дона, несли ружья заряжены, пускали пожар по дуброве, все елки, сосенки погорели, и сама масленица опалилась» — парни зажигают «сударыню-масленицу». Сожжение масленицы составляет, так сказать, заключительный аккорд деревенского веселья, за которым следует уже пост; поэтому присутствующие при сожжении обыкновенно швыряют в костер все остатки масленичного обжорства, как-то: блины, яйца, лепешки и пр⟨очее⟩ и даже зарывают в снег самый пепел масленицы, чтобы от нее и следов не осталось.

Этот последний день масленицы называется «прощеным», и крестьяне посвящают его заговенью[19]. Часа в 4 пополудни на сельской колокольне раздается печальный великопостный благовест к вечерне, и, заслышав его, подгулявшие мужички истово крестятся и стараются стряхнуть с себя веселое масленичное настроение: пустеют мало-помалу людные улицы, стихает праздничный говор и шум, прекращаются драки, игры, катанье. Словом, широкая, пьяная масленица круто останавливается, и на смену ей приходит великий пост. Приближение поста отражается и на душевном настроении крестьян, пробуждая у них мысль о покаянии и полном примирении с ближними. Едва смолкнет церковный звон и отойдет вечерня, как по избам начинают ходить родственники и соседи, прося друг у друга прощения. Низко, до самой земли кланяются крестьяне друг другу и говорят: «Прости Христа ради, в чем я перед тобой согрешил».— «Прости и ты меня»,— слышится в ответ та же просьба.

Впрочем, этот прекрасный, полный христианского смирения обычай стал понемногу вымирать. По свидетельству наших корреспондентов, в некоторых центральных губерниях он уже почти не существует, но зато в лесных губерниях севера, где обычаи вообще устойчивы и крепки, «прощение» соблюдается весьма строго, и существует даже особый ритуал его. Пришедший просить прощения становится около дверей на колени и, обращаясь к хозяевам, говорит: «Простите меня со всем вашим семейством, в чем я нагрубил вам за этот год». Хозяева же и все находящиеся в хате отвечают: «Бог вас простит, и мы тут же». После этого пришедшие прощаться

встают, и хозяева, облобызавшись с ними, предлагают им угощение. А через какой-нибудь час прощаться идут уже сами хозяева, причем весь обряд, с угощением включительно, проделывается с начала*.

Так, перекочевывая из избы в избу, ходят до света, причем, проходя по улице, и мужчины и женщины считают своим долгом что есть мочи кричать: «Сударыня-масленица, потянися!» или: «Мокрогубая масленица, потянися!»

Что касается деревенской молодежи, то она или совсем не придерживается обычая прощаться, или же прощенье ее принимает шутливый характер. Вот что на этот счет сообщает наш орловский корреспондент: парни и девушки становятся в ряд, и один из парней подходит к крайнему с правой стороны и говорит ему: «Прости меня, милый Иван (или милая Дарья), в чем я перед тобой согрешил». Тот (или та) отвечают: «Бог тебя простит, и я тут же». После этого три раза целуют друг друга. Так проходит прощающийся весь ряд и становится в стороне, за первым идет прощаться второй и т. д. При прощении, конечно, не обходится без шуток.

Некоторую особенность представляет прощение в семейном кругу. Вот как это происходит в Саратовской губ⟨ернии⟩. Вся семья садится за ужин (причем последним блюдом обязательно подается яичница), а после ужина все усердно молятся, и затем самый младший начинает кланяться всем по очереди и, получив прощенье, отходит к стороне. За ним, в порядке старшинства, начинает кланяться следующий по возрасту член семьи (но младшему не кланяется и прощения у него не просит) и т. д. Последней кланяется хозяйка, причем просит прощения только у мужа, глава же семьи никому не кланяется.

Хотя обычай просить прощения у родных и соседей, как только что было сказано, заметно выходит из употребления, но зато чрезвычайно твердо держится обычай прощаться с покойниками. По крайней мере, наши корреспонденты единодушно свидетельствуют, что такого рода прощенья сохранились повсюду. Обычай ходить на кладбище в последний день масленицы поддерживается, главным образом, бабами. В четвертом часу пополудни они кучками в 10—12 человек идут с блинами к покойникам и стараются ничего не говорить по дороге. На кладбище каждая отыскивает родную могилку, становится на колени и бьет по три поклона, причем со слезами на глазах шепчет: «Прости меня (имя рек),забудь все, что я тебе нагрубила и навредила». Помолившись, бабы кладут на могилку блины (а иногда ставят и водку) и

* Точно таким же образом прощаются и в Орловской губ⟨ернии⟩.

отправляются домой так же молча, как и пришли. При этом считается хорошим признаком, если на третий день на могиле не остается ни блинов, ни водки: это значит, что покойнику живется на том свете недурно и что он не помнит зла и не сердится на принесшего угощение.

XI

Наш народ не только соблюдает посты во всей строгости церковного устава, но идет в этом отношении значительно далее, устанавливая сплошь свои постные дни, неизвестные церкви. Так, почти в каждом селе, в каждой деревне можно встретить благочестивых старух и стариков, которые «понедельничают», т. е. кроме среды и пятницы, постятся и по понедельникам. Некоторые же в своей душеспасительной ревности доходят до того, что за несколько лет до смерти или перестают совсем есть скоромное, или налагают на себя пост, в частности: никогда, например, не едят мяса, молока, яиц, рыбы; не едят ничего с маслом, будь то скоромное или постное; безусловно воздерживаются от вина, от курения; дают обет никогда не есть яблок, картофеля, не пить квасу и пр. Наряду со стариками добавочные посты налагают на себя и девушки, которые «выпащивают» женихов. До какой степени педантично крестьяне соблюдают свои обеты, можно судить по следующему, очень характерному случаю, рассказанному одним священником Вологодской губ⟨ернии⟩. Какая-то деревенская старушка призналась этому священнику на духу, что окаянный смутил ее и заставил в пост есть «скором». На вопрос же священника, что именно она ела, старушка поведала, что ела редьку, семена которой перед садкой были рощены в молоке. На том же основании крестьяне считают непростительным грехом пить постом чай с сахаром: чай и сам по себе напиток полугреховный[20], а с сахаром он считается безусловно скоромным, так как сахар, по понятиям крестьян, приготовляется из костей животных. При таком аскетически строгом отношении к постам неудивительно, что и молоко матери считается для грудных ребят тоже греховной «скоромью», и еще недалеко ушло то время, когда в крестьянских избах стон стоял от ребячьего крика, так как во время строгих постов грудных детей кормили постной пищей, приказывая матерям не давать им груди.

Теперь, к счастью, это обыкновение повсеместно вывелось, и хотя молоко матери по-прежнему признается греховной «скоромью», но грех этот считается небольшим и падает он не на младенца, а на мать. Зато и теперь дети, уже отлученные от груди, обязательно должны соблюдать посты наряду со взрослыми. «Соблюдение постов,— пишет нам сара-

товский корреспондент из Хвалынского у⟨езда⟩,— не только влияет на здоровье, но и отражается на жизни детей. В большинстве случаев отнятие от груди ребенка совпадает с летним жарким временем: отнимают, по крестьянскому выражению, «на ягоды», т. е. в конце июня, в июле и августе, и, таким образом, осложняют расстройство пищеварения ягодами, огурцами, яблоками, арбузами и пр., вследствие чего нередко появляется кровавый понос, а затем наступает и смерть. Но тем не менее «оскоромить младенческую душеньку» мать ни за что не решится, и если ребенок умрет, то, стало быть, это божья власть и, значит, ребенок угоден богу. Такая же строгость в соблюдении постов предписывается и тяжко больным. Один фельдшер из Тотемского у⟨езда⟩ (Вологодской губ⟨ернии⟩) рассказывал нашему корреспонденту, что никак не мог убедить крестьян, больных кровавым поносом, пить молоко и есть яйца, так как в то время был пост. На все увещания больные отвечали ему: «Святые, вон, еще чаще постились, да дольше нас, грешных, жили, а Иисус Христос сорок суток подряд ничего не ел». Вообще, крестьяне и крестьянки, особенно из числа пожилых, радеющих о спасении души, скорее решатся умереть, чем «опоганить душу» скоромной пищей, и только молодые в редких случаях уступают настояниям врачей и фельдшеров, да и то не иначе как с разрешения духовного отца, который тщательно взвешивает, насколько болезнь серьезна и насколько постная пища может быть опасна для здоровья больного. При этом нелишне будет заметить, что если разрешение дается легко, то крестьяне теряют уважение к такому священнику, как стоящему не на высоте церковных требований и способствующему своими поблажками тому «легкому» отношению к постам, какое свойственно только избалованным господам. «Нынче,— говорят они,— только нам, мужикам, и попоститься-то, а ученые да благородные постов соблюдать не будут — им без чаю да без говядины и дня не прожить».

Применительно к такому взгляду на посты, каждая деревенская хозяйка считает своим долгом иметь «постную» посуду, т. е. особые горшки, миски и даже ложки, предназначенные исключительно для постных дней. Правило это соблюдается настолько строго, что богобоязненная баба ни за что и ни под каким видом не даст в своем доме поесть скоромного «даже проезжему». «Мне страшно, как увижу, что в пост едят скором»,— скажет она в свое оправдание. Исключение делают разве для «нехристей» — цыган, татар, немцев, да, пожалуй, для господ — но и в таком случае посуда, из которой ели скоромное «нехристи», долгое время считается как бы оскверненной, и хозяйки не велят домочадцам есть из нее, «пока татарин не выдохнется».

Кроме воздержания в пище, крестьяне считают необходимой принадлежностью поста и половое воздержание: считается большим грехом плотское сожительство с женой в постное время, и виновные в таком поступке не только подвергаются строгому внушению со стороны священника, но выносят немало насмешек и от своих односельчан, так как бабы до тонкости разбираются в таких вещах и по дню рождения младенца прекрасно высчитывают, соблюдали ли супруги закон в посты. Особенно зорко следят бабы, чтобы «закон» соблюдался деревенским причтом: считается несмываемым срамом для всей деревни, если в беззаконии будет изобличен пономарь, дьячок, дьякон, а особенно священник. У Глеба Успенского приводится случай, когда мужики чуть ли не всем «обчеством» потребовали объяснения у батюшки, которого бабы изобличили в нарушении правил великого поста. «Что же это ты, батя? — укоризненно покачивая головой, спрашивали мужики: — все-то говоришь нам «абие, абие», а у самого-то у тебя выходит одно бабие»[21].

Следя строго за собой, взрослое население неослабно следит и за деревенской молодежью, наблюдая, чтобы парни и девушки не затевали игрищ и ни под каким видом не смели петь мирских песен, не говоря уже о плясовых и хороводных. Вместо этих песен, молодежи предоставляется петь так называемые «стихи», по характеру своему близко подходящие к старообрядческим «псалмам». Все эти стихи отличаются своим грустным монотонным напевом, близко подходящим к речитативу,— по содержанию же большая часть стихов носит характер религиозный или нравоучительный. Для образца приводим один из таких стихов:

— Мати-Мария,
Где ты спала, ночевала?
— Во божьей церкви, во соборе
У Христа бога на престоле.
Мне приснился сон страшный,
Будто я Христа бога породила,
В пелену его пеленала,
В шелковый пояс обвивала...—
Тут пришли жиды, нехристиане,
Взяли нашего бога, распинали,
В ручки, ножки гвоздей натыкали.
Стала Мати-Мария плакать и рыдать,
Стали ангелы ее утешать:
— Ты не плачь, не плачь, Мати-Мария,
Твой сын воскреснет из гроба,
Затрубите вы в трубу золотую,
Встаньте вы, живые и мертвые!
Праведным душам — царствие небесное,
А грешным душам — ад кромешный:
Им в огне будет гореть — не сгореть,
Им в смоле кипеть — не скипеть.

Если столь строгое воздержание от всего греховного и соблазнительного соблюдается, в большей или меньшей степени, то легко представить себе, насколько педантично постятся крестьяне в великий пост, подготовляя себя к говению и к достойной встрече величайшего из христианских праздников — св. Пасхи. Во время говения многие старики и старухи едят один раз в день, и притом отнюдь не вареную пищу, а всухомятку: хлеб или сухари с водой. Наиболее же благочестивые стараются, по возможности, ничего не есть всю страстную неделю, разрешая себе только воду[22]. Для детей в благочестивых семьях «дневное голодание» обязательно только в страстную пятницу, так как народ верит, что полное воздержание в этот день от пищи дает постнику прощение от всех грехов, совершенных после последней исповеди. Правда, дети лишь с большим трудом выдерживают столь строгий пост и нередко по забывчивости, свойственной ребяческому возрасту, хватаются за корки, но таких «бесстыдников» матери останавливают обычной угрозой: «А вот, поп тебе как отрежет ухо, да как отхлещет тебя кобыльей ногой — так будешь знать!»

Говеют крестьяне обыкновенно раз в год, великим постом[23], и в преклонном возрасте несут эту христианскую обязанность с поразительной аккуратностью: некоторые старухи говеют даже два, три и четыре раза. Но зато молодые крестьяне, по отзывам некоторых приходских священников, иногда позволяют себе манкировать говением, не бывая на исповеди по нескольку лет кряду. Правда, сами же священники прибавляют при этом, что такие безбожники составляют редкое единичное явление, так как крестьяне верят, что человек, не бывший семь лет у исповеди и не причащавшийся св. тайн, уже составляет добычу дьявола, который может распорядиться таким человеком по своему усмотрению.

Всего охотнее крестьяне говеют на первой, четвертой и страстной неделе. В это время говеющие стараются как можно меньше говорить, чтобы не проронить пустого слова; по вечерам, если есть в семье грамотный, читается какая-нибудь божественная книга, и все слушают или молятся. Все церковные службы говеющие посещают добросовестно и аккуратно, а перед исповедью кланяются друг другу в ноги, прося простить Христа ради согрешения. Обычай не позволяет только, чтобы старшие кланялись в ноги младшим. Поэтому «большак», идя на исповедь, ограничивается лишь тем, что скажет домочадцам: «Простите, коли зря сделал» - и слегка поклонится.

Каждый взрослый говельщик, подходя исповедоваться, кладет в стоящее возле священника блюдо мелкую монету, а в некоторых приходах заведено, сверх того, класть вместе с монетой и свечу, которая точно так же поступает

в доход священника. После исповеди, прослушав «правило», говеющий кладет еще одну монету, уже на блюдо возле псаломщика, и после разрешительной молитвы все расходятся по домам, поздравляя друг друга «с очищением совести»*.

К принятию св. тайн готовятся, как к празднику: каждый старается приодеться по возможности лучше, а некоторые женщины из самых богатых деревенских жительниц (не крестьянки) считают даже за грех являться к причастию не в новом наряде. Девушки же по народному обычаю, должны приступать к таинству с расплетенной косой: волосы при этом либо распускаются по плечам, либо завязываются в пучок, но в косу ни в каком случае не заплетаются.

После причастия считается великим грехом плевать, смеяться, ругаться, сердиться и ссориться, так как этим можно отогнать от себя святого ангела, который бывает при человеке после принятия св. тайн. Считается также грехом класть земные поклоны, так как при неосторожном движении человека (а в особенности беременную женщину) может стошнить, и тогда рвоту придется собирать в чистую тряпочку и жечь в печи, чтобы предохранить св. дары от невольного осквернения. За все эти грехи, как и вообще за неблагоговейное отношение к причастию, господь иногда жестоко наказывает нечестивых, а иногда вразумляет их. В Пошехонье, например, известен на этот счет такой рассказ. Один раскольник, притворившись православным, причастился в церкви вместе со всеми, но причастия не проглотил и удержал во рту. Придя домой, он раскрыл один из ульев и бросил туда причастие. Но вечером того же дня раскольник услыхал, что в подполье, где у него стояли ульи, раздается пение, и поют так хорошо, что рассказать нельзя. Спустившись в подполье, раскольник заметил, что пение исходит из того улья, в который он бросил причастие. Когда же он раскрыл его, то увидел, что пчелы сделали из сотов престол, и на престоле лежит выброшенное им причастие, от которого исходит ослепительный свет. Испуганный раскольник во всем покаялся священнику и стал православным.

Для полноты характеристики великого поста необходимо остановиться еще на некоторых обрядах и обычаях, приуроченных к крестопоклонной среде и Вербному воскресенью[24] и составляющих особенность великопостных почитаний. В сре-

---

*Некоторые священники жалуются (в нашем распоряжении имеется несколько таких жалоб), что крестьяне-говельщики подчас недобросовестно расплачиваются с причтом: «За исповедь еще положит что-нибудь, а за правило только тычет пустой рукой в блюдо». Эти случаи недобросовестной расплаты дают повод делать самые широкие и, конечно, непродуманные обобщения о крестьянской непорядочности и о том, что, дескать, при всей строгости мужицкого поста, крестьянин все-таки не прочь пойти на обман.

ду крестопоклонной недели во всех крестьянских домах пекут из пресного пшеничного теста кресты по числу членов семьи. В крестах запекают или куриное перышко, «чтобы куры велись», или ржаное зерно, «чтобы хлеб уродился», или, наконец, человеческий волос, «чтобы голове легче было». Кому попадется крест с одним из этих предметов, тот считается счастливым. В среду же крестопоклонной недели «ломается» пост, и маленькие дети ходят под окна поздравлять хозяев с окончанием первой половины поста. В некоторых местах этот обычай поздравления выражается в очень оригинальной форме: ребятишек-поздравителей садят, как цыплят, под большую корзину, откуда они тоненькими голосами поют: «Здравствуйте, хозяин — красное солнышко, здравствуйте, хозяюшка — светлый месяц, здравствуйте, дети — яркие звездочки!.. Половина говенья переломилась, а другая наклонилась!» Простодушных ребят-поздравителей принято обливать при этом водой, а затем, как бы в награду за перенесенный испуг, им дают кресты из теста.

В Вербное воскресение крестьяне во время утрени молятся с освященной вербой и, придя домой, глотают вербные почки для того, чтобы предохранить себя от болезни и прогнать всякую хворь. Детей своих (а также и скотину) крестьяне слегка хлещут вербой, приговаривая: «Не я бью — верба бьет, верба хлест бьет до слез». В этот же день бабы пекут из теста орехи и дают их для здоровья всем домочадцам, не исключая и животных. Освященную вербу берегут до первого выгона скота (23 апреля), причем всякая благочестивая хозяйка выгоняет со двора скот непременно вербой, а саму вербу затем или «пускают на воду», или втыкают под крышу дома с той целью, чтобы скотина не только сохранилась в целости, но чтобы и домой возвращалась исправно, а не блуждала бы в лесу по нескольку дней.

Наряду с этими общепринятыми обычаями, связанными с освященной вербой, в некоторых местах, как, например, в Козловском у⟨езде⟩ (Тамбовской губ⟨ернии⟩), существует мнение, что освященная верба, брошенная против ветра, прогоняет бурю и, брошенная в пламя, останавливает действие огня, а воткнутая в поле — сберегает посевы.

В том же Козловском у⟨езде⟩ распространено верование, что всякий трус, желающий избавиться от своего недостатка, должен в Вербное воскресенье, по приходе от заутрени, вбить в стену своего дома колышек освященной вербы — средство это если не превратит труса в героя, то, во всяком случае, прогонит природную робость. В уездах же Темниковском и Елатомском той же Тамбовской губ⟨ернии⟩ советуют всем неплодным женщинам есть почки освященной вербы, уверяя, что после этого женщина непременно начнет рожать детей.

XII

По силе народного почитания и по размерам чествования христианских праздников в сельском быту отведены первые места Рождеству Христову и св. Пасхе с тем различием, что на юге России и западе воздается большая честь и хвала первому, а по всей Великороссии — второму. На третьем же месте излюбленных торжественных дней св. церкви повсеместно поставлен день 25 марта — Благовещение пресвятые богородицы, и притом в самые первые времена водворения на нашей земле православия. Ярослав I, оградивший город Киев каменной стеной с входными в нее золотыми воротами, построил над ними благовещенскую церковь и сказал устами летописца: «Да сими вратами благие вести приходят ко мне в град сей молитвами пресвятые богородицы и св. архангела Гавриила — радостей благовестника». Такой же храм был сооружен над воротами новгородского кремля, и затем вошло в обычай ставить надворотные благовещенские церкви во всех больших старых монастырях, включительно до позднейшего из них — Александро-Невской лавры.

В обиходе трудовой деревенской жизни сам праздник считается днем полнейшего покоя и совершенной свободы, понимаемых в таком обширном значении, что, например, во многих черноземных местах целые семьи вечером, при закате солнца, идут на мельницы и здесь располагаются на соломе все, и стар, и млад, для мирной беседы о том, какова будет наступающая весна, каков посев, какова пахота, каков урожай. В этот день благословения на всякое доброе дело — в особенности же на земледельческий труд — в день, когда даже грешников в аду перестают мучить и дают им отдых и свободу,— величайшим грехом считается мельчайшая работа, даже отход или отъезд в дорогу для заработков. Не праздное веселье с приправой праздничного разгула, а именно сосредоточенное, молчаливое раздумье приличествует этому празднику совершенного покоя, свободы от дел, основанной на непреложном веровании и повсеместном убеждении, что «в Благовещеньев день — птица гнезда не завивает, девица косы не заплетает». Доказательство (по старинной легенде) у всех на глазах: кукушка не имеет своего гнезда, она не умеет его строить и потому старается положить яйца в чье-либо чужое и готовое. Она несет такое божеское наказание за то, что дерзнула в Благовещеньев день свить себе гнездо, когда даже глупая курица на такую работу не пускается*.

* Придумано и так: если иная птица по забывчивости и совьет теплое гнездышко для своих малых птенчиков, то молния обязательно сожжет то гнездо. А видали также, что виновная птица некоторое время не летает по воздуху, а ходит по земле и яйца носит болтунами,— это бог наказал ее за непочтение ко дню Благовещения.

В качестве продолжения этого поверья существует и еще одна легенда: птичка снегирь не пустил в свое гнездо кукушек и снялся драться с самцом, которого и убил. С тех пор кукушка осталась горемычной вдовой, а сам победитель остался навсегда с несмываемым знаком боя и победы: со следами крови кукушкина самца на своих перьях и на всем красном зобу. Все птицы в особенности бодро и радостно встречают этот праздник — поверье, отразившееся на прекрасном обыкновении выпускать на волю заточенных в клетки птичек, проникшее в цивилизованные города и породившее там особый род спекуляции в виде торговли птицами, совершенно почти неизвестной в наших деревнях.

Ни на один день в году не приходится столько примет и гаданий, как на день Благовещения: от него находится в зависимости наибольшее количество тех верований, которые укреплены на практических хозяйственных основах. Повсюду (как уже было упомянуто) главные надежды на успех земледельческого труда возлагаются на «благовещенскую просфору», являющуюся выдающейся принадлежностью праздничного чествования. В русских церквах ни в один из годовых или двунадесятых праздников не продается такого количества просфор. Каждый полагает своей обязанностью запастись хотя бы одним таким освященным хлебцем. Даже там, где приходов было мало, где церкви были значительно удалены и влияние духовенства было ничтожно, и там такие хлебцы пекутся самими крестьянами по числу членов семьи и неосвященными употребляются для той же цели. Их кладут в севалку на обеспечение благополучия всходов и урожая; измельченными в крошки смешивают с посевными семенами, примешивают в корм рабочему скоту и т. д.[25] Сами хозяева посевного хлеба в поле из мешка в мешок не пересыпают. В день сева никому и ничего взаймы не дают, пустые мешки с поля везут, а не несут, и с Благовещенья никто и никогда не станет сеять, чтобы не накликать неурожая. Есть даже поверье, что в какой день случится этот праздник, тот полагается несчастным для посевов и пахоты, а следующий за ним — самый удачный и счастливый. 〈...〉

День Благовещенья, как и многие другие праздники, не обходится без того, чтобы не пристроили к нему некоторых суеверных примет и древних обычаев, например, относительно огня. Огонь стараются не зажигать ни в этот день, ни накануне, с этого дня считается грехом сидеть и работать с огнем по вечерам, иначе праздник, обиженный и непочтенный, накажет тем, что напустит на пшеницу головню, на пчел — ленивое роенье, и удачлив будет тот, кто догадается в этот день сжечь несколько щепоток соли в печи, а также и тот, кто с Благовещенья начинает спать в клети,

так как жженая соль имеет целительную силу в горячках и лихорадках, а спанье на холоде, вообще, обеспечивает здоровье, укрепляя его.

Для тех верующих, у которых пугливое воображение настроено так, что всякий выдающийся в году день либо предвещает беду, либо ласкает надеждой на лучшее,— Благовещеньев день также кое-что обещает. Так, например, если хозяйка между праздничной заутреней и обедней возьмет помело и сгонит с нашеста кур, то к Светлому празднику они уже постараются нестись, чтобы приготовить к празднику свеженьких яиц для христосования. Уверяют также (несомненно, по живым наблюдениям), что испорченные, забалованные люди, завистливые на чужое добро, стараются в этот день украсть, осторожно и незаметно, хотя какую-либо безделицу («заворовывают»), чтобы пользоваться удачей в своем ремесле на целый год, так как если не поймают вора в этот день, то не попадется он и вперед.

XIII

Образное представление о событиях четвертого дня Христовых страстей (четверг страстной недели) под влиянием церковных обрядов положило начало особым символическим приемам в домашней деревенской жизни. Первые места в этот день принадлежат серебряной монете, соли и хлебу. Омочивый на тайной вечери руку в солило, в знак предстоящего отступничества и предательства, вызвал обычай очищать ту соль, которая некогда была осквернена прикосновением нечистых рук нечестивого Иуды. Пережженную, сероватого и черного вида соль перемешивают с квасною гущей, кладут в старый лапоть и бросают в огонь. Пережженную соль столкут, просеют и затем считают настолько чистой и священной, что приписывают ей даже целебную силу, помогающую как людям, так и скоту. Эта соль считается в особенности пригодной для того, чтобы просолить ею первые освященные после святой заутрени пасхальные яйца*. В память омовения Спасителем ног апостолов, предшествовавшего осквернению соли Иудой, умываться в тот день стараются «с серебра», для чего кладут в воду серебряную монету, преобразующую те серебреники, за которые совершено величайшее из всех людских преступлений**. Во многих случаях обычай омовения сопровождается довольно сложной обстановкой. Глухой ночью,

* Во многих местах соблюдается обычай считать деньги, чтобы велись они круглый год; даже мальчики спешат считать в этот день свои козны (игральные кости) с той же целью корысти на выигрыши.

** В некоторых местах вспоминают в этот день о петухах (в память евангельского петуха) и, вставши, по обыкновению, раньше утром, чем когда-либо, кормят их каленым горохом, чтобы они были злее. В вологодских

далеко до света, чтобы ворон не успел выкупать своих птенцов, идут бабы на речку (вода для обряда должна быть непременно проточная) с ведрами и кувшинами. Черпают воду на восходе солнца и перед домом сначала обливаются сами, а потом будят мужа и взрослых детей, заставляя их также обливаться с головы (маленьких детей моют в гретой воде)[26]. Но в сущности, этого обычая оказывается женщинам мало. Они еще до выхода на реку, в темноте ночной прядут катушку ниток, ссученных в обратную сторону и, по совершении омовения, перевязывают этими нитками руки на запястьях, ноги на предплюснах и поясницу как себе, так и каждому из членов семьи — в уверенности, что все исполнившие обряд весь год не подвергнутся никакой болезни (носят эти перевязки обыкновенно до тех пор, пока они не изотрутся). В воспоминание о преломлении хлеба каждый крестьянин подает в церкви заздравную просфору, по силе своей равнозначащую с благовещенской. В иных местах этой просфоре (в Александровском у⟨езде⟩ Владимирской губ⟨ернии⟩) приписывается иное значение, так как крестьяне верят, что в Великий четверг господь невидимо благословляет тот хлеб, который в этот день подается к обеду. Поэтому крошки и куски, оставшиеся на столе, тщательно собираются и хранятся как святыня, пригодная и полезная к употреблению во время болезни. Во всякой избе в указанной местности во всякое время можно найти хоть маленький ломоток четвергового хлеба*.

Независимо от обычаев, находящих объяснение в христианских верованиях, к Великому четвергу отнесены и иные, ничего общего с верой не имеющие. Среди них на первом месте следует поставить обычай (исключительно приуроченный к этому подвижному церковному празднику) первого пострижения волос у тех малых ребят, у которых они с первого дня рождения еще не стриглись и успели вырасти настолько, что потребовались ножницы. В этот же день подстригают у овец шерсть на лбу, у кур, коров и лошадей — хвосты. Делается это в той уверенности, что от подобных пострижек у овец будет руно длиннее и гуще, лошади не станут скакать через изгороди и портить колья, а у коров не потеряется молоко и что, сверх того, сами животные не потеряются в лесных чащах, не заблудятся, не завязнут так, чтобы даться легкой добычей медведю или волку и т. п.**.

краях, сверх того, стараются перемыть, а кое-где и окурить, все крынки женскими волосами, в той уверенности, что всякая посуда сомнительна в чистоте, так как в этот день осквернены солоницы Иудиным прикосновением.

* Кроме просфоры пекут кое-где и особые катышки из теста, которые и дают скоту по одному, овцам по два, чтобы принесли дваток-ягнят.

**Вообще, к меченной в этот день скотине не посмеют уже прикоснуться ни гад, ни зверь.

Из опасения таких домашних невзгод в некоторых лесных местах, особенно там, где еще не обзаводятся пастухами, добрые хозяева даже гадают о судьбе своей скотины, для чего в Великий четверг, до восхода солнца, примечают: если скотина лежит головой, обращенной на закат, то это добрый знак, и такая животина благополучно прогуляет все лето; та же, которая стоит или лежит головой к воротам — не надежна для дома и может пропасть. Чтобы этого не случилось, малым ребятам велят с колокольцами в руках три раза обегать во все лопатки кругом двора с криком: «Около двора железный тын». А бегать надо так, чтобы не упасть, ни с кем не столкнуться. В глухой Новгородчине это гадание обставляется несколько иначе: бабы открывают печную трубу и, набравши в подол овса, взбираются на крышу и кричат в трубу: «Коровы-то дома?» Кто-нибудь из семейных подает им из избы успокоительный ответ, и бабы «уговаривают»: «Так-то вот, коровушки, в лесу не спите, домой ходите». Затем, уйдя на двор, скармливают овес скотине. Так ведется еще в белозерских и череповецких местностях. А в прославленной Уломе в тех же видах сбережения скотины прикармливают домового, для чего выпрядут нитку в левую сторону, обведут ею кругом двора три раза, спутают ноги цыпленка также три раза и обнесут его кругом стола с приговором: «Чужой домовой, ступай домой, а свой домовой, за скотиной ходи, скотину паси». Чтобы куры не теряли яиц, а неслись бы на своем дворе, кормят их зерном, насыпанным в обруче, а чтобы ястреб не таскал кур и цыплят, эту хищную и злобную птицу устрашают крынкой с выбитым дном, оставляя ее на огороде, к изгородям которого, по возможности ко всем кольям, привязывают сверх того нитки, и конечно, до восхода солнца, чтобы никто не видал, не сглазил и, таким образом, не утратили бы своей силы и могущества все эти заботы и хлопоты, заговорные слова, шепоты и действия. А чтобы заговорное слово было крепко, ходят в лес (также до солнечного восхода) за вересом или можжевельником, в который в лесных местах верят повсюду. Могуществом своим можжевельник уступает лишь сору из муравьиной кучи, а чудодейственная сила его зависит от умения им пользоваться и доставать его. Прежде всего войти в лес надо с молитвой: «Царь лесной и царица лесная, дайте мне на доброе здоровье, на плод и род», затем надо идти, не умывшись, не помолившись, и соблюдать строжайшую тайну, чтобы никто не приметил. Дома же принесенное надо разбросать по двору и хлевам, и только в таком случае не постигнет семью никакая напасть и не стрясется никакой беды над скотиной. Впрочем, в некоторых местах, как, например, в старой Новгородчине, даже этих мер

считается мало и, для окончательного успокоения и уверенности, соблюдается еще до сих пор такой прием: принесенный из лесу верес ранним же утром, до восхода солнца, зажигают на сковороде или жестяном листе посредине избы, на полу, и все члены семьи скачут через этот огонь, запасаясь на весь год здоровьем и окуриваясь от дьявольщины, которая в этот день в особенности хлопотлива и проказлива: у колдунов и ведьм в эту ночь бывают самые важные свидания с нечистой силой, против которой можжевельник владеет благодатной охраняющей силой. И нет дня в году, наиболее удобного для тех, кто пожелает видеть нечистую силу и узнать от нее свое будущее. Вологжане советуют ночью прийти в лес, снять с себя нагрудный крест, закопать его в землю и затем говорить: «Владыко лесной, есть у меня до тебя просьба» — и леший не замедлит явиться. Белозерские же крестьяне уверены в его появлении лишь в том случае, когда, сидя на старой березе, громко крикнуть три раза: «Царь лесной, всем зверям батько, явись сюда». И тогда смело спрашивай его о том, что тебе нужно,— он скажет все тайны и объяснит все будущее.

XIV

⟨...⟩ На церковном языке св. Пасха называется торжеством из торжеств, и название это как нельзя больше соответствует общенародному воззрению на этот праздник. Еще загодя начинает православный люд готовиться к этому торжеству, чтобы встретить его достойным образом, с подобающим благолепием и пышностью. Но особенно деятельно хлопочет и приготовляется деревня, где живее чувствуется связь со старинными обычаями и где крепче стоит православная вера. В продолжение всей страстной седьмицы крестьяне, что называется, не покладают рук, чтобы соскоблить, вымыть и вычистить обычную грязь трудовой обстановки бедных людей и привести свои убогие жилища в чистенький и, по возможности, нарядный вид. Мужики с первых же дней страстной недели заготовляют хлеба и корму для скотины на всю светлую седьмицу, чтобы в праздник не приходилось хлопотать и чтобы все было под рукой. А бабы и девушки хлопочут в избах: белят печи, моют лавки, скоблят столы, вытирают мокрыми тряпками запыленные стены, обметают паутину. Разгар бабьих работ, как было сказано в предшествующей главе, выпадает на Чистый четверг, который признается не просто днем страстной недели, а каким-то особенным угодником божьим, покровительствующим чистоте и опрятности. В этот день, по народному убеждению, даже «ворона своих воронят в луже моет». На этом же основании и бабы

считают своим долгом мыть ребят, а иногда и поросят, а также чистить избы. «Если в Чистый четверг вымоешь,— говорят они,— весь год чистота в избе водиться будет». Девушки моются в Чистый четверг со специальными целями, твердо веруя, что если на утренней заре хорошенько вымыться, вытереть тело полотенцем и отдать затем это полотенце «оброшнику» (об оброшниках см. ниже), то от женихов отбою не будет и в самом скором времени непременно выйдешь замуж. Кроме всеобщего мытья крестьяне стараются приурочить к Чистому четвергу и убой скота и свиней, предназначенных для праздничного стола и для заготовления впрок. Это делается на том же основании, как и мытье избы: угодник божий, Чистый четверг, сохраняет мясо от порчи; в особенности если к нему обратиться со следующей короткой молитвой: «Чистый четверг, от червей и от всякого гада сохрани и помилуй на долгое время».

Покончив с убранством избы, бабы приступают обыкновенно к стряпне. В богатых домах жарят и варят живность, пекут куличи, убирая их мармеладом, монпансье и другими цветными конфетами. В бедных же семьях эта роскошь считается не по карману, и здесь куличи, в виде обыкновенной, без всякой сдобы, булки, покупаются у местных лавочников или калачников и барашников. Но так как калачники или барашники развозят по деревне свои куличи приблизительно за неделю или за 3—4 дня до праздников, то на пасхальном столе крестьянина-бедняка обыкновенно красуется плоская и твердая, как дерево, булка, ценой не свыше пятиалтынного или двугривенного. Но бывают, впрочем, случаи, когда крестьяне не могут позволить себе и этой роскоши, не выходя из бюджета. Таким беднякам обыкновенно приходят на помощь более богатые родственники, которые, из чувства христианского милосердия, не допускают, чтобы Светлый праздник омрачался «голодными разговинами», да еще в родственной семье. Впрочем, и посторонние не отстают от родственников, и в страстную пятницу совсем не редкость видеть шныряющих по селу баб, разносящих по домам бедняков всякие припасы: одна принесет молока и яиц, другая творогу и кулич, а третья, гляди, притащит под фартуком и кусок убоины, хотя и накажет при этом не проговориться мужу (в деревнях убоиной распоряжается мужик, а баба без спросу не смеет и подступаться к мясу).

Что касается мужиков среднего достатка, то они хотя и не прибегают к помощи зажиточных соседей, но редко обходятся без займов, а еще охотнее продают что-нибудь из деревенских продуктов (дрова, сено, мятая пенька и пр.), чтобы раздобыться деньжонками и купить четверть или полведра водки, пшеничной муки для лапши и пшена на кашу. Но вырученные

деньги расходуются бережно, с таким расчетом, чтобы было на что «купить богу» масла и свечей и заплатить попам.

Все хозяйственные хлопоты заканчиваются обыкновенно к вечеру Великой субботы, когда народ спешит в церковь слушать чтение «страстей». Читать «страсти» считается за честь, так как чтец перед лицом всего народа может засвидетельствовать свою грамотность. Но обыкновенно чаще всего читает какой-нибудь благочестивый старик, которого окружают слушатели из мужиков и целая толпа вздыхающих баб. Долго длится это монотонное, а иногда и просто неумелое чтение, и так как смысл читаемого не всегда доступен темному крестьянскому уму, то усталое внимание притупляется, и многие покидают чтеца, чтобы помолиться где-нибудь в углу или поставить свечку св. Плащанице[27] (бабы уверяют, что Плащаница — это матерь божия) или же просто присесть где-нибудь в притвор и задремать. Последнее случается особенно часто, и наши корреспонденты из лиц духовного звания резко осуждают это неуважение к церковному богослужению, замечая, что спать в церкви, да еще в великую ночь,— значит то же, что совершенно не понимать всего происходящего в храме.

Нам, однако, думается, что такой ригоризм едва ли можно признать справедливым, так как во всей стране нашей ни одно сословие не сохранило такой детски наивной веры, как крестьянство. И если в церковных притворах и темных углах храма народ действительно спит, так что храп мешает иногда молящимся, то нужно же принять во внимание, что эти спящие люди истощены строгим деревенским постом, что многие из них приплелись из далеких сел по ужасной весенней дороге и что, наконец, все они донельзя утомлены предпраздничной суетой и хлопотами; к тому же спят сравнительно немногие, большинство толпится в темноте церковной ограды и деятельно хлопочет над наружным украшением храма. Во всю пасхальную ночь здесь слышны говор и крики; народ расставляет смоляные бочки, приготовляет костры; мальчишки суетливой толпой бегают по колокольне и расставляют фонари и плошки, а смелые мужики и парни, с опасностью для жизни, лезут даже на купол, чтобы осветить и его. Но вот фонари расставлены и зажжены, вся церковь осветилась огнями, а колокольня горит, как исполинская свеча, в тишине пасхальной ночи. На площади перед церковью густая толпа народа глядит и любуется своим разукрашенным храмом, и слышатся громкие восторженные крики. Вот послышался и первый, протяжный и звонкий удар колокола, и волна густого колеблющегося воздуха торжественно и величаво покатилась по чуткому воздуху ночи. Народная толпа заколыхалась, дрогнула, полетели с голов шапки, и радостный

вздох умиления вырвался из тысячи грудей. А колокол тем временем гудит, гудит, и народ валом валит в церковь слушать утреню. Через какие-нибудь пять минут в церкви делается так тесно, что негде яблоку упасть, а воздух от тысячи горящих свечей становится жарким и душным. Особенная давка и толкотня наблюдается у иконостаса и около церковных стен, где «пасочники» расставили принесенные для освящения куличи, яйца и всякую пасхальную снедь. Когда отойдет утреня, ровно в 12 часов, по приказанию ктитора[28], в ограде палят из пушки или из ружей, все присутствующие в церкви осеняют себя крестным знамением и под звон колоколов раздается первое «Христос воскресе». Начинается процесс христосования: в алтаре христосуется причт, в церкви прихожане, затем причт начинает христосоваться с наиболее уважаемыми крестьянами и обменивается с ними яйцами. (Последнее обстоятельство особенно высоко ценится крестьянами, так как они верят, что яйцо, полученное от священника, никогда не испортится и имеет чудодейственную силу.)

После окончания литургии все «пасочники», с куличами на руках, выходят из церкви и строятся в два ряда в ограде в ожидании притча, который в это время в алтаре освящает пасхи более зажиточных и чтимых прихожан. Ждут терпеливо, с обнаженными головами; у всех на куличах горят свечи, у всех открыты скатерти, чтобы святая вода попала непосредственно на куличи. Но вот причт освятил уже куличи в алтаре и, во главе со священником, выходит наружу. Ряды пасочников заколыхались, началась давка, крик, кое у кого вывалилась пасха из миски, кое-где слышится сдержанная брань рассерженной бабы, у которой выбили из рук кулич. А причт между тем читает молитву и, обходя ряды, кропит св. водой пасхи, за что ему в чашу швыряют гривны и пятаки.

Освятив куличи, каждый домохозяин считает своим долгом, не заходя домой, побывать на кладбище и похристосоваться с покойными родителями. Отвесив на родных могилках поклоны и поцеловав землю, он оставляет здесь кусок творогу и кулича для родителей и только потом спешит домой христосоваться и разговляться с домочадцами*. К разговенью матери всегда будят маленьких детей: «Вставай, детеночек, подымайся, нам боженька пасочки дал» — и заспанная, но все-таки довольная и радостная детвора садится за стол, где отец уже разрезывает пасху на куски, крошит освященные яйца, мясо или баранину и оделяет всех. «Слава тебе, господи, пришлось разговеться нам»,— в умилении шепчет крестьянская семья, крестясь и целуя священную пищу.

---

* Дети с родителями христосуются трижды, и только с женами целоваться при всех считается большим неприличием.

С первого же дня св. Пасхи на протяжении всей светлой седьмицы в деревнях обязательно служат так называемые пасхальные молебны, причем духовенство расхаживает по крестьянским избам непременно в сопровождении «оброшников» и «оброшниц», которые иначе называются «богоносцами». «Оброшники» вербуются всего чаще из благочестивых стариков и старух, которые или дали обет всю пасхальную неделю «ходить под богами», или же желают своим усердием вымолить у бога какую-нибудь милость; чтобы перестала трясти лихорадка, чтобы сына не взяли в солдаты, чтобы муж не пьянствовал, не дрался во хмелю и не бил домочадцев. Но очень многие из мужиков берутся «носить богов» с исключительной целью пьянствовать на даровщину. Все оброшники, прежде чем приступить к своему делу, обязательно испрашивают благословения священника: «Благослови, батюшка, под богов стать» — и только когда священник разрешит, принимаются за свои обязанности и «поднимают богов», причем один носит свечи для продажи, другой кружку, в которую собирает деньги «на божью матерь», третий несет другую кружку, куда причт складывает весь свой доход, предварительно записав его на бумаге, четвертый, наконец, носит кадило и подкладывает ладан (этот последний оброшник считается крестьянами самым почетным: в редком доме ему не поднесут стакана). Все оброшники подпоясаны белыми полотенцами, а оброшницы, кроме того, повязываются и белыми платками, в память св. жен мироносиц, которые, по мнению крестьян, были также покрыты белым. Когда все «богоносцы» выстроятся у церкви, появляется в облачении священник, и вся процессия с пением «Христос воскресе» под колокольный трезвон шествует в первый, ближайший от храма двор. К этому времени в избе перед «домашними богами» зажигаются свечи, стол покрывается белой скатертью, причем на стол кладут ковригу или две хлеба, а под угол скатерти насыпается горсть соли, которая, по окончании богослужения, считается целебной и дается от болезней скоту. Домохозяин без шапки, с тщательно умащенной и прилизанной головой, выходит навстречу «богам», а какая-нибудь молодайка, с пеленою в руках, «сутречáет» на пороге избы божью матушку и, приняв икону, все время держит ее на руках, пока духовенство служит молебен. Во время молебна мужики очень строго следят и считают, сколько раз пропели «Иисусе, сыне божий», и если меньше 12 раз, то хозяин при расчете не преминет выговорить священнику: «Ты, папаша, только деньги с нашего брата брать любишь, а сполна не вычитываешь». Но зато к чтению кондаков[29] крестьяне относятся с большим равнодушием, и если священник не дочитывает до конца каждый кондак, то хозяева не обижаются.

«Ведь и язык прибрешешь — в каждом дворе одно и то же», — говорят они и расстаются со своим священником самым миролюбивым образом, оделяя его деньгами и лепешками («одну лепешку тебе, папаша, а другую мамашечке отдай, пущай от нас гостинчик ей будет»).

Кроме молебна в избе, многие крестьяне просят отслужить еще один молебен, уже на дворе, в честь святых, покровительствующих домашним животным: Власия, Мамонта, Флора и Лавра. Для этой цели на дворе ставят столы, накрывают их скатертями, а поверх кладут «скотскую» пасху, предназначенную для домашних животных. После молебна эта пасха разрезывается на мелкие куски и скармливается домашним животным и птицам, а скатерть, на которой стояла пасха, псаломщик, по просьбе баб, подбрасывает вверх, насколько можно выше: чем выше он подбросит, тем выше уродится лен. По окончании же молебна наиболее благочестивые крестьяне пристают к священнику с просьбами благословить их «повеличать Вуспение божью матушку» и, если священник благословит, поют следующую самодельную молитву, которая приводит их в умиление:

О девица, твое успение славим,
Прими наше хваление
И подаждь нам радование,
О предстоящих со слезами, о мати, молись с нами,
Будь похвальна и избрана ты, царица небесная.

По окончании этого песнопения иконы выносят со двора, причем матери кладут в воротах детей для исцеления от болезней, а взрослые только нагибаются, чтобы над ними пронесли образа. Но если в каком-нибудь дворе богатый хозяин закажет молебен с водосвятием, то матери ни за что не упустят случая и непременно умывают детей св. водой, утирают полотенцем и «вешают его на божью матерь» (т. е. жертвуют) или же утирают концом холста, который также жертвуют на церковь. Кроме того, при водосвятных молебнах многие крестьяне снимают с себя кресты, погружают их в освященную воду и затем спускают эту воду прямо в рот или на глаза; старухи же, не ограничиваясь этим, берут самый венчик, которым кропит священник, и обрызгивают те места на своем теле, где чувствуют боль, но прежде всего брызгают за пазуху; молодицы же, которые кормят детей, обмывают св. водой грудь, чтобы больше было молока и чтобы люди не сглазили[30].

Не ограничиваясь молебном с водосвятием, многие крестьяне, в порыве благочестивого усердия, просят отслужить акафист таким святым, которых не существует в действительности, как, например, «Плакущей божьей матери» (чтобы

самому не плакать), «Невидимой божьей матери», «Великой Пятнице», «Воздвиженской Пятнице» (прогоняет нечистого духа и колдовство), «св. Субботе», «св. Средокрестию» и пр. Священники, разумеется, отказываются служить молебны этим несуществующим святым, но к такого рода отказам мужики относятся скептически: «Ой, смотри, батя,— говорят они,— грех-то на тебе будет, коли ты матушку Плакущую забыл».

Хождение с иконами продолжается по всем дворам до самого вечера первого дня св. Пасхи. А на второй день после литургии, которая кончается очень рано, иконы несут на «поповку» (место, где расположены дома причта), и после молебна в доме священника крестьяне получают угощение от своего духовного отца. Само собой разумеется, что на «поповку» в таких случаях собирается все село. «Шум стоит на всю улицу,— говорит один из наших корреспондентов, описывая такого рода торжество,— кто благодарит, а кто ругается, оставшись недоволен за малое или плохое угощение: «Коли к нам, это, значит, придет,— раздаются голоса по адресу батюшки,— пьет, ест, сколько сам хочет, покуль в нутро не пойдет, а как к нему придешь,— стаканчик поднесет, да и иди с богом». «Впрочем,— прибавляет корреспондент,— недовольных бывает всегда очень мало, так как священники не скупятся на угощение, дорожа расположением прихожан и желая в свою очередь отблагодарить за радушие и гостеприимство».

С «поповки» иконы идут по ближайшим и дальним деревням, обходя решительно весь приход, причем каждая деревня заранее предупреждается, когда к ней «боги придут», чтобы крестьяне успели изготовиться.

Как ни прекрасен сам по себе обычай пасхальных молебнов, но нельзя не заметить, что в его современном виде он не всегда стоит на той высоте, какая была бы желательна для благочестиво настроенного человека. По крайней мере, многие из наших корреспондентов горько жалуются и указывают, что пасхальные молебны омрачаются как поведением самих крестьян, так и в особенности оброшников и дьячков. «Мужики имеют обыкновение,— пишет нам один корреспондент,— не додавать денег, причитающихся духовенству за требы: если молебен с акафистом стоит рубль, то мужик, рассчитываясь, подает только 80 коп. Когда же причт заспорит, он прибавит гривенник, потом еще пятак, а пятак все-таки недодаст». Поэтому некоторые священники «в каждом доме садятся на лавку и, не снимая облачения, ждут, пока отдадут все деньги сполна, а также и весь остальной доход: хлеб, яйца, лепешки». Что касается оброшников, то главное их несчастье состоит в слишком большой отзывчивости на

деревенское хлебосольство и угощение: выпивая стаканчики в каждом доме, они к вечеру теряют всякий смысл и еле волочат ноги.

«Пьяные оброшники,— свидетельствует наш корреспондент,— часто приводят священника в искреннее негодование: они хватают и несут образа без всякого благословения, и когда ставят где, то стучат, как обыкновенной доской; во время же молебна или с средины акафиста, не дождавшись окончания богослужения, вдруг поднимают по нескольку икон сразу, кладут их одна на другую и несут из избы, распевая во всю глотку «Христос воскресе». Прихожане, у которых служатся молебны, бывают, разумеется, очень смущены таким поведением оброшников и спешат вырвать у них иконы и самих оброшников оттаскивают прочь. Не лучше ведет себя и тот оброшник, который носит ладан и в каждом доме зажигает свечи: как только принесут образа и он, до прихода священника, явится осмотреть, все ли в порядке, то нередко падает на пороге, причем из кадила высыпаются горящие уголья»[31].

Вообще, по общему отзыву наших корреспондентов, оброшники напиваются до того, что к вечеру валяются где-нибудь в сенях, на крыльце, а то и просто посреди деревенской улицы. Над такими оброшниками парни не упускают, конечно, случая поиздеваться: они кладут им в рот тертого хрену, завязывают глаза, надевают на голову бабы повойники и покрывают худыми юбками. Эти злые шутки над пьяными вызывают, конечно, самые строгие внушения со стороны старших, хотя справедливость требует заметить, что и среди женатых мужиков попадаются такие, которые окачивают водой пьяных оброшников, залепляя нос, глаза, уши. В таком виде оброшники под утро расползаются по селу, ища приюта у какой-нибудь кумы или у хороших знакомых, которые позволяют проспаться и смыть с лица и головы всякую дрянь, которой их мазали. Иногда издевательства парней простираются настолько далеко, что шутки их кончаются очень печально. В одном селе, например, они раздели донага мертвецки пьяного дьячка и на всю ночь оставили его лежать на холодной сырой земле — результатом чего была сильнейшая простуда, а затем и смерть несчастного.

Чтобы закончить характеристику пасхальных молебнов, необходимо еще упомянуть, что иконы на ночь приносятся на хранение или в училище, или в дом какого-нибудь зажиточного и уважаемого крестьянина, который обыкновенно сам напрашивается на эту честь и просит священника: «Батюшка, отпусти ко мне богородицу ночевать». Нередко случается, что по ночам в помещении, где хранятся иконы, прихожане уже сами от себя устраивают нечто вроде все-

нощного бдения: старухи со всей деревни, богомольные мужики и девушки, вымаливающие хороших женихов, собираются сюда и возжигают свечи, поют молитвы и коленопреклоненно молятся богу. В прежнее время сюда же приносились так называемые «кануннички» (маленькие кувшинчики с медом), которые ставились перед образами на стол для поминовения умерших. Кануннички ставились с большими свечами, и бабы при этом рассуждали так, что все, мол, главные боги (образа) здесь налицо, и если им зажечь по свечке каждому, то они сразу, как начнут молиться за покойничка, так уж непременно вымолят для него у господа прощение. «Кануннички», по всей вероятности,— изобретение раскольников, которые в былое время охотно приносили к образам и свои кувшинчики и простаивали на молитве с православными всю ночь. Но теперь «кануннички» строжайшим образом запрещены высшими духовными властями и повсеместно вышли из употребления.

Пока духовенство не отслужило у крестьянина в доме молебна, ни он, ни его домочадцы ни под каким видом не смеют предаваться никаким праздничным развлечениям: это считается за большой грех. Но затем, когда «иконы прошли», в деревне начинается широкий пасхальный разгул. Взрослые «гостюют» друг у друга, без меры пьют водку, поют песни и с особенным удовольствием посещают колокольню, где и трезвонят с раннего утра до 4—5 час. вечера. Посещение колокольни, вообще, считается излюбленным пасхальным развлечением, так что в течение всей светлой седьмицы на колокольне толпятся парни, девушки, мужики, бабы и ребятишки: все хватаются за веревки и подымают такой трезвон, что батюшка то и дело посылает дьячков унять развеселившихся православных и прогнать их с колокольни. Другим специально пасхальным развлечением служит катание яиц и отчасти качели[32] и игры в орлянку и карты. Катают яйца преимущественно ребятишки, да разве еще девушки, которые соскучились без хороводов и песен (на Пасху светские песни и хороводы считаются неприличием и даже грехом). Зато на качелях катаются решительно все. Где-нибудь в конце деревенской улицы парни устраивают так называемые «общественные» качели (вскладчину), и возле этих качелей образуется нечто вроде деревенского клуба: девушки с подсолнухами, бабы с ребятишками, мужики и парни с гармониками и «тальянками» толпятся здесь с утра до ночи: одни только глядят да любуются на чужое веселье, другие веселятся сами. Первенствующую роль занимают здесь, разумеется, девушки, которые без устали катаются с парнями. Но так как толпа почти всегда приходит сюда, изрядно подвыпивши, так как качели раскачиваются

не самими катающимися, а зрителями, то очень нередки случаи, когда от пьяного усердия доска с катающейся парочкой перелетает через перекладину и происходят несчастья — увечья и даже смерть.

Что касается игры в орлянку и в карты, то обе эти забавы с каждым годом все более и более проникают в деревню и, под влиянием отхожих промыслов и трактирного просвещения, положительно становятся излюбленными играми не только молодежи, но и взрослых мужиков (см. главу «Святки»). Наконец, из числа пасхальных развлечений деревенского народа нельзя также не указать на обязательное приглашение в гости кумовьев и сватов. В этом отношении Пасха имеет много общего с масленицей, когда точно так же домохозяева считают долгом обмениваться визитами со сватами. Но на Пасху приглашают даже будущих сватов, т. е. родня обрученных жениха и невесты приглашает друг друга в гости, причем, как и на масленицу, во время обеда и всякой трапезы жениха с невестой садят рядом в красном углу, поят их обоих водкой и вообще делают центром общего внимания. Обычай требует при этом, чтобы жених ухаживал за невестой, но так как ухаживание это носит, так сказать, ритуальный характер, то естественно, что в нем много натянутости и чего-то деланного, почти фальшивого: жених называет невесту обязательно на «вы», по имени-отчеству или просто «нареченная моя невеста», сгребает руками сласти с тарелки и потчует ими девицу, а после обеда катается с ней по селу, причем опять-таки обычай требует, чтобы нареченные жених и невеста непременно катались, обнявшись за талию: он ее, а она его.

Как самый большой и наиболее чтимый христианский праздник, Пасха, естественно, группирует вокруг себя целый цикл народных примет, обычаев, суеверий и обрядов, неизвестных церкви, но пользующихся большой популярностью в темной среде деревенского люда. Общая характерная черта всех этих народных праздников есть все то же двоеверие, которым и доныне пропитаны религиозные понятия русского простолюдина: крестная сила хотя и побеждает нечистую силу, но и до сих пор эта побежденная и поверженная в прах темная сила держит в своей власти робкие умы и наводит панический ужас на робкие души.

По мнению крестьян, в пасхальную ночь все черти бывают необычайно злы, так что с заходом солнца мужики и бабы боятся выходить на двор и на улицу: в каждой кошке, в каждой собаке и свинье они видят оборотня, черта, прикинувшегося животным. Даже в свою приходскую церковь мужики избегают ходить в одиночку, точно так же, как и выходить из нее. Злятся же черти в пасхальную ночь потому, что уж

очень им в это время солоно приходится: как только ударит первый колокол к заутрене, бесы, как груши с дерева, сыплются с колокольни на землю, «а с такой высоты сверзиться,— объясняют крестьяне,— это тоже чего-нибудь да стоит». Сверх того, как только отойдет заутреня, чертей немедленно лишают свободы: скручивают их, связывают и даже приковывают то на чердаке, то к колокольне, то во дворе, в углу. Чертям это, разумеется, не нравится, тем более что заклятые враги их, православные люди, любят посмотреть, как мучаются привязанные черти, а посмотреть они имеют полную возможность, если только догадаются прийти на чердак или в темный угол двора с той самой свечой, с которой простояли пасхальную утреню. Можно, впрочем, обойтись и без свечи, с той только разницей, что тогда не увидишь, а только услышишь мучения нечистой силы, так как в ночь на Светлое воскресенье чертей принудительно замуровывают в церковные стены, где они «шустятся», т. е. возятся и мечутся, не будучи в состоянии убежать из тягостного плена. Наконец, в распоряжении людей имеется и еще один способ поглумиться над нечистой силой: для этого стоит только выйти с пасхальным яйцом на перекресток дорог и покатить яйцо вдоль по дороге — тогда черти непременно должны будут выскочить и проплясать трепака. Само собой разумеется, что чертям в Светлую христову ночь бывает совсем не до пляски — им впору бы удавиться, а тут, по капризу деревенского озорника, изволь пускаться в пляс и потешать его.

В таком же затруднительном положении бывают в пасхальную ночь и ведьмы, колдуны, оборотни и прочая нечисть. Опытные деревенские люди умеют не только опознавать ведьм, но могут даже с точностью определить весь их наличный состав в деревне: для этого нужно только с заговенным творогом встать у церковных дверей и держаться за дверную скобу — ведьмы будут проходить, и по хвостам их можно сосчитать всех до единой.

Что касается колдунов, то опознавать их еще легче — не надо даже за дверную скобку держаться, а достаточно во время пасхальной заутрени обернуться и поглядеть на народ: все колдуны будут стоять спиной к алтарю.

Другая группа пасхальных суеверий раскрывает перед нами понятия крестьянина о загробной жизни и о душе. Повсеместно существует убеждение, что всякий, кто умрет в светлую седмицу, беспрепятственно попадет в рай, какой бы грешник он ни был. Столь легкий доступ в царствие небесное объясняется тем, что в пасхальную неделю врата рая не закрываются вовсе и их никто не охраняет. Поэтому деревенские старики и в особенности старухи мечтают, как о величайшем

счастье, и просят у бога, чтобы он даровал им смерть именно в пасхальную седьмицу.

Наряду с тем в крестьянской среде глубоко вкоренилось верование, что в пасхальную ночь можно видеться и даже беседовать со своими умершими родственниками. Для этого следует во время крестного хода, когда все богомольцы уйдут из церкви, спрятаться в храме со страстной свечкой так, чтобы никто не заметил. Тогда души умерших соберутся в церковь молиться и христосоваться между собой, и тут-то и открывается возможность повидать своих усопших родственников. Но разговаривать в это время с ними нельзя. Для разговоров есть другое место — кладбище. Вот что сообщила на этот счет одна старушка черничка нашему пензенскому корреспонденту из Городищенского у⟨езда⟩. «Я, батюшка мой, почитай, каждый год хожу на кладбище и окликаю покойничков, и всегда они мне ответ подают. Только страшно это: покойнички говорят подземельным голосом, и мурашки по телу у меня так и забегают, как только они голос подадут. Случается, говорят они глухо, тихо, а случается, как скажут — словно гром ударил».—«Но всегда они вам отвечают?»— допытывался наш корреспондент. «Всегда, батюшка, всегда. Только, конечно, к ним, ко покойникам-то, надо подходить умеючи, нельзя зря лезть. Чтобы с ними поговорить да побеседовать, надо вот что сделать: после причастия, в Великий четверг, не нужно ничего есть до самого разговенья Пасхи; всю пятницу и субботу надо провести в молитве и молчании, потому если это не исполнить, то покойники ни за что голоса не подадут. А как отойдет заутреня, то нужно идти на кладбище и первым долгом помолиться богу, потом сотворить три земных поклона, лечь на землю и что есть духу громким голосом закричать: «Христос воскресе, покойнички!» Вот на это мертвецы и откликнутся: «Воистину воскресе, бабушка». И уже после этого подходи к любой могилке и спрашивай, о чем хочешь,— мертвец непременно ответ даст и никогда не соврет, всю правду скажет. Но я, одначе, никогда их не распытывала, а только похристосуешься, и марш домой: робость на меня нападала».

Особняком от этих суеверий стоит целая группа пасхальных примет, которые можно назвать хозяйственными. Так, наш народ твердо убежден, что пасхальные яства, освященные церковной молитвой, имеют сверхъестественное значение и обладают силой помогать православным в трудные и важные минуты жизни. Поэтому все кости от пасхального стола тщательно сберегаются: часть из них зарывается в землю на пашнях с целью предохранить нивы от градобития, а часть хранится дома и во время летних гроз бросается в огонь, чтобы предотвратить удары грома. Точно так же повсеместно

сохраняется головка освященного кулича, для того чтобы домохозяин, выезжая в поле сеять, мог взять ее с собой и съесть на своей ниве, чем обеспечивает прекрасный урожай*. Но урожай обеспечивается точно так же и теми зернами, которые во время пасхального молебна стояли перед образами, поэтому богобоязненный домохозяин, приглашая в свой дом батюшку «с богами», непременно догадается поставить ведра с зернами и попросит батюшку окропить их св. водой[33].

Наряду с крестьянами-домохозяевами создали свой цикл примет и бабы-хозяйки. Так, например, во всю светлую неделю каждая хозяйка должна непременно прятать все освященное съестное таким образом, чтобы ни одна мышь не могла взобраться на пасхальный стол, потому что если мышь съест такой освященный кусочек, то у ней сейчас вырастут крылья, и она сделается летучей мышью.

Точно так же во время пасхальной утрени хозяйки наблюдают: какая скотина в это время лежит смирно — та ко двору, а которая гомозится и ворочается — та не ко двору. Во время пасхальной же заутрени крестьянки имеют обыкновение «шугать» с насеста кур для того, чтобы куры не ленились, а пораньше вставали да побольше яиц несли. Но едва ли не наибольший интерес представляет обычай изгнания из избы клопов и тараканов, точно так же приуроченный к первому дню Пасхи**. Делается это таким образом: когда хозяин придет после обедни домой, он не должен входить прямо в избу, а должен сперва постучаться. Хозяйка же, не отворяя дверей, спрашивает: «Кто там?» — «Я, хозяин твой,— отвечает муж,— зовут меня Иван. Ну что, жена, чем разговляться будем?» — «Мы-то разговляться будем мясом, сметаной, молоком, яйцами».— «А клопы-то чем?» — «А клопы — клопами». Крестьяне уверены, что, подслушав этот диалог, клопы или испугаются и убегут из избы, или набросятся друг на друга и сами себя съедят.

Есть еще и другой, более упрощенный способ изгнания клопов и всяких паразитов: когда хозяева идут от обедни с пасхами, какая-нибудь старуха берет веник и кричит: «Прусаки и тараканы и всякая гадина, выходите вон из избы — святая пасха идет». Это восклицание должно быть повторено

---

* В некоторых местностях обычай брать в поле голову пасхи превратился даже в своеобразный ритуал. Когда настанет ржаной сев, хозяин встает на заре, умывается и молится богу, а хозяйка покрывает скатертью стол, приносит головку пасхи, ковригу хлеба, ставит соль и, собрав всех домашних, зажигает свечку, после чего все присутствующие кладут по три земных поклона и просят у бога: «Зароди нам, господи, хлебушка». Затем головка пасхи заворачивается в чистую тряпочку и торжественно передается хозяину, который и уезжает с ней в поле.

** Об этом см. также статью «Семен-Летопроводец» (в наст. изд. гл. XXXVI.— *Ред.*).

три раза, причем старуха усиленно метет веником к порогу и трижды машет им за порог. Когда же Пасха придет уж на порог, старуха швыряет веник за порог как можно дальше и тем самым намечает путь отступления для всякой избяной нечисти.

Что касается деревенских девушек, то и у них имеются свои пасхальные приметы. Так, например, в дни св. Пасхи не берут соли, чтобы руки не потели, умываются водой с красного яйца, чтобы быть румяной, притом становятся на топор, чтобы сделаться крепкой (топор, говорят, удивительно помогает, и девушка делается такой крепкой, что, по пословице, «хоть об дорогу ее бей — а ей все нипочем»). Сверх того, девушки верят, что все обычные любовные приметы на Пасху сбываются как-то особенно верно: если, например, девица ушибет локоть, то уж непременно ее вспомнит милый; если во щи упадет таракан или муха — неверняка жди свидания; если губа зачешется — не миновать поцелуев; если бровь чесаться станет — будешь кланяться с милым. Даже лихие люди — воры, бесчестные игроки в карты и пр.— и те создали своеобразные приметы, приуроченные к Пасхе. Воры, например, употребляют все усилия, чтобы во время пасхальной заутрени украсть какую-нибудь вещь у молящихся в церкви, и притом украсть так, чтобы никому и в голову не пришло подозревать их. Тогда смело воруй целый год, и никто тебя не поймает. Игроки же, отправляясь в церковь, кладут в сапог под пятку монету с твердой надеждой, что эта мера принесет им крупный выигрыш. Но чтобы сделаться непобедимым игроком и обыгрывать наверняка всех и каждого, нужно, отправляясь слушать пасхальную заутреню, захватить в церковь карты и сделать следующее святотатство: когда священник покажется из алтаря в светлых ризах и первый раз скажет «Христос воскресе», пришедший с картами должен ответить: «Карты здеся». Когда же священник скажет во второй раз: «Христос воскресе», безбожный картежник отвечает: «Хлюст здеся», и в третий раз — «Тузы здеся». Это святотатство, по убеждению игроков, может принести несметные выигрыши, но только до тех пор, пока святотатец не покается. Наконец, и охотники точно так же имеют свои пасхальные приметы, которые сводятся к одному главному требованию: никогда не проливать крови в великие дни светлой седьмицы, когда вся тварь земная вместе с людьми радуется Христову воскресению и по-своему славит бога. Нарушители этого христианского правила подчас жестоко наказываются богом, и бывали случаи, когда охотник, снарядившись на охоту, или нечаянно убивал себя, или не находил дороги домой и без вести пропадал в лесу, где его мучила нечистая сила.

Чтобы закончить характеристику пасхальных суеверий,

обычаев и примет, необходимо еще остановиться на той группе их, которая связана с пасхальным яйцом. ⟨...⟩ Таких примет целое множество. Нельзя, например, есть яйцо и выбрасывать (а тем более выплевывать) скорлупу за окошко на улицу, потому что на протяжении всей светлой седьмицы сам Христос с апостолами в нищенских рубищах ходит по земле и, по неосторожности, в него можно попасть скорлупой (ходит же Христос с целью наблюдать, хорошо ли православные исполняют его завет — оделять нищую братию, и награждает тароватых и щедрых, а скупых и немилостивых наказывает). Затем, крестьяне повсюду верят, что при помощи пасхального яйца души умерших могут получить облегчение на том свете. Для этого надо только сходить на кладбище, трижды похристосоваться с покойником и, положивши на его могилу яйцо, разбить его потом, покрошить и скормить его «вольной» птице, которая в благодарность за это помянет умерших и будет просить за них бога. При помощи пасхального яйца получают облегчение и живые от всех болезней и напастей. Если яйцо, полученное при христосовании от священника, сохранить в божнице в течение трех и даже 12 лет, то стоит только такое яйцо дать съесть тяжелым больным — и всю хворь с них как рукой снимет. Помогает яйцо и при тушении пожаров: если человек, отличающийся праведной жизнью, возьмет такое яйцо и троекратно обежит горящее здание со словами: «Христос воскресе», то пожар сразу же утихнет, а затем и прекратится сам собой. Но если яйцо попало в руки человеку сомнительного образа жизни, то пожар никоим образом не прекратится, и тогда остается только одно средство: бросить яйцо в сторону, противоположную направлению ветра и свободную от строений — тогда ветер утихнет, изменит направление, и сила огня ослабнет настолько, что возможно будет с ним бороться. Но всего больше помогает пасхальное яйцо в земледельческих работах: стоит только во время пасхального молебна зарыть такое яйцо в зерна и затем выехать с этим же яйцом и зерном на посев, чтобы обеспечить себе прекрасный урожай. Наконец, яйцо помогает даже кладоискателям, потому что всякий клад, как известно, охраняется специально приставленной к нему нечистой силой, а завидев человека, приближающегося с пасхальным яйцом, черти непременно испугаются и кинутся врассыпную, оставив клад без всякой защиты и прикрытия,— тогда только бери лопату и спокойно отрывай себе котлы с золотом.

К числу оригинальных пасхальных обычаев, значение которых темно и неясно для народа, относится, между прочим, так называемое «хождение волочебников». Это та же коляда, странным образом приуроченная к Пасхе, с той только разницей, что «волочебниками» бывают не парни, а преимущественно

бабы. Со всего села собираются они толпой и ходят из дома в дом, останавливаясь перед окнами и пискливыми бабьими голосами распевая следующую песню:

Не шум шумит, не гром гремит,
Христос воскресе сын божий *(припев)*
Шум гремят волочебники —
К чьему двору, ко богатому,
Ко богатому — к Николаеву.
Хозяюшко, наш батюшко,
Раствори окошечко, посмотри немножечко,
Что у тебя в доме деется.— *И т. д.*

Смысл песни состоит в том, чтобы выпросить что-нибудь у хозяина дома: яиц, сала, денег, молока, белого хлеба. И хозяева в большинстве случаев спешат удовлетворить просьбы волочебников, так как по адресу скупого хозяина бойкие бабы сейчас же начинают высказывать не совсем лестные пожелания: «Кто не даст нам яйца — околеет овца, не даст сала кусок — околеет телок; нам не дали сала — коровушка пала». Суеверные хозяева очень боятся таких угрожающих песнопений, и потому бабы никогда не уходят из-под окон с пустыми руками. Все собранные продукты и деньги идут на специальное бабье пиршество, на которое не допускаются представители мужского пола.

XV

Красная горка. Под таким названием известно в народе первое воскресенье, следующее после Пасхи. В этот день все девушки и молодые бабы, запасшись съестными припасами, собираются на каком-нибудь излюбленном месте деревенской улицы и поют песни-веснянки («закликают», или «заигрывают» весну), водят хороводы и устраивают разнообразные игры и пляски.

Красная горка считается девичьим праздником, и так как в этот день происходят свадьбы и идет усиленное сватовство, то на игры являются обыкновенно все девушки до единой (конечно, в лучших нарядах, потому что в этот день происходит выбор женихами невест). Считается даже дурной приметой, если какой-нибудь парень или девушка просидят на Красную горку дома: такой парень или совсем не найдет себе невесты, или возьмет рябую уродину, а девушка или совсем не выйдет замуж, или выйдет за какого-нибудь последнего мужичонку-замухрышку. И во всяком случае, оба они, и парень и девушка, непременно умрут вскоре же после свадьбы.

Кроме матримониального значения, Красная горка в некоторых местах приобретает совершенно особый характер бабьего заклинания. Так, в Пензенской губ⟨ернии⟩, которая,

наравне с Вологодской, больше других придерживается старинных обрядов и обычаев, в первое воскресенье после Пасхи устраивается «опахивание села».

Читатель уже знаком с этим языческим обычаем, и потому здесь мы лишь в нескольких словах отметим, каким образом языческий обряд этот приспособляется к христианским воззрениям народа.

В глухую полночь весь наличный состав деревенских женщин идет с песнями за околицу, где дожидаются три молодые бабы с сохой и три старухи с иконой Казанской божьей матери. Здесь девушки расплетают свои косы, а бабы снимают головные платки, и начинается шествие: несколько баб садятся на доски, положенные поверх сохи, несколько девок берутся сзади за соху, чтобы ее придерживать, а остальные, взявшись за привязанные веревки, тащат соху таким образом, чтобы обвести бороздой все село и на перекрестках сделать сохою крест. Процессии предшествуют старики с иконой и молятся, чтобы село не постигли какие-либо бедствия и напасти и чтобы эти напасти останавливались за бороздой и не смели ее переступить. В этом обряде принимают участие только одни женщины и девушки, парни же присоединяются к ним уже потом, когда бабы опишут круг около села и, возвратившись на прежнее место, устроят пирушку, распивая брагу и закусывая. Пирушка эта продолжается до третьих петухов (приблизительно до 3-го часа утра), а затем все расходятся по домам, так как гулять после петухов считается грешно.

XVI

Фомино воскресенье на языке народа называется «вьюничным», потому что в этот день после обедни деревенская молодежь целыми толпами подходит к тем домам, где живут молодые супруги, обвенчанные в прошедший мясоед, и кричит: «Молодая, молодая, подай вьюнца (молодого), а не подашь вьюнца, будешь ветреница». Слова эти кричат до тех пор, пока в избе не распахнется окошко, и молодая не подаст крашеных яиц и пирогов.

В некоторых местах к молодежи примыкают и женатые мужики и бабы и тоже кричат: «Вьюн да вьюница, подайте кокурку да яйцо — если не дадите, вломимся в крыльцо». Кокурка — это большой круглой формы пшеничный пирог с изюмом; он печется теми молодушками, которые первый год живут замужем, и предназначается, собственно, для бывших подруг-девиц, которым и вручается с низкими поклонами и с безмолвной просьбой, чтобы девицы принимали гулять с собой и молодых, недавно обвенчавшихся женщин. Та девица, которая принимает кокурку из рук молодой, отдает треть этого

каравая назад молодым, другую треть мужикам, старым женщинам и ребятишкам, а прочее уносится в дом и съедается девицами при пении песен, от которых воздерживались во всю пасхальную неделю.

Этот старозаветный обычай в некоторых селах Владимирской губ⟨ернии⟩ сопровождается особыми ритуальными обрядами: после обедни где-нибудь на открытом месте деревенской улицы собираются бабы, а в некотором отдалении от них становятся все молодые парочки и начинают подзывать баб к себе. В ответ на этот зов бабы начинают петь песни и медленно подходить к «новоженям», которые и дают им по куску пирога и по одному яйцу.

XVII

Вторник Фоминой недели носит название «радуницы» или «радоницы». В этот день православная Русь обыкновенно поминает родителей. Еще загодя крестьянские женщины пекут пироги, блины пшеничные, оладьи, кокурки, приготовляют пшенники и лапшевники, варят мясо, студень и жарят яичницу. Со всеми этими яствами они отправляются на погост, куда является и священник с причтом, чтобы служить на могилах панихиды. За панихиды бабы, собравшись человек по пяти, платят в складчину духовенству пирогами, студнем и кашей. Так как во время богослужения бабы поднимают невообразимый рев и плач на голоса, с причитаниями и завываниями, то мужики во многих местах (например, в Саратовской губ⟨ернии⟩) избегают ходить на панихиды, чтобы не глядеть на бабьи слезы, в искренность которых они не совсем верят. Зато, когда духовенство, отведав угощенья, которое приготовляется для него особо, разойдется затем по домам,— на кладбище являются и мужики, и начинается пир на могилках. Крестьяне христосуются с умершими родственниками, поминают их, зарывают в могилу крашеные яйца, поливают брагой, убирают их свежим дерном, поверх которого ставятся всевозможные лакомые блюда, а в том числе и водка и пиво. Когда яства расставлены, поминальщики окликают загробных гостей по именам и просят их попить-поесть на поминальной тризне. Но, угощая покойников, крестьяне, разумеется, не забывают и себя, так что к концу поминания на кладбище обыкновенно бывает множество пьяных, которые еле стоят на ногах и путаются между могильными крестами, не будучи в состоянии найти дорогу домой. Такое же, если не большее, пьянство происходит и на городских кладбищах, куда в день «радуницы» для пресечения безобразий наряжаются даже усиленные наряды полиции.

XVIII

⟨...⟩ Вторая неделя по Пасхе — неделя жен Мироносиц. Это празднество установлено исключительно для женщин, и приходится оно на воскресный день (первый после Фомина). Пасхальные яйца приобретают здесь особенное значение, занимая в праздничном обряде главное место. Под Москвой этот женский праздник выражается в том, что храмы бывают переполнены замужними женщинами, вдовами и девушками гораздо больше, чем во всякий иной праздничный день, и при этом каждая из молящихся, подходя к кресту прикладываться после обедни, обязательно христосуется со священником и дает ему яйцо, подобно тому, как на утрени Светлого воскресенья тот же обряд исполняют исключительно мужчины. Где церквей и сел немного и приходы удалены на значительное расстояние, в то же воскресенье (в Орловской губ⟨ернии⟩) с утра бабы и девки забираются в ближний лесок и даже хотя бы на такое место, где завязались кусты ракиток, с обрядовыми приношениями на руках, в карманах или за пазухой — парой сырых яиц и парой печеных и крашеных. Идут с песнями. По приходе смолкают, ввиду наступления торжественного священного обряда христосованья и кумовства[34]. Каждая сняла с шеи крест и повесила на дерево; к нему подошла другая, перекрестилась, поцеловала его и обменяла на свой крест, с владелицей его потом поцеловалась, покумилась — стали считаться и зваться «кумами», «кумушками» вплоть до Духова дня — нового женского праздника (на этот раз исключительно девичьего). Когда же все перекумятся, запевают снова песни и затевают пляски, а в это время ребята собирают хворост и раздувают огонь; на нем три бабы жарят яичницу, которая от множества вкладов выходит настолько густая, что ее едят руками, отламывая по куску и христосуясь яйцами, которые к этому дню нарочно красят*. Вместо водки, сидя кругом сковородки, угощаются из рюмок квасом с взаимными пожеланиями. Девушек-подростков приветствуют обыкновенно так: «Еще тебе подрасти да побольше расцвести», а девице заневестившейся говорят: «До налетья (следующего года) косу тебе расплести надвое, чтобы свахи и сваты не выходили из хаты, чтобы не сидеть тебе по подлавочью» (в девушках), а бабам пожелания высказываются несколько иного характера: «На лето тебе сына родить, на тот год сам-третьей тебе быть». Девушки свои пожелания шепчут друг другу на ухо. Как бы то ни было, умилительный обычай этот вводит в обиходный язык упрощенную форму ласкового

---

* Курянки (Обоянского у⟨езда⟩) свои Маргоски отличают тем, что, съевши яичницу, подбрасывают вверх ложки и кричат: «Родись лен такой-то здоровый и высокий». У кого ложка взлетела выше, у того и лен уродится лучше.

привета в замену сухого величанья по имени и отчеству. В коренных и старых поселениях все либо кумы и свахи, либо кумовья и сваты, и не только по церковному благословению, но и по обычному обрядовому праву. В облегчение привета при взаимных ежедневных и ежечасных сношениях обычай этот повсеместен и неискореним, как крепко излюбленный, веками взлелеянный.

В иных деревнях тех же местностей умеют оживить праздничный мир вводными обрядами из подлинной старины. Собравшись в лес кумиться, или (что то же) крестить кукушку*, идут разбившись парами. Когда свяжут оборой от лаптей верхушки березок и подвесят кресты с шей и ленты с кос, начинают ходить кругом деревьев навстречу друг другу с припевом: «Вы, кумушки, вы, голубушки, кумитеся, любитеся, не ругайтеся, не бранитеся, сойдитесь-полюбитеся, подружитеся». И затем, обойдя березки три раза, целуют подвешенные на них кресты, которыми при взаимных поцелуях и меняются. К яичнице допускают парней, обязанных принести водки, меду и сладких гостинцев. Когда съедят яичницу, каждая девушка выбирает себе парня и, обнявшись с ним, гуляет у всех на глазах. Родители девиц видят в этом только обычай и на этот день не находят в нем ничего предосудительного, хотя готовы переломать ребра за то же самое в другие, непоказанные дни. Начнет садиться солнце — все с песнями спешат по домам.

В Дмитровском у⟨езде⟩ (той же Орловской губ⟨ернии⟩) этот праздник сопровождается еще «зазыванием снитки», от которой якобы зависит урожай хорошей капусты. Это то же самое растение, которое всюду называется подорожником, а также «кукушкой» (почему и самый праздник прозван «крещеньем кукушки»). Прибавленный обряд совершается после предыдущих и состоит в том, что девушки, поевши яичницы, разбиваются по соседним кустарникам и ищут там эту обетованную траву для того, чтобы вырвать ее с корнем, унести на другое место и там зарыть в землю. Посадке капусты вообще придают особое значение, и даже там, где уже отстали от старых обычаев, при посадке этого любимого овоща, играющего столь значительную роль и занимающего на крестьянском столе такое видное место во всей матушке России, один кочешок покрывают горшком и присаживают к нему туда

* «Кукушка» — это в иных местах просто ветка с дерева, воткнутая в землю, или подорожник, а в других — большая кукла, сшитая из лоскутков ситца, миткалю, ленточек и кружев на деньги, собранные всеми женщинами селения в складчину (по 1 коп.). Наряженную куклу с крестиком на шее кладут в ящик, сколоченный наподобие гроба, и какая-нибудь умелая баба начинает голосить как о покойнике, иные смеются, третьи поют и пляшут, и всем очень весело. На другой день кукушку зарывают где-нибудь в огороде и играют приличную случаю песню.

же луковку. Сам горшок обвивают венком, принесенным из церкви на Троицын день и сберегаемым около образов до времени посадки капусты. Девичья снитка служит тому же делу и отпевается теми же заветными хороводными песнями, которые еще не забыты и не затерты современными частушками (коротенькими куплетцами в четыре стиха)*.

По Вятке (например, в Яранском краю) тот же мироносицкий праздник справляется по-своему и называется «Шапшиха». Девушкам сюда нет доступа, женщины также стараются уклоняться, а придерживаются старого обычая только те из баб, которые любят погулять (на селение приходится таких баб 10—15). Сам обычай сводится к женской пирушке, устройство которой берет на себя одна из участниц по жребию. Чаще всего это или вдова, или малосемейная. Устроительницы бабьего пира варят пиво и из доставленных накануне в складчину (вместе с водкой) припасов приготовляют обед к тому времени, когда прочие складчицы вернутся из церкви, от обедни и от молебна Мироносицам. Поздним вечером оканчивается этот пир плясками. «В старые годы,— сообщает наш корреспондент г. Наумов,— женщины, не стесняясь никем, благодаря отсутствию мужчин, веселились и плясали до того, что под конец пира сбрасывали с себя платки и носимые под ними каждой замужней женщиной чепчики («чехлики», по местному выражению) и пели-плясали простоволосыми». Являться в таком виде перед посторонним считалось и считается в высшей степени зазорным и непозволительным для всякой порядочной женщины. Вообще, это признак крайней разнузданности, и в некоторых деревнях этот обычай совершенно исчез, тогда как в прежнее время справлялся всеми женщинами «и в нем (по свидетельству г. Наумова) принимала участие даже попадья».

XIX

Под именем Марии Египетской, память которой празднуется 1 апреля, народ соединяет легендарное представление о загробном суде, на котором Мария будто бы будет судить всех блудниц. По воззрениям крестьян, Мария может поставить на первую ступень заблудшего сына и спасти, по молитве родителей, от блудного житья и непотребства свихнувшуюся с истинного пути дочь. Эта милость Марии Египетской к раскаявшимся блудникам и блудницам объясняется тем, что

* В «Орловск⟨их⟩ губ⟨ернских⟩ ведом⟨остях⟩» 1865 г., № 27, напечатаны семь прекрасных песен хороводных, приурочиваемых к этому весеннему обряду, который иногда переносится на Вознесенье, иногда же повторяется в Троицын день.

«сама она пошла на блуд с 12 лет», а с 17 навсегда ушла в пустыню. Народ верит, что в пустыне Мария ходила совершенно нагая, прикрывая свое тело пальмовыми ветками, но не дает объяснения, почему эта святая бросила в море свои одежды, оставив на шее только крест, «с которым она родилась».

День Марии Египетской крестьяне проводят в воздержании. В Тамбовской губ⟨ернии⟩, например, из уважения к великой подвижнице христовой, считается грехом есть что-либо, кроме пустых щей. То же наблюдается и в других губерниях.

Из числа обычаев, приуроченных ко дню 1 апреля, можно указать разве на практикуемый среди городских жителей обычай обманывать добрых знакомых. Предрассудком этим, в особенности, заражены девушки, которые стараются обмануть как можно больше людей в той уверенности, что в таком случае женихи не проведут их, а наоборот, они будут водить молодых людей за нос.

Но этот городской обычай совершенно незнаком нашему крестьянину.

XX

Праздник Преполовения принадлежит к числу тех, истинное значение которых почти совершенно непонятно для народа. Даже люди образованного круга на вопрос: что такое Преполовение — отзываются сплошь и рядом полным неведением, и самое большее, если скажут, что Преполовение — это половина пятидесятницы, подвижный праздник, приходящийся между Пасхой и сошествием св. Духа. Но зато на вопрос о том, откуда взято церковью название праздника и в чем состоят особенности церковного богослужения в этот день — разве очень немногие ответят, что название праздника заимствовано из Евангелия и что в день Преполовения церковь прославляет особенное учение о таинственной воде, под которой разумеется благодатное учение Христово и животворящие дары св. Духа. Таким образом, нельзя удивляться, что в крестьянской среде об этом древнем христианском празднике только и знают, что в среду Преполовения священники совершают малое водосвятие на реках и источниках и что «деревья, из которых был сделан крест господень, начали расти на Половение». Впрочем, в некоторых местах о возникновении этого праздника «душеспасительные девицы» (чернички) рассказывают целую легенду, сущность которой сводится к следующему: «Один раз гнались за богородицей разбойники, а она была с младенцем на руках. Бежала, бежала богородица, глядь — река. Она и бросилась в воду, рассчитывая переплыть на другую сторону и спастись от погони. Но с младенцем на руках плыть было трудно, потому что грести приходилось только одной рукой.

Вот и взмолилась богородица своему младенцу: «Сын мой милый, дай ты мне третью руку, а то плыть мне невмоготу». Младенец услышал молитву матери, и появилась у нее третья рука. Тогда уже плыть было легко, и богородица благополучно достигла противоположного берега». Этим легендарным сказанием вполне объясняется, почему крестьяне всех великорусских губерний праздник Преполовения называют «Преплавлением» (от слова переплыть). Надо думать, что в связи с этой же легендой стоит и происхождение иконы божьей матери «Троеручицы».

XXI

Соловецкие чудотворцы, св. Зосима и Савватий, издревле считаются покровителями пчел и заступниками всех православных пчеловодов. Существует даже легенда, что до времени жизни этих святых на Руси совсем не было пчел и что они первые принесли эту «божью работницу» из земли Египетской, где разводили пчел окаянные измаильтяне. «По наущению божию,— говорит легенда,— Зосима и Савватий набрали пчелиных маток, заключили их в тростниковую палочку и отправились из Египта в православную Русь. Св. угодникам сопутешествовал архангел Гавриил, который поднял в земле Египетской всю пчелиную силу и повелел ей лететь за угодниками божьими в русскую землю. Измаильтяне же, когда увидели, что пчелы оставляют и целым облаком вьются над головой удаляющихся чужестранцев, пустились в погоню и скоро настигли св. Зосиму и Савватия. Однако архангел Гавриил не попустил, чтобы божьи угодники потерпели от руки нечестивых, и, когда стала приближаться погоня, велел подальше бросить тростниковую палочку. Таким образом, при обыске окаянные измаильтяне ничего не нашли, и святые угодники невредимыми пришли в русскую землю и принесли свою тростниковую палочку с пчелиными матками».

Это предание хорошо известно всем верующим пчеловодам, которые не только имеют на пчельниках икону св. Зосимы и Савватия (отчего и улей, к которому прикреплена икона, называется «зосимою»), но придумали даже особую молитву, с которой обращаются к своим покровителям: «И Зосима и Саватий, помилуйте своими молитвами меня, раба божия (имя рек), во дворе или в лесу, на пчельнике, и пчел и молодых и старых, на выстановке, во всяком году, во всяком месяце, в четверти и полчетверти». Эта молитва записана в Пензенской губ⟨ернии⟩, и весьма вероятно, что в других местах пчеляки не знают ее. Но зато повсеместно в день св. Зосимы (17 апреля), когда на пчельник выставляются ульи, крестьяне-пчеловоды служат молебны «пчелиному богу»: богатые при-

глашают духовенство служить молебен на пчельнике, чтобы сам батюшка окропил ульи св. водой, бедные же молятся в церкви и затем сами кропят крещенской водой свои пчельники. В этот же день приносят в церковь мед для освящения и почти повсеместно кормят пчел благовещенскою просфорою.

День св. Савватия празднуется 27 сентября, когда ульи в большинстве губерний центральной России укутываются на зиму. Этот день точно так же считается праздничным для пчеловодов, которые не только сами молятся божьему угоднику, но еще охотней заставляют молиться детей, так как пчелиный промысел считается одним из тех, которые требуют нравственной чистоты и праведной жизни перед богом. А так как дети до 12 лет считаются у крестьян как бы безгрешными, то и молитва их признается очень угодной богу. «Дай, господи, чтобы пчелки водились, мед носили и не умирали» — так, повторяя за родителями слова молитвы, шепчут крестьянские дети на всех наших пчельниках, кланяясь и крестясь перед образом соловецких чудотворцев.

XXII

После Николая, мирликийского чудотворца, из сонма святых греческой церкви едва ли найдется в русском царстве имя, более известное, как имя св. великомученика и победоносца Георгия, и притом чтимое с самых первых времен распространения христианства. Вторая после Ильинской церковь построена была в Киеве на городских воротах во имя этого святого, и когда она была возобновлена, понадобилось установление нового, второго в году празднества в честь Георгия (в греческой церкви этот праздник неизвестен). Кроме того, что в великокняжеских семьях имя это было излюбленным, день нового чествования в народной жизни при крепостной неволе получил экономическое и политическое значение. Особенно знаменательно оно было на лесном севере России, где самое имя святого, по требованию законов наречения и слуха, изменилось сначала в Гюргия, Юргия, Юрья — в письменных актах и в Егорья — в живом языке, на устах всего простонародья. Для крестьянства, сидящего на земле и от нее во всем зависящего, новый осенний (26 ноября) Юрьев день до конца XVI века был тем заветным днем, когда для рабочих кончались сроки наймов и всякий черносошный человек на всем пространстве русской земли делался свободным с правом перехода к любому землевладельцу. Это право перехода, по всему вероятию, составляет заслугу того князя (Георгия Владимировича), который пал первой жертвой на р. Сити в битве с татарами, но успел положить начало русскому заселению

на лесном севере и обеспечить его крепкой защитой в виде городов Владимира, Нижнего, двух Юрьевых и пр. Народная память окружила имя этого князя исключительным почетом. На притоках верхней Волги, по Мологе и Сити сбереглись курганы как следы его вооруженных усилий отстоять от бусурманов родную землю, на притоке средней Волги чествуют молебствиями то озеро, которое скрыло провалившийся город с церквами, жителями и князем в виду наступавших татарских полчищ. Для увековечения памяти князя потребовались легенды, сам он олицетворен в богатыри, подвиги его приравнены к чудесам, само имя его смешали с именем победоносца «Егория, светла, храбра, у которого по локоть руки в красной замше, по колено ноги в чистом серебре, а во лбу-то солнце, во тылу месяц, по косицам звезды перехожие»*. Когда ветры буйные разметали насыпь с глубокого погреба, куда замуравлен был богатырь, выходил он на святую Русь увидать света белого, солнца красного и отправился вымещать обиды, нанесенные ему и отцу его в городе Чернигове царищем-кудрянищем. На пути наталкивается богатырь на разные неодолимые препятствия: то стоят крутые высокие горы, перед которыми ни беговому, ни удалому молодцу проезда нет, то течет река огненная от земли и до самого неба. Богатырь святорусский Егорий знал, что все эти препятствия встали не по божьему веленью, а по вражьему попущению, и могучим словом разрушал препоны: «Полно вам, горы, полно тебе, река, врагу веровать: веруйте вы в господа распятого», и становились горы и реки по-старому и прежнему, и шел богатырь все дальше и достиг своей цели.

Внушительно в данном случае именно то обстоятельство, что из святого греческой церкви русский народ сделал нового, своего, приписавши ему такие деяния, о которых вовсе не упоминают византийские минеи[35]. Если Егорий и ездит всегда на серой лошади с копьем в руках и пронзает им зеленого дракона (изображение, издревле вошедшее в употребление, как герб московского царства), то тем же копьем, по русским легендам, он поразил и того волка, который выбежал ему навстречу и вцепился зубами в ногу его белого коня. Раненый волк заговорил человеческим голосом: «За что ты меня бьешь, коли я есть хочу?» — «Хочешь ты есть, спроси у меня. Вон возьми ту лошадь; ее хватит тебе на два дня» **. Легенда эта укрепляет в народе верование, что всякая зарезанная волком или задавленная и унесенная медведем скотина обре-

---

* Былина известна по всему лесному северу, и пишущему эти строки удалось записать одну из таковых на берегах Белого моря.

** Ходит еще в народе сказка «О портном и волке», свидетельствующая также о беспрекословном повиновении всех лесных и полевых зверей св. Георгию.

чена им как жертва Егорием — ведомым начальником и повелителем всех лесных зверей. Эта же легенда свидетельствует, что Егорий умеет говорить с зверями людским языком, что он, если обречет на съедение корову, овцу или лошадь, то всегда сделает так, что человек этого не увидит, и обреченная сама идет навстречу врагу и беззащитно останавливается перед ним как бы в столбняке *. Оправдывая святого тем, что он отдает диким зверям тех животных, которые оказались бы вредными для человека, народ все-таки признает его покровителем домашнего скота, охранителем пасущихся стад, строго следящим за пастухами и наказующим беспечных из них и нечестных при исполнении обязательств, принятых перед деревенским миром.

Жив и повсеместен в черноземной Руси рассказ о том, как Егорий приказал змее ужалить больно того пастуха, который продал овцу бедной вдовы, а в свое оправдание сослался на волка. Когда виновный раскаялся, св. Георгий явился к нему, обличил во лжи, но возвратил ему и жизнь и здоровье **.

Однажды некий крестьянин по имени Гликерий пахал на воле поле. Старый вол надорвался и пал. Хозяин сел на меже и горько заплакал. На тот час подходит к нему юноша с вопросом: «О чем, мужичок, плачешь?» — «Был у меня,— отвечает Гликерий,— один вол-кормилец, да господь наказал меня за грехи мои, а другого вола, при бедности своей, я купить не в силах».— «Не плачь,— успокоил его юноша,— господь услышал твои молитвы. Захвати с собою «оброть» (недоуздок), бери того вола, который первый попадется на глаза, и впрягай его пахать — этот вол твой».

— А ты чей?— спросил его мужик.

— Я Егорий Страстотерпец,— сказал юноша и скрылся.

На этом повсеместном предании (с некоторыми изменениями в подробностях) основываются те трогательные обряды, которые можно наблюдать во всех без исключения русских деревнях в день 23 апреля. Иногда в более теплых местах это число весеннего месяца совпадает с «выгоном» скота в поле, в суровых же лесных губерниях это только «обход скота», обряд, который, впрочем, с равным удобством производится и в Великий четверг, и в день вешнего Егорья, например, в Новгородчине. Во всех случаях и всюду обряд «обхода» совершается одинаково и заключается, главным образом, в том, что хозяева обходят с образом св. Победоносца-Георгия

*Отсюда повсеместная поговорка-примета: «что у волка в зубах, то Егорий дал».

** Почитая Егория не только повелителем зверей, но и гадов, крестьяне в молитвах, обращенных к нему в заветные дни, между прочим, просят, чтобы он уберег от укушений змей и ядовитых насекомых, вроде тех роковых мух, которые переносят сибирскую язву и т. п.

всю домашнюю скотину, собранную в кучу на своем дворе, а затем сгоняют ее в общее стадо, собранное у часовен, где служится водосвятный молебен, после которого все стадо окропляется святой водой и гонится за околицу, какова бы ни была в тот день погода. Хозяйки гонят скот освященной в неделю Ваий[36] вербой, а иные провожают его с хлебом и солью. Пастух, принимая стадо, делает свой обход с тем же образом и тоже с уверенностью, что такое дело его есть священнодействие *. В старой Новгородчине (в Череповецком, Боровическом и других уездах), где иногда скот пасется без пастухов, «обходят» сами хозяева с соблюдением древних обычаев. Хозяин для скотины своей рано утром приготовляет пирог с запеченным туда целым яйцом. Еще до солнечного восхода он кладет пирог на решето, берет икону, зажигает восковую свечу, опоясывается кушаком, затыкая спереди за него вербу, а сзади топор. В таком наряде у себя на дворе хозяин обходит скот по солнцу три раза, а хозяйка (в Уломе) подкуривает из горшочка с горячих угольев ладаном и поглядывает, чтобы двери на этот раз были все заперты. Пирог разламывается на столько частей, сколько в хозяйстве голов скота, и каждой дается по куску**, а верба, судя по принятому обычаю той местности, либо бросается на воду речки, чтобы уплыла, либо втыкается под стреху (верба спасает во время грозы от молнии). Белозерцы придерживаются еще таких обычаев, что накануне Егорья убирают с глаз долой гребни, щетки и ножницы и (в Марковской волости) кладут в воротах на землю шерстяной пояс, клещи и крюк, иногда шейный крест или топор и нож и выгоняют (как вологжане) скотину на улицу, а потом опять кряду же и загоняют.

В глухой черноземной полосе (Орловской губ⟨ернии⟩) верят в Юрьеву росу, т. е. стараются в Юрьев день возможно раньше, до восхода солнца, когда еще не высохла роса, выгнать скот со двора, особенно коров, чтобы они не болели и больше давали молока. В той же местности верят, что свечки, поставленные в церкви к Егорьеву образу, спасают от волков; кто забыл поставить, у того Егорий возьмет скотину «волку на зубы».

Чествуя «скотский» праздник, домохозяева не упускают случая превратить его в «пивной». Еще задолго до этого дня, рассчитывая, сколько выйдет ушатов пива, сколько сделать «жиделя» (пива низшего сорта), крестьяне озабочены

* Егорьев день вместе с тем и пастуший праздник, когда оберегатели стад дают твердое обещание во все время пастьбы не стричь волос своих на голове, чтобы отвлекать от стада волков.

** Вологжане (кадниковские) кусочки этого хлеба уносят на село и после обедни раздают нищей братии: иным в одно это утро Егорьева дня удается собрать таких кусочков целый мешок.

мыслью, как бы не было «нетечи» (когда сусло не бежит из чана), и толкуют о мерах против такой неудачи. Подростки лижут ковши, вынутые из чанов с суслом, пьют отстой или гущу, осевшую на дне чана. Бабы пекут и варят и «обиходят» избы (моют). Девицы излаживают свои «баенны» (наряды). Когда пиво готово, к каждому родственнику в деревне несут бурак, или «буртас» *, и приглашают «гостить о празднике». Праздник Егорья начинается с того, что каждый большак несет в церковь сусло, которое на этот случай называется «кануном». Его на время обедни ставят перед иконой святого Георгия, а после обедни жертвуют причту. Первый день пируют у церковников (в Новгородчине), а потом идут пить по домам крестьян. Или так, по-вологодски: первый день угощаются сами домашние, на второй день угощают родных, а на третий — соседа. В иных местностях около недели мотаются друг к другу, бродят из одной деревни в другую. Хорошего гостя водят прямо на погреб к самому чану — пей сколько влезет, если сумеешь потом сам вылезти.

Так как значительная часть удаленных и особо чтимых часовен, а равно тех ближних, которые охраняют избранные родники, указывают на места старых, лишь впоследствии освященных христианским именем святых, то и по занимающему нас вопросу часовнями с именем св. Георгия отмечены таковые же места, где обычно справлялся общий «скотский» или «коровий» праздник. Из множества таких часовен выделяется, между прочим, в Вельском (Вологодской губ⟨ернии⟩) в глухой деревушке Першинской «горгиевская часовня», известная в народе под названием «Спас в Раменье». Эта часовня, снабженная даже колокольней с тремя звонами, привлекает сюда из трех соседних уездов, Кадниковского, Тотемского и Вельского, до 10 тысяч богомольцев, стекающихся на первый Спас, празднуемый накануне всенощной, а в день 1 августа — крестным ходом на р. Чургу (в полуверсте от деревни). После погружения креста некоторые сбрасывают с себя одежды и купаются. Одежду хватают на лету бедные крестьяне и берут себе. Во время бесчисленных молебнов, общих и частных, поступают пожертвования не только деньгами, но и льном, яйцами, а также домашним скотом. Все это оценивается и, при чиновнике удельной конторы, продается на сумму более тысячи рублей, поступающих в пользу архангельской приходской церкви. На улице, против каждого дома, выставляются столы с яствами и бочка или ушат пива и ведро водки для угощения.

Егорьев день, как и все старозаветные праздники у домоседов черноземной России (например, в Чембарском у⟨езде⟩

---

* Ведро из бересты, вместимостью около гранца[38].

Пензенской губ⟨ернии⟩) сохранил еще следы почитания Егорья как покровителя полей и плодов земных. Крепка уверенность в том, что Егорью были даны ключи от неба и он отпирает его, предоставляя силу солнцу и волю звездам. Многие еще заказывают обедни и молебны святому, испрашивая у него благословения нивам и огородам. А в подкрепление смысла древнего верования соблюдается особый обряд, выходящий из ряда обычных именно в этот Юрьев день.

Выбирают наиболее смазливого парня, украшают его всякою зеленью, кладут на голову круглый пирог, убранный цветами, и в целом хороводе молодежи ведут в поле. Здесь трижды обходят засеянные полосы, разводят костер, делят и едят обрядовый пирог и поют в честь Юрья старинную священную молитву-песню («окликают»):

Юрий, вставай рано — отмыкай землю,
Выпускай росу на теплое лето,
На буйное жито —
На ядренистое, на колосистое.

XXIII

На второй день третьего Спаса пахал мужик свой «пар», чтобы посеять озимую рожь. Лошадь заартачилась и остановилась; принялся мужик хлестать ее кнутом, а потом стал из всех сил колотить палкой. Лошадь пала на колени и заржала. Хозяин осыпал ее бранью и проклятиями и пригрозил вспахать на ней целую десятину в один день. На этот сказ, откуда ни взялись, два странника с посохами.

«За что ты бьешь лошадь? — спрашивают они мужика,— ведь ты ответишь за нее богу, всякая животина на счету у бога, а лошадь и сама умеет ему молиться *. У вас, вот, на каждой неделе полагается для отдыха праздник, а у коня твоего в круглый год нет ни единого. Завтра наш день — Фрола и Лавра[38]: вот мы и пришли заступиться и посоветовать свести твою лошадь на село к церкви и соседям то же наказать, если хотят, чтобы лошади их были здоровы и в работе крепки и охотливы. Мы приставлены к лошадям на защиту. Бог велел нам быть их заступниками и ходатаями перед ним».

Такова нехитрая пензенская легенда, свидетельствующая своим давним происхождением о повсеместном чествовании избранного святого дня Фрола и Лавра. По орловскому поверью, почитание этих святых мучеников вызвано следующим

* На основании этого поверья и в черноземных губерниях соблюдается обычай вешать в конюшнях с правой стороны над яслями образ Флора и Лавра; редкий решается (например, в Пензенской губ⟨ернии⟩) там испражняться, и в редких стойлах не подвешена убитая сорока (чтобы лошади были веселее).

случаем. Оба брата, Фрол и Лавр, жили тем, что ходили по деревням и рыли колодцы. Один раз работа их была настолько неудачна, что обвалилась земля и похоронила обоих, и притом так, что никто этого не заметил. А колодец между тем завалился обычным порядком. Необычна была лишь та лужица, которая стала протекать из обвала и обнаружила чудодейственную силу: ходившая сюда чахлая лошаденка одного мужика начала добреть,— не с овса (так оказалось по справке у хозяина), а именно от этого самого пойла. Стали гонять своих кляч сюда и другие и достигли того же. Тогда вздумали мужики рыть на этом месте колодец и наткнулись там на Фрола и Лавра: стоят оба брата, с железными лопатами в руках, целы и невредимы. Замечательно при этом стремление легенд приурочить этих святых греческой церкви к сонму святых русской церкви, как наиболее освоившихся с нуждами русского народа. В древней Смоленщине (Дорогобужского у⟨езда⟩) существует, например, такая легенда. Св. Фрол и Лавр были по ремеслу каменщики и находились в числе строителей стен Киево-Печерской лавры. Один раз, когда они обламывали камни, осколок одного отлетел так неудачно, что попал в глаз единственному сыну и наследнику князя, заведовавшему работами. Разгневанный князь приказал закопать обоих братьев по пояс в землю и держать в ней до тех пор, пока не исцелится глаз, а в случае, если глаз вытечет, то князь собирался виновных закопать совсем в землю живыми. По молитвам братьев, господь исцелил больного, и святые получили свободу.

Хотя эта легенда и оправдывает обычай прибегать к этим святым с молитвами при глазных болезнях, но такой обычай — исключительный и узкоместный. Главное же и основное верование не утрачивает своей силы на всем пространстве русской земли. В Москве на Мясницкой, против почтамта, и около старинной церкви Фроловской, вдоль стены бывшего строгановского училища живописи, можно было любоваться выставкой первостепенных московских рысаков, приводимых сюда для молебствия и до сих пор составляющих любительскую слабость купечества, глубоко вкоренившуюся и в городские нравы. Другой такой разнообразной и блестящей выставки, не похвальбы, а мольбы ради, только один раз бесплатно предоставляемой для обозрения любителям, положительно нигде уже нельзя видеть на всем пространстве Великороссии. Праздные шаловливые посетительницы кавказских вод в этот же день на обширной площадке казачьей станицы подле православной церкви греческого стиля в Кисловодске могут любоваться теми скакунами всякого роста и возраста, с довольно разбитыми ногами, на которых совершаются горные прогулки. Скакунов приводят сюда для служения молебна

св. мученикам и окропления св. водой, освященной тут же на площади. Тот же обычай наблюдается и на севере. «До 300—400 голов лошадей приводят в село,— сообщает наш корреспондент из Никольского у⟨езда⟩ Вологодской губ⟨ернии⟩,— для окропления св. водою». Лошади рабочие, местной мелкой породы, по большей части рыженькие; шерсть у них не лоснится, как у московских рысаков, а зачастую хохлатая, так что не расчистить ее самой крепкой скребницей; неказисты они видом, но похвальны обычаем; непотребовательны в пище и изумительно выносливы: им нипочем те лесные дороги, где всякая другая порода лошадей надрывается. На «лошадиный праздник» пригоняют их подкормленными овсецом и даже круто посоленным ячным хлебцем *. Гривы и хвосты расчесаны, и в них вплетены девками ленточки или лоскуточки кумача или ситцев самых ярких цветов.

Для «конной мольбы» в некоторых местностях (Вологодской, Костромской, Новгородской губ⟨ерниях⟩) существуют особые деревянные часовни, нарочито предназначенные для чествования мучеников в заветный день. Некоторые часовни находятся в значительном удалении от сел, на лесных полянах (как, например, в лесах вологодских и ветлужских), и стоят в течение всего года совершенно забытыми, а на праздник мучеников привлекают поразительное многолюдство и получают особое оживление. После торжественной обедни крестьяне — кто верхом, кто пешком, кто в телеге — отправляются, по местному выражению, «к пиву». Лошадей набирается так много, что поляна перед часовней сплошь покрывается ими. За версту от часовни раскинулось ровное поле, где, по окончании молебствия, начинаются скачки (новое доказательство древности лошадиного праздника, а равно и того, что самые часовни представляют позднейшие сооружения, освятившие собою места древних игрищ). С постройкой одной из таких часовен в ветлужских лесах предание связывает явление иконы св. мучеников при источнике из горы (лет 300 тому назад). Из часовни впоследствии образовалась церковь, стоявшая одиноко в темном лесу, в 17 верстах от жилья. «За сто верст (свидетельствует корреспондент) со всех сторон съезжаются сюда служить водосвятный молебен после обедни, а также и после того, как все верхом по три раза успеют объехать кругом церкви. Священник выносит крест со святой водой, благословляет крестом и все время кропит, причем каждый, проводящий мимо него лошадь, старается о том, чтобы хотя одна капля св. воды попала на

* В некоторых местах заведен обычай закапывать фроловскую просфору (ржаную). Каждый домохозяин несет за пазухой одну такую просфору, чтобы разломить дома на кусочки и дать по частице каждой дворовой скотине, начиная с коня и кончая поросенком.

лошадь. Как только все объехали, священник осенит крестом и скажет: «С богом», тогда все разъезжаются по домам».

Обычные скачки на лошадях вперегонку (отчего кое-где и сам праздник получает название «скакалки») сохранились далеко не везде. Даже в той же Вологодской губ⟨ернии⟩ (в Вельском у⟨езде⟩) «фролят» только любители из взрослых, т. е. скачут вперегонку в первое воскресенье, следующее за Петровым днем. Оно называется «конною мольбой» именно потому, что в этот день установлено молебствие о лошадях и каждый хозяин приводит на площадь если не всех, то по крайней мере одну лошадь. Зато повсюду установлено общим и неизменным правилом кормить на этот день лошадей в полную сыть и ни в каком случае на них не работать (даже на скачках седлать лошадей не принято). Во всяком случае, «Фролы» или, по крайней мере, самый день праздника отличается в деревне особым торжеством, в лесных же губерниях этот день замечателен по обилию яств и питей. Избы к тому времени чисто вымыты, хозяева принаряжены, пива наварено вдосталь, гости не спесивы, а потому и пир легко и скоро идет в гору и доходит до тех криков, когда все галдят и никто друг друга не слушает, и даже до беспричинной ссоры и кровавой драки. «На Фролах» дают себе волю выпить лишнее и женщины, что составляет исключение сравнительно с прочими деревенскими праздниками. Это особенно заметно в вологодских краях: «Мужики, которые любят винцо, пьют очень мало, даже некоторые совсем отказываются, зато уж бабы пьют за себя и за мужиков, бабы и старухи уже поздно вечером еле плетутся домой».

И на этот раз, как при чествовании Власия, в стройный однообразный ряд обрядов христианского молитвенного чествования св. Фрола и Лавра врывается кое-где как осколок доисторической веры обряд нелепых жертвоприношений, подобный тому, который замечен был в Пермской губ⟨ернии⟩ и так описан самовидцем: «На вспаханном под пар поле, сплошь усеянном народом, лежат в крови и корчатся в предсмертных судорогах до 20 животных, издающих душу раздирающие стоны и хрипение. Вот ведут на веревке к «жертвенному полю» молодого бычка. На него набрасывается с криком и шумом толпа народа, и через момент несчастное животное лежит уже распростертым на земле, придавленное толпой жертвователей. А в это время проходит жрец конца XIX века с невозможно тупым ножом и начинает пилить животному горло. Процесс пиления продолжается не менее четверти часа. Помощники жреца тотчас же приступают к потрошению. Таким образом, ко времени, когда у животного будет окончательно перерезано горло, у него успеют содрать всю шкуру и отрезать ноги. Затем начинается жаренье животных на

кострах. Около двух часов ночи раздается удар в колокол, возвещающий, что жертвенное кушанье поспело, и толпа набрасывается на горячее мясо с криком и дракой, причем большинство желает получить мясо ради его «особо священного свойства». Обряд этот и пиршество, под общим именем «скотского праздника», совершается не иначе как в день Фрола и Лавра». «Не ирония ли это судьбы (справедливо замечают в газете «Уральская жизнь», сообщившей об этом событии), что подобное медленное истязание животных происходит в «скотский праздник»?»

XXIV

Никола вешний, или «Никола с теплом», называется так потому, что с этого дня (9 мая) устанавливается теплая погода. «Никола осенний лошадь на двор загонит, а Никола весенний лошадь откормит»,— говорят крестьяне, характеризуя приволье подножных кормов.

День Николы вешнего считается мужским праздником, так как в тот день парни первый раз едут в ночное и на лугах, при свете костров, справляют свой нехитрый пир: привозится водка, закуска, жарится неизменная яичница, а после заката солнца являются и девки. Надзора со стороны старших в этот день не полагается, и молодежь на полной свободе водит хороводы, поет песни и пляшет до утренней зари.

Что касается взрослого населения, то оно также считает Николу вешнего покровителем лошадей и заказывает в этот день молебны с водосвятием, чтобы св. Никола уберег коней от волков и медведей и даровал табунам здоровье. Вообще, св. Никола пользуется в народе огромным уважением за его любовь к крестьянам и почитается самым старшим и самым близким к богу святым угодником. На этот счет в Пензенской губ⟨ернии⟩, Краснослободского у⟨езда⟩, один крестьянин рассказал нашему корреспонденту следующую легенду. «Однова мужик посеял рожь и, как управился, пошел в воскресенье в храм божий и взял с собой гривну (3 к.) на свечку. Только, этта, купил мужик свечку и задумался: кому ее ставить? Видит он, что народ ставит Миколе, пошел и сам к Миколаю. Поставил свечку, отвесил поклон и молится: «Микола, батюшка милостивый, отец родной! уроди ты мне ржицу». А пророк-то Илья услышал мужикову молитву и осерчал. «И что это,— говорит,— мужик Миколу все просит, а не меня: чай, я не хуже Миколая-то? Вот погоди, придет лето, пущай Микола уродит мужику рожь, а я возьму да градом и выбью». Услыхал эти слова Микола милостивый и тоже осерчал: «Ан нет — не выбьешь».— «Ан, выбью». Вот они и заспорили. Послал Микола дождь, и рожь у мужика

выросла лучше всех. Радуется мужик: «Ну,— думает,— и зашибу я деньгу». А того и не знает, что пророк-то Илья на его рожь с неба посматривает и все норовит, как бы ее градом хватить. Только и Миколай не дремлет: приходит, это, он к мужику и говорит: «Продай рожь, не жамши». Мужик послушался и продал: ржи в тот год у всех были плохи, а ему за его хорошую рожь эва сколько деньжищ сосед отвалил. Вот пришла жатва, а Илья-то не знал, что мужик продал рожь, и такой ли град послал, такой град, что вся рожь полегла на землю. Тогда Микола опять является к мужику и говорит: «Ты, мужик, купи рожь-то свою побитую». Мужик послушался и, почитай, задаром взял свою рожь назад. А Микола тем временем послал дождь и поднял рожь с земли, и опять у мужика стала хорошая рожь. Рассердился, разлютовался Илья, когда узнал, как его Миколай обошел,— и порешил на следующий год опять побить мужикову рожь, да только Микола опять наставил мужика продать рожь не жавши, и Илья так и остался ни с чем».

День Николы вешнего не связывается в народном представлении с какими-нибудь особыми земледельческими приметами, если не считать того, что этот день признается временем среднего посева яровых хлебов. С Николина дня точно так же «заказываются» луга, что обыкновенно делается посредством древесных прутьев и веток, которые втыкаются в землю на межах,— признак, что пасти скот на этих лугах возбраняется.

XXV

⟨...⟩ На праздник Вознесенья пекут пироги с зеленым луком, а главное особенное кушанье — хлебные «лесенки»[39] (в Ярославской губ⟨ернии⟩). Такие лесенки делаются обязательно с семью перекладинками, как бы ступеньками, по числу семи небес апокалипсиса. Прежде эти пироги и лесенки освящались в церкви, относились на колокольню и бросались вниз на землю. При этом, конечно, гадали о том, на какое из семи небес суждено попасть гадающему. Когда все семь ступенек оставались целы, это указывало гадальщику прямой путь на небо, и наоборот: если лесенка разбивалась в мелкие куски, то тем самым обнаруживала страшного грешника, который ни на одно из небес не годится. В настоящее время гаданье это упростилось до того, что лесенки бросаются прямо на пол, около печи, которая их испекла. Простодушие верования и стремление к образному выражению его на этом обычае не остановилось, а пошло далее. В Кадниковском у⟨езде⟩ (Вологодской губ⟨ернии⟩), например, к рогулькам из теста (которые также называются лесенками)

прибавляют еще особое печенье — сочни с овсяной крупой, называемые «христовыми окутками» — всегдашней принадлежностью всякой крестьянской обуви, неизбежной при хождениях и восхождениях.

О путанице в переносе весеннего праздника, в виде Семика и Русальной, с венками и неизбежной яичницей, на разные праздники церковного календаря мы укажем в своем месте. Относительно же Вознесенья, между прочим, ярославское Пошехонье представляет кое-какие дополнения и отличия. Так, например, тамошние девушки с готовой яичницей, завязанной в платок, обходят все деревенские поля одни (парни ни в каком случае не допускаются). Когда съедят обетное кушанье, девушки начинают кататься по траве и приговаривают:

Расти, трава, в лесу, а рожь в овину[40].

Некоторые стараются объяснить этот языческий обычай почитания русалок самым днем, для того намеченным (четверг посвящается богу-громовнику), радуясь тому подходящему случаю для замены, что и христианский праздник всегда упадает на четверг.

XXVI

В память старой веры и дедовских обычаев за «неделею всех святых» сохранилось название «русальной»[41], а последнее весеннее воскресение на том же основании именуется «проводами весны и встречей русалок». Весну, впрочем, провожают накануне начала Петровского поста, вечером, когда обычно поют и пляшут, а в черноземной Руси (например, в Елатомском у⟨езде⟩ Тамбовской губ⟨ернии⟩) на другой день (и также вечером) совершают эти проводы в лицах: молодые крестьяне, женатые и неженатые, наряжаются в торпища * и прячутся около села во ржи, поджидая, когда выйдут сюда девушки и молодые бабы. Тогда во ржи где-нибудь раздается легкое хлопанье кнутов, которыми запаслись мужчины. Бабы и девушки испуганно вскрикивают: «Русалоцки... русалоцки» — и разбегаются в разные стороны. Вдогонку за ними пускаются наряженные, стараясь ударить оплошавших женщин кнутом. Бабы спрашивают: «Русалоцки, как лен?» (уродится). Ряженые же указывают на длину кнута, вызывая бабьи выкрики: «Ох, умильные русалоцки, какой хороший!» В Пензенской губ⟨ернии⟩ к этому дню

* Торпище — большая холщовая простыня или мешочная дерюга в виде полога.

молодежь приготовляется еще за неделю, с самого Троицына дня, и хотя ряженых бывает немного, но все умеют быть веселыми и стараются быть забавными. Один наряжается козлом, другой надевает на руки и на ноги валеные женские сапоги и изображает собой свинью (самая трудная роль), третий шагает на высоких ходулях, четвертый наряжается лошадью (когда все 4 конца торпища увязаны соответствующим образом толстыми бечевками, то является подобие лошадиной головы, вполне удовлетворяющее зрение, если воткнуты два колышка в голову, в замену ушей, и все это прикреплено к палке). С этой палкой в руке, прикрытой торпищем, парень являет собой подобие коня, ставшего на дыбы. Есть еще один более простой способ наряжаться лошадью — для этого на палку (в два с половиной аршина) надевается головная лошадиная кость, а саму палку обвивают пологом и окручивают веревкой, у которой один конец оставляется свободным. За этот повод уздечки берется ловкий молодец, изображающий вожака и руководящий скачками и пляской упрямой, норовистой лошади. Она брыкается, разгоняя хохочущую толпу девчонок и мальчишек, а тут же, рядом с ней, бодается козел, постукивая деревянными челюстями и позванивая подвязанным колокольчиком. Но самое большое удовольствие получает тот шут в маске, который забирается в бабью толпу, поталкивает и пощупывает, повертывает и обнимает. Все имеющиеся налицо музыкальные инструменты принесены сюда: заливаются гармошки, трынкают балалайки, пищит скрипка и, для полного восторга провожающих весну, раздаются громкие и звонкие звуки от ударов в печные заслонки и сковороды. Впрочем, ряженые иногда ограничиваются тем, что просто испачкаются сажей и с шумом и треском обходят всех состоятельных жителей, как обходили не так давно все помещичьи дворы, заслуживая пляской трепака угощение водкой. Сама процессия проводов весны совершается так: впереди идут с лошадью русальщики, за ними бегут вприскочку перепачканные ребятки (это «помелешники», или «кочерыжники»), которые подгоняют кнутами передних. В поле, за деревней, делают несколько холостых выстрелов из ружей, а в честь русалок выделяется бойкая девушка, которая с палками в руках скачет взад и вперед. Затем лошадиную голову бросают в яму до будущего года — это и есть проводы русалки и прощание с весной. Надурачившись в своем селе, зачастую переходят в соседние деревни, пока там в глухую полночь не свалятся с ног. Но чаще (по свидетельству одного корреспондента из Саранского у⟨езда⟩ Пензенской губ⟨ернии⟩) бывает так: «Когда толпа поредеет и на улице остаются парни, девки да солдатки, парни подхватывают их и тащат в сторону, к амбарам и погребам. Женщины сопротивляются, и все

затеи женихов, к чести девушек, остаются безрезультатными. И это не один какой-либо вечер, а всегда». Описывая своих, похваливая их нравственность, наш автор исполнил честно только добрый соседский обычай. Но в действительности веселый бог весны не так милостив и жалостлив к молодежи, как было бы желательно; по крайней мере, не на то наводят, не о том говорят все эти «веснянки» — старинные песни, а особенно те из них, которым присвоено название семи́тских. Семи́к — тоже весенний праздник, и притом самый веселый и коренной и так же цельно и свято соблюдаемый с древних времен седой доисторической старины. С русальным праздником у Семика такое близкое родство, что, судя по самым основным приметам, их теперь и отделить очень трудно, а с широкой масленицей у Семика такое сходство и сродство, что оно не ускользнуло и из праздничных хвалебных песен. Разница тут только в том, что один праздник приспособлен к концу весны, другой к концу зимы, и оба в честь красного солнышка.

Основное ядро семитского праздника и существенная отличительная его особенность — завиванье венков осталась в прежней силе и неизменном порядке, но сроки отправления празднества перепутались. Так, например, в окрестностях города Углича для завиванья венков избран Вознесеньев день, в Калужской и Орловской губ⟨ерниях⟩ делают то же на Духов день[42], в Симбирской губ⟨ернии⟩ Семик приходится еще за два дня до Троицына дня, а в Пошехонье и вообще в Ярославской губ⟨ернии⟩ — на Троицын день[43]. В Симбирской губ⟨ернии⟩ (хотя бы, например, в Буинск⟨ом⟩ у⟨езде⟩) особенно избранные девушки накануне Троицына дня ходят с раннего утра под окнами подруг и объявляют о наступлении Семика такими словами: «Троица по улицам, Семик по задам». Это значит, что когда каждая украсит свою избу березками вдоль всей деревенской улицы, то им, деревенским девицам, придется идти за околицу под предводительством избранной по жребию и одетой в мужское платье (это — Семик). Идут разодетые и с запасами: с печеными и сырыми яйцами для неизбежной яичницы, с лепешками и пирогами. В ближней роще выбирают кудрявую березу, срубают самую густую ветку, украшают ее лентами, втыкают в землю и, ухватившись за руки, сплетаются хороводом и поют известную песню: «Как из улицы в конец шел удалый молодец» с припевом о Дунае-сыне-Ивановиче. Песню поют до обеда, т. е. до той поры, когда дойдет очередь до принесенных яств, после чего с той же березы рвут ветки и плетут венки, с которыми опять водят хороводы и играют песни, спрашивая в одной из них: «Мне куда тебя, веночек, положить?» — и отвечают: «Положу тебя, веночек, на головку, ко душе милой девице,— ко названой

сестрице». Что споют, то и сделают, а придя на пруд или реку, с зажмуренными глазами бросают венки на воду и гадают: потонул венок — в тот год замуж не выйти, а, пожалуй, даже и умереть, но очень хорошо считается, если венок всплывает, да еще и против течения.

В Романовском у⟨езде⟩ (Ярославской губ⟨ернии⟩) через сплетенные из березы венки девицы целуются, обязуясь сохранить на целый год дружбу, до новых поцелуев, хотя бы и с другой девушкой. Близ Углича игра с разукрашенной березкой и яичницей применяется к гаданью на урожай ржи, так как березку ставят среди озимого поля, а яичницу едят, не иначе как бросая через голову часть ее и целые яйца в рожь, «чтобы она, кормилица, лучше уродилась» («колосок ржи уродился с ложку, а комелек рожки со Христову ножку»). Затем по ржаной полосе катаются, переваливаются с боку на бок для того, чтобы не болела во время жнитва спина и не «расхваталась» (от схватки пучков ржи на серп) рука, перевязанная для устранения возможной беды на это время в запястье ниткой. Почествовав таким способом рожь, завивают венки на себя, на родителей, на жениха или просто на знакомых, оставляя их до Троицына дня, когда ходят «ломать венки», т. е. погадавши на них, бросают в воду.

XXVII

Троицын день можно с полным основанием назвать «зелеными святками», и не только потому, что в этот день прихожане выстаивают в церквах обедни с букетами луговых цветов (в Яросл⟨авской⟩ губ⟨ернии⟩ назыв⟨аемых⟩ «духами») или ветками деревьев, но и по той причине, что как улицы, так и дома украшаются березками. Полевые цветы, побывавшие в церкви, засушивают и хранят за иконами для разных надобностей: их кладут под свежее сено и в житницу, чтобы не водились мыши, в норы на грядках от землероек и на чердак, чтобы устранить пожарные беды. Деревья свозят на деревенские улицы целыми возами и украшают не только двери, но и косяки окон, а, в особенности, свою «матушку-церкву», пол которой усыпается свежей травой; ее всякий при выходе от обедни старается захватить из-под ног, чтобы примешать к сену, вскипятить с водой и пить, как целебную. Из листьев деревьев, стоявших в церкви, иные вьют венки и кладут их в горшки при рассаживании капусты.

Таковы, в сущности, главнейшие специальные обычаи, приспособленные к троицкому празднику и благословенные церковью, выделившей их на этот день из Семика и русальных чествований. Этим объясняется та путаница, которая замечается в различных местностях при установке обрядовых

приемов на определенные сроки. Иные из этих приемов предшествуют, иные совпадают с Троицыным днем (как и указано нами в надлежащих статьях) и даже опережают его все на том же основании, что эти празднества в честь весны находятся в полной зависимости от ее позднего или раннего прихода, хотя бы и по отношению такого рода увеселений, которые представляют собой рели или качели, устраиваемые не для одних малых ребят, а вообще для всей молодежи *.

В среде последней в Новгородчине сохранился, по-видимому, старинный обычай, приноровленный именно к Троицыну дню (точно так же, как и к масленице) и называемый «трясти порох». Состоит он в следующем. Во время гулянья на лугу среди хороводов и игр в «огарыши» (старозаветные «горелки») кто-нибудь из мужчин схватывает картуз с молодого новожена, трясет им над головой и кричит во все горло и на целое поле: «Порох на губе, жена мужа не любит». На этот крик молодуха выделяется из толпы (и в том вся задача, чтобы сделать это возможно быстрее), становится перед мужем, кланяется ему в пояс, снимает тот картуз, который успевают положить ему на голову в момент ее появления, берет мужа за уши и трижды целует и снова кланяется ему и во все четыре стороны. При уходе молодой, а иногда при ее появлении начинается вслух оценка ее качеств и разные площадные шутки, особенно над теми, которые в девушках имели грешки. Молодухи обыкновенно стесняются этим обычаем и говорят: «Когда трясут порох, лучше бы провалиться скрозь землю».

XXVIII

День св. равноапостольных Константина и Елены (21 мая) на языке народа носит несколько странное название — «Олены-Ленничи». Но название это имеет самое простое объяснение: с 21 мая крестьяне обыкновенно начинают сеять лен, и созвучие этого слова лен словам Олена (Елена) и дало повод к появлению особого названия «Олены-Ленничи». В таком же ходу и другое название этого праздника — «Олена-длинные льны»**.

Из числа народных обычаев, приуроченных к этому дню, более других представляют интерес те особые приемы, кото-

* Например, в Орловской губ⟨ернии⟩ рели и качели начинают играть главную роль именно в первый раз в тот день, во второй раз на следующий Духов день и в третий и последний — в всесвятское воскресенье (и на этот день в значительно уж меньшем числе). Все эти три обетные рели сопровождаются людными и веселыми гуляньями, с взаимными угощениями молодежи пряниками, подсолнухами и другими сластями.

* День св. Константина и Елены называется также «овсянником», так как с этого дня сеют овес.

рыми обставляется посев льна. Для того, чтобы лен родился хорошо, бабы кладут в мешок с семенем печеные яйца, а мужик, который будет сеять лен, должен подбрасывать эти яйца как можно выше, потому что, чем выше будут подброшены яйца, тем выше вырастет и лен. Еще интереснее другой обычай, при помощи которого бабы «обманывают лен». Для этого при посеве льна бабы раздеваются донага, в том расчете, что лен, глядя на ее наготу, сжалится над ней, подумает: «Эта баба бедная — у нее даже рубашки на теле нет, надо будет пожалеть ее и получше уродиться». Очень характерно при этом, что сами бабы не отдают себе ясного отчета, кого, собственно, они имеют в виду разжалобить: лен или св. Елену, в день которой этот злак сеется. Вернее, впрочем, предположить, что бабы имеют в виду не Елену, а именно лен, который в данном случае как бы олицетворяется.

XXIX

«Купальницей» св. Аграфена называется потому, что день ее памяти падает как раз на канун Ивана Купалы (23 июня). Впрочем, некоторые обычаи и обряды, связанные с этим днем, позволяют заключить, что Аграфена получила эпитет «купальницы» сама по себе, без всякого отношения к Ивану Купале.

Так, по всему северу России и в особенности в Вологодской губ⟨ернии⟩ крестьяне заготовляют в этот день банные веники на целый год. Для этого бабы и девки после обеда запрягают лошадь и уезжают в лес ломать молодые березовые веники. Иногда, впрочем, веники делаются из различных пород лиственных деревьев и растений, так что в каждый веник входит по ветке от березы, ольхи, черемухи, ивы, липы, смородины, калины, рябины и по цветку разных сортов. Это уже, так сказать, ритуальные веники: одним из них парятся в этот день в бане, другими обряжают недавно отелившихся коров, третьи, наконец, перебрасывают через головы или бросают на крыши бани с целью узнать будущее (если веник упадет вершиной к погосту, то бросающий умрет, а если не вершиной, то останется жив).

Как и на Ивана-Травника, в день Аграфены-Купальницы лихие мужики и бабы в глухую полночь снимают с себя рубахи и до утренней зари роют коренья или ищут в заветных местах кладов. А знахари, ложась спать, непременно читают самодельные молитвы, приуроченные к этому дню, как к кануну Ивана Купалы. Вот образец таких молитв, записанных в Тамбовской губ⟨ернии⟩: «Лягу я, помолясь, встану я, перекрестясь, умоюсь иорданскою водою, утрусь духоверною

травою (духовною или духоверною травою называется лен и конопля), пойду на восточную сторону. На восточной стороне стоит соборная церковь; войду я в эту церковь, богу помолюсь, ангелу доложусь, ангел донесет Саваохву, Саваохв донесет Христу, царю небесному». В других молитвах смысла еще меньше, хотя попадаются между ними и такие, которые по языку несколько напоминают церковные возношения: «Буде верой ли, раб божий, молиться,— говорится в одной такой молитве,— о грехах ли ты, душа, каешься, то душу твою я облачающе, душу твою я навещу и дом твой просвещу».

Достойно замечания, что в Вологодской губ⟨ернии⟩ день св. Аграфены кое-где вызывает усиленное внимание к нищей братии, для которой среди деревни (например, в деревне Филяеве) ставятся столы с постными яствами. Нищих сюда является иногда человек до 300, и все они едят на счет деревни.

Очень оригинален также обычай, наблюдаемый в окрестностях города Кириллова. В день Аграфены-Купальницы все девушки, взрослые и подростки, расхаживают в своих лучших нарядах по домам и говорят: «Умойте». В переводе на обыкновенный язык это значит — дайте что-нибудь из девичьих украшений: серег, ленточку, бус и проч.

XXX

Изучая народные купальские песни, польские историки XVII века вывели скороспелое заключение о существовании какого-то особого славянского бога Купалы. Но дальнейшие исследования ученых показали, что заключение это основано на простом искажении некоторых народных песен и что в действительности купальские праздники совершались во времена язычества в честь свадьбы бога солнца, супругой которого являлась светоносная заря-зарница, красная девица. «Купальские игрища и праздники,— пишет наш корреспондент из Ярославской губ⟨ернии⟩ А. В. Балов,— совершались в честь солнечной свадьбы, одним из актов которой было купанье солнца в водах. Отсюда и название этих праздников — «купальские».

Впоследствии, под влиянием христианского вероучения, следы этого праздника во многих местах быстро исчезали. В других же местах следы эти сохранились и до настоящего времени, причем так как день св. Иоанна Предтечи совпадал с купальскими праздниками, то с распространением в народе христианства этот Иванов день, в отличие от других Ивановых дней (например, Постного и т. д), стал называться днем Ивана Купалы».

Вывод А. В. Балова подтверждается до некоторой степени и другими известиями, полученными из Нижегородской

губ⟨ернии⟩. Здесь, в окрестностях села Иванцева и даже в самом Лукоянове, до нашего времени сохранились следы древних языческих праздников в честь Ярилы. За неделю до Иванова дня в Лукоянове бывает торг и крестьянское гулянье, которое носит в народе название «молодой Ярило», а в следующий затем базарный день, перед самым Ивановым днем, бывает вновь большой базар и гулянье, известное под названием «старый Ярило».

В настоящее время от языческих празднеств, разумеется, сохранилось одно только название, но замечательно, что и на пространстве целых тысячелетий народ все-таки успел сохранить тот дух купальских празднеств и то веселье, которые были свойственны и языческой эпохе. Так, в песнях, которые распеваются в деревнях, Купала и сейчас называется «любовным», «чистоплотным», «веселым». В одной из купальских песен прямо говорится: «Ай, Купала наш веселый, князюшка наш летний, добрый».

Все эти эпитеты, которыми наделяет Купалу народная песня, находят свое объяснение в целом ряде обычаев, приуроченных к этому дню. Так, «любовным» Купала называется, между прочим, потому, что в его день, раз в году, расцветает папоротник, при помощи которого, по словам одной купальской песни, «сердце девичье огнями зажигает на любовь». Впрочем, сердца деревенской молодежи зажигаются и без папоротника, потому что еще накануне Купалы рощи, берега рек, леса и луга оглашаются веселыми хороводными песнями и парни и девушки вместе ищут чудодейственных трав вдали от строгих глаз матерей и отцов.

«Чистоплотный» Иван Купала называется оттого, что на заре этого дня принято купаться, причем такого рода купанью приписывается целебная сила. С этой же целью отыскать целебную силу поутру Иванова дня вологодские бабы «черпают росу»; для этого берется чистая скатерть и «бурак», с которыми и отправляются на луг. Здесь скатерь таскают по мокрой траве, а потом выжимают в бурак, и этой росой умывают лицо и руки, чтобы прогнать всякую «болесть» и чтобы на лице не было ни угрей, ни прыщей. В той же Вологодской губ⟨ернии⟩ накануне Ивана Купалы крестьянки обязательно моют у колодца или на реке так называемые «квашенки», т. е. кадушки, в которых водят тесто для ржаного хлеба. (По замечанию нашего корреспондента, эти квашенки только и моются один раз в году.)

В Пензенской губ⟨ернии⟩ точно так же «черпают росу», хотя здесь она служит не только для здоровья, но и для чистоты в доме: купальской росой кропят кроватки и стены дома, чтобы не водились клопы и тараканы. Впрочем, от клопов существует и другое, более радикальное средство:

когда в дом придет священник и, окропивши святой водой, станет уходить, то нужно вслед ему мести пол, приговаривая: «Куда поп, туда и клоп». После того уже ни одного клопа не останется, так как все они перейдут в тот дом, куда далее направляется священник.

В Орловской губернии (как, впрочем, и во многих других) с Иванова дня начинают ломать прутья березы для банных веников. Делается это в том предположении, что веники, срезанные до Иванова дня, приносят вред для здоровья («на теле будет чес», т. е. чесотка). Вообще баня, купанье в реках и умыванье росой составляют один из наиболее распространенных в народе купальских обычаев. Местами этот обычай выродился даже в своеобразный обряд обливанья водой всякого встречного и поперечного. «Деревенские парни,— пишет об этом обряде наш орловский корреспондент,— одеваются в грязное, старое белье и отправляются с ведрами и кувшинами на речку, где наполняют их самой грязной, мутной водой, а то и просто жидкой грязью, и идут по деревне, обливая всех и каждого и делая исключение только для стариков и малолеток». Но всего охотнее, разумеется, обливают девушек: парни врываются даже в дома, вытаскивают и выносят девушек на улицу силой и здесь с ног до головы окачивают водой и грязью. В свою очередь и девушки стараются отомстить парням и тоже бегут на реку за водой и грязью. Начинается, таким образом, общая свалка, полная веселья, криков и смеха. Кончается дело тем, что молодежь, перепачканная, мокрая, в прилипшей к телу одежде, гурьбой устремляется на речку и здесь, выбрав укромное местечко, подальше от строгих глаз старших, купается вместе, причем, разумеется, и парни и девушки остаются в одеждах.

Относительно общенародного обычая — купаться в Иванов день — мы получили сведения почти со всей центральной и северной полосы России, и только А. В. Балов сообщает, что в некоторых уездах Ярославской губ⟨ернии⟩ крестьяне признают такое купанье очень опасным, так как в Иванов день считается именинником сам водяной, который терпеть не может, когда в его царство лезут люди, и мстит им тем, что не только топит всякого неосторожного, но, затащивши в самую глубь речных омутов, глумится уже над мертвым телом.

Кроме эпитетов «любовный», «веселый» и «чистоплотный», Иван Купала повсеместно именуется еще и «травником». Последнее название указывает на общенародное верование, которое гласит, что все чудодейственные и целебные травы распускаются как раз в ночь на Ивана Купалу, когда творческие силы земли достигают своего наивысшего напря-

жения[44]. Поэтому знающие и опытные люди, а особенно деревенские лекари и знахари, ни под каким видом не пропускают Ивановой ночи и собирают целебные коренья и травы на весь год. Наибольшим вниманием их пользуется: 1) «Петров крест» — трава, похожая на простой горох без стручков (крест находится в корне, на глубине двух аршин, и вполне предохраняет и от колдунов и от нечистой силы). 2) «Чертогон» — трава с теми же свойствами: ее втыкают в трещину над воротами и калиткой — от колдунов, и под крышами — для изгнания чертей. 3) «Чернобыль-трава». Эту траву заплетают в плети и кладут их под «Иванову росу» с приговором: «Мать-земля, отец-небо, дайте рабам вашим от этой травы здоровья». 4) «Зяблица» — помогает от ребячьего крика и от бессонницы, но для успешного действия ее нужно топить в молоке. 5) «Расперстьице» — трава эта сушится, и порошком ее присыпаются больные места на теле (обрезы, нарывы, опухоли). В большом употреблении точно так же травы: «дивий сил», «Мария-Магдалина» (от тоски), «богородская» трава (для окуривания отелившихся коров), а также специальный корень, носящий несколько рискованное название и предназначенный для снятия «порчи» с молодых.

XXXI

29 июня, день св. апостолов Петра и Павла, считается праздником рыбаков, так как апостол Петр повсюду известен как покровитель рыбного промысла, а среди приречных и приозерных жителей носит даже название «рыболова». Рыбаки ему молятся, служат молебны, а в некоторых местах установили даже обычай ежегодно в день 29 июня собирать «Петру-рыболову на мирскую свечу», которая и ставится в храме перед его образом.

Что касается прочего населения, то оно хотя и празднует день св. апостолов, но праздник этот не считается первостепенным и не связывается с какими-либо особыми религиозными обрядами. Местами же, как например, в Вологодской губ⟨ернии⟩, крестьяне даже скептически относятся к петровскому посту[45], замечая, что пост этот выдумали попы вместе с бабами: «Первые для того, чтобы собирать «петровщину» (сбор яйцами, маслом, сметаной), а вторые — с целью накопить масла и яиц». Впрочем, пример вологодских скептиков надо признать исключением, так как в остальной России петровский пост соблюдается в крестьянской среде во всей строгости церковного устава, а день «заговин» считается праздничным днем. Так, например, в Калужской губ⟨ернии⟩ (Мещовском у⟨езде⟩) к этому дню все семейные, кому только есть возможность, стараются

быть дома, а на столе после ужина оставляют объедки неубранными на том основании, что в дом собираются все умершие предки тоже заговляться. Пожилые бабы уверяют при этом, что они много раз видели и слышали, «как упокойники заговляются, обгладывают кости и оставляют на столе раскрытую посуду, которая прежде была закрыта» (кошки словно и в счет не входят у этих суеверных баб).

С таким же почтением относятся крестьяне и к дню «разговин». В Вельском у⟨езде⟩ Вологодской губ⟨ернии⟩ до двадцатых годов минувшего столетия существовал даже обычай общих разговин всем миром: прихожане приводили к церкви быка, тут же убивали его и, сварив в больших котлах мясо, разговлялись все сообща. Когда возник этот оригинальный обычай — неизвестно, но уничтожен он, по сообщению нашего корреспондента, в 20-х годах вельским исправником.

В прочих местах Великороссии крестьяне хотя и не разговляются сообща, но каждая семья заблаговременно готовится к Петрову дню: печет, жарит и варит и припасает водки. Последняя припасается в возможно большем количестве, так как все имеют в виду прием гостей и родственников, которые в Петров день приезжают даже из дальних деревень. Но в этой праздничной выпивке принимают участие, главным образом, только женатые и старики,— деревенская же молодежь еще с вечера уходит в поле и здесь, вдали от родительского надзора, проводит всю ночь, «карауля солнышко»: по народному понятию, солнце в день Петра и Павла, как и в день Светлого христова воскресения, играет какими-то особенными цветами, которые переливаются и искрятся, как радуга (этот обычай караулить солнце первоначально был установлен с целью отогнать от села русалок, которые в Петров день своими злыми шалостями причиняли немало вреда посевам). Встретив солнышко, молодежь обыкновенно еще не расходится по домам, а заплетает венки на ветках деревьев, преимущественно на березе, с теми же символами, какие придаются венкам на Троицын день.

В круговороте земледельческих работ Петров день хотя и считается началом покоса трав, но почти не связывается с какими-нибудь особыми приметами. Говорят только, что «с Петрова дня зарница хлеб зарит» и что «если просо в Петров день в ложку, то будет его и на ложку».

Что касается других, не земледельческих примет, то их почти не существует. Только в Тамбовской губ⟨ернии⟩ верят, что речное купанье в Петров день очищает от любодейных грехов.

XXXII

На огненной колеснице могучий седой старец с грозными очами разъезжает из конца в конец по беспредельным небесным полям, и карающая рука его сыплет с надзвездной высоты огненные каменные стрелы, поражая испуганные сонмы бесов и преступивших закон божий сынов человеческих. Куда ни появится этот грозный старик, он всюду несет с собой огонь, ужас, смерть и разрушение. Его непреклонное сердце не смягчат ни вопли, ни стоны пораженных, и взор его грозных очей не остановится на зрелищах земных несчастий. Совершив правосудие неба, он, как бурный вихрь, мчится на своей сверкающей колеснице все дальше и дальше, и по могучим плечам его только рассыпаются седые кудри, да по ветру развевается белая, серебристая борода[46].

Таков, по воззрениям народа, Илья-пророк, олицетворяющий собой праведный гнев божий. Повсюду на Руси он именуется «грозным», и повсюду день, посвященный его памяти (20 июля), считается одним из самых опасных. Во многих местах крестьяне даже постятся всю ильинскую неделю, чтобы предотвратить гнев пророка и спасти от его стрел свои поля, свои села и скотину. Сам же день 20 июля крестьяне называют «сердитым» и проводят его в полнейшей праздности, так как даже пустая работа считается великим грехом и может навлечь гнев Ильи. Если в этот день на небе появятся тучки, народ с боязнью следит за ними глазами; если дело доходит до грозы, то боязнь эта переходит в панический страх: все население забивается в дома, закрывает наглухо двери, занавешивают окна и, зажигая перед образом четверговые свечи, молит пророка сменить гнев на милость[47].

В некоторых местах предупредительные меры принимаются даже накануне Ильина дня. Так, в Никольске (Вологодской губ⟨ернии⟩) крестьяне еще с вечера окуривают свой дом ладаном, а все светлые предметы, вроде самовара, зеркальца и тому подобных,— или закрывают полотном, или же вовсе выносят из избы на том основании, что будто бы пророк Илья считает такие предметы предосудительной роскошью, неприличной в крестьянском быту. В Вятской губ⟨ернии⟩ пророка Илью умилостивляют дарами: крестьяне в этот день приносят в церковь «под свято» ногу барана, пчелиного меду, пива, колосьев свежей ржи и зеленого гороху. Но по вопросу о том, что из этих предметов всего более угодно Илье, происходит разногласие. Одни стоят за пчелиный мед, другие указывают преимущество баранины. На этот счет в Орловском у⟨езде⟩ Вятской губ⟨ернии⟩ народная фантазия создала даже целую легенду. Двое соседей заспорили между собой, что следует приносить в жертву Илье-пророку, чтобы

вовремя были дожди. Один из них, занимавшийся овцеводством, доказывал, что в жертву — или, как говорят в деревнях, «под свято» — следует приносить овец, а другой, водивший пчел, спорил, что дары следует приносить от пчел. Долго спорили соседи и наконец подрались. А подравшись, пошли к бурмистру судиться и рассказали ему о предмете спора. Бурмистр вызывал их на суд по нескольку раз, и каждый раз спорящие, желая привлечь его на свою сторону, приносили ему — один баранов, другой меду. Наконец бурмистр собрал народ, начал судить и сказал: «Вот миряне, собрал я вас на совет: эти два человека спорили о том, что следует приносить Илье-пророку «под свято»: один говорит, что от овцы свято, а другой говорит — от пчелы свято, а так как у меня с обоих взято, то пусть и будет от овцы свято и от пчелы свято».

Кроме четверговой соли и умилостивительных даров, самым надежным средством для предотвращения гнева Ильи служат общественные молебствия, совершаемые в поле. Во многих деревнях такие молебствия совершаются ежегодно, в силу общественного приговора, причем в основании приговоров в большинстве случаев лежит какое-нибудь несчастье, случившееся 20 июля: то молния зажжет деревню, то «громом убьет» человека или скотину, то градом выбьет хлеб. Такие же общественные приговоры составляются крестьянами с целью воспретить производство работ в Ильин день: предполагается, что в деревне всегда найдется один-другой безбожник, который, по легкомыслию или по отсутствию страха божия, не побоится работать в грозный Ильин день, а так как отвечать за этот грех придется всем (потому что Илья может сжечь всю деревню), то общество и считает себя вправе налагать на таких нарушителей закона штрафы. В Калужской губ⟨ернии⟩ и уезде были случаи, когда на крестьянина, выехавшего в Ильин день за снопами, набрасывалась целая толпа однодеревенцев и снимала с его лошади хомут, который немедленно же относился в кабак и пропивался всем обществом.

Приписывая пророку Илье власть производить гром и молнию и направлять тучи по своему усмотрению, т. е. отдавая в его руки самые страшные и вместе самые благодетельные силы природы, наш народ твердо верит, что плодородие земли есть дело пророка и что без его воли не может быть урожая. Поэтому народ представляет себе Илью не только как вестника небесного гнева, но и как благодетеля человеческого рода, дарующего земле изобилие плодов и прогоняющего нечистую силу, эту виновницу человеческих несчастий и болезней. По народному поверью, для нечистой силы страшен не только сам Илья, но даже дождь, который

проливается в его день, имеет великую силу: ильинским дождем умываются от вражьих наветов, от напусков и чар. Сам же Илья наводит на бесов панический, беспредельный ужас: как только на небе раздастся грохот его колесницы, черти толпами бегут на межи, прячутся за спины людей или укрываются под шляпки ядовитых грибов, известных в народе под именем «яруйки». Даже сам сатана трепещет перед грозным Ильей и, застигнутый пророком в облаках, пускается на хитрости, чтобы избежать могучих ударов. «Я в христианский дом влечу и сожгу его»,— грозится сатана. А Илья гремит ему в ответ: «Я не пощажу дома, поражу тебя». И ударяет в ту пору своим жезлом с такой силой, что трещат небесные своды и огненным дождем рассыпаются каменные стрелы. «Я в скотину влечу, я в человека войду и погублю их, я в церковь божию влечу и сожгу ее»,— снова грозится сатана. Но Илья неумолим: «Я и церкви святой не пощажу, но сокрушу тебя»,— гремит он опять, и все небо опоясывает огненной лентой, убивая скотину, людей, разбивая в щепки столетние деревья и сжигая св. храмы.

При таком воззрении православного народа на Илью немудрено, что о пророке этом сложилось великое множество легенд и преданий. Почти в каждой деревне можно выслушать рассказ о каком-нибудь исключительном проявлении гнева или милости пророка, о каком-нибудь чуде или небесном знамении; почти в каждой волости, в каждом уезде и губернии можно встретить новые варианты старых преданий или натолкнуться на совершенно оригинальную легенду местного происхождения. Вот, например, что рассказывают о земной жизни пророка Ильи крестьяне Орловской губернии: «До 33 лет пророк Илья сидел сиднем и не мог ходить. Родители его были люди бедные и корчевали пни, прокармливая этой работой калеку-сына. Однажды шел по земле господь с Николаем Угодником и, увидев Илью, сказал: «Поди, подай нам напиться».— «Я бы рад подать, да не могу идти»,— отвечал Илья. Господь взял его за руку, и он приподнялся с земли сам. Тогда господь почерпнул в колодце полное ведро воды и велел выпить Илье, потом почерпнул еще одно и половину третьего и спросил у него: «Ну, как ты теперь?» — «Я могу поворотить весь свет по-иному,— отвечал Илья,— если бы был столб средь неба и земли, то разрушил бы я всю землю». Услышав эти слова, бог испугался и поспешил сбавить Илье силы наполовину и, сверх того, велел ему посидеть под землею 6 недель. Но затем, когда Илья, просидевши под землею, снова вышел на свет (вместе с пророком Онуфрием), то первое, что он увидел, была гробница. Илья вошел в эту гробницу, и тотчас же с неба спустилась огненная колесница с ангелами, которые и умчали Илью в небо,

представив его пред лицо господа. «Ты, Илья,— сказал господь,— владей этой колесницей, пока я не приду на землю, и пусть в твоих руках отныне будет гром и молния». По народному поверью, на этой колеснице Илья перед кончиной мира спустится на землю и три раза объедет из одного конца земли в другой, предупреждая всех о Страшном суде. Это орловское предание в некоторых местах уже варьируется, и крестьяне передают, что господь возложил на голову Ильи камень в 40 десятин, чтобы убавить ему силы. Камень этот и сейчас цел и стоит на небе, перед престолом божьим.

Мы нарочно привели эту сравнительно пространную легенду, чтобы показать, каким путем слагаются в народном воображении суеверные предания: сказание былины об Илье Муромце здесь перепутывается с библейским рассказом об Илье-пророке и осложняется фантастическими арабесками собственного творчества. А все, взятое вместе, создает неясный, туманный образ полубогатыря, полусвятого.

Такая же путаница и разноголосица наблюдается во всех рассказах крестьян, когда они начинают объяснять, отчего бывает дождь. Один мужик Смоленской губ⟨ернии⟩ так объяснял причины дождя нашему корреспонденту: «Илья развозит по небу воду для всех святых и, если расплескает малость, так на земле дождь идет». Когда же этого мужика спросили, отчего не бывает грозы с дождями зимой, он, не задумываясь, ответил: «А зимою святые без воды сидят». Во Владимирской губ⟨ернии⟩ (Меленковского у⟨езда⟩) вопрос: «Почему на земле бывает дождь?» — облекся даже в форму легенды. Рассказывают, что один владимирский мужик до такой степени заинтересовался этим вопросом, что в конце концов решил лично пойти на небо и на месте осмотреть, как это все там делается. На небе любознательный мужичок увидел батюшку-Илью, который разъезжал взад-вперед на своей колеснице, от которой происходил сильный гром, а из-под копыт крылатых коней вылетала молния. «Подъехал, это, Илья-пророк к большому чану с водой,— передавал мужичок,— стал черпать из чана воду ковшом и ну поливать ею небо. От этого самого и полился на землю дождь. Потом батюшка-Илья подъехал ко мне и бает: «Ну, что, мужичок, насмотрелся, отчего происходит гром и дождь? Теперь пойди, найди на небе дыру, в кою закатывается месяц, спустись на землю и расскажи всем людям, отчего бывает гром, молния и дождь».

Считая Илью-пророка властителем ветров и дождевых туч, крестьяне связывают с днем этого святого множество календарных примет. «До Ильи,— говорят они,— облака ходят по ветру, а с Ильи начинают ходить против ветра». «До Ильи

поп дождя не умолит,— после Ильи баба фартуком нагонит». «После Ильина дня,— говорят вологжане,— в поле сива коня не увидишь — вот до чего темны ночи». «С Ильина дня ночь длинна: коцап (работник) просыпается, а кони наедаются!» «С Ильина дня вода стынет». То же наблюдение сделано и в Пошехонском у⟨езде⟩ Ярославской губ⟨ернии⟩, где так объясняют причину охлаждения речных вод: «Илья-пророк ездит на конях по небу, и от быстрого бега одна из лошадей теряет подкову, которая падает в воду, и вода сразу холодеет».

Земледельческие приметы также связываются с днем Ильи: «Если в этот день с утра облачно, то сев должен быть ранний, и можно ожидать обильного урожая; если облачно в полдень — средний сев, а если вечером — сев поздний и урожай плохой».

XXXIII

Праздник Преображения господня (6 августа), известный в народе под именем «Спаса», повсюду считается праздником урожая и плодов земных. Но так как ко дню 6 августа далеко еще не все плоды поспевают (иные же поспевают ранее), то крестьяне из одного праздника сделали три и повсеместно празднуют первого Спаса (1 августа), второго (6 августа) и третьего Спаса (16 августа).

Первый Спас всюду называется «медовым», а кое-где и «мокрым». Названия эти произошли оттого, что к первому Спасу пчеляки второй раз подрезывают ульи с медом и, выбрав лучший липовый сот, несут в церковь «на помин родителев». К этому же дню варят «медяные» квасы и угощают всех пришедших в гости. «Мокрым» же первый Спас называется потому, что, по установлению церкви, в этот день бывает крестный ход на речки и источники для водоосвящения[48]. А так как крестьяне не только сами купаются после крестного хода, но имеют обыкновение купать в реках и всю скотину, которая будто бы здоровеет после этого, то неудивительно, что и самый праздник получил название «мокрого».

Второй Спас почти повсеместно называется «яблочным», так как с этого времени разрешается есть садовые плоды и огородные овощи. День этот крестьяне чтут как очень большой праздник, но редко отдают себе отчет в истинном значении того события, которое вспоминает церковь 6 августа. Только кое-где второй Спас называется «Спасом на горе» (название, которое позволяет заключить о знакомстве с Священным писанием), в большинстве же случаев крестьяне не знают, что такое Преображение господне, и считают второй Спас просто праздником земных плодов. Сообразно

с этим в день 6 августа вся паперть в приходских церквях бывает заставлена столами, на которых навалены горы гороха, картофеля, огурцов, репы, брюквы, ржи, ячменя, яблок и пр. Все эти плоды урожая священник благословляет после обедни и читает над ними молитву, за что благодарные прихожане ссыпают ему в особые корзины так называемые «начатки», т. е. понемногу от каждого сорта принесенных плодов.

После освящения и благословения крестьяне набожно осеняют себя крестом и разговляются яблоками: есть плоды до этого времени считается большим грехом, и если кому случится, по забывчивости или невоздержанию, попробовать яблок раньше срока, то такой человек не должен есть их в течение сорока дней после Спаса, чтобы тем искупить свою вину. Особенно должны воздерживаться от преждевременного вкушения плодов те из крестьян, у которых умерли в младенческом возрасте дети, так как на том свете на серебряных деревьях растут золотые яблочки, эти яблочки раздаются только тем умершим детям, родители которых твердо помнят закон и строго воздерживаются от употребления плодов до второго Спаса.

В некоторых местах, например, в Вельском у⟨езде⟩ Вологодской губ⟨ернии⟩, с днем Преображения господня связывается особый обычай, известный в народе под именем «столованья». На площади перед церковью ставят длинный ряд столов, покрывают их чистыми скатертями, и все деревенские хозяйки принимают на себя обязанность наполнить эти столы всевозможной снедью, которая и поедается прихожанами после обедни и крестного хода. В других уездах той же Вологодской губ⟨ернии⟩ сохранился обычай всеобщих разговен горохом: отслужив в поле молебен, крестьяне всем селом устремляются на гороховое поле и до самого вечера лакомятся зелеными стручками, не различая своей полосы от чужой. Эти гороховые разговены составляют истинный праздник и величайшее наслаждение для деревенской детворы, которая целый день ныряет в зеленых кустах и наедается до того, что под конец уже на животе переползает с полосы на полосу.

Третий Спас празднуется в честь нерукотворного образа (16 августа). На языке крестьян он называется «Спас на полотне» или «ореховый Спас». Последнее название дано потому, что к этому времени в центральной полосе России поспевает лесной орех, а первое указывает на саму идею праздника («Спас на полотне», т. е. образ, икона). Но третий Спас известен далеко не по всей России; там же, где его празднуют, день этот ничем почти не выделяется в ряду деревенских будней, если не считать церковных молебнов и обычая печь пироги из нового хлеба.

Таким образом, из трех Спасов наиболее почитается второй, совпадающий с церковным праздником Преображения господня, первый же хотя и признается повсеместно, но почитается, главным образом, в южной полосе Великороссии, где ранее созревает хлеб и плоды и где этому празднику приписывается роль и значение второго Спаса, так как освящение хлеба и овощей на юге очень часто производится до Преображения господня, именно 1 августа.

XXXIV

В Никольском у⟨езде⟩ Вологодской губ⟨ернии⟩ крестьяне рассказывают следующую легенду о смерти матери божьей: божья матерь прожила на свете шестьдесят два года; двадцати двух лет она родила сына Иисуса и умерла десять лет спустя после его смерти. Объятая великой материнской скорбью, она после Голгофы ходила на гору Елеонскую и там просила у своего божественного сына последней милости — скорее освободить ее от тягостной земной жизни и принять к себе, на небо. Там же, на горе Елеонской, явился к ней архангел и благовествовал: «Мати! молитва твоя услышана, и ты будешь принята на небо». Но слова божественного вестника сбылись только тогда, когда истек десятый год после кончины искупителя мира.

В той же Вологодской губ⟨ернии⟩ существует особая легенда и о похоронах богоматери. Когда ее в гробу несли на кладбище, то из какого-то дома выбежал еврей и хотел было опрокинуть гроб, чтобы тем оскорбить христианскую святыню и поколебать веру в сердцах тех, кто принимал участие в траурной процессии. Но господь не допустил такого кощунства, и, по слову божию, с небес слетел ангел с огненным мечом и отсек дерзновенному еврею руки. Чудо это произвело глубокое впечатление на всех присутствующих, но всего больше на самого еврея, который сразу же уверовал в богородицу и стал горячо молиться ей, после чего у него снова приросли отсеченные руки.

На кладбище божия матерь была опущена в могилу, но тело ее не осталось в земле, а нетленное было взято на небо. Об этом ученики христовы узнали следующим образом. При похоронах богоматери не было ученика Фомы, который, по свойственному ему маловерию, захотел разрыть могилу, чтобы собственными глазами убедиться, действительно ли мать Иисуса скончалась и покоится в земле. Но когда могилу разрыли, там уже остались одни пелены, тела же не было — оно вознеслось на небо.

В крестьянском быту день Успения пресвятой богородицы (15 августа) считается днем окончания жатвы, и в церковь

на литургию мужички считают долгом принести колосьев нового хлеба, чтобы «Успенье-матушка» благословила их труды и помогла благополучно управиться с молотьбой, оградив свезенный хлеб от пожаров и всякого несчастья. Бабы же, покончившие с жнитвом, «купаются» в этот день по сжатой полосе и говорят: «Жнивка, жнивка, отдай ты мою силушку на пест, на колотило, на молотило, на кривое веретено»[49]. Этот обычай, характеризующий трудность женских полевых работ, во многих местах заканчивается крестьянскими пирушками, которыми жнецы как бы вознаграждают себя за изнурительную работу.

День Успения считается не только постным, но даже траурным днем; по крайней мере старухи крестьянки любят в этот день одеваться во все черное, в воспоминание праведной кончины богоматери.

XXXV

Иван Постный. Под таким названием известен в народе день Усекновения главы Иоанна Крестителя (29 августа). Событие, которое в этот день вспоминает в своих молитвенных возношениях церковь, очень хорошо известно крестьянам, что, между прочим, видно из целой массы обычаев и правил, которые с удивительной строгостью соблюдаются в крестьянской среде. Цель всех этих обычаев состоит в том, чтобы не вызывать никаких воспоминаний о мученической кончине великого праведника и всячески избегать таких действий и поступков, которые напоминали бы это грустное событие. На этом основании считается непростительным грехом брать в руки что-нибудь острое — ножи, топоры и пр., так как это напоминает тот меч, которым отсекли голову Крестителю. Точно так же считается грехом есть в этот день круглые предметы: картофель, капусту, лук, яблоки и пр., так как форма этих предметов напоминает голову. Избегают есть и красные предметы (например, арбузы) на том основании, что это напоминает кровь, а также не принято есть что-нибудь на блюде, чтобы не вызывать воспоминаний о том блюде, на котором лежала голова Крестителя.

Все эти правила соблюдаются чрезвычайно строго, так что если хозяйка забыла накануне нарезать хлеб, то в день Иоанна Крестителя хлеб будут уже ломать, а не резать, из опасения, чтобы на хлебе не выступила кровь, как немой укор нарушителям обычая. Для большой же крепости соблюдения этих правил крестьяне повсюду верят, что нарушителей наказывает сам Иоанн, посылая неурожаи на плоды, а то так и просто отнимая руки и лишая языка. Хорошо зная суть

события, которое вспоминается церковью 29 августа, крестьяне тем не менее путаются в подробностях земного жития Иоанна Крестителя. Они переделывают священную историю на свой лад, восполняя пробелы точного знания отчасти фантазией, отчасти теми картинками лубочного издания, которыми запрудил современную деревню Никольский рынок. Так, в Орловской губ⟨ернии⟩ крестьяне убеждены, что Иоанн Креститель стал называться так только с того момента, когда сделался «крестным отцом» Иисуса Христа,— до этого же времени он назывался «еще как-то». В той же Орловской губ⟨ернии⟩ о святой жизни Иоанна рассказывают так: «Иоанн не ел хлеба, не пил вина и никак не ругался; весь он был в шерсти, как овца, и только после крещения шерсть с него свалилась». А о том, как Иоанн крестил народ, орловцы передают: «Кто приходил к Ивану креститься, он первым долгом бил того человека железным костылем, чтобы грехи отскочили, как пыль от платья, и потом уже крестил».

В Пензенской губ⟨ернии⟩ крестьяне, передавая о кончине Иоанна, всегда присовокупляют, что голову Крестителя апостолы нашли в капусте, отчего, между прочим, и считается большим грехом ходить в этот день на огороды резать капусту, так как на ней под ножом непременно выступят алые пятна крови (в некоторых местах крестьяне считают даже за правило обрывать в день Ивана листья капусты, так как капля крови с головы Крестителя, брошенной в огород, будто бы упала на капустный лист).

При таком трогательном и благовейном почитании Крестителя господня крестьяне, само собой разумеется, проводят в строжайшем посте день, посвященный его священной памяти (отчего день этот и носит название Ивана Постного). Считается большим грехом даже есть рыбу (хотя и говорят, что на Ивана Постного рыбы в реках особенно много). Но в особенности непростительными считаются пьянство, песни и пляски. Первое потому, что Иоанн явил собой образец высокоподвижнической жизни и никогда не пил вина, второе оттого, что песнями и плясками злая Иродиада добилась главы Иоанна. Кроме старого поста, крестьяне в день Иоанна Крестителя считают своим долгом непременно побывать в церкви, где, между прочим, лица, страдающие головными болями, испрашивают себе у этого святого исцеления.

Все перечисленные особенности Иванова дня принадлежат к числу тех, которые можно наблюдать повсеместно в нашей деревенской Руси. Но есть и такие, которые усвоены не везде, а составляют исключительную принадлежность какой-нибудь одной, определенной местности. Так, например, в Вологодской губ⟨ернии⟩ день Ивана Постного называется иначе «репным праздником», так как до этого дня «заказано» есть репу и засе-

янные ею полосы должны оставаться неприкосновенными, под страхом «срамного» наказания. Само название это тоже представляет собой вологодскую особенность. Оно состоит в том, что всякого, кого застанут в репище до Иванова дня,— будь это мужик, баба, парень или девка,— непременно разденут донага, обмотают на голове одежду и в таком виде проведут вдоль всей деревенской улицы. При этом желающим предоставляется даже право бить наказываемого, хотя на практике никто этим правом не пользуется, а все ограничиваются смехом и шутками.

XXXVI

День св. Симеона-Столпника (1 сентября) на языке народа носит название «Семена-Летопроводца» или просто «Семина дня». Это срочный день для взноса оброков, пошлин и податей, и с этого же дня обыкновенно начинаются и прекращаются все условия и договоры, заключаемые поселянами между собой и с торговыми людьми (отдача внаем земли, рыбных ловель и других угодий). В условиях так и пишут: «На Семин день я, нижеподписавшийся, обязуюсь» и т. д.

Название «летопроводца» присвоено Семину дню потому, что около этого времени наступает конец лета, о чем можно заключить и по народным земледельческим поговоркам: «Семин день — севалка с плеч» или: «Семин день — семена долой» (т. е. конец посеву). «В Семин день до обеда паши, а после обеда пахаря с поля гони» (намек на то, что с наступлением сентябрьских дней ясная утренняя погода к полудню часто сменяется холодом и ненастьем). Время с Семина дня по 8 сентября называется «бабьим летом» — это начало бабьих сельских работ, так как с этого дня бабы начинают «засиживать» вечера.

Во многих местах с днем Семена-Летопроводца связывается «потешный» обычай хоронить мух, тараканов, блох и прочую нечисть, одолевающую крестьянина в избе. Похороны устраивают девушки, для чего вырезывают из репы, брюквы или моркови маленькие гробики. В эти гробики сажают горсть пойманных мух, закрывают их и с шутливой торжественностью (а иногда с плачем и причитаниями) выносят из избы, чтобы предать земле. При этом во время выноса кто-нибудь должен гнать мух из избы «рукотерником» (полотенцем) и приговаривать: «Муха по мухе, летите мух хоронить» или: «Мухи вы, мухи, комаровы подруги, пора умирать. Муха муху ешь, а последняя сама себя съешь».

Обычай хоронить мух и тараканов наблюдается по всему северу России, причем даже детали его везде одни и те же,

и только кое-где, вместо «рукотерника», советуют изгонять мух штанами, в полной уверенности, что это средство неизмеримо действительнее, так как муха, выгнанная штанами, навсегда теряет охоту возвращаться в избу снова *.

С изгнанием мух связана и специальная примета: «Убить муху до Семина дня — народится семь мух; убить после Семина дня — умрет семь мух».

Как ни комична сама по себе ритуальная обстановка борьбы с насекомыми и паразитами, но она дает полное основание заключить, что, при бедности нашего крестьянства и при той грязи, которая повсеместно царит в избах, сожительство с паразитами причиняет крестьянам истинное страдание: «сыпной» таракан и «сыпной» клоп, даже при загрубелости кожи, лишают обитателей изб спокойного сна и нормального отдыха; дети же страдают от насекомых невыразимо, поднимая по ночам полные отчаяния вопли.

XXXVII

Оспожинки, Спожинки или Госпожинки приурочены к празднику в честь Рождества пресвятой богородицы (вторая пречистая на северо-западе) и составляют ближайшее к этому двунадесятому празднику время. Празднество это, в зависимости от урожая, отличается большим разгулом. При видимо благополучном результате жатвы оспожинки справляются иногда в течение целой недели: чем урожайнее было лето, тем продолжительнее праздник. Приноровленное к празднествам церковного цикла и обнимающее собой период времени от Успенья богородицы до Покрова, это деревенское «пировство» развертывается по всем правилам хлебосольства и со всеми приемами гостеприимства по преданию и заветам седой старины и, по возможности, широко и разгульно. В прежние времена все, у кого был достаток и веселье на душе, делали приготовления заранее и прежде всего пользовались древним правом времен св. Владимира, отнятым в недавние времена царствования на Руси винного откупа, т. е. варили пиво по числу ожидаемых гостей и достатку (от 10 до 15 корчаг), кололи овцу или барана из своих, покупали говядины, голову и ноги бычачьи для студня, доставали рыбы для кулебяки, хотя избранный день и упадал на скоромный, и пек-

---

* Обычай хоронить мух, тараканов и клопов практикуется не только на Семин день, но и на Воздвиженье, и на Покров, и на некоторые другие праздники.

ли пирог из домашней пшеничной муки с примесью купленной крупчатки.

За день, за два до праздника бегут по селу малолетки с зовом на пировство родственников, предпочитая тех из них, которые сами в состоянии отплатить угощением на своем празднике. Исключение составляют зятья, особенно молодые: ни тесть, ни теща не обходят их приглашением, хотя бы сами не рассчитывали на ответное. Для обоих очень важно, чтобы между ними и свекром и свекровью дочери существовали добрые, мирные, хлебосольные отношения, по пословице: «Не для зятя собаки, а для милого дитяти». Неприглашенный свекор может не отпустить своего сына и его жены к родителям снохи; вот почему сват и сватья у тестя и тещи их сына — главные гости, которые и залезают за стол в передний угол, под самые образа. Впрочем, такие отношения продолжаются до семейного раздела: как только зятнин отец выделил сына, он ни в каком случае не может уже рассчитывать на зов к своему свату, т. е. к сыновнему тестю. «Здешние крестьяне (как сообщает г. Наумов из Яранского у⟨езда⟩, Вятской губ⟨ернии⟩) в соблюдении праздничного хлебосольства принимают в расчет еще и равенство семьи: если в одной число взрослых членов значительно превышает число таких же в другой семье, то последняя нередко уклоняется от хлебосольных отношений к первой. Но раз между двумя семьями установились хлебосольные отношения, то они уж поддерживаются долгое время до крупных изменений в семейном строе. На праздники приглашаются прежде всего глава родственной семьи, его жена и старшие сыновья с женами и детьми: это из дома тестя в гости к зятю, если он самостоятельный хозяин. Если же зять в своей семье имеет второстепенное значение — тогда только один его тесть с женой. Приглашение целой семьи происходит только тогда, когда обе семьи чересчур сдружились и когда они приблизительно равночисленны. Из дома свата в первые годы после свадьбы тесть приглашает самого свата с женой и старшего сына, если таковой есть, и затем и других членов семьи, пользующихся в ней особенным влиянием. Дети зятьев в гости к своему деду берутся все без исключения: они пользуются особенным нежным уходом и заботливостью со стороны своей бабушки по матери. Они нередко остаются у дедушки и бабушки на несколько дней после праздника. Вообще, для детей это самое приятное время в течение целого года, а в гостях у бабушки и деда они чувствуют себя полными хозяевами».

Конечно, веселье усугубляется и разнообразится там, где храмовые праздники самого дня 8 сентября вызывают ярмарочные съезды и торжки.

XXXVIII

11 сентября, день Феодоры Александрийской, или по крестьянскому произношению, «Александровской», считается началом осени. «Осень ездит на пегой кобыле»,— говорит народ, характеризуя неустойчивость погоды в это время, т. е. падающий хлопьями мокрый снег и сменяющую его грязь. В это время, по народному представлению, осень с зимой спорит. Осень говорит: «Я поля хлебом уряжу», а зима ей отвечает: «А я еще погляжу».

Никаких особых торжеств и церковных праздников в день св. Феодоры не бывает. Исключение представляет разве Пошехонский у⟨езд⟩ Ярославской губ⟨ернии⟩, где в село Федоринское стекается множество богомольцев. По преданию, близ этого села находится тот самый камень, на котором во сне явилась одному благочестивому старцу преподобная Феодора. В настоящее время тут выстроена часовня, которая и служит сборным пунктом для всех молящихся. Имея, таким образом, чисто местное значение, день св. Феодоры нигде не связывается с какими-нибудь народными поверьями, легендами и приметами, если не считать опять-таки того же Пошехонского у⟨езда⟩, где о преподобной мученице народ сложил целые рассказы, не имеющие ничего общего с действительным житием св. Феодоры. Один из таких легендарных рассказов удалось услышать нашему корреспонденту А. В. Балову из уст крестьянки Марии Васильевой. Приводим этот рассказ в несколько сокращенном виде: «В одной деревне жил крестьянин, и у него была жена Феодора, женщина лицом красивая, а нравом распутная: при муже жила она в блуде со своим соседом... И захотел, видно, бог взыскать грешницу: напала на нее тоска, опротивел сосед, опостылел муж, надоела и прежняя греховная жизнь,— совесть, как зверь, и днем и ночью грызла Феодору. А недалеко от Феодориной деревни был скит женский, и игуменья там была старица святая; много приходило к ней народу за советом и молитвой. Пошла туда же потихоньку от мужа и Феодора. Пришла к старице, покаялась в своих грехах и стала просить совета. И повелела ей старица одеться мужчиной, идти в дальний мужской монастырь и там среди монахов спасаться во образе мужчины. Послушалась Феодора св. старицы: ушла тихонько от мужа, остригла свою длинную косу, оделась мужчиной, назвалась Феодором и пошла в тот дальний монастырь, про который сказывала ей игуменья. Однако в монастырь ее сразу не впустили: игумен, в виде послушания, приказал ей провести ночь у ворот монастыря, посреди опасностей от зверя дикого и всякого гада. Но Феодора не устрашилась опасностей и безропотно подчинилась приказанию. Наутро же, опять-таки в виде

послушания, приказал ей чистить помойные ямы и сорные места. Но и тут Феодора осталась верной себе и много лет несла эту работу со смиренством: никого не было в монастыре кротче, благочестивее и смиреннее ее. Смиренство инока Феодора заметил, наконец, игумен и начал его возвышать, а затем настолько приблизил к себе, что доверял ему закупать всю провизию, нужную для монастыря. Но тут и случилась с иноком беда. Проезжая за провизией в город, инок Феодор всегда останавливался по дороге у одного купца, у которого была дочь красавица. Эта-то дочь и послужила причиной несчастья инока. Она слюбилась с каким-то молодцом, забеременела от него и родила сына, а когда старичок отец допытывался у дочери, кто был ее обидчиком, она всю вину взвалила на инока Феодора. Взял купец младенца, поехал в монастырь и рассказал все игумену. Игумен же оставил у себя младенца и, созвав всю братию, привел Феодора на суд. Долго думала братия, но так как Феодор не оправдывался ни в чем, то все и решили, что он согрешил, и постановили его наказать: закласть вместе с младенцем в пустой каменный чулан, замуровать камнями и подавать скудную пищу через маленькое оконце.

Семь лет провел Феодор в этом чулане. На восьмом году однажды принес ему монах ежедневную пищу и увидал, что и вчерашняя трапеза осталась нетронутой. Побежал монах к игумену, созвал братию, и решили иноки разломать дверь. Когда же они вошли в чулан, то увидели, что на полу лежит умерший брат Феодор, а на персях у него умерший мальчик. Стала братия приготовлять тела для погребения, стала раздевать их для омовения... Но тут-то все и увидели, что Феодор был не мужчина, а женщина, и что перед ними не грешник, а великая праведница. Сделал игумен пышные похороны новопреставленной рабе божьей, собрал народ, и тут выяснилось все: на погребение прибыл и купец с дочерью, и муж Феодоры, от которых братия и узнала всю правду».

XXXIX

Судя по некоторым народным поверьям, наши крестьяне совсем не знают, в чем состоит истинный смысл и значение церковного праздника — Воздвиженья честного и животворящего креста господня (14 сентября).

По мнению орловцев, разделяемому тамбовцами и владимирцами, в день Воздвиженья все змеи, ужи и вообще все пресмыкающиеся «сдвигаются», т. е. сползаются в одно место, под землю, к своей матери, где и проводят всю зиму, вплоть до первого весеннего грома, который служит как бы сигналом,

разрешающим гадине выползать из чрева матери-земли и жить на воле. Вот почему на праздник Воздвиженья, или, по крестьянскому выражению, «Сдвижения», мужики на весь день тщательно запирают ворота, двери и калитки, из боязни, чтобы гады, ползущие к своей матери под землю, не заползли по ошибке на мужичий двор и не спрятались там под навозом или в соломе и нарах. Впрочем, крестьяне верят, что начиная с Воздвиженья змеи не кусаются, так как каждая гадина, ужалившая в это время человека, будет строго наказана: всю осень, до первого снега и даже по снегу, будет ползать зря, не находя себе места, пока не убьют ее морозы или не проткнут мужичьи вилы.

Наряду с гадиной и лешие вместе с оборотнями и прочей нежитью считают день Воздвиженья каким-то срочным для себя днем. Лешие, например, сгоняют в этот день в одно место все подвластное им зверье, как бы делая ему смотр перед наступающей зимой. Крестьяне, впрочем, не объясняют, с какой именно целью лешие делают такие парады, но это не мешает им твердо верить, что в день Воздвиженья ни под каким видом нельзя ходить в лес, так как оборотни и, особенно, лешие бывают в это время крайне бесцеремонны и, в лучшем случае, могут только побить, а то так и просто отправить мужика на тот свет.

В других местах слово «Воздвиженье» находит себе несколько иное объяснение: говорят, например, что в этот день хлеб с поля на гумно «сдвинулся», так как в половине сентября обыкновенно оканчивается уборка хлеба и начинается молотьба. Говорят еще, что Воздвиженье «сдвинет зипун, наденет шубу» или что на Воздвиженье «кафтан с шубой сдвинулся, и шапка надвинулась».

Относительно обычая хоронить в день Воздвиженья мух и тараканов мы уже упоминали в статье «Семен-Летопроводец», а из других обычаев и поверий можем указать только одно: крестьяне повсюду верят, что день Воздвиженья принадлежит к числу тех, в которые не следует начинать никакого важного и значительного дела, так как все начатое в этот день или окончится полной неудачей, или будет безуспешно и бесполезно.

XL

Так как свадьба в крестьянском быту требует значительных расходов, то в деревнях девушек выдают замуж обыкновенно тогда, когда уже закончились полевые работы и вполне определился итог урожая. Таким временем повсюду считается Покров пресвятой богородицы (1 октября). Поэтому и праздник Покрова считается покровителем свадеб. (Существует даже

24 3932

примета, что если в день Покрова будет очень ветрено, то это предвещает большой спрос на невест.) А так как о свадьбах и женихах все больше толкуют девушки, то естественно, что и самый праздник Покрова приобретает до некоторой степени значение девичьего праздника. В этот день всякая девушка-невеста считает непременным долгом побывать в церкви и поставить свечку перед образом Покрова богородицы, причем повсюду сохраняется уверенность, что девушка, первая поставившая свечу, и замуж выйдет раньше всех. Кроме умилостивительной свечи перед образом Покрова читаются и особые молитвы: «Батюшка-Покров, мою голову покрой. Матушка Пятница-Параскева, покрой меня поскорее»*. Такую же самодельную молитву читают девушки и отходя ко сну: «Покров-праздничек, покрой землю снежком, а мою голову венцом». С Покрова же по всей Великороссии девицы начинают устраивать беседы. Что касается прочего населения, то день 1 октября оно считает «первым зазимьем» (началом зимы). В этот день бабы начинают топить в жилых горницах печи, причем бабы не упускают случая, чтобы произнести особую молитву: «Батюшка-Покров, натопи нашу хату без дров». С Покрова же крестьяне начинают конопатить свои избы (опять-таки с приговором: «Батюшка-Покров, покрой избу тесом, а хозяев добром») и «закармливают» на зиму скот. Последний обычай обставляется довольно торжественно, так как скотине скармливают особый сноп овса, называемый «пожинальником». Пожинальник, или последний сноп с последней полосы, обыкновенно вяжется из тех колосьев, которые оставляются «Илье на бороду»[50]. (Делается это с целью умилостивить грозного пророка: «Вот тебе, Илья, борода, а нам хлеба вороха».) Эту «бороду Ильи» крестьяне дожинают непременно всей семьей, храня во время работы гробовое молчание. «Из бороды» вяжется отдельный сноп, который ставится на лавку в переднем углу, где и стоит до Покрова. На Покров же его торжественно выносят на двор и дают скотине, с целью предохранить ее от зимней бескормицы и от всех бед и напастей, связанных с самым суровым и тяжелым временем года.

XLI

Среди захолустных обывателей и доныне пользуется большой популярностью так называемая рукописная духовная литература. Правда, духовенство всеми мерами старается изъять из обращения эти остатки старины, но благочестиво настроенные мещанки, просвирни, начетчики и малограмотные

---

* Параскева-Пятница точно так же считается покровительницей брака.

купцы все-таки переписывают и «Сны Богородицы» и «Поучение, иже во святых отца нашего Климента, папы Рымского о дванадесятницах» (о двенадцати пятницах). Замечательно при этом, что переписчики тщательно прячут свою литературу не только от лиц духовного звания, но и вообще от интеллигентных людей, которые-де хотят ознакомиться с рукописями только из «праздного любопытства», а не по усердию истинно верующих христиан. Наши корреспонденты, по крайней мере, сообщают из разных мест, что им лишь с величайшим трудом удалось достать нижеследующий текст поучения Климента о двенадцати Пятницах.

1-я Пятница — на первой неделе великого поста. Кто сию пятницу постится, тот человек от внезапной смерти не умрет.

2-я Пятница — перед Благовещением (в эту пятницу Каин убил Авеля). Кто сию пятницу постится, тот человек от напрасного убийства избавлен будет (по другим спискам: тот до убожества великого не дойдет и от меча сохранен будет).

3-я Пятница — на страстной неделе великого поста. Кто сию пятницу постится, тот человек от разбойников сохранен будет (вариант: от мучения вечного и от нечистого духа сохранен будет).

4-я Пятница — перед Вознесением Христовым, когда погубил господь Содом и Гоморру. Кто в эту пятницу постится, тот без св. таин христовых не умрет и от великого недостатка сохранен будет.

5-я Пятница — перед сошествием св. духа. Кто сию пятницу постится, тот от потопления избавлен будет (вариант: тот при кончине жизни смерть свою узрит и от смертных грехов сохранен будет).

6-я Пятница — перед днем св. Иоанна Предтечи. Кто сию пятницу постится, тот человек сохранен будет от сухоты и трясавиц (лихорадок).

7-я Пятница — перед днем пр. Ильи. Кто сию пятницу постится, тот человек от грома, молнии, града и голода сохранен будет.

8-я Пятница — перед Успеньем пресвятой богородицы (когда Моисей на горе Синайской принял закон). Кто сию пятницу постится, тот человек перед смертью своей богородицу узрит.

9-я Пятница — перед днем Косьмы и Дамиана. Кто сию пятницу постится, тот человек от великого грехопадения сохранен будет.

10-я Пятница — перед днем архангела Михаила. Кто сию пятницу постится, душа того человека через огневую реку перенесется.

11-я Пятница — перед Рождеством Христовым (когда 14 тысяч младенцев от царя Ирода в Вифлееме Иудейском убиенны

были). Кто сию пятницу постится, имя того человека записано у самой пресвятой богородицы на престоле.

12-я Пятница — перед Богоявлением. Кто сию пятницу постится, имя того человека в книгах животных записано будет.

Кто же эти «Пятницы», которые столь щедрой рукой раздают постящимся в их честь разнообразные дары и милости? По понятиям народа, это живые существа, к которым можно обращаться с молитвой и прошениями. Существа эти в воображении крестьян рисуются в виде девиц, причем 10-я Пятница считается самой старшей: вместе с 9-й Пятницей она приносит богу все наши молитвы прежде всех других Пятниц, так как стоит ближе к богу, а равно и к святым его угодникам и к богородице.

Что крестьяне действительно олицетворяют свои пятницы, тому имеется много доказательств. Так, и в настоящее время в захолустных деревнях о нарушителях клятвы говорят: «И как его девятая Пятница не убила?» или «Хоть бы его матушка Ильинская Пятница покарала». Об олицетворении свидетельствует и распространенный в народе рассказ о том, как три святые женщины — Среда, Пятница и Суббота — видели все страсти господни и поведали об этих страстях миру. Наконец, об олицетворении говорит и целое множество других рассказов, в которых действующими лицами являются то просто «пятницы», то Параскева-Пятница. Вот один из таких рассказов, записанный в Любимском у⟨езде⟩ Ярославской губ⟨ернии⟩ со слов одной крестьянки. «В одной деревне жила женщина. Женщина эта была хорошая работница, только совсем она не почитала пятницы и пряла и ткала в пятницу, и белье мыла, и всякую работу в пятницу делала. Вот раз осталась она в избе одна-одинешенька, а дело было в пятницу вечером. Сидит баба да прядет. Только вдруг слышит она, по сеням кто-то идет. А двери с улицы в сени были заперты. Спужалась баба не на шутку — сидит ни жива ни мертва. Вдруг тихонько начала отворяться из сеней дверь в избу, и вошла женщина, страшная и безобразная. На ней были все лохмотья да дыры; голова вся платками рваными укутана, из-под них клочья волос повылезли растрепками: ноги у ней были все в грязи, руки тоже в грязи, и вся она, с головы до ног, была осыпана всякой нечистью и мусором. Вошла эта страшная женщина в горницу, начала молиться на образа и плакать. Потом подошла к хозяйке и говорит:

«Вот ты, женщина негодная, как ты меня обрядила. Прежде я в светлых ризах ходила, да в цветах, да в золотом одеянии, а твое непочтение вот до какой одежи меня довело. Громом бы тебя разразить мало. Ты преступила закон, и за это будет тебе огонь неугасимый и тьма кромешная. До чего ты меня довела? Я через твой поступок в такой горечи состою, что

целый день не пью, не ем, не сплю, не почиваю — все слезами обливаюсь. А ты, безумная баба, никакой жалости ко мне не имеешь и дня моего не почитаешь».

Тут баба догадалась, что в избу к ней вышла сама Пятница, и стала было прощения просить. А Пятница: «Нет,— говорит,— тебе моего прощения», да взяла железную спицу, которой кудель льну в копылу привязывают, и стала тыкать ей бабу. Тыкала, тыкала, пока до полусмерти не истыкала. Утром нашли бабу всю в крови и насилу в чувство привели. Да только с тех пор баба по пятницам уж работать — ни-ни: стала почитать праздничный-то день».

Столь же распространен и другой рассказ, в котором обиженная Пятница превратила «бабу-непочетницу» в лягушку,— с тех пор будто бы и лягушки на земле пошли.

Наряду с такого рода рассказами, несомненное олицетворение двенадцати Пятниц, попавших в «свиток иерусалимского знамения», доказывается духовными стихами, обрядами, обычаями и приметами. В том же «поучении иже во святых отца нашего Климента, папы Рымского» о непочтении к 12-й Пятнице сказано: «Аще который человек в сию Великия Пятницы с женою своею или с девицею сотворит блуд и от них зачнется, то будет (младенец) слеп, или нем, или глух, или тать, или разбойник, или всякому делу злому начальник. Аминь».

Своеобразные кары за непочитание Пятниц устанавливают и народные приметы. Кто прядет в пятницу, у того на том свете слепы будут отец с матерью. Кто в пятницу много смеется, тот в старости много будет плакать. Кто в пятницу моет полы, тот после смерти в помоях валяется. (Последнее наблюдение сделано людьми «обмиравшими» и, стало быть, побывавшими на том свете.)

Из обычаев, свидетельствующих об олицетворении пятниц, укажем только на один. Деревенские бабы считают за правило никогда не купать ребят по пятницам из опасения, чтобы на ребенка не напал «сушец». Если же, по забывчивости, иная баба все-таки искупает дитя в пятницу, то, в предотвращение болезни, она прибегает к следующему обряду: позвав к себе соседку, она передает ей ребенка и становится ждать у окна. Соседка же с улицы продает ей ребенка за грош, причем мать, взявши через окно ребенка, тут же и платит деньги. Смысл обряда понятен сам собой: отдавая ребенка в чужие руки и как бы уступая другому лицу свои права на него, баба тем самым дает понять Пятнице, что наказывать этого ребенка было бы бесполезно, так как ребенок уже не ее и принадлежит другой бабе. Покупая же затем ребенка обратно, баба опять-таки дает понять Пятнице, что посылать кару на вновь купленного ребенка нет

никаких оснований, так как ребенок, в сущности, чужой, только сию минуту купленный. А чтобы эта военная хитрость удалась вполне, обычай предписывает, чтобы баба, получившая грош за ребенка, истратила этот грош непременно на пользу Пятницы и тем окончательно загладила ту маленькую неприятность, которую доставила Пятнице купаньем ребенка в ее день.

XLII

«Орловские епархиальные ведомости» (1884 г., № 157) следующим образом характеризуют народное представление о св. мученице Параскеве, нареченной Пятница: «Св. Параскева считается покровительницей воды и имеет, по народному взгляду, особую близость к ней. На это верование указывают существующие в народе предания о том, что образ св. Параскевы чудесно являлся иногда на воде, на реке или в колодце, вследствие чего вода приобрела особую силу. На этом основании и теперь нередко ставится икона св. Параскевы при источниках, над ключами и колодцами. Далее, она считается покровительницей главной у простого народа женской зимней работы — пряжи. Это видно из того, что в народе она носит название «льняницы», и со дня памяти, т. е. с 28 октября, повсюду обыкновенно начинают мять лен. Но главное в народных верованиях относительно св. Параскевы то, что она считается покровительницей соименного ей дня недели — пятницы, и потому все поверья, какие существуют в народе насчет Пятницы, относятся и к лицу св. Параскевы»[51].

Параскева-Пятница с полным основанием может быть названа «бабьей святой», так как повсюду наши крестьянки считают ее своей заступницей и покровительницей. Даже народные легенды рисуют Параскеву-Пятницу простой бабой, которая занималась повоем. Вот одна из таких легенд (записанная в Меленковском у⟨езде⟩ Владимирской губ⟨ернии⟩), из которой видно, за что преимущественно чтут и как объясняют святость Параскевы наши крестьянки: «Лежит однажды св. мученица Прасковья на печи со своим мужем и бает ему: «Теперь бы,— бает,— кто-никто позвал бы меня на повой, а то давно я не была на повоях-то». А муж и говорит: «Напрасно ты, баба, ходишь по эфтим самым повоям-то: там всяко может случиться; пожалуй, еще согрешишь». А матушка-то Прасковья и говорит ему: «Эй, мужик, только ходи с молитвой да делай, как бог велит, так и не будет ничего». Лежат это они на печке да уговариваются,— ан глядь, входит к ним в избу какой-то парень и бает: «Тетка Прасковья, пойдем к нам на повой». Дело было ночью, Прасковья не разглядела, что за парень пришел к ней, встала

с печи, оделась и пошла с ним. Парень привел ее в баню. А в бане-то на всех полках и повсюду сидят черти. Испугалась Прасковья, хотела было убежать да одумалась: если, мол, бог не попустит, так черти не съедят. Сказала этак-то матушка Прасковья и видит, что на полке лежит девка и мучается родами. Подошла к ней Прасковья, помолилась богу и стала опрастывать. А старшой-то сатана и бает ей: «Смотри ты, баба! повивать повивай, а только чтобы без молитвы, а не то я тебе такого перцу задам!..» Одначе матушка Прасковья не испужалась и, как только девка опросталась, погрузила с молитвой ребенка в воду и тихонько, чтобы не видали черти, надела на него крест. В это самое время пропели кочета, и баню вдруг как вихрем подняло: все окаянные и девка пропали, а матушка Прасковья осталась с ребенком одна. Взяла она этого ребенка, принесла домой, а муж опять на нее напустился: «Эй, баба! говорил я тебе, чтобы ты не ходила. Молись теперь богу, чтобы он заступился за тебя и спас от чертей...» Только черти на том не помирились, и задумали они за то, что Прасковья взяла у них ребенка, сделать ей штуку: стали они смущать царя, чтобы он замучил Прасковью. А царь-то был нечестивый. Призвал, это, он матушку к себе и стал ее улещать, чтобы она покинула христианскую веру, а когда на эти царевы слова Прасковья согласия своего не дала, он взял да и велел отрубить ей голову. Это случилось в пятницу, поэтому и зовется мученица Парасковья «Пятницей».

В других губерниях эта легенда, сколько можно судить, неизвестна. Но зато почти повсюду можно услышать бесконечные рассказы женщин о каком-нибудь чуде, связанном с именем Прасковьи-Пятницы. Икона эта будто бы явилась на роднике, в пяти верстах от села Посопа, но когда народ толпами повалил с приношениями (приношения эти клались возле иконы, и Параскева раздавала их бедным), то начальство распорядилось икону увезти, а крестьяне на том месте построили часовенку.

XLIII

Кузьма и Демьян известны в народе под именем «курятников» и «кашников», потому что в день 1 ноября, когда празднуется память этих святых, в деревнях носят в церковь «под свято» кур и варят кашу, отведать которую приглашают и св. угодников: «Кузьма-Демьян,— говорят крестьяне, усаживаясь за трапезу,— приходите к нам кашу хлебать».

Трудно сказать, каким образом Косьма и Дамиан, известные по церковным преданиям, как врачи-бессребреники, даром лечившие людей,— превратились в глазах темного народа в

«курятников» и «кашников». Но несомненно, что эпитеты эти распространены по всей России, причем в некоторых местах народная фантазия придумала им легендарное объяснение. Так, в Тотемском у⟨езде⟩ Вологодской губ⟨ернии⟩ рассказывают, что св. Кузьма и Демьян были простыми работниками, которые охотнее всего нанимались молотить, но при этом никогда не требовали платы, а ставили лишь условием, чтобы хозяева вволю кормили их кашей. Это вологодское предание породило даже своеобразный обычай, в силу которого на домолотках крестьяне считают как бы правилом варить кашу, а работники требуют ее у хозяев как нечто должное, освященное преданием. Домолачивая последний овин, они обыкновенно говорят: «Хозяину ворошок, а нам каши горшок». В Курской губ⟨ернии⟩ наряду с кашей крестьяне считают необходимым бить 1 ноября трех куренков и есть их утром, в обед и вечером, «чтобы птица водилась». По словам нашего корреспондента, трапеза в здешних местах сопровождается всегда специальной молитвой: «Кузьма-Демьян-сребреница! Зароди, господи, чтобы писклятки водились». Наблюдают также, чтобы за трапезой отнюдь не ломались кости, а то цыплята будут уродливые. Последнее правило еще строже наблюдается в Тамбовской губ⟨ернии⟩: местные хозяйки твердо убеждены, что если в день Кузьмы и Демьяна зарезать двух петухов или петуха и курицу и, съевши их, провертеть на кобылках их дыры и затем бросить в курятник, то на следующий год неминуемо все куры будут с дырявыми кобылками.

Считаясь защитниками кур по преимуществу, св. Кузьма и Демьян в то же время известны и как покровители семейного очага и супружеского счастья. День, посвященный их памяти, особенно чтится девушками: в некоторых местах существует даже обычай, в силу которого девушка-невеста считается в этот день как бы хозяйкой дома, она приготовляет для семьи кушанья и угощает всех, причем, в качестве почетного кушанья, подается куриная лапша, отчего и праздник этот известен в народе под именем «кочетника» (от кочет — петух). Вечер этого дня деревенская молодежь проводит в веселье: девушки собираются в какой-нибудь большой избе и делают так называемые «ссыпки», т. е. каждая приносит что-нибудь из съестного в сыром виде: картофель, масло, яйца, крупу, муку и пр. Из этих продуктов в ознаменование начала зимних работ устраивается пиршество, к которому в качестве гостей приглашаются парни. Такие пирушки называются «кузьминками» и продолжаются до света, причем парни обыкновенно успевают вторично проголодаться и отправляются на фуражировку, воруя соседских кур, которых девушки и жарят им в «жировой» избе. При этом, конечно, сохраняется в полной тайне, сколько и у кого было украдено

кур, хотя к покражам такого рода крестьяне относятся довольно снисходительно, и если бранятся, то только для порядка.

Вышеописанные «кузьминки» в некоторых местах (как, например, в Городищенском у⟨езде⟩ Пензенской губ⟨ернии⟩) сопровождаются особым обычаем, известным под именем «похорон Кузьмы-Демьяна»: в «жировой» избе девушки приготовляют чучело, т. е. набивают соломой мужскую рубашку и шаровары и приделывают к нему голову; затем надевают на чучело «чапань», опоясывают кушаком, кладут на носилки и несут в лес за село, где чучело раздевается, и на соломе идет веселая пляска. Чтобы закончить характеристику народных воззрений на Кузьму и Демьяна, необходимо сказать, что оба эти святые называются еще «рукомесленниками» и считаются покровителями ремесел и, главным образом, женских рукоделий. Это объясняется тем, что с 1 ноября (день Кузьмы и Демьяна) женщины вплотную принимаются за зимнюю пряжу: «Батюшка Кузьма-Демьян,— говорят они, садясь за прялку,— сравняй меня, позднюю, с ранними», т. е. помоги не отстать от других, которые начали работу раньше.

XLIV

Орловский мужик из Карачевского у⟨езда⟩ так объяснил причину и повод чествования своего Михайлова дня. Храм в его селе построен во имя Троицы, но главный праздник не этот:

— Троица-матушка и так праздничек божий: работать не пойдешь. Михайлов день не то: люди работают, а мы гуляем, да и гульба не та. Вот теперь Яшное (деревня) Троицу празднует — беда: до праздника все в подборе — хлеба своего нет, о деньгах не спрашивай. С первого дня у них уж и водки нет.— А наш-то Михайло-Архангел — куда вольней. Хлеб, почитай, у всех свой. Конопелька продана, овесец тоже. Денежки есть, и должишки, что за зиму накопляли, заплачены, и сборщику глотку заткнули: покуда ляскать не пойдет — вот и сгульнуть можно.

За несколько дней до праздника священник с причтом ходят по приходу, служат молебны и поздравляют с преддверием праздника. За это хозяева соизволяют по ковриге хлеба и деньгами от 5 до 15 коп. со двора.

Вот и праздник, и по деревням пиры, в избах везде гости.

— Ну, старуха, сажай!— говорит хозяин, рассаживая гостей за столом и наблюдая при этом степень родства и требования почета.

— Присядьте, присядьте, гости дорогие!— отвечает хозяйка, ставя на стол чашку со студнем и раскладывая каждому по пирогу и по ложке.— Милости просим! Рады приветствовать, чем бог послал.

— С праздником, будьте здоровы,— говорит первый, выпивший первую чарку.

— Просим приступить,— говорит хозяин, и, по его слову, в торжественном молчании совершается уничтожение студня. Подается лапша, и перед ней опять по стаканчику. На столе является целая часть какого-либо домашнего животного: свиньи, барана, теленка. Один из гостей, ближайший родственник, разламывает мясо руками (мясо варено, а потом в печи обжарено). Перед первыми кусками опять винное подношение в том же порядке.

— Кушайте, потребляйте: не всех по именам, а всех по ровням.

— То и делаем,— отвечают, откланиваясь.

Подали кашу, за кашей полагается по две рюмки.

— Выпью семь, семь каши съем,— острит иной гость, ухмыляясь, весь красный от потребленного, от духоты в избе и от того, что у всех на плечах овчинные полушубки или теплые поддевки.

Кончили обед — вышли из-за стола, помолившись, благодарят и прощаются.

— Куда вы? сейчас чай, аль от нас не чается?— останавливает хозяин.

К чаю поданы баранки, пироги. Перед чаем и за чаем водка.

«Все встали из-за стола (пишет г. Морозов из Карачевского у⟨езда⟩ Орловской губ⟨ернии⟩), идут к другому и третьему. Толпа гостей пьяна и начинает редеть: в одном дворе кум спьянился, а в другой под святыми заснул. Остальные или несвязно гуторят, или песню хотят затянуть, но никак не могут сладить и бросят неоконченную. В последнем дворе гостей уже человека четыре: все пьяны. Заночевали в селе, опохмелившись, спешат по дворам, захватив с собой гостей. Приглашены только те, у которых сами угощались вчера».

Из села Посопа (Саранского у⟨езда⟩ Пензенской губ⟨ернии⟩) сообщают о том же, что к Михайлову дню каждая семья готовится за несколько дней и пирует также несколько дней, покупая от 2 до 3 ведер вина (семья среднего достатка) и от 5 до 7 ведер (богатые). Духовенство с молебнами начинает ходить за неделю до праздника, а кончает первым днем, который проводят не очень шумно. Главное празднество начинается со второго дня, но зато очень рано, часа в 4 утра; начинают похмелье после вчерашнего почина и ходят друг к другу в гости без особого приглашения, ходят, пока носят ноги. На другой день приезжают гости из соседних деревень, и вчерашний пир между своими превращается в общую свалку и в общий хаос. Между своими посещениями не разбираются и претензий никаких не предъявляют, но приезжих гостей считают, и кто не приехал, к тому и сами не поедут. Угощение чаем в этих местах считает-

ся наивысшим и очень почетным; угощают чаем лишь избранных.

XLV

Под именем «Никольщины» следует разуметь неопределенный числом праздничных дней период времени, предшествующий и следующий за зимним Николой (6 декабря). Это празднество всегда справляют в складчину, так как одному не по силам принимать всех соседей. В отличие от прочих — это праздник стариковский, большаков семей и представителей деревенских и сельских родов. Общее веселье и охота на пиво длятся не менее 3 и 4 дней, при съезде всех ближайших родственников, но в избранном и ограниченном числе. Неладно бывает тому, кто отказывается от складчины и уклоняется от празднования: такого домохозяина изводят насмешками в течение круглого года, не дают проходу от покоров и крупной брани и отстают и прощают, когда виновный покается: призовет священника с молебном и выставит всем обильное угощение. После этого он может уже являться в многолюдных собраниях и не надо ему на ходу огрызаться от всяких уколов и покоров — стал он «душевным» человеком.

На той границе Великороссии, где она приближается к границам Белоруссии, а именно в Смоленщине (т. е. в Вяземском у⟨езде⟩ Смоленской губ⟨ернии⟩ в среде стариков наблюдается старинный (в Белоруссии повсеместно) обычай «свечу сучить». Он состоит в том, что посреди праздничных кушаний подается (по обычаю) сотовый мед. Поедят и начнут лакомиться сотовым медом, жуют соты и выплевывают воск в чашку с водой. Из этого воска выйдет потом мирская свеча Николе Угоднику, толстая-претолстая. Обычай требует, чтобы перед тем, как начать есть мед, все молились Николе Угоднику, чтобы умолить бога для дома достаток, на скотину приплод, на хлеба урожай и в семье — согласие. Крест кладут истово, поклоны кладут земные.

Никольщине в иных местах предшествует такой же веселый и сытый праздник Михайлов день, о котором было сказано в предшествующей главе.

КОММЕНТАРИИ

Тексты произведений С. В. Максимова печатаются по первым и единственным прижизненным публикациям, за исключением раздела «Из очерков народного быта. Крестьянские календарные праздники» (название разделу дано редакцией), представляющего собой публикуемую с некоторыми сокращениями часть III книги С. В. Максимова «Нечистая, неведомая и крестная сила», увидевшей свет после смерти автора, в 1903 г. Орфография и пунктуация приближены к современным, за исключением случаев, характерных для индивидуального стиля С. В. Максимова.

ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ ЯКУШКИН

(Биографический очерк)

(стр. 29)

Впервые — Сочинения П. И. Якушкина / Изд. Вл. Михневича. Спб., 1884.

В публикации тексту очерка предпослано следующее письмо С. В. Максимова к В. О. Михневичу:

ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ

Многоуважаемый Владимир Осипович!

Передаю в Ваше распоряжение мои воспоминания о П. И. Якушкине, написанные по просьбе Н. А. Некрасова в дополнение к коротенькому некрологу, наскоро мною набросанному в № 2-м «Отечественных записок» за 1872-й год. По независящим от обоих нас причинам статья эта не была напечатана*. Тем не менее и под слоем пыли нескольких лет в ней сохра-

---

* В 1872 г. в связи с делом Нечаева и его подпольной организации (1869—1871 гг.) цензурный террор в стране усилился. 7 июня 1872 г. были введены временные правила о печати, дававшие право задерживать издания, освобожденные от предварительной цензуры. А в июле 1872 г. «Отечественные записки» получили первое предупреждение. Очевидно, в этих условиях Н. А. Некрасов не решился помещать в журнале статью, посвященную известному революционеру-демократу, большую часть жизни находившемуся под надзором полиции.

нились неизменными те же чувства и мысли, какие вылились и тогда под свежими впечатлениями печального и обидного известия. По этой-то причине я сделал лишь незначительные сокращения и необходимые дополнения ввиду того, что в то время приходилось высказываться совершенно при других условиях. О чем я забыл и чего не досказал,— помогут вам другие: Павла Якушкина знали очень многие, а кто его знал, тот и любил. При оригинальном складе жизни, особенностями своего характера он умел проявлять такие своеобразные черты, резкое впечатление которых бессильна износить всякая память.

Примите уверение и проч.

С. Максимов.

[1] Здесь и далее дается аллегорическая характеристика общественного подъема эпохи 1860-х гг.

[2] «Губернские очерки» М. Е. Салтыкова-Щедрина, опубликованные в журнале «Русский вестник» (1856—1857 гг.), положили начало целому направлению так называемой «обличительной» литературы.

[3] «Песни Беранже» в переводах В. С. Курочкина вышли в свет в 1858 г. и были отмечены специальной рецензией Н. А. Добролюбова. По воспоминаниям П. И. Пащино, «несколько переводов из Беранже разом обратили на него (Курочкина.— *Ю. Л.*) внимание всего общества: они были до того рельефны и звучали таким естественным юмором, что сейчас же клались на ноты и распродавались в бесчисленном количестве экземпляров» (Пашино П. И. Мои старые знакомые.— С.-Петербургские ведомости, 1881, № 305).

[4] «Заеденный николаевским временем», по словам А. И. Герцена, П. В. Киреевский не смог издать собрание песен, ставшее делом его жизни и объединившее усилия многих собирателей, в ряду которых были А. С. Пушкин, В. И. Даль, Н. В. Гоголь, А. В. Кольцов, Н. М. Языков, П. И. Якушкин. После смерти П. В. Киреевского собрание было передано Обществу любителей российской словесности при Московском университете, которое и поручило издание П. А. Бессонову. Зная о его консервативном образе мыслей, П. И. Якушкин приехал в Петербург с целью выхлопотать разрешение на публикацию собранных им песен отдельным изданием.

[5] В литературе высказывалось предположение, что именно Виктор Иванович Якушкин (род. 1829) послужил И. С. Тургеневу одним из прототипов в создании образа Базарова.— См.: Чернов Н. Об одном знакомстве И. С. Тургенева.— Вопросы литературы, 1961, № 8.

Дата смерти В. И. Якушкина до сих пор не установлена. Однако воспоминания С. В. Максимова позволяют предположить, что он умер в Риме от чахотки в 1869 г.

[6] Записки И. Д. Якушкина опубликованы полностью в советское время.— См.: Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина. М., 1951.

[7] Сочинение Е. И. Якушкина «Обычное право. Материалы для библиографии обычного права» продолжало издаваться в Москве и вышло в четырех

книгах (вып. 1—4. Ярославль—Москва, 1875—1909). Кроме указанных Максимовым сочинений Е. И. Якушкина следует назвать «Материалы для словаря народного языка в Ярославской губернии» (Ярославль, 1896). Занимая с 1859 г. должность управляющего Ярославской губернской палатой государственных имуществ, Якушкин сыграл выдающуюся роль в проведении крестьянской реформы в Ярославской губернии. Он был одним из тайных корреспондентов «Полярной звезды» А. И. Герцена и примыкал к революционному обществу «Земля и воля». Много сделал Е. И. Якушкин для собирания и издания в России и за границей материалов о восстании декабристов. В 1858—1859 гг. в журнале «Библиографические записки» он опубликовал ряд статей о творчестве А. С. Пушкина, написанных на основе ранее неизвестных материалов.

[8] *Офеня* — мелочно́й торговец вразноску и вразвозку по малым городам, селам, деревням с книгами, бумагой, шелком, иглами, серьгами и колечками, сыром и колбасой.

[9] В книге «Сочинения П. И. Якушкина» (Спб., 1884) были опубликованы «Рассказы и очерки», «Путевые письма» и «Народные стихи и песни».

[10] Имеются в виду повести Д. В. Григоровича «Деревня» (1846) и «Антон-Горемыка» (1847), «Записки охотника» И. С. Тургенева (1847—1852), рассказы И. Т. Кокорева, вышедшие в 1858 г. (Кокорев И. Т. Очерки и рассказы. Т. 1—3. М., 1858).

[11] Закончив в 1853 г. свой труд «Пословицы русского народа», В. И. Даль представил его на предмет публикации в Академию наук. Один из рецензентов, протоиерей Кочетков, назвал труд Даля «памятником народных глупостей». Сборник увидел свет лишь в 1861—1862 гг.

[12] Речь идет о нашумевшей «псковской истории». В августе 1858 г. П. И. Якушкин был заподозрен в неблагонадежности и арестован псковской полицией. Подробнее об этом см.: Псковское приключение с Якушкиным.— В кн.: Соч. П. И. Якушкина, с. XCVI—CIV.

[13] Автор этого письма не установлен.

[14] Подлинной причиной ареста П. И. Якушкина была тайная революционная пропаганда, которую он вел в народе.

[15] Книгоиздательская фирма «Товарищество общественной пользы» с 1862 г. приступила по примеру Л. Н. Толстого и Н. А. Некрасова (серия «Красные книжки», в которой вышла поэма «Коробейники»), к изданию книжек для народного чтения. С. В. Максимов принимал активное участие в делах этой фирмы в качестве редактора.

[16] Согласно псковскому летописцу, Иван Грозный, покорив Псков, пришел за благословением к блаженному Николе. Бесстрашный юродивый «поучив его много ужасными словесы». Когда же царь не внял этим поучениям и повелел «у святые Троицы колокол сняти, того же часа паде конь его по пророчествам святого, и поведоша сие царю, он же ужасен вскоре бежа из града» (цит. по кн.: Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М., 1960, т. 6, кн. 3., с. 734).

[17] Имеется в виду очерк П. И. Якушкина «Прежняя рекрутчина и солдатская жизнь» (см.: Сочинения П. И. Якушкина, с. 142—152).

[18] Речь идет о портрете в издании «Сочинения П. И. Якушкина», где опубликованы данные воспоминания.

ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ МЕЙ

(Из личных воспоминаний)

(Стр. 60)

Впервые — Русская мысль, 1887, № 7.

[1] Л. А. Мей скончался 16 мая 1862 г. С. В. Максимов имеет здесь в виду «Сочинения Л. А. Мея» (т. 1—3, Пб. / Г. А. Кушелев-Безбородко, 1862—1863).

[2] Анненков Павел Васильевич скончался в Дрездене 8 марта 1887 г.

[3] Л. А. Мей приехал в Петербург летом 1853 г., определившись на должность инспектора 2-й Одесской гимназии.

[4] *«Пантеон»* — русский ежемесячный журнал. Издавался в Петербурге в 1852—1856 гг. Редактор-издатель Ф. А. Кони. «Пантеону» предшествовал журнал «Пантеон и репертуар русской сцены». С 1852 года «Пантеон» имел приложение — «Репертуар русской сцены»,— которое выходило тоже под редакцией Кони.

[5] Это были годы николаевского царствования, эпоха цензурного террора (1848—1855), вошедшая в историю под названием «мрачное семилетие».

[6] Имеется в виду цензор Н. В. Елагин, отличавшийся особой бесцеремонностью; в учебнике физики не пропустил выражение «силы природы».

[7] О. И. Сенковский в качестве редактора действительно отличался пренебрежительным отношением к воле авторов, печатавшихся в «Библиотеке для чтения».

[8] А. В. Старчевский стал редактором «Библиотеки для чтения» с 1849 года. В 1856 г. его сменил А. В. Дружинин, позднее — А. Ф. Писемский (с 1860 г.) и П. Д. Боборыкин (с 1863 г. и до закрытия журнала в 1865 г.). Здесь под «новым редактором» Максимов подразумевает А. В. Старчевского.

[9] *Барон Брамбеус* — псевдоним О. И. Сенковского.

[10] *Метранпаж* — старший наборщик, верстающий набор в страницы.

[11] Очерк С. В. Максимова «Извозчики» вышел в «Библиотеке для чтения» (1854, № 3), а «Встреча» (бывший «Пастух»)— в 1855 г., в № 6.

[12] Юмористический листок «Весельчак» (1858—1859), положивший начало многочисленным юмористическим изданиям такого рода, вышел в свет 1 февраля 1858 г. со вступительным фельетоном О. И. Сенковского, укрывшегося под псевдонимом Хохотенко-Хлопотунова-Пустяковского. «Милостивые государи, благодетели-подписчики! Простите мою смелость, что, не будучи вам знаком, сую вам руку в карман. Я вижу, многие здесь так делают...

Глупости и бессмыслицы — страсть моя... Скучного, важного, умного терпеть не могу». Так открыто провозглашались коммерческие цели и программа листка, рассчитанная на вкусы мещанской публики. Через месяц после выхода в свет первого номера «Весельчака» О. И. Сенковский умер. (См.: Ямпольский И. Г. Сатирические и юмористические журналы 1860-х годов. Л., 1973, с. 4—14).

[13] Имеются в виду антологические стихи Мея.

[14] Фешенебельный петербургский ресторан.

[15] На сетования жены по этому поводу Мей отвечал: «Мы еще молоды с тобой, и временное лишение нам перенести легко, а вот у Камбека больны дети» (см.: Быков П. В. Л. А. Мей: Критико-биографический очерк.— В кн.: Полн. собр. соч. Л. А. Мея: В 2-х т. Спб., 1911, т. 1, с. 22).

[16] Помета на авторизованной копии этого экспромта, датированной 6 декабря 1860 г., по мнению К. К. Бухмейера, расходится с воспоминаниями Максимова: «Л. Мей диктовал это своей жене, а он лишь подписал и в день ангела преподнес Н. С. Курочкину. От него автограф попал к Сергею Максимову, а он мне его вчера подарил. М. Микешин. 22 дек. 1893, Спб., Фонтанка, 128, кв. 6» (см. комментарий К. К. Бухмейера к тексту этого экспромта в кн.: Мей Л. А. Избранные произведения. (Библиотека поэта, Большая серия) / 2-е изд. Л., 1972, с. 620). Однако не исключено, что эта копия сделана и датирована позднее, так как в действительности именины Н. С. Курочкина, родившегося 2 июня 1830 г., приходятся не на Николу зимнего (6 декабря), как обозначено в копии, а на Николу вешнего — 9 мая. Именно в это время, весной 1858 г. Н. С. Курочкин отбывал на службу врачом в Русское общество пароходства и торговли.

[17] См. примеч. 5 к настоящей статье.

[18] «Искра»— еженедельный сатирический журнал, издававшийся в Петербурге В. С. Курочкиным и Н. А. Степановым в 1859—1873 гг. Выступал с революционно-демократических позиций против крепостничества.

[19] Летом 1854 года три стихотворения В. С. Курочкина появились в «Современнике», в отделе «Литературный ералаш», с такими сопроводительными словами: «Едва ли что-нибудь нужно говорить в похвалу приведенным стихотворениям, особенно последнему («Хвалили мне возраст ребенка».— *Ю. Л.*). Г-ну К-ну двадцать два года. Мы советовали и советуем ему продолжать свои опыты, не спешить писать и печатать и стараться развить свой литературный вкус, несовершенство которого много повредило некоторым его стихотворениям, здесь не помещенным» (Современник, 1854, № 6, отд. «Литературный ералаш», с. 59).

[20] Цензура не пропустила первых четырех строк III строфы «Старого капрала». Вместо: «Честною кровью солдата // Орден не выслужить вам. // Я поплатился когда-то. // Задали мы королям»— Курочкин вынужден был напечатать: «Братцы! Солдатские годы // Служба — в руках у судьбы... //Помню я наши походы, // Время великой борьбы». С такими поправками, сделанными под давлением цензуры, «Старый капрал» увидел свет на страницах «Библиотеки для чтения» (1857, № 11, с. 1—2).

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

(По архивным документам и личным воспоминаниям)

(Стр. 80)

Впервые — Русская мысль, 1890, № 2.

[1] В «Северной пчеле» (1846, 17 декабря, № 284) были опубликованы стихи Е. П. Ростопчиной «Насильный брак», где в аллегорической форме изображались отношения России и Польши. По воспоминаниям Э. И. Стогова, Николай I приказал шефу жандармов А. Ф. Орлову «проучить» редактора «Северной пчелы» Ф. В. Булгарина за напечатание этого стихотворения. Орлов схватил Булгарина за ухо, «поставил у печки на колени и продержал его так более часа,— мера наказания, затем вполне одобренная Николаем» (Русская старина, 1886, № 10, с. 79—80).

[2] Члены социалистического кружка Петрашевского были арестованы 23 апреля 1849 г. Ссылкою поплатились Ф. М. Достоевский, А. А. Плещеев, С. Ф. Дуров, а чуть ранее — М. Е. Салтыков-Щедрин и другие литераторы.

[3] Под впечатлением смерти Н. В. Гоголя И. С. Тургенев в феврале 1852 года написал некролог для «Санкт-Петербургских ведомостей». Цензурный комитет запретил его публикацию, но Тургенев напечатал некролог в «Московских ведомостях». За «ослушание» Николай I приказал посадить Тургенева под арест, а затем выслать в родовое имение Спасское-Лутовиново на жительство под присмотр полиции. Но главной причиной этих решительных мер было недовольство правительства «Записками охотника».

[4] В «Сыне отечества», в № 8 за 1842 г. была опубликована повесть П. Ф. Ефебовского «Гувернантка», в которой иронически обыгрывалось поведение военных щеголей на балу у одного чиновника. По доносу П. А. Клейнмихеля Николаю I цензор А. В. Никитенко был арестован (см. об этом: Никитенко А. В. Дневник. М., 1955, т. 1, с. 252—255).

[5] А. В. Никитенко записал в своем дневнике от 24 декабря 1842 года: «В цензуре какое-то оцепенение. Никто не знает, какого направления держаться. Цензора боятся погибнуть за самую ничтожную строчку. ⟨...⟩ Комитет остановил не только новое издание Гоголя, но и напечатанный уже также роман Даля «Вакх Сидорович Чайкин» (Никитенко А. В. Дневник, т. 1, с. 256—257).

[6] Максимов имеет здесь в виду свою статью «За Писемского (по литературным воспоминаниям)», опубликованную в газете «Новое время», 1889, № 4889. Основные тематические мотивы ее повторяются в статье Максимова, печатающейся в данном томе.

[7] *«Морской сборник»* (Пб., 1848—1894)— ежемесячный журнал, издававшийся Морским ученым комитетом (впоследствии — под наблюдением Главного морского штаба).

[8] *«Журнал министерства государственных имуществ»* (Пб., 1841—1864). До 1843 г. издавался 6 раз в год, а с 1843 г.— ежемесячно. Редакторы:

А. П. Заболоцкий-Десятовский; с 1858 г.— В. П. Безобразов; с 1860 г.— Ф. А. Баталин.

[9] *«Военный сборник»* начал издаваться в Петербурге с мая 1858 г. под редакцией Н. Г. Чернышевского, Н. Н. Обручева и В. М. Аничкова. Редакторство Чернышевского продолжалось менее года, так как военная цензура обвинила журнал во «вредном направлении». С 1859 г. редактором «Военного сборника» был назначен П. К. Меньков.

[10] *«Северная почта»* (Пб., 1862—1868)— ежедневная газета министерства внутренних дел. Редакторы: А. В. Никитенко, Н. В. Варадинов, И. А. Гончаров, а с 1864 г.— Д. И. Каменский.

[11] *«Русский дневник»* издавался в Петербурге ежедневно под редакцией П. И. Мельникова-Печерского. Издание началось в январе 1859 г. и прекратилось 5 июля на 141-м номере.

[12] Отдельные главки воспоминаний И. Ф. Горбунова печатались в газете «Новое время» (1881, № 1778; 1884, №№ 2852, 2872, 2879) под заглавиями «Из моего дневника 1855 года», «Из моего дневника 1853—1854 годов», «Из моего дневника 1850—1855 годов». В законченном виде они вышли посмертно в Собрании сочинений И. Ф. Горбунова (Спб., 1901, т. 2).

[13] Николай Маркович Фумели в 1840—1850-х гг. издавал в Одессе сборники «Литературные вечера».

[14] Очевидно, исключение составлял А. Ф. Писемский, костромич, взявший для обследования низовья Волги и побережья Каспийского моря.

[15] Имеется в виду А. Н. Островский.

[16] Усадьба Печуры близ Воронья принадлежала не жене, а теткам А. Ф. Писемского, девицам Шиповым (см.: Лебедев Ю. В., Морозов Н. Г. А. Ф. Писемский в усадьбе Печуры.— Краеведческие записки Костромского историко-архитектурного музея-заповедника. Ярославль, 1977, с. 80—85).

[17] В «Путевых очерках» А. Ф. Писемского, в III главе «Армяне», приводятся отрывки из популярной в Астрахани сатирической поэмы неизвестного автора под названием «Гаспарка», главным героем которой является армянин Гаспар (см.: Писемский А. Ф. Полн. собр. соч., Спб., 1910, т. 7, с. 492—495).

[18] Очерк А. А. Потехина «Река Керженец» опубликован в «Современнике», (1859, № 2, отд. 1, с. 473—504).

[19] Очерки А. Ф. Писемского «Татары», «Астраханские армяне» и «Калмыки» были опубликованы в «Библиотеке для чтения» в 1857—1860 гг.

[20] *«Век»* (Пб., 1861—1862)— еженедельный общественный, политический и литературный журнал. Редактировался П. И. Вейнбергом (в 1861 г.) и Г. З. Елисеевым (в 1862 г., № 1—17).

[21] *«Подснежник»* издавался в Петербурге в 1858—1862 гг.

[22] *«Кронштадтский вестник»* (Кронштадт, 1861—1894) издавался два раза в неделю в 1861—1862 гг., а с 1862 г.— три раза в неделю. Издатель-редактор Николай Александрович Рыкачев.

НЕПОДРАЖАЕМЫЙ РАССКАЗЧИК

(По воспоминаниям об И. Ф. Горбунове)

(Стр. 109)

Впервые — Русская мысль, 1896, № 12.

[1] С 1769 по 1849 г. в России существовал счет на рубль серебром и рубль ассигнациями (на медь). Рубль ассигнациями был в 3,5 раза дешевле рубля серебром. В 1849 г. была осуществлена коренная перестройка денежной системы, установлен всеобщий серебряный эквивалент и ассигнации ликвидированы.

[2] Имеется в виду граф Арсений Аркадьевич Закревский, бывший с 1848 по 1859 г. московским военным генерал-губернатором.

[3] Этот рассказ под заглавием «У пушки» вошел в Полное собрание сочинений И. Ф. Горбунова (Спб., 1904, т. 1, с. 251).

[4] См. рассказ «У квартального надзирателя».— Там же, с. 253—258.

[5] Журнал «Москвитянин» (1841—1856) издавался в Москве М. П. Погодиным. С целью поднять авторитет журнала Погодин в 1850 г. привлекает к сотрудничеству новых авторов (А. Н. Островский, А. А. Григорьев, Б. Н. Алмазов, Е. Н. Эдельсон, Т. И. Филиппов и др.), составивших так называемую «молодую редакцию». Приход в журнал свежих сил изменил к лучшему содержание и характер издания. Здесь стали печататься пьесы А. Н. Островского, повести А. Ф. Писемского, П. И. Мельникова-Печерского, Д. В. Григоровича, стихи Ф. И. Тютчева, Я. П. Полонского, А. А. Фета, Н. Ф. Щербины, Л. А. Мея, сценки И. Ф. Горбунова. Ведущим критиком журнала стал А. А. Григорьев. В 1853 г. «молодая редакция» распалась, так как позиция новых сотрудников не отвечала интересам Погодина. Уход Островского и его друзей из «Москвитянина» поставил журнал в тяжелое положение, и в 1856 г. он прекратил свое существование.

[6] День смерти И. Ф. Горбунова.

[7] Цитата из статьи Т. И. Филиппова «Памяти И. Ф. Горбунова», опубликованной в «Новом времени» за 1895 г. и перепечатанной в Полном собрании сочинений И. Ф. Горбунова, т. 1, с. 108—110.

[8] В приходе церкви Николы в Воробине жил в те годы А. Н. Островский.

[9] Роль Кудряша И. Ф. Горбунов исполнял в первый раз в петербургской постановке «Грозы» на сцене Александринского театра 2 декабря 1859 г.

[10] См. об этом подробнее в статье Максимова об А. Н. Островском.

[11] Коронационные празднества, связанные с восшествием на престол Александра II, состоялись в Москве летом 1856 г.

[12] *«Образованность»* — комедия М. Н. Владыкина (1830—1877), драматурга, артиста Малого театра.

[13] Персонаж комедии А. В. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского». Комедия была поставлена на сцене Малого театра 28 ноября 1855 г. Роль Расплюева Садовский играл в ней так, что «уморил всех со смеху — даже суфлер кис со смеху над своим манускриптом» (Сухово-Кобылин А. В. Дневник.— Русская старина, 1910, кн. V).

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ

(По моим воспоминаниям)

(Стр. 133)

Впервые — Русская мысль, 1897, № 1, 3, 5; 1898, № 1, 4.

[1] А. Н. Островский жил в приходе церкви Николы в Воробине с 1841 г. в большом доме вместе с отцом, а с 1849-го по октябрь 1877 г. во флигеле, о котором пишет Максимов.

По характеристике И. Е. Забелина, коренная народность Москвы сказывалась и в составе ее населения. Вплоть до конца XIX в. она оставалась городом преимущественно крестьянским (49%) и торгово-промышленным, купеческим. С 1830-х гг. Москва стала превращаться в город фабрик и заводов, а также других промышленных заведений. Купечество оказывалось решающей силой в городской жизни и в развитии города. В древности «посад Москвы состоял из слобод — отдельных поселений, живших во внутреннем своем устройстве самобытно и независимо. Слободами разрастался и весь город: слобода была его растительною клетчаткою. Завися по общей городовой управе от Земского дворца, или Земского приказа, каждая слобода во внутренних своих действиях управлялась сама собою, выбирая себе старосту, десятских, целовальников и других лиц. Все слободские дела решались сходками на братском дворе, который ставился на общий слободской счет и по преимуществу вблизи слободской церкви, занимавшей всегда видное место в каждой слободе; около церкви помещалось слободское кладбище, на котором слобожане хоронили своих отцов и дедов и всех родных. Так из слобод образовались почти все приходы. Купцы жили и управлялись тоже отдельно в своих сотнях, из которых главнейшими были гостиная и суконная, основные московские сотни; затем следовали сотни переселенцев — новгородская, ростовская, устюжская, дмитровская, ржевская и др. Несмотря на то что слободы и сотни исчезли и, так сказать, разложились в улицы и переулки, имена их сохраняются и доселе. Все мещанское, древнее посадское сословие и теперь распределено по старым слободам, каковы: Алексеевская, Барашская, Басманная, Бронная, Гончарная, Голутвина, Гостиная, Дмитровская, Екатерининская, Кадашевская...» и т. д. (Забелин И. Москва: История.— В кн.: Энциклопедический словарь. Изд. Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. М., 1899, т. 19, с. 934—936).

[2] Неточная цитата из Евангелия от Матфея, гл. 24.

[3] Здесь и далее дается аллегорическая характеристика «мрачного семилетия». В 1848 г., напуганное революционным движением на Западе, русское правительство начало крайне реакционный курс: арест и ссылка членов кружка Петрашевского, усиление цензурного гнета, запрет на преподавание философии в университетах и т. п.

[4] В 1855 г., после падения Севастополя и поражения России в Крымской войне, смерти Николая I и воцарения Александра II, началась эпоха общественного пробуждения, получившая название эпохи 1860-х гг.

[5] Здесь и далее характеризуется особая нравственная атмосфера, царившая в кружке «молодой редакции» «Москвитянина».

[6] Очевидно, Максимов цитирует здесь и далее воспоминания И. Ф. Горбунова по автографу, так как дневниковые записи 1862 г. не были опубликованы при жизни автора.

[7] С. В. Максимов цитирует здесь воспоминания В. З. Головиной-Ворониной (Русское обозрение, 1896, кн. 8), искажая фамилию автора воспоминаний.

[8] Опера А. Н. Верстовского, написанная в 1835 г.

[9] *Торопка* — один из героев «Аскольдовой могилы».

[10] О цыганке Матрене сведений не сохранилось. А. И. Ревякин предполагает, что Максимов спутал ее с известной певицей и красавицей цыганкой Татьяной Демьяновой, голосом которой Пушкин действительно восхищался (см. комментарий А. И. Ревякина в кн.: А. Н. Островский в воспоминаниях современников. М., 1966, с. 524).

[11] Речь идет о комментариях славянофильского историка литературы П. А. Бессонова в книгах: «Песни, собранные П. В. Киреевским» (М., 1874, ч. 1—4, вып. 1—10) и «Калики перехожие. Сборник стихов и исследование П. Бессонова» (М., 1861—1864, вып. 1—6). В последний сборник вошли песни, изданные самим П. В. Киреевским (Русские народные песни. М., 1848).

[12] В комедии «Не в свои сани не садись».

[13] См. примеч. 1 к статье «Неподражаемый рассказчик».

[14] «Апостол» — книга деяний апостолов, двенадцати учеников Иисуса Христа, посланных им, по преданию, проповедовать Евангелие.

[15] *«Тяжба»* — единственная из гоголевских драматических сцен, которая шла на театре при жизни Гоголя (Петербург, гастрольный бенефис Щепкина, 27 сентября 1844 г.).

[16] Так назывались в старину небольшие конусообразные свечки, зажигавшиеся ради их приятного запаха.

[17] Комедия была напечатана в «Москвитянине», 1850, № 6.

[18] Чтение у Погодина состоялось в субботу 3 декабря 1849 г. С. В. Максимов в данном случае допускает неточность. Гоголь ограничился устным отзывом на прослушанное. В. Я. Лакшин установил, что «рецензия» Гоголя была сделана им на письменное объяснение Островского к Назимову и передана Островскому не Погодиным, а графиней Ростопчиной. Гоголь набросал карандашом следующее: «Я тоже нахожу ответ Островского очень благоразумным. Дай ему Бог успехов во всех будущих трудах и полного уменья выражать ясней их благонамеренность, чтоб ни в ком не оставалось какое-нибудь на этот счет сомнение. При внутреннем усовершенствовании это приходит само собою. Самое главное, что есть талант, а он везде слышен» (цит. по кн.: Лакшин В. Александр Николаевич Островский. М., 1976, с. 119).

[19] С. В. Максимов цитирует здесь отрывок из письма В. Г. Белинского к Н. В. Гоголю от 20 апреля 1842 г. Слова одобрения, сказанные Пушкиным о Белинском, могли быть переданы П. В. Нащокиным или М. С. Щепкиным, которые осенью 1836 г. по поручению Пушкина вели переговоры с Белинским о его переходе в пушкинский журнал «Современник».

[20] Под влиянием революции 1848 г. на Западе и напуганное движением петрашевцев в России правительство Николая I запретило преподавание философии в университетах, а в 1850 г., с переводом П. А. Ширинского-Шихматова в должность министра просвещения, на все факультеты, кроме медицинского, набор в Московский университет был приостановлен.

[21] Имеется в виду «Драматический театр А. А. Бренко», открытый весною 1880 г. в Москве, в помещении театра Солодовникова на Петровке, где и был сыгран «Лес» А. Н. Островского.

[22] См. примеч. 19.

[23] Новый год входил в число «табельных», т. е. казенных, праздников, когда все службы были закрыты.

[24] Роман «Туз (Жизнеописание Антона Антоновича)» М. Н. Катков начал печатать в «Русском вестнике» (1865, № 4—6). Однако публикация была прекращена, что и вызвало возмущение Дриянского. Не найдя издателя, он выпустил в 1867 г. этот роман на собственные средства. С. В. Максимов ошибается, утверждая ниже, что роман при жизни автора не увидел свет. Всю жизнь этого талантливого писателя преследовала нужда. 4 декабря 1872 г. А. Н. Островский писал своему брату М. Н. Островскому: «Егор Эдуардович Дриянский при последнем издыхании; нужда, сырые квартиры сломили его железное здоровье и довели до лютой чахотки. В темном углу, за Пресней, без куска хлеба, без копейки денег, умирает автор «Одарки Квочки», «Квартета», «Туза», «Паныча», «Конфетки» и пр. таких произведений, которые во всякой, даже богатой литературе были бы на виду, а у нас прошли незамеченными и не доставили художнику-творцу ничего, кроме горя» (Островский А. Н. Полн. собр. соч. Письма. М., 1953, т. 14, с. 241).

[25] По закону 1865 г., действовавшему до 1905 г., предварительная цензура для оригинальных произведений объемом свыше десяти печатных листов отменялась, но строгости и карательные меры усилились. А. В. Никитенко писал: «Цензора нет. Но взамен его над головами писателей и редакторов повешен дамоклов меч в виде двух предостережений и третьего, за которым следует приостановка издания» (Никитенко А. В. Дневник. М., 1955, т. 2, с. 515).

[26] То есть в начале 1897 г.— времени публикации в журнале «Русская мысль».

[27] См. стр.129—132 настоящего издания.

[28] Имеется в виду кружок либералов-западников, возглавляемый Т. Н. Грановским.

[29] *Аханный промысел* — ловля красной рыбы особыми сетями с двойным полотном.

[30] «Картины аханного рыболовства» напечатаны в «Москвитянине», 1854, № 9, 10.

[31] Еще в начале XVIII в. казачьи общины были преобразованы в иррегулярные казачьи войска. В 1821 г. они перешли в ведение военного ведомства. На протяжении XVIII — первой половины XIX в. была ликвидирована выборность войсковых атаманов и старшин, которые стали назначаться правительством.

[32] С 5 по 8 июня 1880 г. Москва праздновала открытие памятника А. С. Пушкину. Максимов был одним из участников этих литературных торжеств.

[33] *Русаков* — герой комедии Островского «Не в свои сани не садись».

[34] *Агафья Ивановна* — невенчанная жена А. Н. Островского. Они познакомились в 1846 г. и прожили вместе до смерти Агафьи Ивановны в 1867 г.

[35] По предположению А. И. Ревякина, И. И. Шанин и Т. И. Филиппов.

[36] Максимов ошибается. На чтении у Погодина Шевырев отсутствовал по болезни. Эта фраза была сказана им 14 февраля 1847 г. у него на квартире, в присутствии Т. Н. Грановского, А. С. Хомякова, А. А. Григорьева и других, когда Островский прочел «Картину семейного счастья».

[37] С. В. Максимов имеет в виду пародию А. И. Герцена на путевой дневник М. П. Погодина «Год в чужих краях», опубликованную в «Отечественных записках», 1843, № 11.

[38] Разновидность музыкальной шкатулки — механического музыкального инструмента, применявшегося в трактирах, ресторанах и мещанско-купеческом быту.

[39] На Тверской улице жил тогда московский генерал-губернатор, граф А. А. Закревский.

[40] *«Покоиться до радостного утра»* — неточная цитата из «Эпитафии» Н. М. Карамзина.

[41] Пьесу рассматривала высшая цензурная инстанция, комитет, 2 апреля 1848 г. по личному распоряжению Николая I. Комитет признал недостатком комедии отсутствие положительного героя, а царь на его отрицательном заключении написал: «Совершенно справедливо, напрасно печатано, играть же запретить». Одновременно по личному распоряжению Николая I шеф жандармов А. Ф. Орлов послал в Москву запрос об «образе жизни и мыслей» Островского. Закревский получил из Коммерческого суда, где служил Островский, уверение в благонадежном образе мысли и поведении автора. Московский обер-полицмейстер Лужин сообщил дополнительно, что Островский «ведет себя хорошо». На основе этих отзывов Закревский послал графу Орлову секретное представление, в котором писал, что Островский «пользуется всегда хорошим мнением начальства». Несмотря на это, Николай I, прочитав комедию, на благожелательном отзыве Орлова написал: «Иметь под присмотром». Орлов сообщил о резолюции царя Закревскому и в корпус жандармов С. В. Перфильеву, «дабы за Островским имелось секретное наблюдение и со стороны жандармов». Таким образом, с июня 1850 г. Островский оказался под двойным негласным надзором — полиции и корпуса жандармов. В связи с этим Островскому в 1851 г. пришлось оставить службу в Коммерческом суде.

[42] *Ермолов Алексей Петрович* (1777—1861)— русский военный и государственный деятель, генерал от инфантерии (1818) и от артиллерии (1837), был сторонником суворовских методов обучения и воспитания войск и противником аракчеевского режима. Пользовался репутацией прогрессивного деятеля, и декабристы намечали его в состав

Временного революционного правительства. За связь с декабристами в марте 1827 г. он был уволен в отставку Николаем I.

[43] В мае 1853 г. Россия разорвала дипломатические отношения с Турцией, а 21 июня русские войска вступили в Молдавию и Валахию. Эти события положили начало Крымской войне 1853—1856 гг., показавшей «гнилость и бессилие крепостной России» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 173).

[44] Мелодрама *«Материнское благословение»* (1841) — переделка Н. А. Некрасовым французской пьесы Деннери и Лемуана «Божья милость, или Новая Фаншон». Мелодрама пользовалась большой популярностью у петербургской и московской публики.

[45] В интерпретации цитируемого Максимовым письма М. С. Щепкина сказались субъективные пристрастия автора мемуаров, да и само письмо приведено с сокращениями и перестановками фраз, несколько искажающими подлинный его смысл.

[46] Имеется в виду пьеса Соловьева «Что имеем — не храним, потерявши — плачем» (1853), в которой С. В. Васильев играл роль старика Морковкина.

[47] Имеется в виду Н. А. Добролюбов и его статьи «Темное царство» (1859) и «Луч света в темном царстве» (1860), посвященные творчеству Островского.

[48] Подробное описание этого инцидента дается в статье М. Беляева «Газетная травля: Островский и Горев-Тарасенков» (в сб.: Памяти А. Н. Островского. Пг., 1923, с. 70—88). См. также: Лакшин В. Александр Николаевич Островский, с. 311—319.

[49] Поездка эта началась 2 апреля 1862 г. и завершилась 28 мая.

[50] Максимов имеет в виду переводы драмы П. Джакометти «Семья преступника» и комедий К. Гольдони «Кофейная», Т. Чикони «Заблудшие овцы», И. Франки «Великий банкир», помещенных в «Собрании драматических переводов А. Н. Островского» (Спб., 1886, т. 1—2. Изд. Н. Г. Мартынова).

[51] В действительности А. Н. Островским написано 47 оригинальных произведений, переведено 22 пьесы, в соавторстве с Невежиным написано 2 произведения.

[52] Подразумевается служба Островского начальником репертуара московских театров с 1 января 1886 г.

[53] Строки из стихотворения Ф. Б. Миллера, прочтенного 9 апреля 1872 г. на вечере, посвященном 25-летию литературно-драматической деятельности Островского.

[54] Неточная цитата из книги Н. Барсукова «Жизнь и труды М. П. Погодина» (Спб., 1897, кн. 2, с. 61). С этой книгой Максимов познакомился в рукописи.

[55] Нильский А. А. Закулисная хроника. Спб., 1897.

[56] Неточная цитата из книги Н. Барсукова «Жизнь и труды М. П. Погодина», с. 86.

[57] Эти слова принадлежат не Т. И. Филиппову, а Н. Барсукову (см.: Указ. соч., с. 67).

[58] В соответствии со своими славянофильскими убеждениями, А. А. Григорьев сосредоточил внимание на жизнеутверждающем пафосе драм Островского и несколько стушевал их социально-обличительную направленность.

[59] Вольная передача письма А. Н. Островского к В. И. Назимову (ср.: Островский А. Н. Полн. собр. соч., т. 14, с. 16).

[60] Пьеса «Не в свои сани не садись» была поставлена на сцене Малого театра 14 января 1853 г.

[61] Куплет из водевиля П. Г. Григорьева «Ямщики, или Как гуляет староста Семен Иванович», о котором В. Г. Белинский сказал: «...водевиль без просыпа пьян от первой строки до последней; от него несет сивухою, и потому он — *русский народный водевиль*, как сказано в заглавии» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1955, т. 8, с. 645).

[62] П. М. Садовский.

[63] П. М. Садовский.

[64] Стихотворение немецкого революционного поэта Фердинанда Фрейлиграта «Requiscat» («Труженик» — в русском переводе). В России было запрещено цензурой. Но Щепкин читал его под видом монолога переплетчика Жакара (в пьесе Фурнье «Станок Жакара»). «Труженик» впервые перевел и опубликовал Ф. Б. Миллер в кн.: Стихотворения Ф. Б. Миллера. М., 1860, кн. 1, с. 246.

[65] Далее приводится неточная цитата из стихотворения Б. Н. Алмазова «Московский поэт и петербургский обыватель» (Алмазов Б. Н. Сочинения. М., 1892, т. 2, с. 320).

[66] Речь идет о Зинаиде Корш, дочери профессора Московской медико-хирургической академии. Профессор Корш рано умер и оставил вдову с тремя сыновьями и пятью дочерьми (см. ниже примеч. Максимова). Зинаида была младшей. Она-то и послужила прототипом для образа Марьи Андреевны в «Бедной невесте»: семья Корш, как и Незабудкины, жила на пенсию отца, вдова искала для своих дочерей состоятельных женихов.

[67] Т. е. с Н. И. Крыловым.

[68] См. примеч. 7.

[69] См.: Материалы для словаря русского народного языка.— Островский А. Н. Полн. собр. соч. М., 1952, т. 13, с. 305.

[70] При переходе на третий курс Островский получил неудовлетворительную оценку по римскому праву у профессора Н. И. Крылова. Не желая продолжать обучение на юридическом факультете, он перестал сдавать экзамены и покинул университет (подробнее об этом см.: Лакшин В. Указ, соч., с. 54—55, 196—197).

[71] Речь идет о поэте Н. Ф. Щербине, сотрудничавшем в «Москвитянине», но поссорившемся с «молодой редакцией». Болезненно-самолюбивый провинциал, только что приехавший из Одессы, обрушил на Островского и его друзей град сплетен и эпиграмм, среди которых особенно распространилась одна:

Со взглядом пьяным, взглядом узким,
Приобретенным в погребу,

Себя зовет Шекспиром русским
Гостинодворский Коцебу.

Щербина и сам признавал впоследствии, что его эпиграммы являлись «клеветою на нормальное чувство» и были написаны «в минуту ипохондрии» (Щербина Н. Альбом ипохондрика. Л., 1929, с. 14).

[72] Н. И. Давыдова, казначея московского дворцового ведомства.

[73] Максимов допускает здесь неточности. Ко времени основания «Русской беседы» (1856 г.) Островский расходится со славянофилами. Т. Н. Грановский к этому времени уже умер (в 1855 г.).

[74] См. примеч. 48.

[75] Недовольство Островского образом жизни П. М. Садовского, который все меньше и меньше занимался работой над собой, проводя время в компаниях с приятелями, усугубилось разногласиями по делам Артистического кружка. Примирение произошло, очевидно, в марте 1872 г., в дни юбилея 25-летия литературной деятельности драматурга.

[76] Имеются в виду отъезды: И. Ф. Горбунова из Москвы в Петербург на службу в Александринский театр (1855 г.); Максимова и Горбунова в Нижний Новгород на ярмарку; Максимова — на исследование Амурской области, итогом которого явились книги «На Востоке: Поездка на Амур. Дорожные заметки и воспоминания» (Спб., 1864) и «Сибирь и каторга» (Спб., 1871).

[77] Речь идет об участии А. Ф. Писемского в литературной экспедиции, организованной Морским министерством.

[78] «Последние годы Речи Посполитой» Н. И. Костомарова печатались с февраля по декабрь 1869 г. в журнале «Вестник Европы».

[79] По предположению А. И. Ревякина, эти строки из не дошедшего до нас письма относятся к 60-м гг., когда писатель жил в условиях «возрастающей нужды».

[80] Договор на издание шеститомного собрания сочинений Островского был заключен при посредничестве Максимова с С. В. Звонаревым. Но издатель вскоре отказался от своих обязательств, ссылаясь на расстройство дел.

[81] Переговоры с Д. Е. Кожанчиковым успеха не имели.

ИЗ ОЧЕРКОВ НАРОДНОГО БЫТА. КРЕСТЬЯНСКИЕ КАЛЕНДАРНЫЕ ПРАЗДНИКИ

(стр. 244)

Впервые — посмертно, в кн.: Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. Спб., 1903. Печатается по тексту «Собрания сочинений С. В. Максимова» в 20-ти т. «Крестная сила». Спб.: Просвещение, 1912, т. 19, со сверкой с предшествующим изданием. Текст дается с сокращениями. Название разделу дано редакцией.

[1] Максимов называет здесь героев трех наиболее распространенных в крестьянской среде народных драм: «Царь Максимильян», «Лодка» и «Барин».

[2] Святочные песни пронизаны, как правило, свадебными мотивами. «Повсеместное распространение свадебных игр в русском новогоднем обряде свидетельствует об исконности темы брака на святочном игрище и может быть понято как позднее видоизменение обычных в период зимнего солнцеворота эротических игр...» (Чичеров В. И. Зимний период русского народного земледельческого календаря XVI—XVII веков. М., 1957, с. 193).

[3] Этот обряд в рождественский сочельник (24 декабря), когда, по народной пословице, «зима — за морозы, а мужик — за праздники», связан с древним заклинанием урожая. Именно потому печенье на колядки выпекалось в форме коней, птиц, коров. Народный языческий календарь здесь причудливо переплетен с христианским: «Коляда пришла, рождество принесла!»

[4] По старому церковному календарю день 1 января (14 января по новому стилю) был посвящен памяти св. Василия.

[5] *День богоявления* — 6 января.

[6] Здесь и далее приводятся обряды, не имеющие ничего общего с узаконенной православной церковью официальной обрядностью: они уходят своими корнями в древнеславянские языческие верования, связанные с культом плодоносных сил природы.

[7] *Крещенский сочельник* — 5 января. Обряд освящения воды здесь, как и во всех других случаях, представляет собою христианскую трансформацию языческого культа воды.

[8] См. рассказ А. П. Чехова «Художество» (1886) (Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30-ти т. Соч. М., 1976, т. 4, с. 287—292).

[9] Как показали новейшие исследования, многовековая культура трудового народа по-своему ассимилировала христианские верования. Поэтому нельзя обособлять и вычленять христианство «из общей системы древних религиозных представлений и считать, что христианство с его верой в загробный мир, его магией молитв и обрядов, архаичным календарным циклом является антитезой язычества. Резкое противопоставление язычества христианству ведет нас к церковной проповеднической литературе и не имеет ничего общего с истинным положением вещей, с наукой о религии» (Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М., 1981, с. 6). Максимову, писателю-демократу, эта связь в первую очередь бросается в глаза. Отсюда — дальнейшие его рассуждения о переплетении христианских обрядов с языческими в народно-крестьянских верованиях.

[10] Шуба мехом вверх — дальний отголосок праславянского культа медведя (см.: Рыбаков Б. А. Указ. соч., с. 96—145).

[11] Спорное толкование, опровергаемое современной наукой. См. примеч. 10.

[12] См. примеч. 2.

[13] Наглядный пример полного переосмысления христианского праздника и приспособления его к народному трудовому календарю.

[14] См. примеч. 9.

[15] С принятием христианства на Руси церковные праздники были

приспособлены народом к трудовому сельскохозяйственному календарю и получили производственно-бытовую ориентацию, обросли пословичными приметами, природными наблюдениями. Бытовое осмысление приобрели даже имена святых: Акулина-гречишница, Василий-капельник, Петр-полукорм, Аксинья-полузимница, Герасим-грачевник, Родион-ледолом, Егорий-скотопас, Евдокия-плющиха и т. п.

[16] Жаворонки символизировали приход весны и пробуждение плодоносных сил природы. За этим обрядом угадывались магические действия: так древние славяне с помощью особых заклинаний торопили приход долгожданной весны, связывая с ней надежды на хороший урожай.

[17] *Масленица* — древний языческий праздник земледельцев, посвященный приближению весны. С введением христианского календаря «христианский пасхально-великопостный цикл сдвинул древнюю разгульную масленицу со своего исконного места —24 марта, в силу чего она утратила свою первоначальную связь с весенней солнечной фазой, но целый ряд этнографических фактов говорит о существовавшей ранее связи» (Рыбаков Б. А. Указ. соч., с. 376).

[18] Обычай катания на масленице связан с древнейшими поверьями, согласно которым катание пробуждало плодотворящую силу земли: чем дальше прокатишься, тем выше подымутся хлеба, тем щедрее будет урожай.

[19] Каждый день на масленичной неделе имел свое название: понедельник — встреча, вторник — заигрыши, среда — лакомка, четверг — разгул, пятница — тещины вечерки, суббота — золовкины посиделки, воскресенье — проводы, прощеный день.

[20] Ср. у Н. А. Некрасова в поэме «Коробейники»:

Ой! ты, зелие кабашное,
Да китайские чаи,
Да курение табашное!
Бродим сами не свои.

(Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 15-ти т. Л., 1982, т. 4, с. 62).

[21] Максимов цитирует здесь «Власть земли» Г. И. Успенского (см.: Успенский Г. И. Собр. соч.: В 9-ти т. М., 1956, т. 5, с. 185—186).

[22] *Страстная неделя* — первые шесть дней перед пасхой. *Пасха* (светлое воскресенье, светлый день, велик день) — первый воскресный день после весеннего новолуния (не ранее 22 марта и не позднее 25 апреля). *Светлая неделя* (светлая седьмица) — первая неделя после пасхи. *Фомина неделя* следует за светлой.

[23] *Великий пост* — семинедельный пост перед пасхой.

[24] *Средокрестная неделя* — четвертая неделя великого поста. Кресты пекли в среду, когда семинедельный пост «переламывается пополам». Крестам приписывалась магическая сила, оказывающая благотворное влияние на повышение плодородия. *Вербное воскресенье* — последнее воскресенье перед страстной неделей. Обычай освящения вербы связан с древними земледельческими верованиями. Расцветающее, распускающее листья дерево передает свою плодоносную силу человеку и животным. Поэтому ветками

вербы ударяли скотину и людей — для здоровья. Часть вербных веток втыкали в ржаное поле — чтоб лучше рожь росла, и т. п.

[25] К первому посеву крестьяне берегли не только благовещенскую просфору, но и печенье-кресты, а иногда к этому дню выпекался каравай. Случалось, что просфору или кресты смешивали с семенами и рассевали. В семена примешивались зерна, освященные на пасхе или в другие праздничные дни. Все эти обряды — отголоски ритуальной жертвы перед посевом (см.: Соколова В. К. Весенне-летние календарные обряды. М., 1979, с. 145—149).

[26] Отголосок древнего культа воды — живительной влаги, обеспечивающей плодородие полей и дающей здоровье человеку.

[27] *Плащаница* — полотно с изображением положения во гроб Иисуса Христа. Вынос плащаницы из алтаря бывает в великую пятницу.

[28] *Ктитор* — церковный староста.

[29] *Кондак* — краткая песнь во славу Христа, богородицы или святого.

[30] См. примеч. 26.

[31] Пьянство во время крестных ходов явилось предметом сатирического освещения не только в литературе второй половины XIX в., но и в изобразительном искусстве. См., например, картину В. Г. Перова «Сельский крестный ход на Пасхе» (1861).

[32] Обычай красить, дарить и катать яйца на пасху связан с культом плодоносных сил природы. Яйцу приписывались магические свойства: болгары, например, считали, что окрашенное яйцо помогает при болезнях и отгоняет град. Катание яиц тоже было когда-то связано с магическим актом: яйцо в соприкосновении с землей пробуждало ее от зимнего сна, возбуждало плодоносные силы земли.

Качели на пасху — обряд, имевший в дохристианское время тот же магический смысл: подъем вверх был ритуальным действом, помогающим росту посевов. Ту же роль играли хороводы — хождение по кругу знаменовало движение солнца.

[33] См. примеч. 25.

[34] Предполагают, что обычай кумовства восходит к древним временам, к эпохе родового строя и знаменует принятие в род или признание девушек полноправными членами рода, а коллективное поедание яичницы здесь превращалось в своеобразную братчину, в ритуальное скрепление дружеских связей.

[35] См. примеч. 6.

[36] *Вайя* — ветвь. Неделя ваий или вай — вербное воскресенье.

[37] *Гранец* — так называемый «аптекарский» фунт, равный $^{7}/_{8}$ фунта «торгового»; в торговом фунте — 409 г, в аптекарском — 358.

[38] День Фрола и Лавра празднуется 18 августа.

[39] *Вознесение* — сороковой день после пасхи. Обычай выпечки печенья в виде лесенок связан с евангельским рассказом о вознесении Христа. Лесенки символизировали его восхождение на небо. Но в действительности обряд приготовления лесенок был более древним: лесенки должны были помогать озимым посевам лучше расти. Возможно, тут сказывался культ Волоса — славянского бога плодородия и растительной силы,

и первоначально лесенки предназначались ему: по лесенке Волосу легче было добраться до колоса.

[40] Этот обряд перекликается с дожиночным обычаем катания по полю и заклятием на возврат плодоносной силы земли. Заканчивая жатву, все жницы падали на спину и катались по земле, приговаривая: «Жнивка, жнивка, отдай мою силку в каждую жилку, в каждый суставец» (см.: Герасимов М. К. Завивание пожинальной бороды.—Этнографическое обозрение, 1900, № 3, с. 133—134).

[41] Семик — четверг на седьмой (русальской, русальной или семицкой) неделе после пасхи. Народные праздники (семик и троицу) называли «зелеными святками». Основу семицко-троицкой обрядности составляет культ растительности (у русских — березки). Замечено, что лес для завивания березок крестьяне избирали вблизи от ржаного поля.

[42] *Духов день* — пятьдесят первый день после пасхи, первый понедельник после троицына дня.

[43] *Троицын день* — воскресенье восьмой недели по пасхе (пятидесятый день — отсюда другое название: «Пятидесятница»).

[44] По-существу, перед нами древний языческий праздник, после принятия христианства приуроченный к дню Иоанна Крестителя, к 24 июня, когда наступает летний солнцеворот и природа достигает наивысшего расцвета.

[45] Петровский пост наступает со второй недели после троицына дня и длится до петрова дня (29 июня).

[46] С введением христианства славянский культ бога грома и грозы Перуна, разъезжающего по небу в огненной колеснице, был перенесен на христианского Илью и приурочен к ильину дню (20 июля).

[47] Магическая сила четверговой, или богоявленской, свечи генетически связана с древним языческим культом священного огня и бога-громовника Перуна.

[48] Обряд водоосвящения здесь и во всех других случаях уходит в глубокую древность, когда у славян существовал культ озер, рек, студенцов и связанных с ними духов. Попытки вызвать дождь сопровождались обращениями к духам воды. Самым древним способом их пробуждения было купание, обливание, а в целебных попытках и умывание водой. Молебны о дожде с окроплением полей и обряды освящения воды — христианская трансформация этих древних культов (см.: Соколова В. К. Указ. соч., с. 265).

[49] См. примеч. 40.

[50] За христианским Ильей скрывается языческий культ Велеса. Именно ему «русские крестьяне оставляли последнюю жменю колосьев на поле («Волосу на бородку») вплоть до XX в.» (Рыбаков Б. А. Указ. соч., с. 351). По той же причине последний сноп при дожинках имел культовый характер.

[51] За образом христианской Параскевы стоит древнеславянский культ богини Макоши — «богини плодородия, воды, покровительницы женских работ и девичьей судьбы...» (см.: Рыбаков Б. А. Указ. соч., с. 390—392).

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ И МИФОЛОГИЧЕСКИХ ИМЕН*

---

* Предисловие и Комментарии при составлении Указателя не учитывались.— *Ред.*

СОДЕРЖАНИЕ

Сергей Васильевич Максимов

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

Редактор *Т. Танакова*
Художник *С. Соколов*
Художественный редактор *А. Никулин*
Технические редакторы *Г. Куликова, Л. Демьянова*
Корректоры *В. Лыкова, Г. Панова*

ИБ № 4245

Сдано в набор 21.11.85. Подписано к печати 13.02.86. А12514. Формат $60\times84^{1}/_{16}$. Гарнитура школьн. Печать высокая. Бумага тип. № 1. Усл. печ. л. 24,18. Усл. краск.-отт. 48,36. Уч.-изд. л. 27,45. Тираж 50 000 экз. Заказ 3932. Цена 2 руб. 10 коп.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Республиканская ордена «Знак Почета» типография имени П. Ф. Анохина Государственного комитета Карельской АССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 185630, г. Петрозаводск, ул. «Правды», 4.